Р.С.Ф.С.Р.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПЕЧАТЬ
И
РЕВОЛЮЦИЯ

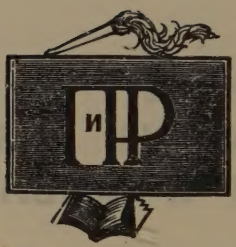
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ ИСКУССТВА
КРИТИКИ И БИБЛИОГРАФИИ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, Н. Л. МЕЩЕРЯКОВА,
М. Н. ПОКРОВСКОГО, В. П. ПОЛОНСКОГО,
И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
ИЮНЬ–ИЮЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА □ 1923



Редакция
номера закончена
20 июня.

СОДЕРЖАНИЕ.

В. Невский.
ПАМЯТИ ВАЦЛАВА ВАЦЛАВОВИЧА ВОРОВСКОГО.
(Некролог).

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ.

Стр.

1. Б. Горев. БЕЛИНСКИЙ И СОЦИАЛИЗМ 1
2. Неизвестная статья В. Г. Белинского. Предисловие и послесловие Н. Л. Бродского 9
3. А. Луначарский. В ЗЕРЦАЛЕ ГАДАНИЯ 26
4. А. Шляпников. О КНИГАХ Н. СУХАНОВА. „Записки о революции“ . 46

НА ТОМ БЕРЕГУ.

5. Вяч. Полонский. ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ 53
6. Н. Казмин. ЭМИГРАНТСКИЕ ГАЗЕТЫ 61
7. Г. Баммель. ИДЕАЛИЗМ НА ПУТИ К САМОУПРАЗДНЕНИЮ . . . 73
8. Л. Гроссман. БАКУНИН И ДОСТОЕВСКИЙ 82
9. В. Адарюков. РУССКИЕ ГРАВЕРЫ. И. И. НИВИНСКИЙ 113

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

10. В. Переверзев. НА ФРОНТАХ ТЕКУЩЕЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ . 127
11. В. Брюсов. СРЕДИ СТИХОВ 134
12. А. Чекин. ЛИТЕРАТУРА ПРОФИНТЕРНА (обзор) 139

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ.

I. Социализм и коммунизм. Б. Горева, Ю. Вильдо, М. Зеликмана . . 147
II. Анархизм и синдикализм. А. Дивильковского 150
III. Гражданская война. Г. Сандомирского, К. Добраницкого, М. Рафеса 154
IV. Империализм и международная политика. И. Звавича, М. Брагинского, С. Обручева, Г. Сандомирского 158
V. Экономические науки и народное хозяйство. М. Павловича, Ф. Капелюша, В. Яроцкого, А. Бессера, В. Сарабьянова, Г. Эльяшева, С. Боброва 166
VI. Промышленность и техника. К. Оппенгейма, С. Обручева, И. Траубенберга 181
VII. Рабочее движение. А. Чекина 189
VIII. Вопросы труда. И. Шпильрейна, Л. Каплуна 191
IX. Литература о Востоке. Г. Сандомирского В. Кряжина, Г. Бройдо 193

X. **История революции.** Ц. Фридлянда, Н. Мещерякова, С. Пионтковского, Б. Павлова, К. Остроуховой, Е. Штейнман, М. Рафеса, Ф. Капелюша 197
XI. **История.** Н. Попова, Н. Лукина-Антонова, В. Сторожева, А. Сергеева. 214
XII. **История культуры.** П. Преображенского, В. Сергеева, А. Некрасова. 220
XIII. **Философия.** Г. Баммеля, А. Троицкого, И. Альтера, В. Переверзева, П. Преображенского 225
XIV. **Науки об обществе.** П. Стучки 232
XV. **Науки о природе.** М. Завадовского, Э. Шпольского, Н. Андреева, М. Шатерникова, А. Михайлова 234
XVI. **Народы и страны.** М. Брагинского, А. Скачко, В. Кряжина . . . 239
XVII. **Теория и история литературы.** В. Ваганяна, Н. Фатова, Н. Бродского, С. Боброва, Н. Кашина, И. Гливенко, В. Пичеты 245
XVIII. **Художественная литература.** К. Локса, С. Боброва, Н. Асеева, Н. Мещерякова, В. Полянского, И. Кубикова, Ю. Добранова, Ю. Соболева, И. Аксенова, В. Волькенштейна, Н. Лебедева, Е. Херсонской 258
XIX. **Искусства.** В. Волькенштейна, Л. Сабанеева, И. Эйгеса, Н. Тарабукина, Л. Розенталя, А. Греча, Н. Купреянова, А. Сидорова, В. Адарюкова, С. Милеева, Л. Варшавского 277
XX. **Справочные издания.** А. Пионтковского 390
XXI. **Заметки о журналах.** Вяч. Полонского 391
XXII. **Литературная хроника: I. НА ЗАПАДЕ.** Германия. Франция. Италия Англия. Америка. Среди эмигрантов. **II. В С.С.С.Р.** Юбилей В. Г. Белинского. Центральный Дом Ученых. Изучение искусства за годы революции. Российская Центральная Книжная Палата. „Кузница". „Твори". „Всероссийский Союз Крестьянских Писателей". В Библиографическом обществе. **Среди издательств.** Государственное Издательство. Издательство „Красная Новь". Издания Социалистической Академии. Издания Всероссийской Научной Ассоциации Востоковедения. Истпарт. „Новая Москва". Изд. Л. Д. Френкеля. „Московский Рабочий". „Работник Просвещения". „Круг". „Колос". „Книга". „Мысль". „Петроград". „Сеятель". „Академия". Госиздат Украины. 393

Вацлав Вацлавович
ВОРОВСКИЙ.
(1872—1923)

ПАМЯТИ
ВАЦЛАВА ВАЦЛАВОВИЧА ВОРОВСКОГО.
(1872 — 1923).

НЕКРОЛОГ.

В. Невский.

Вацлав Вацлавович Воровский, известный в партии под различными конспиративными кличками и литературными псевдонимами,—Орловский, Шварц, Адамович, Шахов,—родился в 1872 году.

Еще будучи студентом Московского Технического училища он зеленым юношей принимает участие в польском революционном кружке.

Польские революционные кружки в крупных русских центрах сыграли, как известно, значительную роль. В конце 80-х и начале 90-х годов такие кружки существовали в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове. Петербургские студенты-поляки были членами Брусневской организации (напр., Цивинский), студенты-поляки, учившиеся в Москве имели также связи с Брусневской социал-демократической организацией.

Тогда уже в начале 90-х годов среди учащейся польской молодежи были сильны стремления к марксизму, и польские социалистические организации, как известно, имели свои студенческие революционные ячейки и в русских городах, и эти организации принимали участие и в русском освободи-

тельном движении. Организатором одного из таких революционных кружков и был еще в 1891 году студент Московского Технического училища В. В. Воровский. С возникновением «Московского Рабочего Союза» Воровский становится на определенный социал-демократический путь. В 1895 году он уже зарегистрирован и жандармами, как революционер, ведущий работу среди пролетариата, что и дает основание полиции выслать Воровского из Москвы на время коронационных торжеств на три месяца в Вологодскую губернию. Возвратившись из ссылки, Вацлав Вацлавович еще деятельней принимается за социал-демократическую работу. Теперь он выступает в рядах «Московского Рабочего Союза», как один из самых энергичных членов его. Работа его состояла не только в пропаганде среди рабочих и учащейся молодежи, но и в весьма серьезных и ответственных обязанностях по обслуживанию организации в области техники, транспорта и переводов социалистической литературы с польского. В 1896 году Воровский был связан с членами «Союза» Ник. Вашковым, Ильей Бабаджаном, Николаем Малининым, а также с Бриллингом, Величкиным и Дубровинским. При обыске у Воровского в 1897 году было найдено много социалистической польской литературы и, кроме того, было установлено, что при его посредстве из Варшавы и из-за границы доставлялась революционная литература. В мае 1897 года он был арестован по делу «Московского Рабочего Союза» и просидел в тюрьме до декабря 1898 года, когда и был выслан под гласный надзор полиции в Вятскую губ. на три года. Здесь он жил в ссылке вместе с другими видными членами нашей партии и вместе с А. А. Богдановым издал работу «Маслодельные артели Вятской губ.». Три года своего вынужденного бездействия он посвятил основательнейшему изучению марксизма, и уже тогда являлся одним из лучших знатоков теории Маркса и истории марксизма в России. Так как после окончания ссылки Воровскому был запрещен въезд в столицы и университетские города, то он решил эмигрировать, и в 1901 г. бежал за границу.

За границей Вацлав Вацлавович еще более расширил и углубил свои знания как в области теории, так и истории марксизма. Второй съезд партии, раскол социал-демократии на два крыла, страстные споры и борьба между двумя течениями нашей партии захватили и Вацлава Вацлавовича, несмотря на все его отвращение ко всяким кооптационным дрязгам и стеснениям. Он без всяких колебаний стал на сторону большевиков.

Несмотря на большую ценность В. В., как литературного работника, его необходимо было направить в Россию, где также требовались незаурядные работники и руководители, которые могли своим спокойствием и выдержкой противодействовать разрушительным и оппортунистическим влияниям меньшевиков. Воровского направили в Одессу. Направил его, конечно, нелегальный большевистский центр, во главе которого тогда стояли В. И. Ленин и Н. К. Крупская. Это поручение, как совершенно правильно замечает П. Н. Лепешинский, вполне было по душе Вацлаву Вацлавовичу, так как всей его натуре, прямой и удивительно тонкой, претила та кооптационная грязь, какая тогда царила в Женеве. Впрочем, это обстоятельство нисколько не мешало ему принять участие в той борьбе, какую мы вели тогда с меньшевиками. Тогда же В. В. начал принимать участие, как социал-демократический публицист, в наших большевистских органах и изданиях. (Он еще до этого печатал свои статьи в старой «Искре», напр., в № 48.—«Новое филиальное отделение Бунда», в №№ 49 и 50 — «Из русской жизни».) Так, в нашей большевистской газете «Вперед» ему принадлежат следующие статьи: «Враги и друзья» в № 6, «Плоды демагогии» в № 11, «Либеральные принципы и редакционные замашки» в № 13, «Борьба за право стачек» в № 14, «В комиссии Коковцева» в № 15, «Политические софизмы» в № 18, и некоторые другие.

В этой газете Вацлав Вацлавович принимал очень большое участие и был на ряду с Владимиром Ильичем и т. т. Луначарским и Ольминским одним из ее редакторов. Он и вызван был нашим большевистским центром в Женеву, как только в этом центре созрела мысль об издании своей собственной фракционной газеты. «Вперед» вышел в свет 22 декабря 1904 г., а 5 мая 1905 г. на 18 номере он прекратился, так как на третьем съезде нашей партии было постановлено заменить его партийным центральным органом «Пролетарий», первый номер которого и вышел 27 (14) мая 1905 года. Здесь, в редакции «Пролетария», и начал особенно энергично работать Воровский. Работая и в России и за границей в качестве литератора, Вацлав Вацлавович принимал деятельное участие в борьбе большевиков с меньшевиками и работал по подготовке третьего съезда партии. В 1904 году вышли в Женеве его брошюры: «Н. Шахов. Борьба за съезд. Сборник документов»; «П. Орловский. Совет против партии»; «О Государственной Думе».

На третьем съезде партии Вацлав Вацлавович являлся делегатом от Николаевской большевистской организации и принимал в работах съезда очень деятельное участие,—в прениях по важнейшим принципиальным вопросам тактики и организации, вносил поправки, был автором некоторых резолюций, всегда неизменно отстаивал ортодоксально марксистскую линию, был выбран в протокольную комиссию и снова стал одним из деятельнейших руководителей нового нашего органа «Пролетарий».

В «Пролетарии» он работал до самого его закрытия (последний № 26 газеты вышел 12 ноября 1905 года), когда уже Женеву покинули все видные члены нашей партии, и в том числе и руководитель нашего центра—Владимир Ильич.

Вацлав Вацлавович тоже возвращается в Россию, и кипучая деятельность в Петербурге надолго захватывает его. Здесь он, как в «Вперед» и «Пролетарии», работает в наших большевистских органах «Волна», «Вперед» и т. д., пишет в сборниках, издает отдельные брошюры по вопросам тактики и злобам дня текущего момента и, кроме того, работает, как пропагандист, лектор, выступает на избирательных собраниях, партийных дискуссиях и т. п. В 1906 году выходят его две брошюры по вопросу о тактике при выборах в I Г. Думу: «П. Орловский. Кадеты в Думе» и «Государственная Дума и рабочий класс»; появляются статьи в наших сборниках, напр., в «Вопросах тактики» в вып. I—«Социал-демократия и буржуазные партии», «Базаров и Санин. Два нигилизма» в сборнике «Литературный распад», ч. II; выходят в свет его агитационно-популярные брошюрки, как, напр., «Возникновение рабочего класса» и т. п.

В эпоху наступившей реакции Вацлав Вацлавович, остававшийся на боевом посту, снова попадает в тюрьму и в 1907 году опять отправляется в ссылку в ту же Вятскую губернию и опять на три года. Возвратившись из ссылки в 1909 году, Воровский снова на революционной работе: он становится членом Одесского комитета нашей партии. В 1910 г. Вацлав Вацлавович снова арестован. На этот раз жандармы предали его суду, но за недостаточностью улик он был оправдан. Через два года Воровский снова в лапах жандармов и снова отправляется в ссылку, на этот раз уже в Вологодскую губернию на 2 года. Выслали его из Одессы за участие в бюро по выборам в Государственную Думу в 1912 г. В 1913 г. он, за сокращением срока ссылки, покидает север, чтобы теперь уже на западе, в Варшаве, снова приняться за работу. Война

и затем февральская революция застает его все таким же непоколебимым большевиком, как и раньше. Он целиком примыкает к платформе Ленина и работает, не покладая рук, на пользу пролетарской революции,—то в Швеции, на ответственном посту нашего представителя, то во главе Государственного Издательства, в самую тяжелую эпоху существования этого учреждения, то, наконец, в Италии и Швейцарии, где и погибает от руки империалистского убийцы на славном посту.

Об этих последних годах работы Воровского нужно сказать особо.

Работа его в Швеции была очень тяжелой и ответственной. Время было тогда такое, что о признании Советской России думали только немногие из самых пылких политиков. Настроение черносотенных русских кругов за границей было тогда еще очень боевое, и не однажды еще в Стокгольме Вацлаву Вацлавовичу грозила смертью белогвардейская рука. Требовалось особое уменье, особая выдержка, какие были свойственны только Воровскому, чтобы не только не уронить престижа нашей страны, но и укрепить те отношения, какие в те времена еще были так непрочны. Все это и было достигнуто работой В. В.

На посту зав. Госуд. Издательством Вацлав Вацлавович являлся поистине мучеником: аппарат этого учреждения перешел к нему в руки в ужасающем виде. Все было расстроено,—денег не хватало, типографии замерзали, бумага расценивалась на вес золота, фабрики стояли, квалифицированных работников не было, так как никто не хотел работать даром, а зато каждая, даже пустяковая, ошибка всякими демагогами раздувалась в общественное бедствие. При таких условиях коллегия Госуд. Издательства могла только в лучшем случае выйти в отставку, что и сделали несколько товарищей. Вацлав Вацлавович оставался и на этом месте до конца, до тех пор, пока болезнь не свалила его в постель.

Что касается его работы в Италии, она у всех на виду. Отправляясь в эту страну фашизма, В. В. знал, какая ответственная роль выпала на его долю, и нужно сказать, что он лучше, чем кто-либо, справился со своей задачей.

В стране, где вооруженные банды подпирают черносотенное министерство, где красный флаг, развевающийся над Советской миссией, является угрозой этому министерству, где каждый новый день существования этой миссии—лучшее доказательство непрочности черносотенного режима,—в такой

стране мог справиться с задачами на него возложенными только такой умный, тактичный, осторожный и высокообразованный человек, как Воровский.

Как видит читатель, жизнь Воровского как будто бы не богата эффектными красками, событиями и коллизиями, и, однако, какая это богатая, полная красоты жизнь!

Начать с того, что Воровский был одним из самых образованных марксистов в России. Его небольшая работа «К истории марксизма в России», брошюра всего в три листа, однако, может считаться лучшей работой по этому вопросу. Она была написана в провинции, наспех, без пособий и материалов и вместе с тем может смело потягаться с многотомными сочинениями на эту тему. Вообще приходится только пожалеть, что мы не умели ценить и беречь такую силу, как Воровский, не умели использовать его опыт и знания, не умели подойти к нему. Он обладал большим литературным талантом, его стиль изящный и простой, необыкновенно чистый язык и красивая постройка фразы дополнялась поистине аттической солью его остроумия. И сейчас чтение таких статей Воровского, как некоторые фельетоны в «Пролетарии» и других наших органах доставляют большое удовольствие и даже наслаждение. Такие статьи, как, напр., «Праведная земля московских фабрикантов» в № 13 «Пролетария» наполнены удивительно сильным и вместе с тем благородным остроумием и беспощадным сарказмом. Но главной, основной чертой всех писаний Воровского все же является необыкновенное изящество и красота стиля, соединенная с большим знанием.

Это соответствовало его существу. Пишущий эти строки встретился с покойным в Женеве в октябре или ноябре 1904 года в нашей небольшой большевистской колонии. Собираясь скоро обратно в Россию, я держался одиноко и по возможности подалее от шумных товарищеских компаний, где, без сомнения, могли быть и любопытные, не совсем приятные для революционера даже за границей. Естественно, что я не лез и в среду наших лидеров и видных работников, за которыми велось наблюдение. Не знакомился я и с В. В. Но вот однажды, зайдя в театр, я очутился рядом с Воровским. На следующей за нами скамейке помещался очень шикарно одетый жгучий брюнет, все время не сводивший глаз с Воровского. Как-то в антракте, когда мы очутились только вдвоем, В. В. наклонился ко мне и сказал: «Товарищ, мы знакомы с вами. Обратите вни-

мание на этого субъекта. Это — местный шпик. Он, вообще говоря, безвреден, но суть в том, что он, повидимому, передает нас русским агентам: он прекрасно говорит по-русски, хотя и носит французскую фамилию». Не знаю, что нужно было этому субъекту, но только, когда он снова пришел на свое место, с ним была уже и дама, рыжеволосая и неинтеллигентная. Я был очень благодарен Воровскому, так как возвращаться мне не приходилось уже налегке, а с литературой, и было бы очень неприятно повезти за собой хвост, который мог на границе оказаться очень тяжелым.

С тех пор эта изящная, как бы нравственно насторожившаяся фигура Воровского так и стоит перед моими глазами.

Всегда изящно, даже элегантно, но в высшей степени просто одетый, всегда подтянутый, вежливый, корректный, Вацлав Вацлавович хранил на себе лучшие черты представителя старой гвардии. Обаятельно простой, на редкость остроумный, с огромной эрудицией, он был незаменимым собеседником в самые тяжелые минуты жизни.

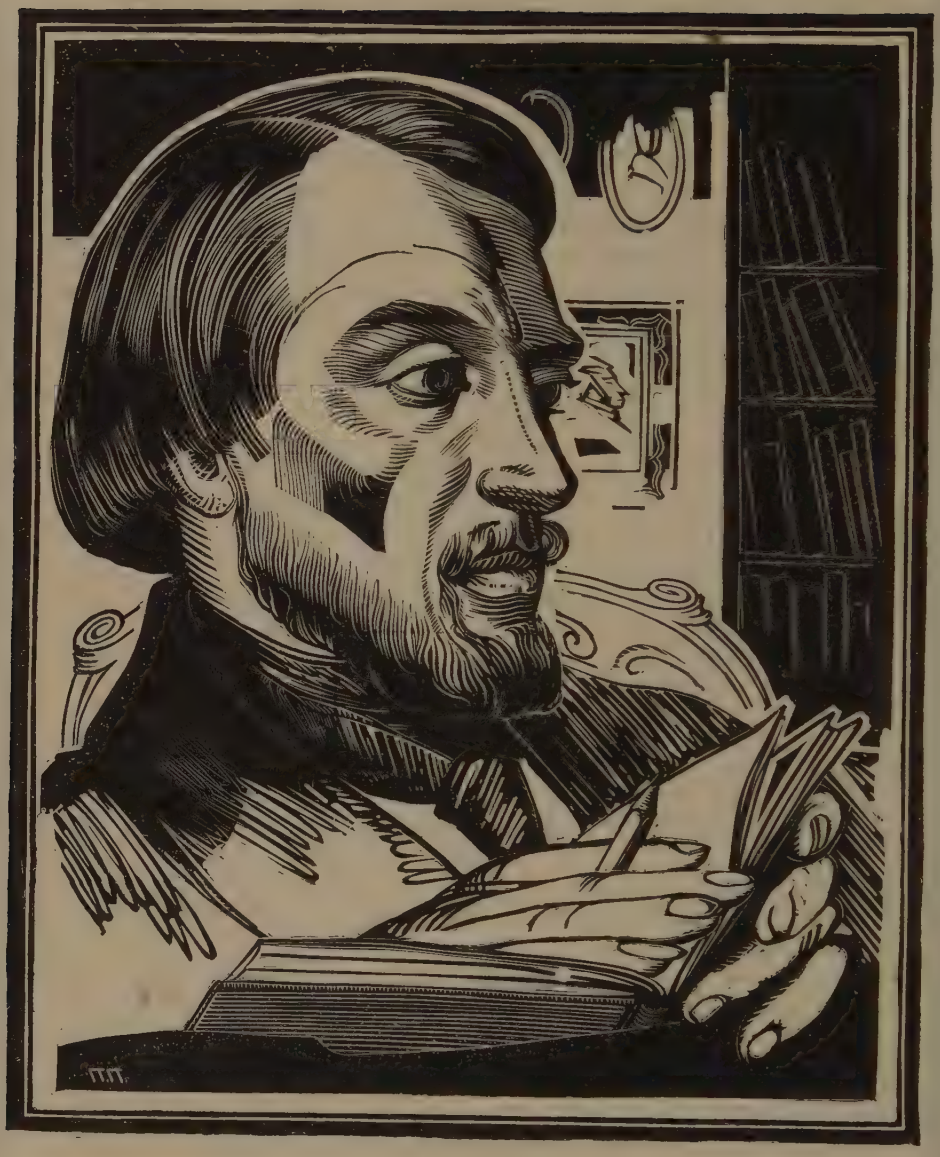
Можно смело сказать, что даже в самые критические моменты его болезни в Москве перед отъездом в Италию, он на больничной койке все так же острил и заразительно улыбался, несмотря на мучительные страдания, вызываемые недугом.

Но что больше всего пленяло в этом человеке, так это его удивительная чистота и прямо органическая ненависть ко всякому подхалимству и лакейству, низкопоклонству и сервилизму

Но даже и здесь все свое негодование он облекал в такое изящное остроумие и в такую изящную форму, что противник обыкновенно был обезоружен.

В. В. был большим знатоком языков, литературы, искусства, любил театр, музыку и вместе с тем был типичным революционером Все же из своей почти тридцатилетней революционной деятельности треть этого периода Вацлав Вацлавович провел в ссылке на далеком севере и несколько лет просидел в тюрьме! Все же всю свою жизнь он отдал революции и был самым настоящим типичным профессионалом-революционером, очень много поработавшим в деле создания нашей партии— то в ссылке, то в эмиграции, то в водовороте кипучей деятельности,—он за исключением дней, проведенных в тюрьме, горел, пылал и, не покладая рук, работал на дело пролетариата.

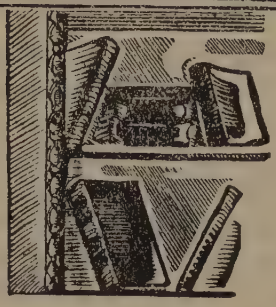
Гуманный, мягкий, чистый, как пуританин, он был цельной натурой, не знавшей компромиссов и не поддававшийся тлетворному влиянию времени. Ортодоксальный марксист, интеллигент в лучшем смысле этого слова, он не знал колебаний и ненавидел всякое холопство и рабство. Он был, словом, человеком большой душевной красоты и выдающимся революционером. Пуля убийцы сразила его на славном посту, но свинец этой пули не убил тот светлый образ, который останется с нами: образ марксиста-революционера, одного из создателей нашей партии, человека необыкновенной душевной красоты.



Виссарион Григорьевич
БЕЛИНСКИЙ

Гравюра на дереве
П. Павлинова.

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ



БЕЛИНСКИЙ И СОЦИАЛИЗМ.

Б. Горев.

I.

В 75-летнюю годовщину смерти Белинского, лишь немногим пережившего такие события, как февральская революция и появление Коммунистического Манифеста, позволительно поставить вопрос о *социализме* Белинского. Можно ли Белинского причислить к социалистам, или, по крайней мере, к предшественникам русского социализма? Это тем более уместно сделать теперь, что в вышедшей в прошлом году книге П. Н. Сакулина «Русская литература и социализм», вызвавшей уже ряд откликов в нашей печати, Белинский безоговорочно причисляется к социалистам, и это утверждение, насколько нам помнится, никем из рецензентов не оспаривалось и не подвергалось анализу.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, нам кажется, предварительно рассмотреть, что вообще представлял из себя так называемый «ранний русский социализм», т.-е. социализм части нашей передовой интеллигенции 30-х и 40-х годов, чьим признанным выразителем и даже идейным вождем сделался Белинский.

В. М. Фриче в статье, посвященной книге П. Н. Сакулина (в № 2 «Печати и Революции»), высказал мысль, что этот «ранний социализм» явился не только простым заимствованием европейских идей, но и отражением в головах русских интеллигентов процесса буржуазного перерождения России и, следовательно, таким же протестом против отрицательных черт капитализма, каким был утопический социализм Франции. Нам кажется, что эту мысль можно принять лишь с очень большими оговорками. Нам думается скорее, что европейский утопический социализм был лишь той идеологической *оболочкой*, которая, бессознательно для тогдашней русской интеллигенции, скрывала ее подлинные, *буржуазно-демократические* задачи и стремления [1]).

[1]) О «социализме» русской интеллигенции, от Герцена до партии эс-эров, мы говорим в особой, посвященной этому вопросу статье в нашем сборнике «На идеологическом фронте», печатающемся в издании Гос. Издательства.

В самом деле, основной объективной задачей, которая встала перед историей России, с самого начала XIX века, было «обуржуазенье» России, превращение ее из крепостнической, дворянско-монархической—в страну буржуазно-капиталистическую, со всеми вытекающими отсюда *политическими* и *идеологическими* выводами. В этом отношении Россия не отличалась от других европейских государств и лишь позже их вступила на путь этого превращения. Но в *разрешении* этой объективной задачи судьбы России значительно расходились с историей западно-европейских государств, и главное различие было в том, что русская буржуазия не принесла с собой в XIX в. ни политических традиций, ни старой духовной культуры буржуазии европейской. Если *европейская интеллигенция*, начиная с эпохи Возрождения, является типичным продуктом городской буржуазии, выросшей и окрепшей в борьбе с феодальным дворянством и католическим духовенством, то ничего подобного мы не видим в нашей буржуазии, за редкими исключениями, темной и невежественной, привыкшей защищать свои экономические интересы не путем борьбы, а путем «челобитных» и «барашка в бумажке».

И то обстоятельство, что наша доморощенная буржуазия не выдвинула *своей* интеллигенции, несомненно, очень сильно повлияло на идеологию той интеллигенции, которая самым ходом вещей, несмотря на свои субъективные настроения, цели и идеалы, вынуждена была делать объективно буржуазное дело, т.-е. вести борьбу за раскрепощение России. Эта интеллигенция могла рекрутироваться только из двух социальных группировок: во-первых, из той части дворянства, которая сама переживала процесс буржуазного перерождения и заинтересована была в экономическом развитии России, а затем из рядов мелкого чиновничества и духовенства, ибо они были ближе к широким народным массам, и дети их, на ряду с детьми дворянскими, в течение половины XIX в. одни лишь и получали образование, одни лишь и приобщались к европейской культуре.

Но в то время, как первое революционное движение XIX в., движение декабристов, несмотря на исключительно дворянский состав его участников, выдвинуло идеалы европейского *буржуазного либерализма* (и тем явилось, отчасти, прообразом младотурецкой революции),—все следующие поколения революционной интеллигенции, сперва дворянской, а потом и разночинной, выдвигали лозунги социализма и даже анархизма. Чем объяснить это явление?

Декабристы выступили в классическую пору европейского, особенно английского и французского либерализма, когда он был во всех отношениях наиболее прогрессивным направлением, когда во имя его образовывались тайные революционные общества во Франции и в Италии, происходила революция в Испании и грандиозная митинговая кампания в Англии. В это время идеи буржуазного либерализма могли еще вдохновлять на борьбу. Но после поражения декабристов,—и в Англии и во Франции, откуда, главным образом, шли в Россию освободительные идеи, произошли события, окончательно поставившие буржуазие

у власти: июльская революция 1830 г. и парламентская реформа 1832 г. И то, как повели себя у власти либералы, могло лишь оттолкнуть всю ту массу русской интеллигенции, которая непосредственно не была заинтересована в эксплуатации народных масс, т.-е. деклассированную дворянскую и разночинную молодежь, и которая в то же время тяготилась ужасающе-мертвящим режимом Николая I, наступившим после усмирения декабристов и польского восстания. И в эту же эпоху 30-х и 40-х годов получили особенное развитие идеи *европейского утопического социализма*, главным образом, сен-симонизм и фурьеризм, явившиеся самым последним, самым прогрессивным продуктом *европейской интеллигенции*.

При анализе русского раннего социализма, расплывчатого сен-симонизма кружка Герцена и Огарева в 30-х годах и фурьеризма петрашевцев в 40-х годах, никогда не следует забывать, что у себя на родине, во Франции, оба эти течения и по своему происхождению и по составу своих сторонников были *чисто интеллигентскими*, являясь протестом новой интеллигенции против власти денежного мешка, против бессмысленной и полной противоречий организации капиталистического строя и особенно против всего, что стесняет безграничную свободу человеческой личности, в частности, против предрассудков и консерватизма мещанской семьи. И, конечно, не обобществление средств производства, не трудовая дисциплина соблазняла наших ранних социалистов, а именно, раскрепощение личности, свобода талантам, наконец, проповедуемая и сен-симонистами и фурьеристами свобода любви, освобождение женщины от семейного рабства. Само собою разумеется, что все это было окрашено сочувствием и состраданием к «униженным и оскорбленным», к крепостному мужику, забитому солдату и т. д. Но далее сочувствия и сострадания дело не шло.

Характерно, что утопическим социализмом, в наиболее туманной и безвредной форме, увлекалась также часть интеллигенции («истинные социалисты») и в Германии 40-х годов, что не помешало большинству их после 1848 г. перейти целиком в лагерь либерализма. Увлеклась фурьеризмом весьма не надолго и часть американской интеллигенции в 50-х годах, в эпоху отталкивающего «первоначального накопленият американского капитала, при чем и ее, конечно, привлекала фурьерис»-ская идея свободы и гармонии «страстей».

Поэтому наша интеллигенция заимствовала из Зап. Европы не боевой, народный коммунизм равенства, а мирный, пропагандистский социализм интеллигенции. Не даром Герцен впоследствии с ужасом цитировал декреты, заготовленные бабувистами, и сравнивал их с аракчеевщиной. Нашей интеллигенции нужно было не равенство и не общность имуществ, а *свобода*, которая субъективно отражала свободу буржуазного развития, и идеи этой свободы она заимствовала не у дискредитировавшего себя уже буржуазного либерализма, а у интеллигентского социализма утопистов, который сам являлся попыткой реформировать и облагородить народившееся буржуазное общество, дать в нем заслуженное место интеллигенции, освобожденной от всех нелепых традиций и

предрассудков. Вот почему, между прочим, самым любимым глашатаем новых идей была для нашей интеллигенции 30-х и 40-х годов Жорж Занд, в романах которой, на ряду с сочувствием к бедным и угнетенным, на ряду с требованиями социальной справедливости, все же центральное место занимает свобода личности и особенно свобода любви.

Петрашевцы отличались от кружка Герцена и большей революционностью и большей конкретностью своей пропаганды. Это потому, что они были гораздо демократичнее по своему составу, включая ряд, несомненно, разночинных элементов, мелких чиновников, низших офицеров, страдавших от произвола своего начальства, писателей, студентов. Но именно их революционность и конкретность пропаганды *не вяжется с их фурьеризмом*, так как для фурьеризма безразличен политический строй, а пропаганда петрашевцев носила определенно *политический* характер. При этом, как видно из «Солдатской беседы» Григорьева, при первых попытках обращаться к народным низам, петрашевцы *расхваливали ту самую европейскую «цивилизацию»*, которую в качестве правоверных фурьеристов они должны были бы проклинать. И для петрашевцев, следовательно, культ Фурье был лишь оболочкой, был той мечтой о красивой и гармоничной жизни, под которой скрывалась потребность в раскрепощении и просвещении России и, прежде всего, самой интеллигенции, как передового авангарда грядущего буржуазного общества.

II.

Какое же место в нашем «раннем социализме» занимает Белинский? Что он одно время увлекался идеей социализма, именно, как отвлеченной идеей, в которой он видел «идею идей, бытие бытия, вопрос вопросов, альфу и омегу веры и знаний»,—общеизвестно. Но весь вопрос в том, что понимал Белинский под социализмом, что привлекало его в нем, и можно ли считать это увлечение сколько-нибудь характерным для социально-политического миросозерцания Белинского, для той роли, какую он играет в истории нашей общественной мысли.

П. Н. Сакулин тщательно собрал все цитаты из писем и статей, свидетельствующие о «социализме» Белинского в период от 1841 до 1846 г. Что же мы в них находим? Общие фразы о «свободе, равенстве и братстве» (как известно, провозглашенных впервые не социалистами, а мелкобуржуазной интеллигенцией Великой французской революции), о том, что «люди должны быть братья и не должны оскорблять друг друга ни даже тенью какого-нибудь внешнего и формального превосходства», о том, что в будущем «свет победит тьму, разум победит предрассудки, свободное сознание сделает людей братьями по духу» и т. п. И тут нельзя ссылаться, как думает П. Н. Сакулин, на цензуру, мешавшую Белинскому высказываться яснее и конкретнее. Ибо, кроме *слова* «социализм» и «социальность», мы не находим в письмах Белинского, всегда таких прямолинейных и откровенных, никаких более конкретных определений, чем в статьях. Цитаты об «идее идей, альфе и омеге веры и знаний»,

о том, что «люди должны быть братья»,—взяты из писем, а последняя цитата насчет «света и тьмы» и «свободного сознания», которое «сделает людей братьями по духу», взята из статьи.

Правда, мы имеем еще написанный в 1844 г. разбор романа Э. Сю «Парижские тайны», где Белинский высказывает ряд мыслей о тяжелом положении французского «народа» после 1830 г., об его жестокой эксплуатации капиталистами, о «конституционной мишуре» июльской монархии, о том, что зло—«в целой системе французского законодательства, во всем устройстве общества» и т. д. Но такие фразы говорили и писали многие представители французской интеллигенции 30-х годов, возмущенные цинизмом захватившего власть денежного мешка и требовавших социальной справедливости и внимания к страданиям «народа». Только от таких фраз, как бы искренни они ни были, до требования социализма, как *уничтожения частной собственности на средства производства* и их *обобществления*, еще большая дистанция.

Можно, конечно, сказать, что неопределенность и абстрактность «социализма» Белинского объясняется тем источником, откуда он взял самую идею о социализме, а именно французскими утопистами. Но это неверно. Уже у Фурье мы имеем детально разработанный вопрос о *собственности* и организации *производства*, как основах социализма. Еще подробнее говорили об этом книги Прудона, Кабэ и Луи Блана, которые появились в 1840 г. и не могли не быть известными Белинскому, хотя бы по наслышке. Все дело в том, что условия русской жизни меньше всего являлись тогда благоприятными и подходящими для появления у нас социалистических идей, более конкретных, чем «братство всех людей» и любовь к «меньшему брату». Ведь и у *Чернышевского*, этого *первого настоящего русского социалиста*, хотя и утопического, *идейные* источники его социализма были те же, что и у Белинского. Но отмена крепостного права, о которой Белинский лишь мечтал, стала в это время реальным фактом и, в свою очередь, выдвинула глубокие вопросы собственности и обострение классовой борьбы в деревне. Вырисовывались социально-экономические предпосылки и первые контуры будущего народнического социализма.

Зато в тех самых письмах и статьях, которые приводятся в доказательство «социализма» Белинского, мы находим подлинный нерв общественного миросозерцания Белинского после того, как он от «примирения с действительностью» перешел опять к ее «отрицанию» [1]). Этим нервом является *личность*, ее раскрепощение, создание условий для ее свободного развития и выявления, т.-е. по существу требования мелко-буржуазной интеллигенции.

Уже в письме к Боткину (от 27—28 июня 1841 г.; цитирую везде по Сакулину или Плеханову) после слов, что «не должно быть монархов»

---

[1]) Плеханов в своих статьях о Белинском рассматривает его взгляды с точки зрения их внутреннего, логического или, вернее, диалектического развития. Нас же здесь интересуют, главным образом, *их социальные корни.*

и что «люди должны быть братья», мы вдруг встречаем такую фразу: «Чорт знает, надо мне познакомиться с сен-симонистами. *Я на женщину смотрю их глазами*» (курсив наш. *Б. Г.*). Раскрепощение женщины и свободная любовь—чисто-интеллигентский мотив, который связывался с социализмом в кружке Герцена, могущественно влиял и на Белинского. В это же время он писал (цитирую по Плеханову: «Литература и критика», изд. «Новая Москва», стр. 63): «Пора освободиться личности человеческой, и без того несчастной, от гнусных оков неразумной действительности, мнения черни и предания варварских времен». Это звучит уже почти по-писаревски. Так не мог бы писать ни Бабеф, ни Кабэ, ни даже Руссо. И характерно, что, сбросив с себя увлечение социализмом, к которому он стал относиться резко отрицательно, Белинский, с одной стороны, установил родство тогдашних русских «социалистов» (особенно своего «верующего друга» Бакунина) с московскими славянофилами, а с другой—идейный источник всего утопического социализма видел *в Руссо*. Характерно также, что, отказавшись от социализма, Белинский со всей страстностью своей пылкой натуры возненавидел Руссо, этого *народника XVIII в.*, подчинявшего личность обществу и, в противоположность ему, превозносил такого типичного идеолога буржуазии, как... *Вольтер*.

«Из Руссо,—писал Белинский *накануне февральской революции* и незадолго до смерти,—я читал только его «Исповедь» и... возымел сильное омерзение к этому господину... Но что за благородная личность Вольтера! Какая горячая симпатия ко всему человеческому, разумному, к бедствиям простого народа!.. Правда, он иногда называет народ vile populace, но за то, что *народ невежествен, суеверен, изувер, кровожаден*, любит пытки и казни. Кстати: мой верующий друг и наши славянофилы сильно помогли мне сбросить с себя *мистическое верование в народ*. Где и когда народ освободил себя? Всегда и все делалось через личности. Когда я в спорах с вами о буржуазии называл вас консерватором, я был осел в квадрате, а вы были умный человек. *Вся будущность Франции в руках буржуазии*, всякий прогресс зависит от нее одной, а народ тут может по временам играть пассивно-вспомогательную роль. Когда я при моем верующем друге сказал, что для России теперь нужен Петр Великий, он напал на мою мысль, как на ересь, говоря, что сам народ должен все для себя сделать. Что за наивная, аркадская мысль! После этого отчего же не предположить, что живущие в русских лесах волки соединятся в благоустроенное государство, заведут у себя сперва абсолютную монархию, потом конституционную и, наконец, перейдут в республику?.. Мой верующий друг доказывал мне еще, что избави-де бог Россию от буржуазии. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда *русское дворянство обратится в буржуазию*. Польша лучше всего доказала, как крепко государство, лишенное буржуазии с правами» (Плеханов, 68—69. Курсив везде наш. *Б. Г.*).

Мы привели эту длинную выписку из знаменитого письма Белинского потому, что она бросает яркий свет на *основную сущность* его взгля-

дов, которые вовсе не являлись в тот момент простым отречением от его прежнего «социализма», а лишь беспощадно искренним, как всегда у Белинского, раскрытием *содержания* этого «социализма», которое раньше было неясно ему самому. Он и в эту новую эпоху ненавидит «спекулянтов», протестует против «владычества капитала» и его «тиранния надо всем домом»; но в то же время он прославляет «средний класс», находя, что в Англии в представляющей этот «средний класс» нижней палате много величавого, а патриотизма просто бездна» (это пишется в эпоху чартизма!). И в то же время по адресу Луи Блана за его восторженное отношение к Руссо и непочтительную характеристику Вольтера Белинский пишет теперь: «Читаю теперь романы Вольтера и ежеминутно плюю в рожу дураку, ослу и скоту Луи Блану!»

Наконец, и в эпоху своего «социализма» Белинский, с одной стороны, говоря о французской буржуазии (в разборе романа Сю), указывал, что она, став на место аристократии, не наследовала ее образованности, изящных форм ее жизни, ее кровного презрения, высокомерного великодушия и тщеславной щедрости к народу, а с другой—прославлял Робеспьера, говоря, что «тысячелетнее царство» божие утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а террористами и обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов» (Сакулин, стр. 218 и 219).

Итак, на примере Белинского, благодаря его гениальному уму, и исключительной искренности и идейной честности, лучше всего можно анализировать подлинную социальную подоплеку «раннего социализма» нашей интеллигенции. Трудно согласиться с Плехановым, что Белинский отрекся от тогдашнего социализма из-за его отвлеченно-утопического характера, и что логическим выводом из его взглядов 1847 и 48 гг. должен был бы быть переход к научному социализму. Нам думается, наоборот, что увлечение социализмом было лишь *первой смутной и абстрактной формой политического радикализма* Белинского, его интеллигентской жажды буржуазной, европейской политической свободы,—формой, которая именно по своей расплывчатости, неопределенности и отвлеченности отвечала недифференцированности и мертвому застою русской жизни. Что же заставило его отказаться от этого социализма? По мнению П. Н. Сакулина, путешествие по России в 1846 г., т.-е. знакомство с подлинной, конкретной российской действительностью, которая в то время обнаруживала уже ряд ростков буржуазного прогресса (это сказалось, между прочим, в восторженном приеме, оказанном Белинскому провинциальной интеллигенцией), и затем особенно поездка за границу, которая произвела на него ошеломляющее впечатление красотой и мощью буржуазной культуры.

И вот, под влиянием этих впечатлений, Белинский не отказался от социализма, которого у него по-настоящему и не было, а лишь *нашел самого себя*, стал тем радикальным интеллигентом, каким он только и мог быть в николаевскую эпоху и который своим «письмом к Гоголю»

создал *первый нелегальный, революционный политический памфлет* того времени, выработал политическую программу для целого поколения русской интеллигенции.

И не как предшественник русского социализма, а как *идейный вождь русского радикализма*, вошел Белинский в историю общественной мысли и общественной жизни России. В середине 50-х годов его противник Аксаков должен был признаться в письме к отцу, что все, что есть честного и мыслящего в России, воспитано Белинским, что его письмо к Гоголю знает наизусть все прогрессивное юношество,—то самое, прибавим мы от себя, которое с началом «великих реформ» двинулось походом в столицы на завоевание знаний и впоследствии образовало кадры нашей разночинной революционной интеллигенции.

С этой точки зрения 75-летняя годовщина смерти Белинского отнюдь не должна быть чуждой революционному марксизму, и ее значение отнюдь не умаляется тем фактом, что Белинский не был социалистом в настоящем смысле этого слова. Ибо, если предшественниками новейшего европейского, революционного социализма были не только утописты и Бабеф, но и великие буржуазные «просветители» XVIII в. и мелкобуржуазные «якобинцы» во главе с Робеспьером, то и русский революционный марксизм ведет свою родословную не только от «Северно-русского рабочего союза», но и от «Народной Воли» и от раннего предвестника нашего радикализма—«неистового Виссариона».

НЕИЗВЕСТНАЯ СТАТЬЯ В. Г. БЕЛИНСКОГО.

Н. Л. Бродский.

Перечисляя в первой книжке «Отечественных Записок» 1845 г. издания, отдельно вышедшие в 1844 году, Белинский в своем обзоре «Русская литература в 1844 году», между прочим, признал «одним из блестящих приобретений литературы» этого года новое, в 9 частях, издание басен Крылова. «Но,—писал критик,—это было последнее издание при жизни маститого поэта, так же, как этот год был последним в его жизни... Крылов—сам талант огромный и человек замечательный, был ровесник русской литературе. О таком явлении можно сказать больше, нежели, сколько было о нем сказано: в следующей книжке «Отеч. Записок» мы в особой статье выполним наш долг перед Крыловым и публикою»[1]).

Белинский, действительно, исполнил свой долг: в № 2 «Отеч. Зап.» того же года, в отделе «Науки и художества» появилась статья—*Иван Андреевич Крылов*. Не включавшаяся ни в одно из собраний сочинений Белинского, ускользнувшая из внимания редактора последнего «полного» собрания сочинений Белинского—С. А. Венгерова—и новейшего исследователя литературной деятельности Белинского—Р. В. Иванова-Разумника, она лишь теперь, почти через восемьдесят лет после написания, делается доступной для всех интересующихся литературным наследием критика.

Белинский часто останавливался на Крылове, то посвящая его творчеству отдельные замечания в статьях, начиная с «Литературных мечтаний» и кончая «Взглядом на русскую литературу в 1847 г.», то касаясь изданий его басен в специальных рецензиях—иногда коротких («Отеч. Зап.», 1844, т. XXXII, библиографич. хроника, № 47, стр. 50—52), иногда значительных по объему («Отеч. Зап.», 1840, № 5). Но нигде мы не находим такой полной оценки значения поэтической деятельности Крылова, такого подробного раскрытия термина «народности», обычно прилагаемого Белинским к баснописцу, характеристики не только таланта, но и личности Крылова, обзора биографии его, как в этой статье. Она ценна, как сводка всех мнений Белинского о Крылове, высказанных им в разное время по различным поводам: здесь они собраны воедино, дают оценку писателю на широком историко-литературном фоне, утверждают роль и значимость в русской литературе баснописца в большом этюде, написанном с специальной целью—обозреть творчество «замечательного явления» русской лит. XVIII—XIX столетия. Смерть Крылова в 1844 году была лишь внешним поводом, толчком к написанию этой

[1]) «Отеч. Зап.», 1845, № 1, т. XXXVIII. Критика, стр. 31. Ср. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. IX, стр. 122.

статьи: Белинский, наверное, так или иначе откликнулся бы на новое издание его басен. Крылов—«поэт народности», «первый великий натуралист в нашей поэзии», самым фактом своего поэтического бытия давал Белинскому могучее оружие в борьбе с врагами *натуральной* школы, помогал ему в уяснении и защите принципа «народности» в желанном ему освещении, утверждал его в занятой позиции, резко враждебной к псевдо-народникам, теоретикам лженародности. Басни Крылова в новом издании были для Белинского удобным предлогом начать новую схватку с своими идейными противниками, только что бросившими по адресу его и его друзей-западников тяжкие обвинения, что все они—«не русский народ», что в них «не живет, помертвело родное чувство», что у них нет «высокой и прекрасной любви к родине», что они «страшны» России, «влюбленные в свои предательские мнения и святотатственные сны»... [1]).

Ниже мы представим доказательства, документально говорящие о принадлежности данной статьи Белинскому,—в сущности они совершенно излишни: достаточно самого беглого ознакомления с содержанием статьи, с манерой изложения, чтобы внести эти забытые страницы в собрание сочинений не кого иного из сотрудников «Отеч. Записок», как только Белинского [2]).

ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ.

В наше время *народность* сделалась первым достоинством литературы и высшею заслугою поэта. Назвать поэта «народным» значит теперь—возвеличить его. И потому все, пишущие стихами и прозою, во что бы то ни стало, прежде всего хотят быть—«народными», а потом уже и талантливыми. Но, несмотря на то, у нас, как и везде, бездарных писак гораздо больше, нежели талантливых писателей, а последних гораздо больше, нежели таких, которые были бы в одно и то же время и даровитыми и народными авторами. Причина этого явления та, что *народность* есть своего рода талант, который, как всякий талант, дается природою, а не приобретается какими бы то ни было усилиями со стороны писателя. И потому способность творчества есть талант, а способность быть народным в творчестве—другой талант, не всегда, а напротив, очень редко являющийся вместе с первым. Чего бы, казалось, легче Русскому быть Русским в своих сочинениях? А между тем Русскому гораздо легче быть в своих сочинениях даровитым, нежели *Русским*. Без таланта творчества невозможно быть народным; но, имея талант творчества, можно и не быть народным. Оставляя в стороне вопрос, был ли Ломоносов поэтом, и до какой степени был он поэтом, нельзя не признать, что

---

[1]) «К не нашим» Н. М. Языкова (1844).

[2]) Статья приведена здесь с небольшими купюрами, в соответственных местах отмеченными. Полный текст ее появится в XII томе полного собрания соч. Белинского.

его стихи были удивительны, относительно к тому времени и сравнительно с стихами всех поэтов как современных ему, так и принадлежавших даже к екатерининской эпохе, за исключением одного Державина. А между тем в громозвучных стихах Ломоносова нет ничего русского, кроме слов,—никакого признака народности. Даже в великолепных одах Державина только мгновенными искрами, и то изредка, промелькивают стихии народности. Нечего и говорить, до какой степени народны стихи Дмитриева, стихи и повести Карамзина, трагедии Озерова (из которых всего менее народности в самой народной—*Димитрии Донском*), стихотворения Батюшкова, а между тем, кто же может отрицать талант в этих писателях? После Пушкина, первого русского поэта, который был и велик и национален,—после Пушкина все пустились в народность, все за нею гонятся, а достигают ее только те, которые о ней вовсе не заботятся, стараясь быть только самими собою. И чего не делают эти рыцари народности, эти новые дон-Кихоты, которые, за тем, что им никогда не удавалось видеть в лицо дамы своего сердца, вместо ее поклялись в верности толстой простонародности—краснощекой Дульцинее,—чего не делают они, чтоб сорвать улыбку одобрения с жирных и неопрятных губ этой девы в кумачном сарафане, с насаленною косою?.. Бедные, они добровольно отрекаются в своих сочинениях от сословия, к которому принадлежат, от образованности, которою обязаны воспитанию, даже от той доли здравого смысла, которою не обделила их природа! Они тщательно прячут свой фрак под смурый кафтан и, поглаживая накладную бороду, взапуски друг перед другом копируют язык гостинодворцев, лавочных сидельцев и деревенских мужиков. «О, волны балтийские!—восклицает один из них.—*Важно и почтенно уважили вы* меня, примчавши из *немецкой нехристи* к православным берегам пароход с моим другом!» Другой восклицает к своему приятелю (называя его, ради народного эффекта, *однокашником и однокорытником*): «Молодец ты, братец ты мой, дока и удалец! Бойко и почтенно пьешь ты пенную влагу за Русь и за наше молодое буйство, ясно и восторженно бурлит в тебе бурсацкая кровь разымчивою, пьяною любовью к родине; мил ты мне, дока и буян вдохновенный!» Третий идет дальше: отуманенный пенным вдохновением, он проклинает науку, изрыгает пьяные хулы на просвещение,—и все это во имя народности, не подозревая, в простоте ума и сердца своего, что это совсем не народность, а площадная простонародность, тем более возмутительная, что она накидная, притворная, следовательно, лишенная той наивности, которая красит даже и глупость и пошлость, делая их смешными. Чем дальше в лес, тем больше дров; четвертый выкидывает новую штуку: он, в своих стихах, не прикидывается сидельцем из овощной лавки, или бурлаком с Волги, не поет гимнов пеннику, не говорит, чтоб этот напиток был для Ломоносова животворным источником вдохновения, учености и знания русского языка, не прославляет ночных оргий, буйного на словах, но трезвого на деле разгулья, ни вакханального сладострастия, которое отзывается только испорченностию фантазии, и потому холодно и гадко, как улыбка мертвых губ, приведенных в сотря-

сение вольтовым столбом,—нет, этот четвертый себе на уме—он ползет дальше, таращится выше. У него есть настолько ума, чтоб отличить простонародность, или тривиальность, от народности, и он не хочет первой, а добивается последней. Для этого он выкидывает штуку помудренее трех первых: он объявляет себя избранным свыше органом народной славы, благовествующим колоколом великой судьбы своей родины. Завидная доля! блажен, кто действительно назначен для нее природою! Но Лжедимитрии жалки и смешны не в одной политической истории: они смешны и в летописях литературы,—как это мы сейчас увидим. И вот наш непризванный и непризнанный благовестник отечественной славы начинает высиживать потовые стихи: торопиться ему нечего, и ему не беда, если к трем стихам четвертый придумается через год или через два: мозаика мыслей и стихов требует терпения и времени, как и живописная мозаика. Он избегает слов площадных, и гоняется только за словами и оборотами старого летописного языка. Главное дело: стихи были бы гладки и звучны, резали бы зрительный нерв читателя фосфорическою яркостию красок, раздражали бы его слух колокольною звучностью и озадачивали бы его ум внешнею глубокостью изысканной мысли. Что нужды, что в этих стихах нет ни одного истинно-русского, живого, теплого слова, что в них все искусственно и поддельно, и часто недостает смысла? Что нужды, что в них Русь показывается такою, какою она в действительности никогда не была, и какою она существует только в маниловской фантазии сочинителя, что в ее представлении старое и навсегда прошедшее смешивается с новым настоящим и неведомым будущим? Что нужды—ведь фантазерству закон не писан! Притом же, как бы ни был человек ограничен, он всегда найдет несколько людей еще ограниченнее самого себя, которые готовы ему удивляться и превозносить его. Эти добрые приятели могут доставить ему двойное удовольствие: и славу, правда, очень жалкую, но для дюжинной натуры все же завидную; и потеху, потому что он может и пользоваться доставленною ими славою, и под рукою смеяться над ними. Все это делается в стихах; а что еще делается в романах, повестях и драмах—Боже мой! Да об этом лучше уж и не начинать говорить: а то, пожалуй, и не кончишь!

Подобными примерами бесплодного рыцарского обожания народности богата не одна русская литература. Мы укажем на такой пример во французской литературе,—на такое же явление, только в огромном размере, и не просто комическое, но вместе с тем и трагическое. Посмотрите на Виктора Гюго: чем он был и чем он стал! Как страстно, как жадно, с какою конвульсивною энергией стремился этот человек, действительно даровитый, хоть и нисколько не гениальный, сделаться представителем в поэзии национального духа своей земли в современную нам эпоху! И между тем, как жалко ошибся он в значении своего времени и в духе современной ему Франции! И теперь еще высится в своем готическом величии громадное создание гения средних веков—Собор Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris), а тот же собор, воссозданный Виктором

Гюго, давно уже обратился в карикатурный гротеск, в котором величественное заменено чудовищным, прекрасное—уродливым, истинное—ложным... А его несчастные драмы—requiescant in pace! Франция, некогда до сумасшествия рукоплескавшая Виктору Гюго, давно сбогнала и пережила его, и забавляется тем, что он сделался теперь мишенью всех острот и насмешек. Но есть теперь во Франции поэт, который явился прежде Виктора Гюго и жив еще до сих пор: этот поэт слагал песенки, которые пелись в одно и то же время и простым народом и людьми образованных классов. Слагал он эти песенки совсем не для того, чтоб сделаться великим человеком; нет, он пел потому только, что ему пелось; и он сам себя всегда называл песенником (chansonnier), как бы думая, что титло поэта для него слишком высоко. И в самом деле, его песни давно уже пелись целым народом, людьми грамотными и безграмотными, но все смотрели на него только как на песенника—не более. И как же могло быть иначе? Ведь песня, особенно веселая и шутливая, не больше, как безделка; это совсем не то, что увесистая поэма, или роман в роде «Notre Dame de Paris»... Наполеон был из первых, которые поняли этого «песенника»: по выражению одного французского критика, Наполеон из отдаленного своего острова приветствовал *Беранже*, как царя французских поэтов... И немудрено: Наполеон не отличался особенным эстетическим вкусом, но у него было удивительное чутье, чтоб предузнать народную славу еще в ее колыбели, в какой бы сфере деятельности ни суждено было ей проявиться... И в самом деле, «песенник» скоро всеми признан был великим поэтом не одной Франции и национальнейшим поэтом самой Франции. Вся сущность национального духа Франции высказалась в песнях Беранже в самой оригинальной, в самой французской, и притом в роскошно-поэтической форме. Скромный «песенник» имел право сказать о себе:

Enfin, avouez qu'en mon livre,
Dieu brille à travers ma gaité .
Je crois qu'il nous regarde vivre,
Qu'il a beni ma pauvreté.

Всего поразительнее в параллели между Виктором Гюго и Беранже то, что первый искал славы,—и она обманула его; другой не думал о ней,—и она увенчала его своим ореолом. Такие явления нередки. Сальери Пушкина не совсем не прав, говоря, что бессмертный гений посылается не в награду самоотвержения, трудов и молений,—

А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного...

Да, народность в поэте есть такой же талант, как и способность творчества. Если надо родиться поэтом, чтоб быть поэтом, то надо и родиться народным, чтоб выразить своею личностью характеристические свойства своих соотечественников. Правда, в строгом смысле, никто, принадлежа народу, не может не быть народным; да та беда, что в одном черты народности обозначены слабо, вяло и незаметно, а другой пред-

ставляет собою хотя и резко, но зато не такие стороны народности, которыми можно было бы гордиться. Всякий Немец курит табак и ест картофель; всякий Немец тяжел и рассчетлив; но не всякий Немец—Гёте или Шиллер. Сколько на Руси найдется людей, которые умеют петухом кричать и любят в трескучие морозы окунуться в реке; но из этого еще не следует, чтоб каждый из этих людей был Суворов.

Народным делает человека его натура. Поэтому для него нет ничего легче, как быть народным. Без натуры же, как ни бейтесь—народным не будете. Скажем более: тоскливое, усильное желание быть народным есть первый признак отсутствия способности быть народным. Это бывает и в простых житейских отношениях.

Соберется на улице толпа смотреть какое-нибудь интересное для нее зрелище, и стоит между нею верзила чуть не в три аршина, и все ему видно без всякого с его стороны усилия, а подле него пялится на цыпочках какой-нибудь малорослый и, несмотря на все свои усилия, ничего не может увидеть. С завистью и невольным уважением смотрит он на великана, как будто бы вменяя ему в великую заслугу его рост, в котором тот нисколько не виноват и от которого он иной раз стонет и охает, когда ему приходится шить на себя платье, или не удается увернуться от удара, который метче падает на высокое, нежели на низкое.

Самоотвержение, труд, наука имеют свойство развивать и улучшать данное природою: это благотворный дождь, падающий на семя; но если нет семени, дождь производит не плодородие, а только грязь. Есть счастливые натуры, которым даже даром дается все то, чего другие, более бедные натуры, и трудом получить не могут. Вот эти-то счастливые баловни природы иногда проживают всю жизнь свою, почти не догадываясь о своем значении и беспечно, лениво пользуясь славою, которая далась им даром. К таким натурам принадлежал наш Крылов.

Так как способность быть народным есть своего рода талант, то она имеет свои бесконечные степени, подобно всякому таланту. Тут есть таланты обыкновенные и великие, есть гении. Это зависит от степени, в которой известная личность выражает собою дух своей нации. Организация одного вмещает в себе лучшие, высшие стороны национального духа; организация другого обнимает собою менее характеристические стороны народности; один выражает собою многие, другой весьма немногие стороны субстанции своего народа. Оттого в поэтах, со стороны народности, такая же разница, как и в поэтах со стороны таланта. Пушкин поэт народный, и Кольцов поэт народный,—однакожь, расстояние между обоими поэтами так огромно, что как-то странно видеть их имена, поставленные рядом. И эта разница между ними заключается в объеме не одного таланта, но и самой народности. В том и другом отношении Кольцов относится к Пушкину, как бьющий из горы светлый и холодный ключ относится к Волге, протекающей большую половину России и поящей милльоны людей. Но во всяком случае, качество *народности* есть великое качество в поэте: и Кольцов переживет многих поэтов, которые пользовались несравненно-высшею против него сла-

вою, но которые не были народны. Народный поэт есть явление *действительное*, в философском значении этого слова; если-б даже поэтический талант его был не огромен, он всегда опирается на прочное основание—на натуру своего народа, и во внимании к нему выражается акт самосознания народа. Поэт же, талант которого лишен национальной струи, всегда, более или менее, есть явление временное и преходящее: это дерево, сначала пышно раскинувшее свои ветви, но потом скоро засохшее от бессилия глубоко пустить свои корни в почву. Поэтому народность в поэте есть своего рода *гениальность*, не всегда в смысле глубины и многосторонности, но всегда в смысле оригинальности. В самом деле, что же составляет первую, самую резкую черту гения, если не эта особенность, не эта оригинальная самобытность, которая всегда открывает своею деятельностью совершенно новую сферу мысли, которую талант, по следам гения, только разрабатывает, но под оригинальную форму которой он не может подделаться?..

Нет нужды доказывать, что между народностью поэзии Крылова и народностью поэзии Пушкина такая же огромная разница, как и вообще между поэзией Крылова и поэзией Пушкина. Мы не сочли бы за нужное и упоминать об этом, если-б не знали, что в нашем литературном мире есть особенного рода «ценители и судьи», которые, радуясь случаю объявить себя задушевными друзьями умершего поэта (благо, уже он не может изобличить их в клевете!), готовы поставить его выше всякого другого, к которому им никак нельзя набиться в дружбу, даже и после его смерти. Несмотря на то, что все точные определения сравнительных величин писателей немножко отзываются детством,—мы, тем не менее, чувствуем необходимость прибегать к подобным определениям, зная, что большинство нашей публики, еще не установившееся в самостоятельном литературном вкусе, нуждается в них. Один из так называемых критиков объявил же некогда, что если-б ему нужно было унести с собою в кармане все, что есть лучшего в русской литературе,—он взял бы *только* басни Крылова и «Горе от Ума» Грибоедова. В большинстве нашей публики всякое мнение находит себе доследователей, и потому у нас не мешает чаще повторять истины в роде той, что дважды-два—четыре. И потому обратимся к сравнениям. Если мы сказали, что поэзия Кольцова относится к поэзии Пушкина, как родник, который поит деревню, относится к Волге, которая поит более, чем половину России,—то поэзия Крылова, и в эстетическом и в национальном смысле, должна относиться к поэзии Пушкина, как река, пусть даже самая огромная, относится к морю, принимающему в свое необъятное лоно тысячи рек, и больших и малых. В поэзии Пушкина отразилась вся Русь, со всеми ее субстанциальными стихиями, все разнообразие, вся многосторонность ее национального духа. Крылов выразил—и надо сказать, выразил широко и полно одну только сторону русского духа—его здравый практический смысл, его опытную житейскую мудрость, его простодушную и злую иронию. Многие в Крылове хотят видеть непременно баснописца; мы видим в нем нечто большее. Басня только форма; важен тот дух, который точно

так же выражался бы и в другой форме. Говоря о Хемницере и Дмитриеве, говорите о басне и баснописцах. Басни Крылова, конечно—тоже басни, но сверх того еще и нечто больше, нежели басни... Объясним нашу мысль сравнением. Дмитриев написал около семидесяти басен, и многие из них прекрасны. Но в чем состоит их главное достоинство?—В хороших (по тому времени) стихах и в наставительности, полезной и убедительной—для детей. Лучшею баснью Дмитриева была признана тогдашними словесниками басня *Дуб и Трость*, переведенная или переделанная им из Лафонтена. Крылов тоже перевел и переделал эту басню, и общее мнение справедливо признало пьесу Дмитриева лучшею. Но что же в этой басне?—Доказательство, что сильные погибают скорее, нежели слабые, потому что первые стоят на высоте, подверженные всем ударам бурь, а последние, на своих низменных местах, спасаются от ветра способностью гнуться. Справедливо и морально, но опять-таки только для детей! Взрослые люди не по басням учатся нравственной философии: в наше время и четырнадцатилетнего мальчика не очень убедишь такою баснею. Вот еще одна из лучших басен Дмитриева:

О, дети, дети, как опасны ваши лета! и т. д.

Вот вам и *басня!* Если вы не знаете, как опасны детские лета и что по виду не должно делать заключения,—вам полезно будет даже выучить ее наизусть. А вот одна из лучших басен Крылова:

Крестьянин позвал в суд Овцу, и т. д.

Мы привели эти две басни совсем не для решения вопроса, который из двух баснописцев выше: подобный вопрос и не в наше время был уже смешон. Кумовство и приходские отношения некогда старались даже доставить пальму первенства Дмитриеву; тогда это было забавно, а теперь было бы нелепо. Мы привели эти две басни, чтоб показать, что басни Крылова—не просто басни, это повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира,—словом, что хотите, только не просто басня. Басен в *таком роде* немного у Дмитриева: *Мышь, удалившаяся от света, Лиса Проповедница, Муха и Прохожий*,—всего пять; из них особенно хороша вторая; но ни в одной из них нет этих руссизмов и в языке и в понятиях, потому что галлицизмы или руссизмы бывают не в одном языке, но и в понятиях: Француз по-своему смотрит на вещи, по-своему схватывает их смешную сторону, по-своему анализирует, Русский—по-своему. Вот этим-то уменьем, чисто по-русски смотреть на вещи и схватывать их смешную сторону в меткой иронии, владел Крылов с такою полнотою и свободою. Об языке его нечего и говорить: это неисчерпаемый источник руссизмов; басни Крылова нельзя переводить ни на какой иностранный язык; их можно только переделывать, как переделываются для сцены Александрынского театра французские водевили; но тогда,—что же будет в них хорошего? Множество стихов Крылова обратилось в пословицы и поговорки, которыми часто можно окончить спор и доказать свою мысль лучше, нежели какими-нибудь теоретическими доводами. Не как пред-

положение, но как истину, в которой мы убеждены, можем сказать, что для Грибоедова были в баснях Крылова не только элементы его комического стиха, но и элементы комического представления русского общества. В приведенной нами басне—*Крестьянин и Овца*, эти элементы очевидны, в ней нет никакой морали, никакого нравоучения, никакой сентенции; это просто—поэтическая картина одной из сторон общества, маленькая комедийка, в которой удивительно верно выдержаны характеры действующих лиц, и действующие лица говорят каждое сообразно с своим характером и своим званием. Кто-то и когда-то сказал, что «в баснях у Крылова медведь—русский медведь, курица—русская курица»: слова эти всех насмешили, но в них есть дельное основание, хотя и смешно выраженное. Дело в том, что в лучших баснях Крылова нет ни медведей, ни лисиц, хотя эти животные, *кажется*, и действуют в них, но есть люди, и притом русские люди. Выше мы привели басню Крылова без морали и сентенции, а теперь выпишем басню с моралью и сентенциями:

«Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки?»
Лисицу спрашивал Сурок.
«Ох, мой голубчик куманек!
Терплю напраслину и выслана за взятки.
Ты знаешь, я была в курятнике судьей,
Утратила в делах здоровье и покой,
В трудах куска не доедала.
Ночей не досыпала:
И я ж за то под гнев подпала;
А все по клеветам. Ну, сам подумай ты:
Кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы?
Мне взятки брать? Да разве я взбешуся!
Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся,
Чтоб этому была причастна я греху?
Подумай, вспомни хорошенько».
— «Нет, кумушка; а видывал частенько,
Что рыльцо у тебя в пуху».

Ссылаемся на здравое суждение наших читателей и спрашиваем их: много ли стихов и слов нужно переменить в этой басне, чтоб она целиком могла войти, как сцена, в комедию Грибоедова, если-б Грибоедов написал комедию—*Взяточник*? Нужно только имена зверей заменить именами людей, да переменить последний стих, из уважения к взяточникам, которые хоть и плуты, но все же имеют лицо, а не рыльцо... Это—басня, а вот ее мораль, ее сентенции:

Иной при месте так вздыхает,
Как-будто рубль последний доживает.
И подлинно: весь город знает,
Что у него ни за собой,
Ни за женой,—
А смотришь, по-маленьку
То домик выстроит, то купит деревеньку.
Теперь, как у него приход с расходом сведть,

Хоть по суду и не докажешь,
А как не согрешишь, не скажешь,
Что у него пушок на рыльце есть?

Если хотите, это мораль, потому что всякая сатира, которая кусается, богата моралью, но в то же время это новая басня, которую опять можно принять за монолог из грибоедовской комедии. Есть люди, которые с презрением смотрят на басню, как на ложный род поэзии, и потому не хотят ценить высоко таланта Крылова. Грубое заблуждение! Вольтер прав, сказав, что все роды поэзии хороши, кроме скучного... и не современного, прибавим мы. Басня, как нравоучительный род поэзии, в наше время—действительно ложный род; если она для кого-нибудь годится, так разве для детей: пусть их и читать приучаются, и хорошие стихи заучивают, и набираются мудрости, хотя бы для того, чтоб после над нею же трунить и острить. Но басня, как *сатира*, есть истинный род поэзии. Конечно, не только превосходная басня, но и целое собрание превосходных басен, может - быть, далеко не то, что одна такая комедия, как *Горе от Ума*, однакожь, во-первых, всякому свое, и каждый талант пусть идет своею дорогою; во-вторых, как мы заметили выше, басня может заключать в себе элементы высших родов поэзии, как, например, комедии; а в-третьих, сама басня, так, как она есть, не может быть заменена никаким другим родом, как бы он ни был выше ее. Если *Горе от Ума* выше каждой басни и, пожалуй, выше всех басен Крылова,— от этого басня *Крестьянин и Овца* нисколько не теряет свойственного ей достоинства и вполне остается превосходным произведением. В этом отношении выражение Вольтера: «все роды поэзии хороши, кроме скучного», получает глубокий смысл. Нравоучительная басня, уже по самой своей сущности, скучный род, и тратить на нее талант, все равно, что стрелять из пушек по воробьям. Но басня, как сатира, была и всегда будет прекрасным родом поэзии, пока будут являться на этом поприще люди с талантом и умом. Роды поэзии всегда были и всегда будут одни и те же: они изменяются, сообразно с национальностями и эпохами, в духе и направлении, но не в форме. Трагедия—везде трагедия: и в древней Индии, и в древней Греции, и у Французов XVII века, и у Англичан XVI, и у Немцев XVIII и XIX века; но трагедия Индийцев не то, что трагедия Греков, трагедия древних Греков—не то, что трагедия Корнеля и Расина; классическая французская трагедия—не то, что трагедия Шекспира, а трагедия Шекспира—не то, что трагедия Шиллера и Гёте. Между тем каждая из этих трагедий хороша сама по себе и по своему времени, но ни одна из них не может назваться вечным типом, и трагедия самого Шекспира для нашего времени так же не годится, как трагедия Расина... не в том смысле не годится, чтоб ее теперь нельзя было читать—Боже нас сохрани от такой варварской мысли!—но в том, что современную нам действительность невозможно изображать в духе и форме шекспировской драмы. То же можно сказать и о басне. Езоп не годится для нашего времени. Выдумать сюжет для басни теперь ничего не стоит, да и выдумывать не нужно: берите готовое, только умейте *рассказать и применить*.

Рассказ и цель—вот в чем сущность басни; сатира и ирония—вот ее главные качества. Крылов, как гениальный человек, инстинктивно угадал эстетические законы басни. Можно сказать, что он создал русскую басню. И его инстинктивное стремление потом перешло в сознательное убеждение... [1]).

В 1811 году вышло второе исправленное издание басен, и в том же году издание новых басен; затем следовали издания 1815 и 1819 года. В двадцатых годах книгопродавец Смирдин купил у Крылова, за 40.000 рублей ассигнациями, право на издание его басен в продолжение десяти лет. С тех пор, до настоящей минуты, число экземпляров басен Крылова давно уже перешло за тридцать тысяч (считая в том числе и издание 1843 года, последнее, сделанное самим Крыловым). А сколько еще должно быть изданий этих басен! Число читателей Крылова беспрерывно будет увеличиваться по мере увеличения числа грамотных людей в России. Басни его давно уже выучены наизусть образованными и полуобразованными сословиями в России; но со временем его будет читать весь народ русский. Это—слава, это—триумф! Из всех родов славы, самая лестная, самая великая, самая неподкупная слава народная. Некто из фельетонных критиков, обрадовавшись случаю набиться в дружбу умершему Крылову, назвал его всемирным поэтом,—поэтом человечества; мы этого не скажем... Крылов—поэт русский, поэт России; мы думаем, что для Крылова довольно этого, чтоб иметь право на бессмертие, и что нельзя увеличить его великости, и без того несомненной, ложными восторгами и неосновательными похвалами...

Не будем распространяться в подробностях о частной жизни Крылова. Как скоро, где публичность не в обыкновении и не в правах,—там толки о неприкосновенной личности частного человека всегда подозрительны и никогда не могут быть приняты за достоверные. От того-то подобные толки напоминают всегда басню Крылова, в которой паук, прицепившись к хвосту орла, взлетел с ним на вершину Кавказа, да еще расхвастался, что он, паук, приятель и друг ему, орлу, и что он, паук, больше всего любит правду... Личность Крылова вся отразилась в его баснях, которые могут служить образцом русского *себе-на-уме*,—того, что Французы называют arriére-pensée. Человек, живой по натуре, умный, хорошо умевший понять и оценить всякие отношения, всякое положение, знавший людей,—Крылов, тем не менее, искренно был беспечен, ленив и спокоен до равнодушия. Он все допускал, всему позволял быть как оно есть, но сам ни подо что не подделывался, и в образе жизни своей был оригинален до странности. И его странности не были ни маскою, ни расчетом, напротив, они составляли неотделимую часть его самого, были его натурою. Любо было смотреть на эту седую голову, на это простодушное, без всяких притязаний величавое лицо: точно, бывало, ви-

[1]) Далее Белинский на стр. 72—80 размечает басни Крылова на три разряда с их перечнем в каждом разряде, сообщает биографические подробности о баснописце, приводит оду Крылова 1790 года. Несколько биографических деталей дано также на стр. 81 «Отеч. Записок».

дишь перед собою древнего мудреца,—и этого впечатления не разрушала ни трубка, ни сигарка, не выходившая из рта его. Хорош был этот старик-младенец, говорил ли он, или молчал: в речи его было столько спокойствия и ровности, а в молчании так много говорило спокойное лицо его...

Талант Крылова доставил ему много покровителей и связей; он сблизил его с А. Н. Олениным, в доме которого Крылов был принят как родной. В А. Н. Оленине любил он и друга и человека своего времени; удивительно ли, что с его смертью Крылов осиротел совершенно? Вокруг него волновались уже все новые поколения; Крылов видел их любовь и внимание к нему, но своего, родного, близкого к сердцу он уже не видел нигде, и не с кем было ему перемолвить о том времени, в которое он был молод... Кто не желал бы видеть всегда живым и здоровым этого исполненного дней и славы старца? Кому не грустна мысль о том, что уже нет его?—но эта грусть светла, в ней нет страдания: *дедушка Крылов* заплатил последнюю и неизбежную дань природе; он умер, вполне свершив свое призвание, вполне насладившись заслуженною славою. Смерть для него была не несчастьем, а успокоением, может-быть, давно желанным... Он умер в прошлом году, ноября 3, на 77 году от рождения [1]).

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Мысли, высказанные Белинским в этой статье, не новы: критик не раз повторял их в своих статьях до 1845 года и позднее. И в общих соображениях теоретического характера, и в отдельных замечаниях о тех или иных писателях статья о Крылове часто лишь повторяет излюбленные мнения Белинского, иногда заостряя их, резче подчеркивая, местами облекая их в новую форму, а временами даже буквально совпадая с статьями, ранее написанными.

Отметим прежде всего те элементы, из которых слагается оценка Крылова, как баснописца, и сопоставим все эти места в данной статье с другими статьями Белинского:

1) По мнению автора вышеприведенной статьи, Крылов «создал русскую басню»; говорить о сравнении его таланта с дарованиями Хемницера и Дмитриева—«смешно, нелепо». Еще в «Литературных мечтаниях» Белинский писал, что «Крылов возвел у нас басню до nec plus ultra совершенства. Нужно ли доказывать, что это гениальный поэт русский, что он неизмеримо возвышается над всеми своими соперниками?»,а в 1840 г повторил ту же мысль, сказав, что «истинным своим торжеством на святой Руси басня обязана Крылову. Он один у нас истинный и великий

[1]) Статья оканчивается официальным объявлением о подписке на памятник Крылова, присланным в редакцию «Отеч. Зап.» из канцелярии мин. нар. просв. После текста объявления, занимающего 82—84 стр., автор статьи приписал: «Мы уверены, что в России не останется ни одного грамотного человека, который не принял бы участия в этом истинно-национальном деле».

баснописец: все другие, даже самые талантливые, относятся к нему, как беллетристы к художнику» [1]).

2) Автор статьи высоко ставит Крылова потому, что Крылов—«народный поэт», что он выразил «широко и полно» одну из сторон русского духа—«его здравый практический смысл, его опытную житейскую мудрость, его простодушную и злую иронию».

Белинский в 1840 году писал о баснях Крылова: «Басни Крылова, кроме поэзии, имеют еще другое достоинство, которое, вместе с первым, заставляет забыть, что они—басни, и делает его великим русским поэтом: мы говорим о народности его басен. Он вполне исчерпал в них и вполне выразил ими целую сторону русского национального духа; в его баснях, как в чистом, полированном зеркале отражается русский практический ум, с его кажущейся неповоротливостью, но и с острыми зубами, которые больно кусаются, с его сметливостью, остротою и добродушно-саркастическою насмешливостью, с его природною важностью взгляда на предметы... В них вся житейская мудрость»... [2]).

3) Автор статьи ценит в баснях Крылова их поэтичность, образность, видит в них сложное художественное произведение: «Басни Крылова—не просто басни: это повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира,—словом, что хотите, только не просто басня... Крестьянин и Овца—это поэтическая картина одной из сторон общества, маленькая комедийка, в которой удивительно верно выдержаны характеры действующих лиц».

Белинский в рецензии 1840 года о новом издании басен Крылова писал то же самое: «Басня не есть аллегория и не должна быть сю, если она хорошая, поэтическая басня; но она должна быть маленькою повестью, драмою, с лицами и характерами, поэтически очерченными. Самые олицетворения в басне должны быть живыми поэтическими образами. Так, у Крылова всякое животное имеет свой индивидуальный характер... Столкновение этих существ у Крылова всегда образует маленькую драму, где каждое лицо существует само по себе и само для себя, а все вместе образуют собою одно общее и целое» [3]).

4) Автор статьи видит в баснях Крылова «неисчерпаемый источник руссизмов»; Белинский в отмеченной рецензии тоже указывает на «неисчерпаемое богатство... руссизмов, составляющих народную физиономию языка» басен Крылова [4]).

5) Автор статьи выражает убеждение, что «для Грибоедова были в баснях Крылова... элементы его комического стиха»; по мнению Белин-

---

[1]) Полное собрание сочинений Белинского, т. V, стр. 263.

В 1844 г. Белинский писал: «Было время, когда не умели решить, кто выше—Хемницер или Крылов, и было время, когда Дмитриева (И. И.), как баснописца, считали выше Крылова. Время это давно прошло, и теперь, умея ценить по достоинству Хемницера и Дмитриева, все знают, что Крылов неизмеримо выше их обоих» («Отеч. Зап.», т. XXXII, библиограф. хроника, стр. 50); в «Отеч. Зап.», 1843 г., т. XXVIII, 6 кн. («Сочинения Александра Пушкина», I). Белинский писал: «Крылов далеко оставил за собою и Хемницера и Дмитриева, и достиг в басне возможного совершенства».

[2]) Том V, стр. 265. Ср. еще в «Отеч. Зап.», 1844, т. XXXII, стр. 50: «Иван Андреевич Крылов больше всех наших писателей кандидат на никем еще не занятое на Руси место «народного поэта»; в «Отеч. Зап.», 1843, т. XXVIII, № 6 («Сочинения Александра Пушкина», 1): «Басни Крылова—сокровищница русского практического смысла, русского остроумия и юмора, русского разговорного языка; они отличаются и простодушием и народностью. Крылов—вполне народный писатель».

[3]) Том V, стр. 264.

[4]) Том V, стр. 265.

ского, «язык басен Крылова есть прототип языка «Горе от Ума» Грибоедова [1]).

6) Автор статьи с восхищением говорит, что «в лучших баснях Крылова нет ни медведей, ни лисиц, хотя эти животные, *кажется*, и действуют в них, но есть люди, и притом русские люди». Белинский в известной нам рецензии 1840 года также писал, что в лучших баснях Крылова (в 7 и 8 книгах) «герои-люди, именно все православный люд; даже и звери в этих баснях как-то больше, чем бывало прежде, похожи на людей» [2]); в 1848 году Белинский оставался верным когда-то высказанному мнению, заявляя: «Посмотрите, как натуральны животные (Крылова): это настоящие люди, с резко очерченными характерами, и притом люди русские, а не другие какие-нибудь» [3]).

7) Автор статьи выражает уверенность, что «число читателей Крылова беспрерывно будет увеличиваться по мере увеличения числа грамотных людей в России... со временем его будет читать весь народ русский. Это—слава, это—триумф».

Белинский в 1840 году заканчивал свою рецензию той же уверенностью. «Честь, слава и гордость нашей литературы, Крылов имеет право сказать: «Я знаю Русь, и Русь меня знает»... Слава Крылова будет расти и пышнее расцветать до тех пор, пока не умолкнет звучный и богатый язык в устах великого и могучего народа русского» [4]).

Указанные сопоставления позволяют утверждать, что автором статьи о Крылове мог быть только Белинский: оценка гения Крылова, определение свойств его дарования, уяснение исторического и художественного значения Крылова—все это в приведенной выше статье обвеяно не раз выраженными взглядами Белинского... И другие места этой статьи невольно заставляют вспоминать страницы того же критика: сравнение Пушкина с морем, принимающим в свое необъятное лоно тысячи и больших и малых рек, высказано было Белинским за год до этой статьи: «Все предшествовавшие Пушкину поэты... относятся к нему, как малые и великие реки— к морю, которое наполняется их водами. Поэзия Пушкина была этим морем» [5]); взгляд на Пушкина, как «на первого русского поэта, который был и велик и национален», один из самых устойчивых, излюбленных взглядов Белинского: «Пушкин был первым русским поэтом-художником... Общий голос нарек его русским национальным, народным поэтом»,—вот самые обычные строки в статьях Белинского о Пушкине [6]); резкая оценка В. Гюго, его романа («Notre Dame de Paris»), и в особенности драм, совершенно совпадает с тем, что Белинский писал в 1844 году по поводу его пьесы «Les Burggrafs», переведенной на русский язык под названием «Предок и потомки»: «Имя Гюго возбуждает теперь во Франции общий смех, а каждое новое его произведение встречается и провожается там хохотом... Его пресловутый роман «Notre Dame de Paris», этот целый океан диких, изысканных фраз... на первых порах показался гениальным произведением... Но... все скоро поняли, что смелость и дерзость странного, безобразного и чудовищного—означают не гений, а раздутый талант, и что изящное просто, благородно и не натянуто. Гюго писал драму за драмой, и последняя всегда выходила у него

---

[1]) Том V, стр. 266. Сравни: «баснописец Крылов... приготовил язык и стих для бессмертной комедии Грибоедова» («Взгляд на русскую литературу 1846 года»).

[2]) «Отеч. Зап.», 1844, т. XXXII, библиогр. хроника, стр. 51.

[3]) «Взгляд на рус. лит. в 1847 году».

[4]) Том V, стр. 266.

[5]) «Отеч. Зап.», 1844, т. XXXII. Критика, стр. 54.

[6]) «Отеч. Зап.», 1844, т. XXXII, «Сочинения Александра Пушкина».

хуже предыдущей» [1]); характеристика Беранже-поэта «песенника» (chansonnier), впервые понятого Наполеоном: «по выражению одного французского критика, Наполеон из отдаленного своего острова приветствовал *Беранже*, как царя французских поэтов»—почти буквально была дана Белинским за несколько лет до появления статьи о Крылове: «Французский *песенник* (Chansonnier de France) Беранже... его легкие песни, как электрические искры, потрясают Францию от одного конца до другого, — и его (по прекрасному выражению Жюль-Жанена) Наполеон из глубины своего гроба приветствовал царем поэтов» [2]).

Здесь уместно остановиться, чтоб более не возвращаться к вопросу об авторстве статьи «Иван Андреевич Крылов»: приведенные параллели из сочинений Белинского говорят сами за себя.

Следует перейти к начальным страницам статьи, раскрыть намеки, псевдонимы тех «рыцарей народности», которых клеймит Белинский: за образами четырех лженародников—читатель чувствует—скрыты живые лица, современники автора статьи; они особенно ему неприятны, как символы враждебной идеологии и как люди, лично его задевавшие...

Кто - ж они? В кого бросал Белинский стрелы своего сарказма, своего негодования?

Первая фигура—барина, тщетно старающегося стать по виду простонародным, *прячущего свой фрак под смурый кафтан и поглаживающего накладную бороду*—легко установима: это Н. М. Языков, поэт, не раз писавший стихотворные доносы на Чаадаева, Грановского и всю группу западников. Белинский повторил в применении к нему те же слова, что были обращены им в статье «Русская литература в 1844 году» («Отеч. Зап.», 1845, том XXXVIII) прямо по адресу Языкова, который, «являясь в печати, старается *закрыть свой фрак зипуном, поглаживает свою накладную бороду* и, чтоб ни в чем не отстать от народа, так и щеголяет в своих стихах и грубостью чувств и выражений. По его мнению, это значит быть *народным!* Хороша народность!» (стр. 20). Характерно, что Белинскому давно полюбились подчеркнутые фразы; всякий раз, когда ему надо было указать, что поэты не крестьянского происхождения не могут писать простонародно, он употреблял одни и те же выражения: еще в 1835 г. Белинский говорил, что поэт-дворянин, сколько бы ни подделывался под тон и лад русских сказок, всегда останется с своими подделками, «*из-за зипуна всегда будет виднеться ваш фрак*» (Сочинения, под ред. С. А. Венгерова, т. II, стр. 71); в 1838 г., говоря по тому же вопросу, Белинский снова сказал, что поэты, не рожденные в простонародной сфере, «только *надевают* на себя *накладную бороду и кафтан*, но не делаются народными поэтами: из-за *смурого зипуна* виднеются *фалды фрака*» (т. III, стр. 449). Речь этого персонажа в статье Белинского соткана из цитат двух стихотворений Языкова. «О, волны балтийские! *важно и почтенно уважили вы меня*» — заимствовано Белинским из стих. «Песня балтийским водам» (1841):

... Балтийские воды...
В те страшные дни роковой непогоды
Почтенно уважили вы
Елагиных: вы их на невские воды
Примчали...

[1]) Том VIII, стр. 452—453. Ср. еще «Отеч. Зап.», 1845, т. XXXVIII, Критика, стр. 10,12. («Русская литература в 1844 году»).

[2]) Том V, под ред. С. А. Венгерова, стр. 282. («Отеч. Зап.», 1841 г.). См. еще III, 448, и в статье 4 и 3 строка снизу на стр. 64.

Выражение *«из немецкой пехристи»* критик вспомнил из стихотворения «Н. В. Гоголю»:

Благословляю твой возврат
Из этой пехристи немецко
На Русь...

Второй образ труднее расшифровать. Это кто-то из приятелей Языкова, обратившийся к нему с стихотворным посланием типа пушкинского послания к Языкову. В том же XXXVIII томе, где напечатана статья о Крылове, Белинский в своем обзоре русской литературы за 1844 год припоминает пушкинское обращение к Языкову и влагает в уста своего противника несколько слов из этого стихотворения (*«буйство молодое»*, «она *разымчива, пьяна*»). В третьем персонаже статьи Белинского можно видеть редактора «Москвитянина» Шевырева, известного своими резкими выпадами против европейской науки и слепо писавшего о благодати древнерусской «самобытной» жизни. Характеризуя четвертого, Белинский вспомнил одного поэта, в котором славянофильский стан одно время видел восходящую литературную силу, пришедшую из низов: это был Е. Милькеев, сибиряк, незадолго перед этим (1842) выпустивший сборник стихотворений, в одном из которых—«Русскому вину»—«взяв (по словам Белинского) за основание неопределенно и темно понятую мысль о народности, довел ее до последней нелепости, начав воспевать, восторженными стихами, русскую сивуху и доказывать, что Ломоносов от того только и сделался преобразователем русского слова, что имел несчастную страсть невоздержности, которую московский поэт поставил ему в великую заслугу»... (Сочинения, т. VIII, стр. 381). [1])

Достаточно прочесть резкую, развенчивавшую Хомякова, как поэта и мыслителя, характеристику, сделанную Белинским в том же XXXVIII томе «Отеч. Зап»., в статье «Русская литература в 1844 году» (стр. 23—30), чтобы безоговорочно признать, что четвертый противник Белинского, зло зачерченный им в статье о Крылове, не кто иной, как глава славянофильской партии А. С. Хомяков.

Итак, вот кого имел в виду Белинский, говоря о фантастах народности, подменяющих подлинно народное или своими барскими выдумками или ложными невежественными воззрениями.

Статья Белинского, заряженная едкими личными намеками, была сразу понята теми, против кого была направлена. Яркий памфлет, она слишком сильно била, уничтожая поэтические репутации одних, зачисляя в ряды «темных людей» других, всем указывая ложь и искусственность их жизни и писаний.

Быстро откликнулся на статью Белинского Н. М. Языков, задетый и лично и за своего друга Хомякова, и за весь желанный ему круг идей и людей.

Я полагаю, что в «Послании к Хомякову», написанном в том же 1845 году, что́ и статья Белинского, Языков имел в виду, как главного врага славянофильского лагеря, именно Белинского; за эту статью отмстил он критику, дав общую характеристику его деятельности:

... Тебе, возвышенный поэт
И словопрозник достославный,
Желаю много, много лет
Стихом и прозой красоваться,

[1]) См. об Е. Милькееве брошюру Марка Азадовского „Неизвестный поэт - сибиряк". Чита. 1922.

И весть красою чистых дел!
Враги-ж твои все сокрушатся,
Все, все...
Да уничтожатся тобою
И общий наш недоброхот,
Творец бессмыслиц вопиющих,
Он тот преследователь блох,
Явлений сущих и сосущих
Тот юморист-идеалог,
Всегда водяный и туманный,
Почтенный сеятель клевет,
Начальник шайки бесталанный
И он и весь его совет,
И нечестивый и беспутный
И вся их заморская голь,
Все пропади, как бред минутный,
Как мерзкий сон, как сор и пыль...

Это стихотворение вместе с другими «поэтическими» опытами Языкова (особенно «К не нашим») живо рисует общественную атмосферу 40-х годов, пору журнальных и кружковых схваток, и наглядно подчеркивает, как считались с Белинским его идейные враги. Неистовый Виссарион был в их глазах «начальником шайки», главой «нечестивого совета». В истории борьбы западников и славянофилов опубликованная статья Белинского должна занять видное место, как резкий памфлет, насыщенный прозрачными намеками на тех живых лиц, которые—казалось ему—пытались затормозить ход народной жизни, повернуть на старую азиатскую дорогу, которые видели свой идеал не в новой европеизирующейся России, но в душном склепе допетровской домостроевщины.

От редакции: Статья В. Г. Белинского напечатана нами по новой орфографии с соблюдением транскрипции, характерной для того времени.

В ЗЕРЦАЛЕ ГАДАНИЯ.

(О романе Т.-Серстевенса: «Семеро среди народа»).

А. Луначарского.

I.

Мне несколько раз приходилось говорить о настроениях современной германской интеллигенции, поскольку о ней можно судить по значительному количеству литературы, которую я получаю и просматриваю.

Конечно, в странах победоносных интеллигенция настроена несколько иначе, но можно было заранее предполагать, что и в этих странах имеется известная прослойка интеллигенции, которая не может так просто простить всех ужасных бедствий войны, которая не может не сознавать глубокой болезни, гложущей наше общество, и которая, таким образом, не вовлечена в тот же ураган ненависти к буржуазному строю, который так характерен для германской интеллигенции в ее активной молодой части.

Помимо наличности интеллигентов-коммунистов, о которых я здесь говорить не хочу, близкая к коммунизму группа Барбюса и почти вплотную примыкающие к ней левые пацифисты уже сами по себе характеризуют существование во Франции подобных же течений.

Мне приходилось также констатировать, что лишь очень немногие из немецкой анти-буржуазной интеллигенции находят настоящий, четкий путь критики буржуазии и еще в гораздо меньшей степени исход из кризиса, столь остро ими сознаваемого.

То же относится, конечно, и к французской, а, вероятно, и ко всякой другой интеллигенции анти-буржуазного типа.

Огромное количество идеалистических и индивидуалистических предрассудков и вывихов мысли и чувства так искажают душу современного интеллигента, что он воспринимает болезнь века лишь криво, в странном преломлении, что светлые, хотя и тяжкие пути к спасению рисуются ему сквозь какой-то туман, в перепутанном мерцающем виде, что он, словом, зрит и настоящее и грядущее по выражению апостола Павла, «как в зерцале гадания». Надо быть коммунистом, чтобы видеть их «лицом к лицу».

Но когда мы имеем дело с талантливой юностью, то подобное отражение в зерцале гадания, особенности его, его тенденции могут представлять для нас глубочайший интерес. Во-первых, они позволяют заглянуть в душу самой этой интеллигенции, которую не следует смахивать со счетов: в решительный момент она может быть важным для нас союзником. Во-вторых, если четкость мысли всегда в этих случаях отсутствует, то ясность чувства, зажигательность образов порою могут быть очень велики.

Наконец, могут попадаться даже отдельные страницы в литературных произведениях, отдельные полотна или музыкальные порывы, которые целиком более или менее приемлемы для нас.

Так обстоит дело и с молодым романистом Т.-Серстевенсом. Это—еще начинающий писатель. Его перу, насколько мне известно, принадлежат только три романа : «Апостолат», в котором довольно талантливо описывается судьба интеллигента, взявшего на себя крест служения народу, но соблазнившегося роскошно-культурной жизнью, возможность которой ему представилась, и с разными фиглями и миглями, всякого рода самообманом и самооправданием отошедшего от слишком непосильной задачи. Однако, роман «Апостолат» не представляет собою ничего исключительного и останавливаться на нем я не считаю нужным.

Недавно Т. Серстевенс выпустил новый роман «Танцующий бог». Что это такое—я не знаю.

Между своими этими романами лежит его произведение «Семеро среди народа». Это—в высшей степени оригинальная вещь, насколько я могу судить, не достаточно оцененная французской критикой. То, что мне пришлось читать об этом романе, как-то поверхностно, смутно, словно критика сама несколько теряется перед лицом этого очень непохожего по замыслу, тенденции и исполнению на обычные типы французской литературы произведения.

Роман этот, будучи в высокой мере талантливым, в то же самое время является типичным произведением анти-буржуазного интеллигента, зрящего болезнь века и пути к спасению от нее в зерцале гадания.

Я хочу дать здесь разбор этого романа, познакомить вместе с тем русскую публику с его содержанием, не останавливаясь перед некоторыми более или менее длинными цитатами, которые вряд ли могут надоесть читателю в виду своей, на мой взгляд, несомненной художественности.

II.

Автор с самого начала предупреждает, что «согласно вкуса читателя он может считать его произведение античным, или современным». Я не думаю, чтобы это было так. Т.-Серстевенс, правда, старается сделать свой роман современным. Он не носит ярко бытовых черт современности, но его никак нельзя втиснуть в античный мир. Это своего рода экспериментальный фантастический мир.

Т.-Серстевенс создает для себя особую культуру, особый город, в котором отражается и какой-то Эфесс с его знаменитой Дианой и современный Париж, в котором в более или менее чистом виде, однако, отнюдь не абстрактном, живут социальные противоречия общества, основанного на собственности и авторитете.

«Город» Т.-Серстевенса—торговый городской порт, одним из главных источников пышной жизни которого является храм великой богини, окруженный гигантской свитой мелких божеств, привлекающей со всех сторон паломников.

В этом городе много богатых и еще гораздо больше бедняков, прозябающих в унизительной нищете. Городом правит странный, философски и нигилистически настроенный правитель—персонификация своего рода чисто административной мудрости. Этот странный философ, прекрасно знающий цену и богатым и бедным и с которым мы будем иметь еще дело в дальнейшем изложении, наткнулся на семерых друзей аристократического происхождения, но необыкновенно благожелательных по отношению к беднякам, талантливых, преисполненных большого идеализма и желающих со всей энергией и умом служить обществу. Он предлагает им самим выбрать различные места в магистратуре. Один из них становится распределителем хлебных пособий беднякам, другой—городским гигиенистом, заведующим водами города, третий—судьей, четвертый—начальником полиции и т. д.

С глубокой и даже торжественной серьезностью приступают семеро молодых чиновников к исполнению своих важных обязанностей. Очень скоро они приобретают большое доверие среди бедного населения города и возбуждают недовольство среди родичей своих—богачей.

Таков фон, на котором разыгрывается затем большая социальная драма, или, вернее, целая социальная фантазия, социальная оратория. Мы сразу дадим представление и о стиле автора и о действующих социальных силах, если приведем цитаты, в которых Т.-Серстевенс характеризует оба враждующие класса—богатых и бедных. Хотя эти цитаты будут не короткими, но я очень сожалею, что не могу их сделать еще более длинными, ибо каждый новый абзац прибавляет что-нибудь в том же своеобразном, как бы барельефном стиле замечательного писателя, каким на мой взгляд является Т.-Серстевенс.

«Однажды, когда он проходил площадь среди толпы просителей и клиэнтов (дело идет о распределителе хлеба Маркуле), он увидел приближающийся церемониальный кортеж: то были люди представительные и бородатые, впрочем попадались среди них и худощавые и бритые, но все они были одинаково самоуверенны, горделивы и не без торжественности несли свои животы и свои высоко поднятые лбы.

«— Вот идут богачи,—стали говорить люди из свиты.

«Последовали глубокие поклоны, вежливые и машинальные. Самый импозантный из пришельцев, пальцы которого были унизаны перстнями и на груди которого звенела золотая цепь из крупных колец, величественным тоном произнес: «Раздаватель, привет». Другие останови-

лись официальным полукругом. Все они приоткрыли рты, словно собирались запеть хором. Их корифей продолжал:

«— Мы пришли к тебе, преисполненные доверия. Мы хорошо помним, Маркул, кем ты был недавно, какого разумного человека для выполнения руководящей работы имели мы в тебе. Но, повидимому, тебя обошли, ибо теперь ты не тот. Чернь завоевала тебя. Разве ты не принадлежишь к расе диктаторов? Предоставил бы ты голодающим поэтам зажигать ореол вокруг мнимых добродетелей народа. Пусть бы они окружали его лень раззолоченными словами и называли се бескорыстием. Пусть бы они распевали хвалы на грязных переулках и поднимали медяки, которые им бросят, прижимая их к губам. Не подражай им, раздаватель, вернись к нам, ибо мы правая рука государства!

«Маркул ответил:

«— Я никогда не уходил от вас, вообще от жителей города. Я хочу счастья всем. Вашего тоже, если вы на него способны».

Тогда длинная личность с треугольной физиономией сделала шаг вперед и гордо возвысила голос:

«— Благодарим тебя. Вот этими руками заработали мы наше богатство, этими руками, которые не боялись никакого усилия. Наши жены и наши дети живут трудами наших рук в роскошных жилищах, каждый камень которых, каждый лоскут мебели пропитаны нашим потом; ежедневными методическими усилиями достигли мы этого богатства, завоевали ту цель, которую твердой волей поставили себе с самого начала, и мы не позволим теперь отнять у нас роскошный плод нашего труда, напряженного, беспощадного к ссбе. Никакие правители не дали нам нашего богатства. Только один труд наш дал нам его!»

«Этот человек сделался даже красивым в своем энтузиазме и все остальные закачали головой и подтвердили правильность его речи».

И далее.

На разные возражения Маркула и на желание как-нибудь убедить богачей в необходимости компромисса и в глубокой несправедливости, опасности, наконец, той нищеты, в которой гниет народ, богатый отвечал:

«— Подлинный авторитет лежит в богатстве. О, мы его знаем, ореол больших монет. Разве наши предки не ели крохи, падающие со столов? Разве они не занимались уборкой нечистот? Мы не краснеем за наше происхождение. Наше нынешнее богатство и знатность привлекли в наши альковы девушек самой благородной расы, и сейчас краска подлинного здоровья скрыла на наших щеках следы былых лишений и унижений, а по иным щекам, может-быть, когда-то хлестали ладони лакеев. Но без денег, без ростовщического процента, без неутолимого огня жажды богатства мы и сейчас еще держали бы ночной горшок перед каким-нибудь господином. О, это очень мило мечтать, играть роль сантиментального добряка, воспевать чудеса грядущих времен и, кукурекая самоуверенным петухом, рисовать зарю золотого века. На самом же деле базой всякого счастья являются деньги. Только они дают самостоятельность,

только они дают конечный предел и истинную реальность благополучия: живот, полный вкусными вещами и хороших женщин на постель.

«И они с гордостью пошлепали по своим животам.

«Маркул больше не слушал их».

Посмотрим теперь на изображение бедняков. Оно эпически прекрасно в своем ужасе. Сначала Т.-Серстевенс показывает бедняков в пассивном состоянии, потом в активном, в виде небольшой тревоги и некоего глухо-грозящего шествия по кварталам богачей, потом в подлинной революции и, наконец, в идиотских волнах, обманутого реакцией, черносотенного движения. И повсюду из уст Т.-Серстевенса течет чеканная речь объективного, чуть-чуть презрительного наблюдателя, под лязгом которой слышится, однако, и жалость и страх, свойственный интеллигенту перед народной стихией, но красиво прикрытый прежде всего мастером, увлекающимся художественностью собственного изображения.

«Большинство бедняков жило у болотных окраин, в восточном отроге города, в предместьи болезней, в тесных уличках, в грязных тупиках, заваленных нечистотами. Их жилищами были бараки со сваями, вколоченными в ил. Гнилой запах дымился над почвой. Каждый ветерок приносил приветы отхожих мест. От этого темными кольцами окружены были глаза, и губы становились синими. Ночью туманы клубились вокруг хижин, словно саваны приникали они к окнам и дверям, просачиваясь в щели и склоняясь лихорадками над головами спящих. Нарывы селитры обезображивали стены, словно землистая проказа, и никто не думал бороться с сыростью; а во время весеннего разлива лужи стояли на кирпичных полах кухонь.

«Там вкушали бедняки счастье бытия. Они росли, противопоставляя силу своей молодости незапамятным болезням, эпидемиям, обрушивавшимся в правильные промежутки, словно миграции саранчи. И множество народу погибало. Те кто переживал, были люди с узловатыми мускулами и терпкими характерами. У них были резкие страсти, много жадности хоть чем-нибудь воспользоваться в жизни. На труд они смотрели как на средство удовлетворить свои порочные желания. Они любили разврат и азартную игру, любили мокрые поцелуи и плодоносные животы подруг. Вшивая мелкота без отца и матери пищала по краям ручьев. Кабацкие песни смешивались с детскими криками. Старики, подрытые болезнью, долго-долго гнили на своих одрах и затем во внезапной судороге умирали. Может-быть, они могли бы, предавшись неустанному труду, существовать как-нибудь, но десятина жрецов и налоги города, а в особенности грабежи богачей—уносили все, что мог заработать даже самый трудолюбивый. Поэтому самые молодые крали и убивали, а на казнь смотрели как на самый лучший способ сократить свое бытие. Другие, менее самоуверенные и стойкие, которые уже ничего не могли, становились в очередь перед хлебными амбарами раздавателя, а те, у кого были красивые или грациозные дочери, продавали их еще задолго до зрелости любителям из верхнего города.

«А верхний город поднимался этаж над этажем на склоне холмов, со своими террасами, полными цветов, словно роскошные цветочные корзины, со своими мраморными колокольнями, розовыми и позолоченными соборами, длинными улицами, полными ватного покоя, со своими лестницами, по бокам которых шел целый народ героических статуй и которые все устремлялись выше и выше к главному храму. Так поднималась она, столица, в своем простом и спокойном ритме, вся белая и разукрашенная розами солнца и отблесками небесной лазури.

«С судорожными нервами бедняки работали. Бывало кое-когда, что они и возмущались. Являлись отчаянные апостолы, призывавшие к забастовке во имя новых времен, равенства, картинами которого они прельщали свою паству,—и тогда гневная лава разливалась. Любовницы и матери оплакивали жертвы. Все взметывалось против правителя, озабоченного одним—поддержкой порядка, и быстро, жестокой рукой подавлял он мятеж.

«И вновь народ отдавался своей судьбе, и привычка нищеты делала все более дряблой его душу. Они отказались от всякой надежды и только выискивали в навозе горя хоть маленькие крупинки удовольствия. Они омрачали память пьянством, и кто мог—засиживался в кабаках и засыпал там, копаясь в женском теле».

А вот вам один, сравнительно мирный, из серстевенсовских низовых бунтов:

«Фасады зажигались один за другим, выдавая существование за собой другой толпы, раскрывшей от ужаса рот; богачи появлялись в окнах и свешивались с балконов, за окнами лакеи вновь задували свет и терпеливо уносили куда-то блюда и бутылки. Все как будто склонялось к этому урагану марша и буре криков.

«Они шли между домами, словно поток в узких берегах. Поток этот испускал зловоние и был полон какой-то самоубийственной решимости. Пламя факелов освещало то там, то здесь потные лица. Красный отблеск, ложась резко, вырисовывал морщины, ямы ртов, борозды слез, выделял распухшие вены на мозолистых руках и играл на отупелых лбах.

«Впереди бежали те, что в экстазе,—пророки нового мира. Они шли, широко раскрыв руки, с запрокинутыми назад головами, и их полные вшей лохмотья бились за их плечами. Они как потерянные кричали о всеобщей гармонии, о конце всякой нищеты, об исцелении от вечной усталости и древних болезней.

«И все бедствия как бы шли за ними, тряся своими искалеченными членами и поднимая то там, то здесь фиолетовые огрызки рук. Сквозь рваное белье были видны дурные язвы, на голых грудях пестрели экзема и нарывы. Прыгали на одной ноге и ползли на собственных задах безногие, влачились, как могли, полупарализованные подагрики. А настоящих паралитичных тоже тащили с собой в носилках, и они дрожали стуча своими распухшими коленями, и дышали зловонием сквозь синие губы. Шныряли грязные ребятишки с искусанными болезнью веками,

обезображенные оспой девочки и лунатички, с обращенными внутрь глазами, эпилептики, черные языки которых были прикушены зубами.

«А вот и целая серия слабоумных и идиотов с огромными черепами, вот слепые, хватающиеся за локти и идущие вперед симметрическим шагом.

«Целый сенат жуликов с ночными горшками вместо шляп с грохотом бросал впереди себя на мостовую дырявые кастрюли и жестяные тазы. Лязг и дребезг рикошетом отражался от стен.

«Дальше шла пестрая толпа ремесленников. Они подымали над головами, как шутовские символы, дырявые стулья, сломанные колыбели, при чем в некоторых дремали детишки. Все ремесла шли в беспорядке, вооруженные своими инструментами: тут были пилы и длинные рубанки, молоты кузнецов, ватерпасы, линейки каменотесов, клещи плавильщиков. Некоторые шли совсем белые от известки или желтые от глины, а другие были черны от сажи, с добрыми глазами на свирепых лицах. На картонах, прибитых к палкам, поставлены были цифры их жалких заработков. Знаменоносцы, которые несли эти плакаты, шли прямо перед собою, вытянув шеи, с остановившимся взглядом.

Одна разбогатевшая блудница сбросила со своего балкона остатки обеда. Тогда поднялась возня голодных. Некоторые подняли носы кверху, они ревели бесстыднице шуточки, смешанные с неприличиями. Она хохотала, трясла бедрами, ее смех стрекотал, как мелкие бубенчики на упряжи. Подбежавшие позднее ничего не нашли. Они, толкая отставших, стали бросать самке комья грязи. От времени до времени общий крик поднимался над головой колонны, и тогда словно лесной пожар по можжевельнику распространялся этот крик над толпой и широко пылал. Бурю голосов пронизывали свистки, потом опять огромный топот, гремение деревянных башмаков, молчаливое рокотание, из которого вдруг подымался грубый ритмичный хор во славу Семерых:

С нами, с нами семь силачей!

Они бросали эту строфу, как вызов, они размахивали ею как знаменем, и в наивных словах этой песни выражалось их желание.

С нами, с нами семь силачей!
Рожей кроток тот, кто хлеб дает.
Нам в питье другой из труб он воду льет.
Бум! Папи, папо, папалило!
Не болтся, знают как себя держать
Бум! Папи, папали!
Лучше всех они и краше всех
Бум! Папи, папо!
Захотят, нас всех обогатят
Бум! Папо, папали!
Рогачей из богачей мы натворим.
Папи-Чим!

«Все голоса сливались, чтобы вновь и вновь начать эту прекрасную песню».

Так характеризует Т.-Серстевенс свой мир бедняков.

Один из семерых, тот, что заведует водопроводами, затевает большую работу, которая может сильно улучшить положение бедняков. Он хочет дренировать нечистые воды вышеописанного квартала и оздоровить его. Следует прекрасное описание веселой работы и не менее веселое возбуждение жителей, видящих что о них заботятся. Но работы слишком дороги. Правитель неожиданно и резко приостанавливает их.

Тогда следует новый бунт, уже гораздо более серьезный, чем то шествие, описание которого мы только что привели. Положение становится грозным. Правитель вызывает к себе Семерых, и разговор с ними ярко рисует эту своеобразную фигуру.

«Ничем не выдавалась его личность, ни его действия, ни его уединенная жизнь. Дом его стоял спиной к городу, и город видел только серую морщинистую стену, продырявленную одним окном со слепыми стеклами. Вся элегантность архитектуры, вся утонченность уединения цвели в сторону садов, богатых тенями деревьев, не знающих весны: кипарисов и лиственниц. Он почти никогда не выходил из своего жилища, был хозяином своего безочарованного величия, хозяином этих симметричных фонтанов, хозяином этой монотонной тишины. Он жил лицом к лицу с самим собою, с вечным «почему» своего глубокомыслия. Он знал бездонную печаль анализа, не верил в веру, сомневался в сомнении. Он ничего не отрицал, потому что ничего не знал. Он покоился на своем могуществе, как на предварительном и вместе с тем последнем утверждении. Бедных он презирал и считал их рабство справедливостью, освященной законом. В нем не было ни зависти, ни гнева, но иногда у него являлись капризы, ему нравилась жестокость. Он считал ее благородной. Но и к ней не привыкал. Он позволял в общем делам итти своим путем».

Когда Семеро явились к нему, чтобы воззвать к его милосердию, в виду истребления восставших бедняков, он небрежно ответил им: «Бунт поднялся только против меня, богатые тут—аксессуары. Им надо было защищаться, они не сумели, пусть сами на себя пеняют. Что же касается меня, я хочу умереть в мире. Смотрите, вы ответственны за ваши действия. Вы любите народ, вы будете его первыми жертвами. Вы просите, чтобы я простил его и прекратил бойню. Хорошо. Но, если народ когда-нибудь потребует кары против вас, я соглашусь и с ним».

И вот Семеро, эти добросовестные, утонченные благотворители-интеллигенты начинают увлекаться новой идеей. Видя, что их реальная благотворительная деятельность приносит мало результатов, а подчас даже приводит к болезненным столкновениям, они решаются накормить голодных хлебом небесным. Не выяснено у Т.-Серстевенса, и это крайне характерно как для интеллигента, каким он сам является, так и для интеллигентов, которых он изображает,—верят ли они в ту религию, которую они начинают проповедывать, или сознательно ее выдумывают? Они увлекаются не то выдуманной, не то представшей их внутреннему оку идеей какого-то бога, белокурого бога с колосьями пшеницы в руках,—бога исключительно благоприятного беднякам, призывающего

их к теплу любви и взаимопомощи и нежно обещающему им какие-то не то загробные, не то в далеком будущем имеющие настать счастливые дали.

Однако, эта религия не имеет никакого успеха. Бедняки со скептическими улыбками или тупым равнодушием слушают поэтические разглагольствования новых миссионеров. Но Семеро—люди энергичные. Они не хотят останавливаться на одной словесной проповеди. Они переходят в наступление против тупой, тривиальной, жадной религии жрецов с их великой богиней и их пошлым многобожием.

Одной из самых несносных тяжестей, лежащих на шее бедняков, является десятина в пользу богов и жрецов. Семеро отменяют ее. Равнодушный к религии, правитель не воспротивился этой отмене. Жрецам приходится защищаться самим.

Как выше было указано, в городе Т.-Серстевенса одним из главных источников дохода богатых и бедных является именно храм, нечто, как я уже сказал, в роде храма Дианы Эфесской. Сценами бунта против апостола Павла в Эфессе из Деяний Апостольских в значительной мере навеяны последующие главы романа.

Жрецам во что бы то ни стало нужно подчеркнуть, какой огромной потерей для всего города—не только религиозной, но и материальной—является удар по богине. Когда в обычное время толпы паломников являются в порт и благоговейными вереницами подымаются оттуда к доминирующему над городом храму, ворота его оказываются запертыми. Долго недоумевают, а потом терзаются благочестивые люди, пришедшие за чудесами и прорицаниями. Наконец, ворота раскрываются и следует шествие богов. Картина настолько курьезная и яркая, что я считаю необходимым привести ее здесь целиком.

«Ворота распахнулись, наконец. Ряд хоругвий возник в их сумрачном отверстии; наклоняясь как пики и выпрямляясь потом под небом, восстали мистические символы и стали двигаться решительным фронтом. Другой фронт—верующих—сразу остановился, а между тем остальные, все попрежнему, в каком-то исступлении бежали вокруг храма. Одна толпа столкнулась с другой. Многие были сбиты с ног, поднялись вопли. Кое-кто погиб, многие исцелились от страха. Остальные, изумленные невиданным церемониалом и, подчиняясь толчкам храмовых служек, стали шпалерами перед процессией.

«А между тем из портика все шли и шли феории певчих детей в вишневого цвета платьях—упорный хорал разноголосых псалмов. Левит в кружевной накидке, идя спиной вперед, размахивал руками и старался дирижировать. Дальше двигались высокие носилки, на которых лежали посвященные богине сокровища. Они поблескивали под перистилем и потом, вдруг выйдя из-под его тени, запламенели под солнцем. Оберегая сокровища, двумя линиями шел персонал сакристии: снотолкователи, дьячки, швейцары, ламповщики, подметальщики, счетчики, собиратели милостыни, звонари мелких звонков и колокольщики больших колоколов. Они шли смиренными стопами, сложив ручки на брюшке. Процессия

направлялась к площади. Бедняки и богачи постепенно наполняли ее. Любопытство, общее любопытство словно замирило на мгновение ненависть. Все с беспокойством спрашивали друг друга: «Ведь только по праздникам для возбуждения соревнования веры носили таким образом наиболее пышные пожертвования. Но сегодня вовсе не праздник. Да и никогда все духовенство не принимало участия в таких шествиях».

«И толпа колебалась под непрерывным наплывом попов. Попы размахивали кропилами, били палками и мели землю своими богато расшитыми мантиями. Они несли ящики с благовониями, чаши, чеканные сосуды, амфоры полные вина и хрустальные графинчики на серебряных подносах. Под зонтами из больших колеблющихся перьев они подымали дароносицы, окруженные лучами и широкие как колеса.

«Но вот колонна стала еще гуще. Восемь левитов судорожно схватились за древки. Ткань балдахина надувалась под ветром. Под нею шел в праздничной одежде, в омофоре, и сверкающей бриллиантами митре блестящий вождь жрецов.

«Толпа принялась кричать, но крики были затоплены медью музыки. Трубы разнообразные, желтые, полные металлическим шумом, барабаны, заполняющие пространство между глухими стуками гонга, словно в бешенстве рвали и били воздух. В славе оглушающего грохота появился идол бога Фаго. У него были колоссальное брюхо и маленькая голова. Он сидел на горшке, и его блаженная улыбка сосредоточилась на пупе, глубоком, как бокал. Сзади него подчиненные боги вываливали на террасу. Каменные боги, бронзовые, мастиковые и цементные, черные боги с базальтовыми телами, осеребренными ногтями, боги с вооруженными руками и главами, окруженными ореолом. Святые с мечами и святые с лилиями. Боги зеленые, голубые, розовые и пестрые. Боги сидячие, стоячие, едущие верхом на улитках или погруженные в блаженный сон, боги, дующие в огонь, боги, щелкающие деревянными челюстями. Печальные боги, поникшие главами, и веселые, раскрывшие безмерно рот. Патроны рождений, детства, брака, смерти. Боги аборта, боги родов, боги болезней и боги исцеления. Покровители очагов, источников, жатвы и публичных домов. Все это были отставные боги, бедные родственники великой богини. Потом на блестящих эшафотах, несомых бородатыми карликами, покоились абсолютные боги, неподвижные, окончательные. Боги справедливости, торговли, войны, богатства и случая. Вокруг них были их кодексы, их свитки, их глобусы, их тетради расписок. На лицах их была ужасная скрытность, хитрость и мстительность. Только богиня добродетели сохраняла моральный вид, но и ее многочисленные изображения грозили, благословляли, жестикулировали, плакали, смеялись или пребывали в неподвижности, согласно эпохе, когда возник тот или другой идеал.

«Толпа была так густа, что она наполняла сады. Все цветы на клумбах были растоптаны. Кишение жестов соперничало с мерцанием красок. Оттенки пурпурового, зеленого, длинные полосы оранжевого перебивались синим. Кортеж прошел на площадь и начал спускаться по

склонам. Боги, трясущиеся на неровных плечах, спотыкаются на каждом шагу. Они стукались лбами, плечами или задами животных, на которых ехали верхом. Атрибуты всех глубин перепутались в неизъяснимом беспорядке. Когда они вышли окончательно на свет, то оказались более дряхлыми, чем предполагалось. Это были боги ржавые, заплесневелые, съеденные кислотой, прокаженные, обтрепанные, опачканные, потерявшие кто руку, кто обе ноги. Были такие, которые наклонялись как бы в отчаянии своими исковерканными лицами, дырявыми корпусами, мохом поросшими спинами. У других торчали гипсовые остатки членов, и вместо глаз зияли дыры. Весы богини справедливости явно склонялись на сторону. У богини красоты, одетой в пестрый треугольный плащ, сыпался песок из-под низу.

«Это были величества, как бы лишенные короны, девы, у которых со щек текли притирания, гении, у которых время откусывало член за членом, ореолы, похожие на жестяные тарелки, опрокидывались за их затылками. Золото их тронов выродилось в яичный желток. Сквозь лохмотья плащей видны были скелеты из сухих прутьев или проволоки.

«Вот такие-то горбатые от неожиданных ударов, израсходованные, покрытые лишаями, лохматые, облупленные, лопнувшие, помятые, покрытые нарывами селитры, старые боги, выйдя из своих нор в храме, направились к площади.

«Кислые псалмы певчих детей разливались. Вдруг под темной колоннадой храма вырисовалась белым силуэтом человеческая фигура. Она склонялась при спуске по ступеням, потом выпрямлялась при свете. Ужасающее «ура» раскатилось над толпой. С ясным лицом, грудью, завешенной приношениями и словно обещающей млеко надежд из своих двухсот сосцов, держа в пальцах башню—символ города—и поставив ноги на голубую волну, изображающую море, сияющая и гордая—богиня выступала на стогны. Тащили ее, раздавленные ее тяжестью, носильщики. При каждом шаге они испускали горловое «аган». Статуя мерно колебалась в ритмичном и тихом движении. Около нее не было никаких певцов, никаких глашатаев, никаких фанфар или барабанов, а только пышная свита попов, бормотавших молитвы. Со своею спокойной красивой улыбкой снисходила к толпе Заступница, и толпа беспокойно и страстно кричала и готова была умереть у божественных ног, шепча молитвы обожания. Ее приближение из глубокого далека заставляло уже тесные ряды народного хаоса склоняться, как сильный ветер наклоняет колосья нивы. Видно было, как она возвышалась над садами, как она, покачиваясь над заборами, по улице торговли вышла она, наконец, на площадь, наполненную упрямыми хоралами и разнообразнейшей толпой, где смешивались богатство и лохмотья, и всем этим сенатом дьячков, всем этим сходбищем покоренных богов, всеми этими горами приношений, где солнце зажигало пожары. Народ, отброшенный ко дворцу правителя, махал шарфами и платками,—и трепетала белая их линия. Благоговейно остановилось шествие, и упрямое песнопение вдруг умолкло. Наступило длин-

ное молчание, полное только гулом колоколов и зовами горнистов. Толпа опустилась на колени. Все боги пошатнулись и со стуком повернулись лицом к своей госпоже. Она выпрямилась на другом конце площади под каменной аркой, тень которой, упав ей на лицо, словно сделала ее печальной. Тяжесть приношений, нанизанная на ней как ожерелье, казалось, угнетала ее всей тяжестью человеческих несчастий. Ее прекрасные голубые глаза, которые там, на святом холме, отражали бесконечность моря и неба, теперь странно выделялись на этом потускневшем лике. Меланхолия этого взгляда, внезапно воцарившееся молчание, вся тайна этой религиозной демонстрации ужаснули народ. Они закричали к Заступнице: «Выдвиньте ее на солнце». Но измученные носильщики хрипели.

«Да зажгите же огни, огни!—кричали бедняки. И этот крик, повторяемый всеми устами, выражал охватившую всех жуть».

Хитрые жрецы заявляют, что богиня выселяется из города, где семеро новаторов так тяжело обидели ее. Потрясенный в своих суевериях и испуганный за свои доходы, народ единогласно вопит против Семерых. Начинается решительный бунт против них. С угрозами народ требует у правителя смены, а может-быть, и казни Семерых. Правитель напоминает им свои слова о том, что, когда народ потребует кары для них, он послушается народа. Но они не протестуют, они внутренно поняли, что путь, которым они шли, не верен. Крепко держась за выдуманную ими религию, они намерены теперь сделаться пропагандистами снизу. Они понимают, что облагодетельствовать народ извне нельзя, а сами хотят сделаться народом. Они хотят пойти в самые ужасные народные низы, жить одною жизнью с ними, страдать с ними и там развивать ту утешительную весть, до которой они додумались. Поэтому они охотно соглашаются на кару, которая лишает их всех их титулов и имущества и выгоняет их бесприютными бедняками на улицу. Начинаются годы служения на новом поприще. Автор следит, главным образом, за судьбою бывшего раздавателя хлеба Маркула. Мучительно изображает он все страдания нищеты и отверженности, которые выпали на долю молодого апостола. Он ведет его со ступени на ступень в самый ад страданий. Всюду он гоним врагами, всюду встречает равнодушие тех, кого так любит и зовет к спасению. В конце-концов, он становится погребателем трупов, загромоздивших жилища бедняков вследствие нового мора. Я не хочу затягивать этой статьи, но скажу только, что страницы, где описываются переживания Маркула, как погребальщика, относятся к числу самых прекрасных в своем ужасе, какие создал Т.-Серстевенс и могут занять не последнее место в любой литературе. Вскоре Маркул находит всех своих друзей. Все они неудачники, но несколько подбодрились уже. Они собираются в одной кузнице, там они поддерживают друг друга и находят кое-какую, пока еще очень незначительную, паству. Они становятся работниками в двух направлениях. С одной стороны, каждый из них совершенствуется в каком-нибудь мастерстве, с другой стороны, проповедует неуклонно новую мораль.

Они решаются завещать будущему, сознавая малую плодотворность своей работы, основные начала новой морали и на бронзовой доске кузнец Валирион гравирует заповеди, в которых выражается:

их воля любить жизнь и проникаться ее экстазами вплоть до самого страдания;

их воля любить людей, гордящихся этим именем, носящих в своей широкой груди великие надежды, их жалость, которая не нисходит к павшим, но протягивает им руку, чтобы поднять их до себя;

их труд, этот сильный ветер, который выметает эту весну золотого мира;

и эту любовь, которая в объятии творит, творит в желании, творит в насыщении;

наконец, их бога, который в себе заключает жизнь, любовь, доброту и радость.

Дальше у Т.-Серстевенса следует такой трюк, который сначала меня озадачил и заставил меня совсем было ополчиться против его книги. Оказалось, что это только внешний формальный трюк, хотя и до сих пор не вижу, почему нельзя было бы обойтись без него. Дальше вмешивается чудо, в то время, как во всем романе элемент чудесного не появляется.

В своем экстазе Семеро оказываются как бы взысканы каким-то богом. Начинаются разные ласки и утешающие чудеса. Наконец, во время одной из прогулок они находят пещеру, в которой для них приготовлено таинственное пиршество. Они садятся за него и в тихой беседе и радости засыпают. Вся эта канитель заставила было меня опасаться, что Т.-Серстевенс ударится в мистику и что религия, придуманная его Семерыми, окрасится в его романе в цвета какой-то метафизической истины. Нет, сказочно-оперный эффект был только для того, чтобы прошло несколько сот лет и чтобы Семеро воскресли в совершенно новой обстановке. Грехом Т.-Серстевенса оказалась не чрезмерная вера—чрезмерный скептицизм. Впрочем, сначала в прекрасной главе о радости вы не замечаете ни тени скептицизма. Я даже склонен думать, что первоначально у Т.-Серстевенса был очень стройный и увлекательный план. Я полагаю, что роман должен был кончаться именно на этой главе и что только потом в угоду интеллигентщине вне себя и в себе Т.-Серстевенс испортил свой роман предпоследней и особенно последней главой. Чудесная глава о радости изображает пробуждение Семерых и отправление Маркула в город. Город за эти несколько столетий, проведенных Семерыми в глубоком сне, превратился теперь в социалистический город. Правда, описание этого социалистического города нельзя не сопровождать некоторыми «гм, гм». Так, например, мы читаем: «Проходили богачи, гордые своим богатством, бедные—своим трудом. Не все были равны в имуществе, но все были довольны своей судьбой. Некоторые обращались к другим с уважением. Быть-может, одни знали то, чего другие не знали, но не было ни нищих, ни проституток, никаких паразитов сердца и мысли и т. д. и т. д.».

Таким образом, мы имеем дело с некоторой утопией, социально довольно половинчатой, но, разумеется, от Т.-Серстевенса мы не можем

спрашивать того, чего не находим у Мориса и Белами. Гораздо важнее то огромное чувство радости, которым насыщена эта картина будущего. Великолепна также основная мысль, положенная в эту главу. Дело в том, что вся эта революция совершилась как раз по великой идее Семерых. Когда они удалились, когда они, так сказать, умерли для общества, началась медленная работа брошенных ими идей. Идеи эти шли в достодолжном направлении, и вся их деятельность и проповедь оказались для страны плодотворными. Постепенно их религия, правда измененная и лишенная уже окончательно всякой мистики, сделалась господствующей. Их жизненные принципы вошли в обиход, и сами они превратились в великих и святых учителей человечества. В том самом храме, где когда-то стояла богиня, Маркул видит статую Семерых первоучителей и видит золотыми буквами написанные имена своих друзей и свое собственное.

Необычайно трогательно и действительно величественно изображается эта сцена в храме, доходящая до своего апогея в страницах, которые мы сейчас приведем.—«А вот древняя песня», сказал сосед Маркула, наклоняясь к нему.

Орган бросил трель, которая острой нотой долго летала от свода к своду Потом поднялась тихая песня с неопределенной мелодией, как будто вздыхающая, шепчущая, бормочащая. Словно робкое воздыхание земли, полной семян, которые просыпаются на заре. Словно свежее рождение лепечущих детских, наивных, серебристых звуков. На этих предутренних гармониях юный хор мальчиков и девочек промодулировал: «Люби жизнь, проникайся ее экстазом».

Эта фраза расцветала, словно мирная весна всей своей белизной, и вдруг более серьезные голоса прибавили:

«Проникайся ее экстазом вплоть до самого страдания».

«Люби жизнь», псалмодировали кристаллические голоса и, опираясь на тяжелые басы, они взлетали вверх и чертили легкую и сияющую арку.

«Слог: *жизнь*, переходя из уст в уста, развертывался, как ясное небо в глубине инструментального пейзажа.

«Люби людей, гордящихся этим именем», вновь начали певцы; дети и мужчины в мускулистом ритме отвечали: «Люби людей, которые носят великие надежды в своей широкой груди».

«Маркул улыбнулся сквозь слезы. Эта древняя песня, этот гимн была их воскресшая вера,—их вера, которую они когда-то выгравировали на бронзовой доске в самый день их успения. Итак, их душа, душа их Семерых, вибрировала в этих песнях. Их нежность разливалась в горячих сердцах и солнцем обласканных лбах. Их энергию прославляли эти люди!

«Он чувствовал как растет бесконечно. Ему казалось, что пятами ног и кистями рук он словно распят ради любви, грудь с грудью, тело с телом, чувствует весь город, и кровь множеств длинными волнами прыгала в его артериях. Он подошел к своему богу, который ждал его посреди храма, полного песнями, в то время, как гимн поднимался все вверх, гремел мужскими голосами:

«Люби труд, этот сильный ветер, который выметает печаль».

Девушки отвечали: «Эту зарю солнца мира».

«Евангелист, вдохновитель этих слов, продвинулся теперь к своему изображению, стал рядом с ним и смотрел на толпу этих детей, рожденных его мозгом, его страданиями. В его теле живы были еще мучительные воспоминания. Да, они питались его нервами, они его исчерпали, но почерпнули в нем, в его терпкой судьбе свое великое опьянение.

«Люби своего бога, который заключает в себе жизнь. Жизнь! Жизнь!!.» прославляли взрослые, словно в безумии от звука этого красного слова, а юношеские голоса украшали эту грубоватую радость, проникаясь ее экстазом вплоть до самого сердца.

«Любовь! Любовь!» начал хор вдруг, а другие женские голоса продолжали:

«Любовь, которая творит в объятиях, любовь, которая творит в желании, и насыщении».

«Доброта и труд».

«Золотая заря мира».

«Труд и радость».

И казалось весь хор трепетно сгибался в этих звучных словах.

«Труд и радость», гремели певцы под самым куполом.

«Труд и радость», звучали абсиды и колокола, и орган своими медными легкими, и натянутые струны».

«Люби радость», отвечали все верные, собранные в храме, и гимн окончился долгой дрожью».

Подняв глаза, все собрание увидело Маркула, прислонившегося к своей статуе, который как-будто вбирал в себя всю гармонию этого энтузиазма. Все смотрели на него с удивлением, но без возмущения. Среди трепетного молчания он произнес эти бедные слова,—все то, что от преисполненности своей смог он вытолкнуть к своим губам: «Мои дети, вы мои дети, маленькие дети моего существа, дайте мне сказать, послушайте меня»...

Уже, однако, в конце этой главы сказывается, что человек из другого мира, Маркул, не нужен больше теперь новой жизни. Он сделал свое. Выходец с того света, он не найдет себе места в этой сияющей радостью столице.

III.

Как я уже сказал, предпоследняя и последняя главы романа Т.-Сертевенса разочаровывают. Они, по-моему, излишни. Рядом с ликующими страницами, посвященными описанию нового города, выросла здесь тяжелая отчаянная страница, описывающая фантастические, пережившие себя почему-то рядом с обновленным городом существующие руины города прошлого. Там какие-то люди-тени служат кумирам, утверждающим, «что все бытие есть только море нечистот. Что человек есть животное с вонючим ртом и т. д. ». Эти чудовища сидят на кучах своих нечистот, которые растут изо дня в день и окружают их зловонными грудами. Они отрицают самое су-

ществование солнца. Маркул набрасывается на одно из этих чудовищ и насильно поворачивает его голову к восходящему за его спиной солнцу. Презренное существо умирает под лучами солнца, к высокой скорби полупризраков, населяющих город прошлого.

Повторяю, я считаю предпоследнюю главу излишней, но еще хуже последняя глава, подводящая итоги и называющаяся «Мир». Она начинается восклицанием Маркула: «Я убил, я убил, руки мои сверкают. Я убил в себе самом то, что не хотело умирать». Что же убил в себе Маркул? Оказывается, вместо того, чтобы порадоваться колоссальной жатве посеянного им семени, он предается в высшей степени странным каким-то размышлениям. Проводя перед собою все свои воспоминания, он внезапно почему-то видит их обесцененными и перед лицом восходящего солнца возглашает: «Ах,—говорит он, отдавая грудь теплым ласкам света,—Солнце—вот бог. Этого,—прибавляет он, смеясь,—не знают еще люди нового города!»

Позвольте, почему же люди нового города этого не знают? Если Маркул приходит к новой вере, то в чем же она заключается? В том ли, что солнце представляет собою великое благотворное явление природы? Но почему же радостные жители трудового и свободного города не знали бы цены солнцу и не отдавали его теплым ласкам своей груди, совершенно так же, как и Маркул? Или в провозглашении солнца богом таится какая-нибудь другая идея? Может-быть, Маркул в самом деле думает, что солнце есть одухотворенный бог в мистическом или метафизическом смысле слова? Конечно, этого люди обновленного города не знают, т.-е. они попросту отвергли бы эти детские бредни. Или, может-быть, под этим таится нигилизм? Не хочет ли сказать Маркул, что всякое духовное стремление человечества к смыслу жизни нелепо и что существует только всегда себе равная природа? Повидимому, последнее есть самое верное предположение, и оно представляет собою несомненное падение Т.-Серстевенса с той высоты, на которую последовательное развитие фабулы его поставило.

Проследим дальше за развитием его мысли. «Маркул шел по дороге, осиянной светом к холму, откуда столица в это утро являлась перед ним в таком блеске. Теперь он шутил, он играл в прятки с собственной мыслью и весело издевался над самим собою: «Хвастун, тщеславный человек. Разве ты не благословлял своей идеи? Не сделал ты из нее бога? Правда, для других людей! Пусть, но все же твоя мысль должна была сделать доктрину божеством. Люди нуждаются в новых богах, чтобы освежать свою надежду и свой ум, а ты, бедный пророк,—разве ты не знаешь, как все это произошло? Как жалки генеалогические корни всего этого, как все это слабо, как все это должно умереть? А разве бог может рождаться, страдать и умирать? Пришло время, когда я не верю больше в своего собственного бога!»

Все это еще ничего. Все это может показаться только отречением Маркула от той поэтической оболочки, в которую вложены были те могучие, светлые и правильные идеи, которые мы только что прослушали в древней песне, созданной на темы Семерых.

Но ведь новый город вовсе не преклоняется перед тихим белокурым богом, держащим колосья хлеба в руках? Для нового города это ведь тоже только символ, так что несколько странной становится эта внезапная ироническая борьба Маркула с результатами подвигов Семерых.

Дальше: «Вдруг он вздрогнул. Он оглянул самого себя, начиная с ног, и увидел себя голым, как-будто новорожденный,—все более голым, все более обнаженным. Как бы падали с него одежды, запачканные людьми. Как бы падало с него богатство; всякая творческая воля, которую присвоили себе люди, всякая добрая память, всякая память о его творческой работе; он увидел себя голым, до самых внутренностей своих, даже риза веры спала с него. Он взвешивал в руке свое прошлое. Он видел себя вновь распределителем, жалеющим о своем богатстве, жаждущим жертв. Ну, и что же? Чем больше он давал, тем больше становилось богатство. Вот теперь он отдал все, и теперь он обладатель подлинного богатства, он владеет миром (покоем). Вот каково его чистое и простое назначение. Каждый камень, что занимает место, ему назначенное в стене здания, пусть содрогается под железом каменщика, дающего ему меру, форму и тяжесть, какие нужны для дела, ибо радость камня поддерживать другой камень и вместе с тем подниматься в колонне, башне, показывающей часы и ветер». Он возвращался в пещеру, где оставались его друзья с этой вновь найденной им истиной: «Радость творца заключается в отказе от собственного дела! Пусть же они этим прославят в своей душе «*покой*».

Все это до крайности сомнительно. Все это отвержение не только себя, но и своей идеи, своего служения, все это стремление потопить активный человеческий прогресс в простом процессе, заставляет задуматься. Это не наша музыка. Не так относимся *мы* к этому, настоящие борцы и строители. Мы не склонны видеть в своем творчестве, как ни мало значения придаем мы каждой личности в отдельности, только какой-то процесс в руках какого-то фантастичного каменщика. Для нас здание человеческой культуры растет, не как башня, которую строит внешняя сила,—сила какого-то фатума, ибо в личного бога Т.-Серстевенс, очевидно, не верит, но все же принимает человека за камень в руках каменщика, т.-е. величественно активного начала.

Мы даже не признаем прогресс, идущий по типу роста дерева, а по типу колоссальной борьбы за самоутверждение,—борьбы, в первых своих стадиях имеющей действительно бессознательный характер, но чем далее, тем более становящейся делом разума в организованных передовых группах человечества.

Дальше описывается солнечный закат, из всех блесков которого Маркул делает такой вывод: «Вот,—восклицает он,—теперь я знаю всю истину, умирающее солнце выдало мне ее со всеми сокровищами, которые оно расточает в мир. О, сверкающий бог! О, цветущий лик! О, венец чела всех тех, кого ты касаешься! О, пасха, полная духовного огня! Ты не имеешь в себе ни доброты, ни жалости, ни нежности. Ты не требуешь от людей никаких жертв. Ты не хочешь, чтобы они были

хорошими или дурными. Ты попросту ровным счетом о них ничего не знаешь. О, сладчайший мед! О, крепкая роса! Ты не знаешь ни земли, ни существ, ее населяющих, ни идеалов, которыми они себя баюкают. О, знак жизни и вечное могущество! Ты не знаешь ничего о своем собственном богатстве и о чудесном благе даров света и тепла. Беспечально склоняешься ты, чтобы равнодушно возродиться. Ты один есть бог, ты заслуживаешь название творца!».

Кто же этот *один?* Кто же это *новый бог*, которого Т.-Серстевенс провозглашает в последних строчках романа? Ведь в самом деле не солнечный же лик? Ведь не к религии Аменхотепа хочет призвать нас парижский писатель? Он же ведь знает, конечно, что солнце все-таки лишь физический кусок материи. Знает и то, что безмерное количество таких солнц рассеяно в пространствах. Кто же это «он», кто равнодушно сияет в солнечном лике! Очевидно, это природа вообще, ее творческая сила. Очевидно, мы благополучно приплыли в большую пристань пантеизма. В сумерки, где все кошки серы.

С точки зрения великого равнодушия солнца, конечно, безразличен и старый и новый город, подвижник Маркул и хитрый эксплуататор, главный жрец великой богини. С этой точки зрения все стремления, все жертвы, все идеалы—тщета. Это есть особая форма натуралистического буддизма. Тот апостол, которого Т.-Серстевенс описал в своем первом романе, тоже очень склонен сбросить с своих плеч слишком тяжелый крест служения массам под предлогом того, что под углом вечности все равны и однозначны. Печальный конец для прекрасного романа «Семеро». Роман этот начался в странных, но сильных описаниях борьбы бедных и богатых, одинаково руководимых почти бездушной властью семерых буржуазных Дон-Кихотов, чиновников, рыцарей-благотворительности. Он перешел затем к острому конфликту между этой искренней благотворительностью и старым миром, нарисовал нам крушение чиновников-благодетелей. Превращение их в каких-то христианских социалистов и миссионеров жалости и смиренномудрия. Потрясающими красками изобразил он это полное отчаяние миссионерства. Из глубины полумещанского нищенского смирения вывел он своих героев к светлому устремлению, к полной бодрого самоутверждения жизни на началах действительного равенства и братства людей.

Роман несколько спотыкается, когда наступает полоса чудес, но, как я уже сказал, они необходимы просто для того, чтобы перенести героев лет на двести позже.

Он вспыхивает необыкновенно ярким светом, поскольку рисует очень недурно эту жизнь обновленного человечества и достигает апогея в своеобразной церемонии чисто символической религии, прославляющей на самом деле только человека—ее творца и радость его жизни. Он трогает тем, что глава эта является вместе с тем и прославлением всех, во все времена погибших строителей этого будущего, и было бы прекрасно, если бы роман закончился на этом. Но после малонужной главы, трактующей о призрачном видении старого города, может-быть, правда, желаю-

щей наметить, куда пошла бы человеческая жизнь, если бы реакционные силы победили,—роман впадает в неоправданный скептицизм по поводу собственных своих начал, по поводу собственных своих устремлений, вдруг провозглашает не активную веру в прогресс, не борьбу за человеческое счастье, не программу совершенствования, а просто солнцепоклонство и природопоклонство, по поводу которого произносит слова Мир и Покой, написанные с большой буквы.

Интеллигентский квиетизм, интеллигентское высокомерие по отношению к социальным стремлениям, к социальной работе вдруг сказались в этой последней главе. И как она кончается. Она кончается фразой: «Этого я не скажу моим друзьям».

Дальше следует только несколько строк, в которых описывается, как возвращается он к своим друзьям и восклицает: «Мы можем теперь умереть».

Настоящим финалом является, конечно, не эта завершающая и неопределенная все же фанфаронада, а вот та фразочка: «Этого я им все-таки не открою».

Почему? Очевидно, Маркул считает, что он может опечалить этим своих друзей. В чем же будет заключаться это огорчение? Или друзья Маркула *не доросли* до сознания того, что астральные явления природы и вся жизнь—плесень, от времени до времени возникающая на некоторых небесных телах, чтобы потом пропасть, и есть, в конце-концов, единственный смысл бытия? Очевидно, что друзья его не доросли до этого, потому что внутренно гордятся своими подвигами,—тем, что они еще в глухое темное время провозгласили истину, послужившую краеугольным камнем для создания счастливой мощи разветвляющегося человеческого общества.

Но кто тут истинно *не дорос?* Маркул ли совершенно неожиданно свернул в вульгарный пантеизм, или его друзья не смогли подняться до столь *сияющей высоты?* Оставим эти вопросы. Ведь семеро героев суть только марионетки в руках Т.-Серстевенса. Займемся им самим. Что произошло с ним? Совершенно ясно, что душу Т. Серстевенса, как и многих других типичных анти-буржуазных интеллигентов Запада, пугает ужас нынешней социальной неустроенности. Он не может отмахнуться от ядовитой трагедии классовых противоречий. Позор бедности и богатства тяготит его, и вот он пишет под этим влиянием свою поэму, не видя настоящего пути, видя будущее только как в зерцале гадания, он просматривает целую серию служений: благотворительность сверху, служение снизу и т. д. Его сердце вдруг переполняется (это, должно-быть, часто с ним бывает) радостным сознанием не только того, что придет светлое будущее, но и того, что всякий погибший ради него,—в нем, в этом будущем, хотя бы и не будучи лично названным,—найдет свой апофеоз и оправдание всего своего горького бытия!

Но тут шевелится в нем интеллигентский скептицизм и интеллигентская анти-общественность. Как бы друзья Т.-Серстевенса, так не похожие в этом отношении на друзей Маркула, не заподозрили его в вуль-

гарном коммунизме,—в том, что он, в конце-концов, просто и прямо идет к тем идеям, которыми живут передовые слои рабочего класса! Уж не к Барбюсу ли, не к Вальяну ли, или Кутюрье направился Т.-Серстевенс? Ах, какой стыд! Ведь это же так плоско, не правда ли? Ведь это сдача позиций надменной интеллигенции кумирам прогресса и народослужения. И Т.-Серстевенс в последней главе вдруг вливает в свою бочку меда препорядочный ковш дегтя. Он думает, что своей мольбой к бездушному солнцу, провозглашением его победы над исканиями сознательного человека он поднялся и причислится к лику носителей *подлинной* мудрости, а на самом деле он только, после того, как прикоснулся было к подлинному пламенному сердцу нашей эпохи, с красивыми, но мертвыми словами, отошел от него на последнюю из анти-социалистических позиций, на позицию природомаляйства, на позицию пассивного пантеизма.

И все потому, что эти люди, по самому существу своему утонченные мелко-буржуазные натуры, не в состоянии совлечь с себя ветхого Адама, чешую, покрывающую их глаза. Смысл бытия человечества и его будущую зарю они видят только в зерцале гадания. Лишь те интеллигенты, которые безраздельно перешли к пролетариату и усыновлены им, теряют эту чешую с глаз и видят грядущее лицом к лицу. От этого вырастает в них такая гордая уверенность, поэтому, и только поэтому, вместе с рабочими коммунистами, в праве считать они себя единственными подлинными людьми среди всяких безвредных или вредных теней, которые бродят в необновленном еще старом городе человечества.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

О КНИГАХ Н. СУХАНОВА.

А. Шляпников.

Статья первая.

Н. Суханов. «Записки о революции». Книга первая. Издание Гржебина. Петербург и Берлин. Книга вторая. Берлин. Того же издателя.

По ту сторону советских границ появилось большое количество литературы о русской революции. Берлинское издательство Гржебина создало особый отдел «Летопись революции», в который входят различные воспоминания общественных и революционных деятелей старой и новой России. Среди этой литературы особое место занимают «Записки о революции» Н. Суханова, как по количеству написанного (семь книг за период от марта по октябрь 1917 г.), так и по тону и манере изложения.

В своей первой книге, вышедшей сначала в России в 1919 году, Н. Суханов рекомендуется читателю, как непосредственный и видный участник февральской революции. Значительная доля «революционной» деятельности и карьеры гр. Н. Суханова развертывалась на моих глазах, и поэтому я считаю своим долгом перед читателями революционной литературы и литературы о революции поделиться своими данными и оценкой работы Н. Суханова как политика и литератора. По первой книге «Записки о революции» можно составить достаточно полное представление об авторе как политике и историке. С его политики мы и начнем.

До февральской революции политическая борьба рабочего класса руководилась социалистическими организациями подполья. Автор «Записок о революции» был далек от какой бы то ни было работы и жизни революционного подполья, хотя и проживал в Питере, как он пишет, нелегально. Однако, эта нелегальность не была вызвана его связями с революционной деятельностью подполья. Общественная деятельность Н. Суханова протекала также вдали и от легальной пролетарской общественности, неугасавшей даже во время войны во всякого рода страховых, больничных кассах и т. п.

Однако, эта отдаленность от подполья не мешает Н. Суханову давать оценку и политики и тактики революционного подполья. Правда, эта оценка проскальзывает своеобразным путем—косвенно. Так, на стр. 15—16 своей первой книги Н. Суханов суммирует политическую ситуацию в стране перед переворотом следующим образом: «Продовольственная политика распутинского правительства и ее плачевны результаты, политиканство наивно-лицемерных думских групп и усилившееся преследование рабочих организаций,—составляли те вехи, за которые цеплялась мысль о «текущем политическом моменте» и о грядущих неизбежных событиях. *Ни одна партия не готовилась к великому перевороту.* Все мечтали, раздумывали, предчувствовали, «ощущали». (Курсив и кавычки в подлиннике. *А. Ш.*)

Это определение совершенно расходится с истинным положением дела, и даже не искушенному в исторических фактах читателю теперь известно, что подполье вело весьма интенсивную подготовку того, что носит теперь наименование февральской революции. О том, что партии подполья, и особенно наша Р. С.-Д.-Р. П. (больш.), вели громадную работу с призывами к перевороту, к организации «временного революционного правительства», свидетельствует та подпольная литература, распространявшаяся в десятках тысяч экземпляров только в одном Питере. К этому нужно прибавить еще агитационную пропагандистскую,организационную работу тысяч подпольных членов партии. Правда, подпольные работники не измеряли события по канцелярским барышням, как это делает Н. Суханов (см. стр. 16), и «еще 21 февраля» или раньше не определяли «пришествие» революции по тому или иному голодному бунту, а оценивали всю совокупность царской политики и видели неизбежность революции и даже в очень близкий (для 1917 г.) срок. Об этом свидетельствует наша подпольная литература, часть которой ныне уже опубликована.

В другом месте, на стр. 39, также косвенным путем и как будто мимоходом, дается весьма оригинальная оценка работ нашей партии в революционном подполье. Н. Суханов сообщает, что время от времени к А. М. Горькому «приходили довольно ответственные руководители большевиков. И их прямолинейность, а вернее, их неспособность вдуматься в политическую проблему и поставить ее, производили на нас угнетающее впечатление». Мне очень хорошо известны все те рабочие большевики, которые ходили к А. М. Горькому в те времена. Известны также и темы их бесед. Ходили к т. Горькому Д. А. Павлов, В. Н. Каюров, К. Лебедев, Куклин, Чугурин, пролетарии-сормовцы, связанные с А. М. Горьким годами партийной работы по Ниж.-Новгороду. Эти товарищи хотя и не принадлежали к числу «ответственных руководителей большевиков», в то время из них никто не был в Петерб. Комитете партии, но это были передовые пролетарии Выборгской стороны. В чем же заключалось существо беседы, которое производило столь «угнетающее впечатление» на Н. Суханова? Автор «Записок о революции» об этом молчит, а ведь в этом и суть. В беседах у А. М. Горького ставился вопрос об отношении к войне, о революционной власти. Это были основные вопросы того момента. И

пролетарии Выборгской стороны, в ответ на хныканье размагниченной интеллигенции о том, что своими «прямолинейными» лозунгами против войны мы можем «погубить» намечавшееся движение, отстаивали интернациональную линию нашей партии, сердито возражая против всякой полуоборонческой или просто трусливой дипломатии. Вопрос же о власти наши товарищи считали для себя уже решенным событиями 1905 года и после, и «ревизовать» большевистские постановления на данный случай не желали. Можно ли назвать подобное отношение и позицию старых рабочих подполья как «неспособность вдуматься»? В этаком отношении к пролетариям, несшим на себе революционную работу в труднейших условиях, скрывается лишь интеллигентское чванство Н. Суханова и его неспособность понять прямоту и принципиальную выдержанность товарищей.

К этому я могу смело добавить, что Н. Суханов говорит неправду, когда уверяет, что эта группа товарищей производила на А. М. Горького «удручающее впечатление». Я могу взять в свидетели самого А. М. Горького, И. П. Ладыжникова и утверждать, что оба эти товарища совершенно не по-сухановски оценивали эту группу рабочих.

Давая такую характеристику передовым пролетариям Питера, Н. Суханов тут же самодовольно добавляет: «надо сказать, что наши аргументы все же не оставались без влияния на этих людей, явившихся прямо от рабочих котлов и партийных комитетов». Но какие же были «ваши аргументы», почему не приводите их? Придется показать читателю эти «аргументы», они имеются на стр. 17.

Когда на улицах Питера кипело восстание, Н. Суханов решает, что «надо держать курс на радикальный переворот», и занялся размышлениями на тему о том, «кому надлежит быть преемником царского самодержавия». И он очень «радикально» решил эту политическую проблему: «власть, идущая на смену царизма, должна быть только буржуазной». Вот каковы были «аргументы», и они не могли ни в какой степени оказывать влияние на тех, о ком Н. Суханов пишет. Этакими пошленькими, замусоленными, старыми меньшевистскими мыслишками переполнена книга «Записки о революции». Ничего нового и оригинального, кроме пошлости в оборотах, она по вопросу о власти не дает.

Политическая борьба рабочего класса в нашей стране за время войны и особенно в начале 1917 года имела два основных исходных момента: 1) борьбу против войны и 2) борьбу против царизма. Около этих лозунгов происходили группировки «за» и «против» всех общественных сил того времени. Н. Суханов занимал позицию противника войны, называл себя сторонником циммервальдского направления, не входя ни в одну партийную организацию. Но вот революционное движение завершилось победой восставших рабочих и солдат. Какую же позицию занял тогда «циммервальдист» Н. Суханов в решающие революционные дни? Об этом мы находим в его первой книге много добродетельных рассуждений. На протяжении многих десятков страниц мы встречаем различные варианты «опасений» Н. Суханова за исход революции, если буржуазия не пойдет за ней и не станет во главе ее. Вопрос о том, что

власть должна принадлежать буржуазии, да притом еще цензовой, полупомещичьей, для него был решен, как мы знаем, еще до переворота. Во время же переворота, Н. Суханов на стр. 20 излагает свои опасения о том, «примут ли они (т.-е. цензовые элементы буржуазии. *А. Ш.*) власть из рук революции (для него эта «передача» также была уже решена. *А. Ш.*), оценивая все трудности своего положения, в частности во внешней политике? Или же, учитывая эти трудности, они предпочтут отмежеваться от начавшейся революции и погубить движение, обрушившись на него со всей силой, вместе с царской кликой? Или, наконец, они решат погубить движение своим «нейтралитетом», предоставив его самому себе, выдав его стихии, которая выльется в анархию?» Эти резонерские суждения не имели места среди революционеров подполья. В борьбе цензовой буржуазии за время войны мы видели жажду власти и, как марксисты, не могли даже и допустить, чтобы буржуазия отказалась от власти и предоставила себя силам стихии, которые жили и развивались только против нее. Обрушиться на революцию «всей силой» она не могла, так как эта сила в Питере не была на ее стороне.

Эти «опасения за судьбу революции» были нужны Н. Суханову и ему подобным (а их было немало среди околопартийной интеллигенции, различных бывших с.-д.) для того, чтобы и политику «революционной демократии» направить в угоду этих выдуманных им опасений. Так, на стр. 24 автор «Записок о революции» пишет, что «было a priori ясно, что, если рассчитывать на буржуазную власть и присоединить буржуазию к революции, то надо временно снять с очереди лозунги против войны, надо в данный момент на время свернуть циммервальдское знамя, ставшее знаменем русского и, в частности, петербургского пролетариата». В этом заключался гвоздь всех наших разногласий с оборонцами. И они начинали свои патриотические по сути речи с того, что объявляли себя ярыми врагами войны, а потом, во имя «спасения революции» предлагали «свернуть—тоже на время—до конца войны знамя международной солидарности и борьбы пролетариата». И поэтому так не нравились Н. Суханову «прямолинейные большевики». Они разоблачали его превращение из циммервальдского Павла в оборонческого Савла и, как ренегат, он питает к ним жгучую злобу.

Оборонческая интеллигенция была чрезвычайно перепугана развернутыми во время восстания антивоенными лозунгами и, пользуясь прикрытием с.-д. думской фракции Н. С. Чхеидзе, повела прямую и особо косвенную борьбу с этими лозунгами. Во главе агитационной антивоенной кампании стоял наш Петербургский Комитет Р. С.-Д. Р. П. (б.), поддерживаемый междурайонцами и некоторыми членами партии социал-революционеров. И в то самое время, как эти революционные организации вели массовую борьбу, оппортунистическая интеллигенция, вместе с буржуазией из прогрессивного блока IV Госуд. Думы, перепуганные «улицей», подготовляли «спасение революции» путем отвлечения рабочих и солдат от антивоенных требований. Частичку из этих махинаций вскрывает нам на стр. 34 и сам Н. Суханов.

В первые дни февральской революции, помню, как часть членов Исполкома (Шутко, Залуцкий, Молотов, Юренев, Панков, пишущий эти строки и ряд других) была удивлена появлением Н. Суханова в Исполкоме. Все задавали вопрос—откуда, кто его провел и какую организацию он представляет? Все интересовавшиеся тогда вхождением Н. Суханова и К° в Исполком найдут в его книге достаточно полное объяснение этого случая.

Оборонческие элементы нуждались в таких «циммервальдистах», которые смогли бы, оставаясь «принципиальными интернационалистами», проводить шовинистическую политику и «влиять» в этом направлении на других интернационалистов. Этакая миссия и была поручена Н. Суханову. Вот как рассказывает он сам об этом на стр. 34. «Как человека более и определеннее других выступавшего против войны, как литератора, имевшего довольно прочную репутацию пораженца, интернационалиста и ненавистника патриотизма, Н. Д. Соколов убеждал меня выступить сейчас как можно решительнее против развертывания антивоенных лозунгов и содействовать тому, чтобы движение проходило не под знаком «долой войну». Он говорил, что в моих устах соответствующие аргументы будут лишены злостного контр-революционного характера и будут более убедительны для руководителей движения. Начавшись же как движение против войны, революция погибнет от немедленных внутренних раздоров. Как бы ни относился я к такой аргументации, но *я всецело сочувствовал ее конечным выводам и обещал мое полное содействие оборонцам и радикальным группам против последовательных классовых интернационалистских принципов, против своих собственных принципов*». Об этом сознательном соглашении Н. Суханова с оборонцами и «радикалами» из буржуазии мы, члены Исполкома, интернеционалисты, не знали, а поэтому были немало удивлены ренегатским и предательским отношением Н. Суханова к «своим собственным принципам». Вся его работа во время революции была направлена прямо против левого крыла этой революции, против нашей Р. С.-Д. Р. П. (б.).

Одно время, когда оборонцы (с.-д., меньшевики, с.-р.) уже окрепли, когда в Питер съехались их видные руководители, тогда они не ощущали большой потребности в поддержке со стороны Н. Суханова и его друзей, и довольно откровенно начали их игнорировать. Н. Суханов тогда, это было, примерно, в конце второй недели революции, делает попытки войти в нашу партию. Об этом он неоднократно заявлял пишущему эти строки, а также т.т. Молотову и Залуцкому. Мы тогда же предложили ему публично отмежеваться от сотрудничества с оборонцами, отказаться от их «советской» политики услужения буржуазии. Помнит Н. Суханов и этот случай, но послушайте, как изображает он это дело на стр. 242 своей второй книги «Записки о революции»: «После какого-то столкновения с правыми в Испол. Комитете, я полушутя сказал Шляпникову, что мне приходится писать статью в «Правду».—«Что-ж,—ответил Шляпников,—я предложу своим». А на другой день он сообщил мне: «Наши говорят: пусть он пишет, но только пусть заявит сначала, что он стоит на точке

зрения большевиков».—Мы пошутили и разошлись». Такими простачками Н. Суханов изображает в «Записках о революции» многих из своих политических противников. И это делается не спроста. На фоне таких простачков величественна самовлюбленная личность Н. Суханова.

Его хвастливость, резонерство и способность с серьезным видом говорить избитые, опошленные оборонческие мысли, нашли тогда же должную оценку среди работников Питерского Исполкома. По нашей заводской привычке, мы дали этому политическому деятелю кличку «Чижик». Автором этой меткой характеристики является К. А. Гвоздев и, думаю, что не посетует на меня за это разоблачение. Даже оборонцам, в конце-концов, он опостылел, опреснел до тошноты.

Книги изобилуют большими и малыми неточностями и искажениями фактов. Описывая события на улицах Питера днем 26 февраля, Н. Суханов сообщает, что «около часа дня на Невском пехота, как известно, довела ружейный огонь до огромной интенсивности. Невский, покрытый трупами невинных, ни к чему непричастных людей, был очищен» (стр. 41, 42). Это не соответствует истине. Несмотря на пулеметный обстрел Невского, он сам и примыкавшие к нему улицы были переполнены рабочими, служащими и др. публикой. Обстрел Невского продолжался и после 3 часов дня. Неверно также сообщение о том, что «восставшие полки направились к Госуд. Думе» (стр. 63)... Прежде всего восстали не полки, а отдельные части полков, и в первую очередь, утром, они направились к рабочим, на Выборгскую сторону. К Госуд. Думе солдаты пошли на много часов позднее.

Совершенно неточно передает Н. Суханов о времени организации Временного Исполн. Комитета, порядке и характере его работ, а также и о личном составе его (стр. 67 и дальше).

Неверно, что на инициативном собрании Совета было 250 человек (стр. 96). Очень хорошо помню я это собрание и утверждаю, что на нем было всего чел. 45. Собрание же, на котором было 250 (или около) депутатов, было 28 февраля, в полдень, и носило название первого пленума Совета Рабочих Депутатов. На этом собрании оборонцы и провели ту группу деятелей, в которую входил и Н. Суханов, для борьбы с нами—интернационалистами.

Неверно сообщение Н. Суханова о том, что предложение о вооружении рабочих было сделано на Совете М. Броунштейном. Вопрос о вооружении был поставлен на заседании Вр. Исп. Ком. от имени нашей партии. Персонально на меня, Шляпникова, были возложены заботы о «рабочей милиции» в первые дни. Опровергая Н. Суханова, я опираюсь не только на свою память, но тщательно проверил все эти факты путем опроса ряда членов Исполкома, как, напр., В. Молотова, Панкова, П. Залуцкого, К. А. Гвоздева и др.

Любит наш «Чижик» и комическое. В роли комиков он по правилу выводит своих политических противников. Так, на стр. 192 Н. Суханов посвящает несколько строк мне в таком духе: «Помню комическое выступление Шляпникова, ворвавшегося в разгар прений и закричавшего

своим классическим владимирским говором: пока вы тут занимаетесь академическими вопросами, у нас на вокзале конфисковали нашу партийную литературу». Если принять во внимание, что этот случай Н. Суханов подтягивает к моменту обсуждения вопроса о власти, то в этом «комическом» скрывается изрядная доля политической инсинуации. По Суханову, случай этот был 1—2 марта. Но в эти дни мы никак не могли получить по ж. д. нелегальную литературу из Швеции. Факт конфискации литературы, привезенной в ящиках из Швеции, действительно имел место, но значительно позднее, когда начали приезжать эмигранты из Скандинавии, привезшие эти ящики, т.-е. числа 10 марта. Притянуть этот случай и скомбинировать разговор так «комически» Н. Суханову нужно все для той же благородной задачи—показать, как смешны, недалеки и глупы были «даже видные б-ки» и как гениален, прозорлив и вумен был наш «Чиж.к».

В книге Н. Суханова разбросано много «характеристик» деятелей подполья и первых дней революции. И все эти лица, особенно его политические противники, поставлены так, что выглядят такими ничтожными, маленькими,—и на этаком фоне малых сих так велик Н. Суханов и его други.

На протяжении первых двух книг мы находим изображение первых недель февральской революции, пропущенное через сухановское воображение, весьма далекое от бескорыстной исторической правды. Его книжки не дадут ничего полезного, ничего поучительного пролетарскому читателю. К разбору следующих книг мы вернемся в следующих номерах «Печати и Революции».

НА ТОМ БЕРЕГУ.

I. ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ.—Вяч. Полонский. II. ЭМИГРАНТСКИЕ ГАЗЕТЫ.—Н. Казмин.

I. ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ.

(«Ст. Иванович. Пять лет большевизма. Начала и концы». 1922 г. Изд. журнала «Заря». Берлин. Стр. 159).

Вяч. Полонский.

I.

Книжка Ст. Ивановича, название которой приведено выше,—отклик с «того берега» на юбилейные торжества Советской России. Составилась она из статей, напечатанных в эмигрантских изданиях, большею частью в эс-эровских «Современных Записках». Собранные воедино, статьи эти представляют собой любопытную картинку, на которой стоит остановиться.

Духовной родиной автора была кадетская газетка «Современное Слово»—«народное» издание «Речи». Здесь Иванович получил свое «высшее» политическое образование, «набил», что называется, руку, и когда заработал имя «стойкого» публициста, перекочевал в газету «День» на амплуа второй скрипки. Революция застала его, конечно, в ура-патриотах, и идеология его щеголяла всеми прелестями цвета хаки.

Само собой разумеется, что после Октября Иванович оказался по ту сторону баррикады. Ныне, сидя на эмигрантском бережку, он поплевывает в нашу сторону и, с вожделением глотая слюни, терпеливо ждет, когда же, наконец, исполнятся пророчества, и он вновь получит возможность продолжать прерванную большевиками работу на пользу «отечества».

Занятно при этом следующее обстоятельство: выступая весьма незастенчиво в роли агента буржуазии, он уверяет всенародно, что поступает как истинный социал-демократ. Он «не удовлетворен» официальной позицией Центрального Комитета Р. С.-Д. Р. П.; критикуя позицию этой почтенной организации, он доказывает, что Мартов, Дан и К° недостаточно социал-демократичны, что правильная позиция социал-демократии—это позиция его, Ивановича, и его друзей, организовавших

журнальчик «Заря», в котором ведется, конечно, травля Советской России. «Критика» Ивановича, кажется, возымела свое действие, и в официальных кругах Р. С.-Д. Р. П. поставлен вопрос о вовлечении в материнское лоно этого бойкого господина, который до последнего времени находился «вне» партийной организации. Если такое «слияние» произойдет,—а у нас нет никаких оснований полагать, что его не будет,—то происшествие это окажется новым показателем совершенного маразма, в который впадают остатки меньшевистской партии. Она завоевывается элементами, имеющими весьма случайное отношение к исторической социал-демократии и никакого отношения к марксизму.

Дальнейшее, надеюсь, покажет читателю, что эта характеристика—не полемический выпад.

II.

На первых страницах книги Иванович испытывает заметное беспокойство. Он чувствует себя некоторым образом скомпрометированным. Ведь подобно многим другим, и он предрекал Советской власти «двухнедельное» существование. Но судьба рассудила иначе—и ему приходится посвящать плоды своих вдохновений целому пятилетию ненавистной власти. Есть от чего прийти в некоторое смущение, даже при том отсутствии стыдливости, какая, может-быть, отмечена в нашем авторе. Последняя особенность и позволяет ему «с честью» выйти из испытания.

«С тех пор прошло уже пять лет,—элегически пишет он.—Если бы тогда кто-нибудь сказал, что этот режим столько продержится, его бы сочли сумасшедшим. Если кто-нибудь теперь после этих 5 лет скажет, что большевики продержатся еще 5 лет, его сочтут всего только... пессимистом».

«Эта разница оценок только показывает, до чего жалка и ничтожна была наша способность социально-политического предвидения. А ведь говорят, и правильно говорят, что без него невозможно никакое социально-политическое действие. В общественно-политической борьбе тот, кто не способен предвидеть, не способен и видеть».

Казалось бы, столь жестокое самообличение обязывает. И простодушный читатель, который не прочь уверовать в искренность Ивановича, будет ожидать, пожалуй, как на следующих страницах, бия себя в грудь, автор объявит всенародно, что, столь позорно осрамившись неспособностью «предвидеть и видеть», он бросает политику навсегда и решает заняться выпиливанием по дереву или другим ремеслом, не требующим большого ума. Простодушный читатель ошибется. Ничего подобного от Ивановича он не услышит. Расписавшись в круглой своей неспособности вести какую-нибудь политику, он выворачивается из скверного положения указанием на то, что «весь мир» ошибался вместе с ним. Этот аргумент дает Ивановичу основание почитать себя умником. Нельзя же, в самом деле, вообразить, что весь мир оглупел? Такова, приблизительно, логическая концепция, которую соткал автор с целью подкупить читателя. «Их» было много, не сумевших «предвидеть и видеть».., а это

обстоятельство, по Ивановичу, дает ему право и на будущее время донимать недалекого читателя своими политическими предвидениями.

III.

Нас, разумеется, мало трогают уловки, с помощью которых Иванович завоевывает читательское доверие. Внимания заслуживает обстоятельство, выше нами подчеркнутое: Иванович клянется Марксом. Иванович работает «под социал-демократа». В прошлом этого господина было некоторое касательство к социал-демократии. Он почитался так называемым «легальным» марксистом и, как это полагалось в таких случаях, к подпольной работе относился весьма отрицательно. Вместе с Череваниным и другими усердно в свое время занимался «ликвидаторством», и петербургский журнальчик под названием «Наша Заря» был вместилищем именно ликвидаторской мудрости. Партийную принадлежность Ивановича можно охарактеризовать, примерно, таким образом: «в работе подпольной социал-демократической партии участия не принимал, но всемерно оную партию ликвидировать стремился». В этом заключался его, так сказать, партийный стаж. Впрочем, этой «революционной» своей работе Иванович отдавал лишь досуг, которого у него было немного: время свое он тратил на сотрудничество,—мы уже указывали это,—в капиталистической прессе.

В такой же, если не меньшей, мере причастен Иванович и к Марксу. Достаточно хотя бы бегло проанализировать наудачу любую страницу его писаний, чтобы убедиться, что здесь марксизмом и не пахнет. Книжка его, в конце-концов, посвящена революции. Вооружимся терпением и попробуем отыскать в ней какие-нибудь намеки на классовые противоречия, которые ведь и составляют ткань революции, на борьбу интересов, на агрессивность господствовавших классов, на угрозы контр-революции именно с их стороны и т. п. Ничего этого у Ивановича мы не найдем. Но зато книга испещрена указаниями на контр-революцию, осуществленную рабочим классом и крестьянством, вместе взятыми. Контр-революцию Иванович ощущает со стороны трудящихся, отстаивающих себя от нападений капиталистических групп.

Он оперирует, конечно, понятием «демократия». По Ивановичу выходит, будто все несчастье заключалось в том, что «демократия», видите ли, искала человека-гражданина. «На нем она должна была и хотела строить». А в то время, когда демократия, подобно древнему Диогену, искала «человека-гражданина», возник хаос с разрушительными силами. Тогда перед демократией стал вопрос: «строить свое дело не на человеке-гражданине, а на хаосе». Но «демократия мартовской революции не могла, не изменяя себе, строить на силах хаоса», рассказывает Иванович, она «вынуждена была искать равнодействующую линию между силами хаоса и идеалами демократии», а тут-то и подстерегала ее беда, потому что пришли большевики и стали строить как раз на силах, отвергнутых демократией. Честная же, но бедная

демократия осталась не при чем. Вот как произошло это трагическое происшествие:

«Большевизм предвидел то, что другие не видели. Он предвидел, что ближайшие годы пройдут в России под знаком хаоса, крушения всех самых элементарных основ общественной, экономической, культурной и практической жизни. Он—или будем говорить так: Ленин предвидел, что война, другие народы разорившая, русский народ искалечит физически и душевно искалечит, сломает спинной хребет народа. Он знал, что отныне на ближайшие годы править бал будет Сатана—и Сатане, хаосу поклонился, включив свою партию в их чортов пляс». Таковы рассуждения Ивановича. Если это марксизм—я не знаю, что назвать идеалистической жвачкой мелкого буржуа, мозги которого вконец растрясла революция. Вместо того, чтобы честно и открыто признаться, что он желал в марте остановить движение революции, ибо оно грозило дальнейшим развертыванием сил рабочего класса, Иванович косноязычно мямлит что-то о «человеке-гражданине», о том, какая демократия была честная, а злой Ленин взнуздал хаос и нелюбезно толкнул коленом благородную даму, которая совсем не привыкла к такому обращению. Вместо того, чтобы сказать: «да, я, Иванович, защищаю интересы буржуазии, ненавижу Советскую власть и хочу победы моего класса»,—этот человек, не имеющий ни мужества, ни честности, прикрывается именем партии, которая в прошлом, плохо ли, хорошо ли, скорее плохо, чем хорошо, но шла об руку с рабочим классом; с бесстыдством, которому мы знаем немного примеров, не справившись даже в марксистской хрестоматии, он заявляет, что война не была для большевизма «школой борьбы за родину, за независимость», хотя всякому, хоть краешком уха коснувшемуся не только Маркса, но даже Каутского, должно быть известно, что по Марксу капиталистические войны для пролетариата никогда и не могли быть школой борьбы «за родину, за независимость» и т. д. Человек цитирует национал-патриота и хочет выдать империалистическую пропись за марксистскую идеологию.

IV.

После всего сказанного нас не удивляют причитания Ивановича, когда он плачется, что «в дни пятилетнего юбилея большевистского владычества чувство тяжкого поражения давит сознание острой, жгучей болью». Еще бы не давило! Но ведь все дело в том, что столь же острой болью давит оно Маркова II, Бориса Романова и всю остальную банду пропившихся представителей старой России. Устами Ивановича кричит их общая боль, общая ненависть, общее их стремление разгромить, растоптать, задушить победившую партию, которая увлекла за собой рабочих и крестьянство. Здесь перед нами Иванович выступает в роли публициста, пером которого водит вся черносотенная, контр-революционная, монархическая эмиграция, проплеванная и изнасилованная банкирами Антанты. И как ни старается скрыть наш «марксист», наш «социал-демо-

крат» свое черносотенство, свою тесную близость с контр-революционным сбродом,—эта близость выступает наружу, подобно длинным ушам, которых не может скрыть фригийский колпак. Там, во французской революции, говорит Ива́нович, «для Крыленок пожалели бы гильотины, а вешали бы их просто на фонарях. Здесь в «штаб Духонина» отправляли наиболее энергичных деятелей национальной защиты»—очень хорошо, господин Иванович! Еще лучше его апология Носке, этого не последнего представителя «демократии». Кивая на Запад, где более, чем в России, успешно велась борьба с большевизмом, Иванович замечает:

«Невзгоды, ужасы войны, физические и моральные, не могли так глубоко подорвать устои человеческого общежития в странах Запада, как в нашей бедной убогой России. И поэтому, когда послевоенная судорога—большевизм временами охватывал ту или иную часть западного мира, реакция всего организма получалась страшно повышенная, решительная, и пролетариат, выделявший Спартакуса на одном полюсе, выделял Носке на другом» [1]).

Читателю должно быть понятным теперь то презрение, с каким Иванович говорит о русском народе, не сумевшем выдвинуть своего «Носке». Осуществленный захват власти рабочими и крестьянами, господствующее положение, которое занято ими в «*своем*» государстве, он на лакейском жаргоне обзывает: «из грязи в князи», обнаруживая этим глубочайшую мещанскую уверенность, что *княжеские* позиции самой судьбой уготованы «для благородных». Народ, совершивший величайшую из революций, признанную всем миром, народ, выдержавший жесточайшую борьбу с целым светом,—этот народ трактуется, как взбаламученное море социальных отбросов, классовая окрошка и мешанина, «больное в сущности поколение» и т. д. Сколь далеко, однако, простирается бесстыдство ничтожностей, желающих обратить на себя внимание!

В конце-концов, наш автор обнаруживает то самое, во имя чего столь усиленно хлопочет. Его не волнуют воспоминания о тяжкой доле крестьян, погибавших в барских экономиях; его нисколько не трогает рабство рабочих на капиталистической каторге. Судьба этих людей не выдавит слезинки на выразительных глазах нашего джентльмена. Но взгляните, как дрожит его голос, какие полновесные капли катятся по его лицу, когда он обращает взор свой в сторону страдающей, униженной, оскорбленной буржуазии:

«Перенеситесь мыслью к началам большевизма. Вот этот буржуй валяется на улице и, голодный, оборванный, смотрит на вас страдальче-

---

[1]) Любопытно отметить следующее: другой рыцарь «демократии», господин Добровольский, военно-полевой прокурор северного правительства в Архангельске, расстреливавший русских крестьян и рабочих, в воспоминаниях, напечатанных в «Архиве» И. Гессена, рассказывает, как черносотенные генералы искали в Архангельске какого-нибудь «государственного социалиста типа Носке или Шейдемана», чтобы привлечь его к чтению лекций на солдатских курсах. Какая жалость, что, благодаря малой известности Ивановича, господа генералы не смогли использовать его небольшие таланты для большого дела.

ским взором и беззвучно что-то шепчет. Вот этот пролетарий при винтовке приказывает буржую убраться и не портить вида улицы».

Страдальческие взоры! Беззвучный шопот невинных жертв революции! Как разрывается сердце Ивановичей, когда они вспоминают о страданиях буржуазии. Но при чем тут все-таки социал-демократия? Или в самом деле эта почтенная организация призвана утирать слезы экспроприированным капиталистам?

Совершенно очевидно, что старая фирма играет здесь роль маски, которою прикрывается лик капиталистического молодчика, разбитного парня, который пользовался этой фирмой порядочное время и, что называется, нажил на этом деле некий политический капиталец. Работая под «социал-демократа», Иванович, как и многие другие, ему подобные, делал дело капитализма, был одним из слуг могучего класса, лазутчиком в стане врагов, и ныне, когда хозяин в беде, он не за страх, а за совесть продолжает свое дело, попрежнему прикрываясь маской рабочелюбия. Потому-то нас нисколько не удивляет, когда этот маргариновый «социал-демократ» проговаривается столь неловко:

«Приятно убеждаться, что большевики, пытавшиеся насаждать коммунизм, стали насаждать капитализм»,—еще бы! Ивановичу это не приятно!

V.

Чтобы дорисовать портрет этого человека, нам остается коснуться его тактических лозунгов. Эти лозунги исчерпываются словом: «Революция». Т.-е. он стоит за то, чтобы с помощью восстания свергнуть Советскую власть. Это похоже на Сатирикон. И сам Иванович недоверчиво относится к собственным словам, но—взялся за гуж, не говори, что не дюж! Решившись взять самую высокую ноту в нестройном антисоветском оркестре, он спел петухом, заканчивая свою книжку теми же заявлениями, которые слышали мы пять лет назад и ошибочность которых заставила Ивановича расписаться в собственной неспособности «предвидеть и видеть».

Оказывается: «дни большевиков, действительно, сочтены».

Но так как уже однажды с прорицателями случился конфуз, то Иванович, который задним умом крепок, хочет застраховать себя на этот раз от промаха.

«Говоря это,—предостерегает он,—надо опасаться возможных недоразумений. Сочтенные дни—это не обязательно и недолгие дни. Сочтенные дни—это не обязательство «скоро».

И, прикрыв стыдливо листком свою наготу, Иванович настраивает лиру на мажорный лад, уверяя своего читателя, что ему «уже виден берег», что «туман рассеялся» и «всем гребется бодро и уверенно»...

Читатель, вероятно, догадался, какой «берег» манит к себе Ивановича и почему он развеселился в условиях, казалось бы, далеко не веселых. НЭП-спаситель протягивает ему свои руки. Вот отчего возликовал наш социал-демократ.

«НЭП сделал свое дело. НЭП был освободителем от большевистской власти, от ее морально порабощающей силы—и в этом другая огромная его заслуга», восхищается Иванович. Но этого мало. НЭП не только освободил всех от «морального порабощения» Советской власти, но не сегодня—завтра он объявится революционером, отважно подаст руку Ивановичу и вместе с ним станет выполнять программу журнала «Заря».

Дело в том, что «экспериментаторство» Советской власти нэпману надоест, уверяет наш автор, уже испытанный в деле политического предвидения. «Освободившись от неприятных воспоминаний дней своей юности, нэпман ощутит в душе своей пыл гражданского и политического негодования. Он пойдет против Советской власти. Он станет одним из элементов революции против советского режима»—все это очень страшно. Но как произойдет на деле восстание нэпов против Советской власти? Иванович весьма подробно, предвкушая тысячи удовольствий, захлебываясь от восторга, от сознания собственной проницательности, с гордостью рассказывает про это. Да как Ивановичу не гордиться! Франция и Англия отступились от Советской России, а Иванович не отступился. Они впали в уныние, он же нисколько не унывает! Они полагают, что Советская власть крепка, а Иванович уверен, что дни ее сочтены. Вот он какой Ст. Иванович, кто бы мог подозревать в маленьком газетном зайце столько проницательности! Одним словом, все произойдет как по маслу:

«Пускай НЭП приводит вновь обогащающиеся элементы к некоторой субъективной заинтересованности в существовании Советской власти, которая так чудесно вывела их из грязи в князи—объективно нэпман роет могилу своим пестунам. Он творит соблазны свободы для всей страны. Но и сам, доигравшись до чортиков, когда все уж будет разграблено, разворовано и насквозь проспекулировано, начнет тереть себе лоб и однажды возропщет: клади об это самое место конституцию! Иначе, в конце-концов, ухнет все его богатство. А если до того общественно-революционное движение примет более интенсивные формы, нэпман, прочности своего капитала ради, начнет так тормошить своих пестунов докучной нэпофрондой, что демократическим силам останется только расширять эту щель между нэпманом и властью, чтобы она превратилась в непроходимую пропасть».

Так вот с чем связаны последние надежды «демократии». Вот почему поет Иванович петухом: революция! Демократические силы, оказывается, нашли себе «союзника» и с трепетом ждут, когда спасительная «щель» сделается настолько широкой, что они смогут потихоньку да понемножку доделать дело, которое начал НЭП. Вот до какой жалкой и трусливой маниловщины докатилась белогвардейская интеллигенция. Эта интеллигенция вполне достойна таких «вождей», как Ст. Иванович, самое появление которого в первых рядах эмиграции означает разложение, упадок, маразм. С такими вождями, пожалуй, одно лишь и остается: искать такую щель, куда можно было бы забиться с руками и с ногами, и ждать, когда эта щель превратится в пропасть, которая поглотит ненавистный большевизм.

VI.

Фигура Ивановича примечательна не только как образец белогвардейского интеллигента новейшей формации. В последнем отношении он, правда, типичен. Ни крупных дарований, ни большого личного опыта у него нет. Это в полном смысле слова средний человечек, газетный второй сорт, который мог стать «крупной рыбой» лишь на эмигрантском безрыбьи. Но то именно обстоятельство, что он является типическим образцом среднего человека, делает любопытным все его идеологические ухищрения. На примере Ивановича можно показать, как мелко-буржуазный интеллигент, которому на деле до интересов рабочего класса, как до звезды небесной, далеко,—долгие годы, не слишком, правда, рискуя своей персоной, в легальных условиях «умеренности и аккуратности»,—работает под фирмой партии рабочего класса, с лозунгами, обращенными к рабочим, но продиктованными интересами буржуазии. Это не было двурушничеством, и он никогда не сознавал себя предателем, торговавшим интересами пролетариата, но это была социальная мимикрия, которой требовала среда от молодого интеллигента. Ему социализм был чужд, его дело было двигать торговлю и промышленность, умножать хозяйские барыши, способствовать процветанию буржуазии, но вот—подите же—ко всему этому приходилось ему проходить под маской социал-демократа, рабочелюбца, друга и защитника рабочего класса. Таких, как Иванович, было немало. Они засорили социалистические партии к дням февральской революции—этим и можно объяснить то обстоятельство, что подавляющее их большинство, когда революция произошла, неожиданно почувствовало, что им, собственно, дальше ехать некуда, что до своей станции они добрались, что их интересы, которые они, разумеется, объявили интересами самой «революции», требуют остановки. И вся дальнейшая трагедия этих людей в том и заключается, что, скинутые с поезда, они не имеют сил ни дать ему задний ход, ни взорвать полотно, чтобы превратить поезд в щепки. Остается весьма незавидная задача «сидеть у моря и ждать погоды», поплевывая в сторону победителя, лаская свой слух разнузданной бранью по его адресу и утешая себя мечтами о том, как НЭП в один превосходный день начнет тереть себе лоб и возопит:

«Клади об это самое место конституцию».

II. ЭМИГРАНТСКИЕ ГАЗЕТЫ.

(Опыт обзора).

Н. Казмин.

«Естественная испарина свободной земли»—так назвал кто-то из деятелей Великой французской революции современных ему эмигрантов-французов. Эти слова можно применить с одинаковым основанием и к теперешним русским эмигрантам. В существе, французские эмигранты—роялисты, и наши русские эмигранты—всех рангов, оттенков, классов и политических настроений—суть явления одного и того же порядка, возникли на основе сходных причин. Разница разве в том только, что «подогревание», вызвавшее «испарину» в 1917—1920 гг., было доведено до более высокой температуры, чем в 1789—1793. Соответственно напору революционной энергии, русская свободная земля дала больше испарины, и эмигрантов выкинула столько, что они расползлись по всем странам мира.

От участия в жизни тех стран, где они находятся, современные русские эмигранты устранены совершенно, загнаны под стеклянный колпак; туда звуки подлинной жизни российской до них не доходят (да и слышать их они не хотят); не получая питательных соков с родины, они варятся в своем собственном соку, и—самое для них страшное—они не знают, прекратится ли когда-нибудь их эмигрантское положение и что нужно им сделать, чтобы оно прекратилось. И живут они поэтому без будущего, без твердых надежд на него, не творя для него и занимаясь мечтательными воспоминаниями о прошлом.

У них есть свой университет в Праге, свои газеты, своя литература, свои театры... Вся жизнь—своя, отдельная, ни в чем не соприкасающаяся с русской. Они живут своими интересами и без всякого стремления познать и понять совершающееся в России. Современную Россию они знают в массе своей вряд ли лучше, чем какие-нибудь испанцы или марокканцы, и представления о ней у них так же неотчетливы, как о таинственной Лхассе со священным Далай-Ламой. Они запросто путают ВЦИК с Совнаркомом, не знают, что такое трест, а когда им случайно приходится увидеть в кинематографе снимок с бурлящей московской улицы или со стройных рядов хорошо одетых красноармейцев, они сперва немного удивляются, а потом решают, что все это нарочно инсценировано.

Почему теперешняя русская эмиграция такова—на это есть много причин, и на разборе их нет нужды останавливаться для темы нашей статьи. Но принять к сведению отмеченные черты эмиграции надо непременно, ибо в этом ключ к пониманию того, что представляют из себя белые эмигрантские газеты.

Легче и правильнее всего обзор эмигрантских газет начать с «*Общего Дела*». Правда, сейчас эта газета уже не существует, но потому, что раньше она пользовалась немалым влиянием в эмигрантских кругах, ее нельзя обойти молчанием. К тому же «Общее Дело»—первая, по времени возникновения, эмигрантская газета; она, так сказать, проложила путь для всех остальных, предопределив некоторым образом основной тип для них всех.

Редактором и издателем «Общего Дела» был В. Л. Бурцев. Возникла газета не за границей, а в Петрограде. По крайней мере, Бурцев в первых же номерах, вышедших в Париже, особенно упорно подчеркивал, что «Общее Дело» в Париже—газета не новая, а продолжение старой, редакция-де лишь временно переменила только адрес и типографию, но позиции свои сохранила и борется за то, за что боролась и раньше.

И надо признать, что такое заявление Бурцева было не пустой фразой: «Общее Дело», действительно, и на берегах Невы в 1917 г., и на берегах Сены в 1922 г. в главных чертах сохранило свое лицо. В июне 1917 г. была взята истерически высокая нота, и в этой ноте старик Бурцев продолжал писать до последнего номера газеты. «Проклятье вам, большевики!» так называлась брошюра Бурцева, первый раз изданная еще при Временном Правительстве в Петрограде, перепечатанная и широко раздававшаяся населению в районе, занятом Деникиным и Врангелем, а потом переведенная на французский язык и распространявшаяся по Европе; этот же призыв к «проклятью» наполнял и все номера «Общего Дела». За пять лет с 1917 по 1922 ни одной свежей мысли, никакого отражения вихря революционных событий,—все остановилось на точке 17-го года, и никакого снисхождения, только «проклятье» и опять «Проклятье вам, большевики!».

В этом смысле, действительно, «Общее Дело» осталось тем же за границей, каким оно было и в России. Но в остальном оно подверглось некоторой эволюции. Как-никак в прошлом своем Бурцев был все же революционером и врагом монархизма; но, видимо, действительно, нельзя ходить по грязи и не запачкаться, и Бурцев, может-быть, в результате своей близости к сферам охранки, перестал быть революционным бойцом и мало-по-малу превратился в очень жалкого певца славы Деникина, Врангеля, своих французских хозяев и даже делал почтительный, хотя и скромный, реверанс перед монархистами.

История «Общего Дела» за границей такова. После Октября в 1917 г. Бурцев некоторое время просидел в Петропавловской крепости, но потом был выпущен и бежал за границу. Там, в Париже, он сразу приступил к изданию «Общего Дела». Сперва газета выходила раз в неделю, при чем одну неделю на русском языке, а другую на французском под названием «La cause commune». Постепенно, по мере заполнения, Европы новыми группами эмигрантов, газета стала развиваться, и ко времени расцвета Деникина и Колчака в России уже выходила три раза в неделю на русском языке и один раз на французском. В 1919 г. Бурцев ездил из Парижа в Новороссийск и Таганрог—резиденцию Деникина, вел с ним

переговоры, а по возвращении во Францию развернул свою газету в большую и ежедневную, прекратив французское издание. Бурцев, не стремясь даже «хранить оттенок благородства», кадил хвалебный фимиам Деникину, а когда Врангель «сверг» Деникина, Бурцев так же легко и просто стал служить новому хозяину. Осенью 1920 г. Бурцев приезжал к Врангелю в Крым. Попал он неудачно, к самому крушению Крыма.

Зарвавшийся старик потерял всякую меру лести. Накануне приказа Врангеля об эвакуации, севастопольская газета «Юг России» печатала статью Бурцева с его впечатлениями от Крыма. Бурцев выражал восторг и уверял, что Крым не падет и останется «образцовой формой государственного строя». А «Общее Дело» в Париже печатало такие же статьи в те дни, когда Врангель с войсками уже плыл на кораблях в Константинополь.

Конец врангелевщины не побудил Бурцева к пересмотру позиций. «Проклятье вам, большевики» и истерия остались попрежнему. Так же попрежнему раздавались со страниц «Общего Дела» призывы к иностранцам об интервенции. Но к тому времени в среде зарубежных русских уже происходил процесс некоторой дифференциации. Эмиграция, бывшая достаточно единой по своим настроениям, когда Деникин и Врангель вели войну, ибо все эмигранты смотрели на них с надеждой как на «избавителей», теперь, после их поражения, дала трещину. В эмиграции появились новые течения, эс-эры выкинули лозунг: «Ни Ленин, ни Врангель», началось расслоение, появились противники Врангеля и в частности противники установленной Врангелем совместно с французами системы содержания врангелевских солдат в военных лагерях с тюремным режимом.

У Врангеля, продавшего русский черноморский флот французам, в то время еще были деньги, он продолжал давать Бурцеву субсидии; Бурцев держал свою газету по курсу Врангеля и стал ратовать за создание органа, объединяющего всю эмиграцию. По инициативе «Общего Дела» был созван в Париже съезд, положивший начало так называемому национальному комитету. Однако, процесс разложения эмиграции шел все дальше и дальше; левые кадеты (милюковцы) не примкнули к национальному комитету; между Врангелем и «общественниками» стали возникать конфликты, и Бурцеву все труднее оказывалось исполнять роль придворного врангелевского барда. Между Бурцевым и Врангелем отношения стали охлаждаться, да к тому же и Врангель стал беднее и менее щедрым; газета стала хиреть; уже появились перерывы в выходе номеров. Бурцев искал новых покровителей, сорвал небольшой куш, кажется, с комитета русских торгово-промышленников (Рябушинский, Денисов и др.), но всего один раз, так что едва хватило на месяц. «Временно» выход газеты был приостановлен. Потом через месяц как-то опять вышло два или три номера; опять газета прекратилась. А с лета 1922 г. «Общее Дело» больше не выходит, хотя объявлениями своими и держит публику под угрозой возобновления «в непродолжительном времени».

Со смертью «Общего Дела» читательский рынок в Париже монополизирован газетой «*Последние Новости*». Газета с этим названием основана была еще весной 1920 г., но сперва она выходила, как значилось в заголовке, «под редакцией присяжного поверенного М. Л. Гольдштейна», и тогда у нее не было никакого определенного лица; иногда проскальзывала очень легкая и очень робкая оппозиция дравшемуся в Крыму Врангелю; политически велась довольно сумбурно, ибо на страницах ее рядом с именами прославленных ка-дет находил себе место и такой матерой нововременец, как проф. А. А. Пиленко, и была она не чужда некоторой склонности к бульвару и желтизне. Но в феврале 1921 г. «Последние Новости» перешли в другие руки; под названием газеты появилось: «издается при ближайшем участии П. Н. Милюкова, М. М. Винавера и В. А. Харламова»; через некоторое время имена Винавера и Харламова исчезли, и Милюков остался один. Газета заняла очень определенный тон, и позиция, которую занял в ней Милюков, наделала в эмиграции много шуму.

Кадетский вождь до того времени жил в Лондоне и, если не считать двухнедельного журнальчика на английском языке «New Russia», не имел никакого органа. Впрочем, до падения Врангеля в Крыму он и вообще-то не выступал активно, так как ему господа положения при Деникине и Врангеле не могли простить его германофильских и украинофильских симпатий, проявленных в пору господства гетмана Скоропадского. После падения Врангеля, к которому были близки многие из кадет, Милюков выступил с провозглашением так называемой «новой тактики».

Основные положения новой тактики сводились: к решительному признанию республиканского принципа, к признанию принципиальной возможности блока с социалистами и к утверждению, что иностранная интервенция, равно как и возбуждение гражданской войны под водительством белых генералов—предприятия для России вредные и не ведущие к цели, так как цель, т.-е. свержение Советской власти, может быть достигнута воздействием не извне, а изнутри, иными словами—преимущественное внимание должно быть направлено не на эмиграцию, а на контрреволюционную организацию населения внутри России. За два года, с тех пор прошедшие, лозунги новой тактики потерпели некоторое изменение, ибо, как известно, Милюков, основатель ее, не отличается особенной стойкостью и тактические свои позиции меняет довольно часто (достаточно напомнить и сравнить: Милюков в марте 1917 г. сторонник Михаила Александровича и Милюков республиканец теперь и т. п.).

Проведению нео-тактических лозунгов кадетской партии и должны были служить «Последние Новости», когда во главе их стал Милюков. Эта по времени совпало как раз с идеей Бурцева о «национальном комитете»; этой идее Милюков с эс-эрами противопоставил идею созыва «комитета членов учредительного собрания». Бурцев созывал свой съезд, Милюков открыл свой комитет «33-х» (столько за границей оказалось учредиловцев). Ни из того ни из другого ничего не вышло; оба оказались, как и надо было ожидать, мертворожденными; сейчас оба бездействуют.

Но раскол произошел, и именно с этого момента надо считать начало образования в эмиграции разных политических группировок.

На первых порах Милюков был почти одиноким, так как кругом все эмигранты все еще продолжали культ поклонения Врангелю, а на вопрос о желательной форме правления у всех было принято за хороший тон определенного ответа не давать, жеманиться, стыдливо поджимать губы и твердить что-нибудь невнятное о «воле народа», а «реальном соотношении сил», о «будущем, которое покажет», и т. п. лицемерные невразумительности. Милюков поставил точку над i,—поставил ее с левой стороны, но дал выход зато и монархистам поставить точку с правой стороны.

Кадетская партия раскололась. За прежним своим вождем ушли очень немногие, по преимуществу живущие в Париже и образовавшие «демократическую группу партии народной свободы». Остальные сгруппировались в Берлине и объединились около открывшейся там в конце 1920 года газеты «Руль».

Во главе «*Руля*» стояли И. В. Гессен, А. И. Каминка и В. Д. Набоков. В 1922 г. Набоков был убит в Берлине русским монархистом Таборицким, а Гессен и Каминка ведут газету по сию пору.

Руководители «Руля»—прежние руководители правоверной кадетской петроградской «Речи». Даже внешность у газеты скопирована с «Речи»: тот же рисунок заголовка, тот же подбор шрифтов, та же манера верстки и на добрую половину тот же состав сотрудников. Даже и коммерческий хозяин тот же самый: в Петрограде это было акционерное общество «Слово», главным акционером которого был германский бумажный фабрикант и книготорговец Ульштейн, а в Берлине—уже просто один Ульштейн без всякого акционерного общества.

Есть, конечно, и разница: прежняя «Речь» отличалась выдержанной корректностью тона; теперешний «Руль» поражает расхлябанностью суждений и стиля. Впрочем, это общая черта всех эмигрантских газет. Об этом ниже.

«Руль», вообще говоря, занял место покойного «Общего Дела», однако, с одной стороны, потому, что он материально от Врангеля независим, а с другой—потому, что сказывается все-таки школа русских кадет, он не так полон подхалимства, как это было у «Общего Дела», и свободен от элементов смешной и глупой истерии, так характерной для Бурцева. Но в отношении информации о России «Руль» стоит на одинаково низкой степени недобросовестности, как и «Общее Дело».

«Руль» в Берлине не так счастлив, как «Последние Новости» в Париже. У «Руля» есть конкуренты. В Берлине, кроме «Руля», издаются еще и другие чисто-эмигрантские газеты: «Воля России» и «Дни».

«*Воля России*»—партийный орган эс-эров. Издавалась она сперва в Праге. Согласно исстари существующему у эс-эров обычаю, они делятся на бесконечное число фракций, направлений, кружков, «крыльев» и т. п. К этой программно-идеологической стороне дела в Праге прибавились еще разногласия по вопросу о праве распоряжения денежными сред-

ствами, оказавшимися у эс-эров в результате их участия во Временном Правительстве, и эс-эры-издатели так перессорились друг с другом, что газета их закрылась. Однако, месяца через два какой-то компромисс был найден, и «Воля России» воскресла на этот раз уже в Берлине, но не как официально-партийный орган, а как частное издание группы Зензинова и других.

О «Воле России» можно сказать только, что номера ее производят безнадежно-унылое впечатление и навевают мертвую скуку. Собственно говоря, ни у какой вообще эмигрантской партии и газеты нет своей *массы*, но у других есть хотя бы своя *публика* и свои читатели, а у эс-эров и этого нет. В самом деле, программа эс-эров совсем не рассчитана на одобрение тех элементов, из которых составлена эмиграция. У кадет есть свои профессора и буржуазная интеллигенция; у монархистов есть своя публика из бывших помещиков, придворной и чиновной знати, иерархов церкви и т. д., у эс-эров же нет никакой опоры, и лидеры их пребывают в убогом и совсем не гордом одиночестве. Тайны конторы газеты, разумеется, недоступны постороннему человеку, но общие наблюдения над эмигрантской жизнью, случайные разговоры с газетчиками и даже просто беглый взгляд на витрины книжных магазинов и газетных киосков,—все убеждает, что на эс-эровскую литературу спроса нет, и читателей у «Воли России» немногим больше, чем сотрудников.

Третья издающаяся в Берлине газета—«*Дни*». Эта газета не насчитывает и полугода своего существования; является она порождением последней волны эмигрантов, самой свежей формации. На первых ролях в этой газете те интеллигенты, которые в прошлом году были высланы советским правительством из России (Кускова, Прокопович, Петрищев и др.). Политическое место этой газеты где-то между эс-эрами и Милюковым, четко ее платформа еще не обрисовалась. Но с первых же номеров «Дней» стала заметна одна черта, несвойственная другим эмигрантским газетам.

Дело в том, что эмигранты, как мы сказали, живут под стеклянным колпаком и подлинной жизни русской не знают. Для самых правых и непримиримых из эмигрантов России вообще не существует, раз в ней нет их самих и их господства; для других Россия или какая-то раздражающая непонятная туманность, или мертвая пустыня, где плач и стенание, где единственный род занятий населения—поднимать восстания против Советской власти и где, несомненно, не происходит никаких творческих процессов. Одним словом, чутье подлинной жизни и понимание действительности эмигрантами утеряно совершенно. Естественно, последние эмигранты, в роде Е. Д. Кусковой или проф. Питирима Сорокина, оставившие Россию совсем недавно и приглядевшиеся к ней, несмотря на всю их злобную враждебность к Советской власти, все-таки не могли взять принятый в старой эмиграции тон. И они стали говорить несколько по-иному.

Когда Кускова приехала за границу, она наделала много шума по всей эмигрантской Европе своими лекциями на тему: «Жива ли Россия?»

Кускова отвечала на вопрос: «да, жива». Это было ново и шло совершенно вразрез с тем, что привыкли думать и писать эмигранты.

Конечно, Кускова и ее друзья по «Дням» в своей сущности тоже эмигранты, и эмигранты самой чистой воды, не приемлющие советский строй и власть трудящихся, охотно льющие помои злобной клеветы на Россию, сладострастно издевающиеся над ее муками, но «Дни» все же злобствуют не на все огулом, и пока у их издателей еще свежи впечатления от России, пока они еще не отравились смрадным воздухом эмигрантщины, их не успела засосать топь эмигрантского болота.

Впрочем, все сказанное верно в применении к прошлому, настоящее автору этих строк неясно, ибо он в течение двух последних месяцев «Дней» уже не видал, а что касается до будущего, то прогноз бесспорен: яд эмигрантщины даст себя знать, и эмигрантское болото засосет... Из него не вырвешься.

Газеты Парижа и Берлина—это газеты бывших и настоящих кадет и эс-эров, левого крыла эмиграции, либерально настроенной интеллигенции. Совершенно иную картину представляют газеты Балканского полуострова. Тут уже полное паскудство и ничем неприкрытое черносотенство.

Из городов Балканского полуострова больше всего эмигрантов в Константинополе, но издающаяся здесь газетка «*Вечерняя Пресса*» не заслуживает того, чтобы на ней долго останавливаться. Ведется она халтурно, почти без статей, с одними голыми телеграммами, на три четверти занята она торговыми, ресторанными и врачебными объявлениями. К тому же, установленная победителями «междусоюзническая цензурная комиссия» так давит газету, что развернуться ей, видимо, трудно. До прошлого года газета эта называлась «Presse du Soir» и по требованию цензуры выходила с параллельным французским текстом. Политического значения газета не имеет, равно как и политического лица. «Орган независимой эмигрантской мысли», а отсюда вывод: ругай Россию и безудержно клевещи на Советскую власть.

Раньше Константинополь имел большое значение в эмигрантской жизни. В первый год после оставления Крыма в Константинополе жил Врангель; при нем находился и разыгрывал буффонаду «Русский Совет»; тут же имели свои центры Земский и Городской Комитеты; в районе, тяготеющем к Константинополю, были размещены лагеря с врангелевскими солдатами и офицерами, жило много беженцев из Одессы, Крыма, Новороссийска, Батума. С течением времени Константинополь утерял свое значение; все стали перебираться на Запад, общественные организации перенесли свои центры в Париж и Берлин, а Врангель—свою резиденцию в Сербию.

Белград—столица Сербии—может теперь почитаться центром политической жизни русской эмиграции на Балканах.

В Белграде всего две газеты, и обе небольшие по размерам, но зато какие махровые и с каким букетом!

На первом месте надо поставить «*Новое Время*». В такой пальме первенства «Новому Времени» никто отказать не посмеет: имя старое

и заслуженное. Редактор-издатель М. А. Суворин. На этом, строго говоря, можно поставить точку, уже все сказано и все должно стать понятным, особенно если пояснить, что все осталось без изменений, ну, совершенно без всяких изменений.

«Руль» лишь подражает старой «Речи», а «Новое Время» в Белграде с улицы Кралевы Наталии—это точная и совершенная копия с «Нового Времени» в Петрограде с Эртелева переулка. Единственное отступление от оригинала—это значительно уменьшенный размер. Прежнего богатства папаши-Суворина нет. Во всем же остальном точно-точно. Тот же заголовок из букв того же стиля; так же на 1-ой странице траурные объявления с теми же самыми словами, с теми же титулованиями: «после продолжительной и тяжкой болезни генерал-от-инфантерии такой-то...», «от командира такого-то военного училища объявляется, что в день кончины августейшей основательницы училища императрицы Анны Иоанновны будет отслужена панихида»... Потом такая же, как прежде, скучно заверстанная длинными слепыми столбцами 2-ая страница, потом 3-ья. Те же самые подписи под статьями: А. Столыпин, А. Погодин, Ренников. Те же самые слова и мысли: о преданности «Его Величеству», об еврейском засилии, о невежестве русского мужика, смущенного кучкой «длинноволосых агитаторов».

Ничто не коснулось «Нового Времени», ни шагу не двинулось оно от той точки, на которой стояло перед революцией и попрежнему благоухает всеми цветами черносотенства. У «Нового Времени» проповедь монархизма и возврата к старому—откровенная, прямая, ничем не прикрытая и ничем не смягченная.

Этой прямоты и лишена вторая белградская газета «*Русское Дело*».

«Русское Дело» сперва издавалось в Болгарии, в Софии. Но когда весной 1922 г. Врангель был уличен в заговоре против болгарского правительства и когда его генералы были выселены из пределов Болгарии, редакция «Русского Дела» вслед за ними перебралась в Сербию. Основная платформа «Русского Дела» такая же, что и «Нового Времени». Но «Русское Дело» предпочитает итти путями закоулочными и извилистыми; у руководителей его не хватает нововременского темперамента, несмотря на то, что один из главных китов «Русского Дела» тоже бывший нововременец—А. И. Ксюнин.

«Русское Дело» и «Новое Время» ссорятся друг с другом за честь быть официозом Врангеля; сам же Врангель пользуется попеременно услугами то той, то другой газеты: если ему надо представиться в качестве «верного слуги будущего царя», он оповещает о себе на страницах «Нового Времени»; если же ему надо замаскироваться главнокомандующим армии, стоящей «вне политики»—он пользуется «Русским Делом».

Из российского слишком немонархического далека, вероятно, трудно уловить ньюанс, отличающий одну от другой эти две газеты, и трудно понять, почему, собственно, они враждуют. Приведу один характерный случай, около которого разгорелась полемика между «Русским Делом» и «Новым Временем».

12/25 января в «Татьянин день» бывшие и настоящие студенты, находящиеся в Белграде, устроили пиршество по случаю студенческого праздника. На пиршестве этом большинство участников принадлежало к числу офицеров-врангелевцев; они не позволили петь «Gaudeamus igitur» и потребовали взамен «Gaudeamus'a» исполнения «Боже царя храни» и военных песен. «Новое Время» от этого пришло в восторг и доказывало, что «Gaudeamus»—песня революционного студенчества, что петь ее неприлично и недопустимо и что слаще гимна «Боже царя храни» ничего в свете нет. «Русское же Дело», наоборот, возмутилось, доказывало, что не все студенты непременно революционеры, что из бывших студентов выходят и чиновные люди, верные слуги царя, и что на студенческом празднике издавна почитается необходимым петь «Gaudeamus». А что касается до «Боже царя храни», то этот гимн, конечно, везде и всегда петь надо, но «Боже царя» и «Gaudeamus» друг другу не мешают...

«Так в ненастные дни занимались они делом».

К группе этих двух газет примыкает еще издающаяся в Софии газетка «*Русь*». Она материально много беднее своих белградских собратьев и поэтому лишена их красочности.

На примере сопоставления болгарской «Руси» с сербскими «Русским Делом» и «Новым Временем» можно демонстрировать одну очень любопытную черту, свойственную всем эмигрантским газетам: им всем приходится прислуживаться к хозяевам той страны, в которой они живут.

Как известно, Сербия и Болгария находятся в состоянии постоянной вражды друг к другу. И всякой газете, издающейся на Балканах, волей-неволей надо сделать выбор и примкнуть к какой-нибудь стороне, ибо совсем избежать подобных тем невозможно в силу чрезвычайной обостренности их на Балканах. «Новое Время» в Белграде и «Русь» в Софии—это до такой степени одно и то же, что софийскую газетку можно даже считать за филиал «Нового Времени». Но «Новое Время» ведется в сильно сербофильских тонах с нескрываемой враждой к Болгарии, а «Русь», наоборот, всячески старается услужить болгарскому правительству.

Еще ярче та же черта обнаруживается на истории «Русского Дела». Когда «Русское Дело» издавалось в Софии, конца не было похвальным и приветственным словам по адресу болгарского правительства; министр-президент Стамболийский сравнивался с Петром Великим и аттестовался как замечательный государственный деятель. Но стоило редакции переехать из Софии в Белград, картина переменилась: Стамболийский превратился в парвеню и авантюриста, и во всех возникающих конфликтах стали оказываться правыми сербы, «водимые мудрой головой Пашича».

Аналогичная картина наблюдается и в других местах Европы. Так, при франко-германских конфликтах издающиеся в Берлине «Руль» и «Дни» тянут руку немцев, а Милюков в парижских «Последних Новостях» защищает французскую политику. К сожалению, редакторы этих газет не переезжали из города в город, а то аналогия могла бы быть продолжена.

Почти без всякой натяжки к группе балканских черносотенных газет могут быть отнесены и издающиеся в Софии «*Казачьи Думы*». В очень большую политику газета эта не впутывается, распространяется преимущественно среди казаков, живущих по Сербии и Болгарии, вид имеет серый, ведется скучно и сухо, но в общем и целом стоит на линии правого фланга эмиграции.

Поименованными выше не исчерпывается список эмигрантских газет, но остальные не имеют ни большого политического значения, ни яркого характера, ни обширной сферы распространения. Их надо только перечислить:

В Варшаве «знаменитый» Савинков издавал «*За свободу*», газету столь же сумбурную, сколь сумбурен и сам ее издатель.

В Ковно—«*Эхо*».

В Ревеле—«*Последние Известия*».

В Румынии—«*Последние Новости*».

В Берлине понедельничная—«*Время*».

В Париже такая же понедельничная—«*Слово*».

В Гельсингфорсе—«*Новая русская жизнь*».

Врангелевский штаб при своем 1-м корпусе и при Донском корпусе издает «*Информационные листки*».

Кроме того, говоря об эмигрантских газетах, нельзя не упомянуть еще о двух газетах, которые, не будучи эмигрантскими в тесном смысле слова, все же издаются за границей и «эмигрантами до некоторой степени».

Это, во-первых, сменовеховская «*Накануне*». Отдельно останавливаться на ней нет надобности, так как она расходится и в России, и наинтересованный читатель может прибегнуть к непосредственному ознакомлению с ней. Вторая газета такого же приблизительно типа «*Новая Россия*», издающаяся в Болгарии, в Россию не проникает и о ней следует сказать несколько слов.

Состав эмиграции на Балканах иной, чем в Центральной Европе. На Балканах количественно главная масса не те обломки старой России, которые составляют кадр читателей «Нового Времени» и «Русского Дела», а простые казаки и солдаты, эвакуировавшиеся за границу в рядах армий Деникина и Врангеля. За 1921 год в среде этих трудовых масс наметился процесс, аналогичный тому, который в интеллигентских кругах центрально-европейской эмиграции привел к «сменовеховству». Но идеология сменовеховства, идеология мудродумающей интеллигенции, не по силам для землероба-казака. Ему надо было изобрести что-нибудь проще, реальнее и быстрее переходящее в дело. Так, вместо интеллигентского «сменовеховства» на Балканах появилась «репатриация». В Сербии, где Врангель в большой силе и где местное правительство пресекает всякую пропаганду против него, не могла развиться самодеятельность трудовых беженцев в направлении к репатриации; зато в Болгарии, наоборот, создалась благоприятная почва, и там весной 1922 г.

возник «Союз возвращения на родину», очень быстро выросший и развившийся.

Союз возвращения для пропаганды своих идей стал издавать под редакцией Н. А. Казмина газету *«На родину»*. Параллельно на Балканах существовал обще-казачий земледельческий союз; позиция этого союза совпадала с позицией союза возвращения в плоскости отрицательного отношения к Врангелю и к белой эмиграции, но отношение к репатриации у него было уклончивое и неопределенное. У земледельческого союза была своя небольшая газета *«Вестник Земледельца»*. К осени 1922 г. в кругах земледельческого союза произошел окончательный сдвиг, и он примкнул к платформе Союза возвращения, т.-е. стал на точку зрения необходимости репатриации и безоговорочного признания Советской власти. Тогда редакции двух газет—«На родину» и «Вестника Земледельца»—слились и стали выпускать уже одну общую газету *«Новая Россия»*. В составе редакции «Новой России» в начале 1923 г. произошли изменения за отъездом некоторых лиц в Россию, и теперь газета редактируется коллегией во главе с проф. Э. Д. Гриммом.

Мир эмиграции—это мир догнивающего прошлого. Все их политические группировки, их взаимная грызня,—все это может быть интересным или с точки зрения курьеза, или как материал для предметного обучения истории. Они остались нетронутыми временем и, вглядываясь в них сейчас, вчитываясь в их газеты, можно, не зная прошлого, нарисовать ясную картину предреволюционного состояния и направления умов «русского общества».

Отсюда из России, прошедшей пятилетний путь Революции, все эмигранты кажутся такими близкими друг к другу, такими похожими. С русских высот, из русского далека они все кажутся слитыми воедино, и, право, даже Чернов, стоящий на самом левом фланге эмиграции, кажется очень похожим на Маркова 2-го с самого правого фланга. До того все они далеки от России и чужды ее настоящему.

Газеты всех эмигрантских лагерей и направлений одинаково полны злобой к России; все они одинаково невежественны и недобросовестны. Информации о русской жизни, хоть сколько-нибудь приближающейся к истине, они не дают; изо дня в день шестой год они заверяют своих читателей, что падение Советской власти неминуемо в ближайшем будущем. Два и три года тому назад, когда Россия была отрезана от мира блокадой Антанты, редакторов эмигрантских газет можно было еще извинить за недобросовестность информации. Но и теперь, когда в Россию и из России ездят ежедневно сотни людей, когда за границей есть советские издания, манера осведомления о родине осталась в эмигрантских газетах та же самая. Радостно подхватывается и восторженно комментируется всякое известие о неудачах, затруднениях, катастрофах и совершенно замалчиваются все сообщения о достижениях и творческой работе.

А стиль, которым пишут все газеты, «словечки», которые они пускают в адрес советов! И не только привычное к этому «Новое Время», нет, все, вплоть до Милюкова, щеголявшего раньше своими манерами джентльмена-публициста.

Могилой, тяжело пахнет от всех эмигрантских дел и дрязг... Плотно закрыт стеклянный колпак, под которым копошится их муравейник. Редко проникает туда струя свежего воздуха; живут они в своей смрадной никчемности, без всякой связи с живой жизнью, догнивая и растлеваясь. Так там, под этим колпаком, не вылезая из-под него, и превратятся они в окончательное ничто.

Верят ли они сами в свое воскрешение?

Как сказать?—И да и нет. Вот возьмем монархистов. Есть среди них сумасшедшие маниаки—эти верят; есть дельцы и спекулянты на преданности престолу—эти притворяются, будто верят; а есть и такие (их больше всего), которые понимают, что они лежат в гробу, но им скучно лежать молча, смиренно скрестив руки на груди; они копошатся, они надеются, что в щелочку гроба к ним проползет чудо, и они поют «Боже царя храни». Но с каждым днем эта песня звучит у них все с меньшей бравадой и все унылее и унылее...

ИДЕАЛИЗМ НА ПУТИ К САМОУПРАЗДНЕНИЮ [1]).

Григорий Баммель.

H. Vaihinger: Die Philosophie des Als-ob. System der theoretischen, praktischen und religiosen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus. Mit einem Anhang über Kant und Nietzsche. Fünfte und sechste Auflage. Leipzig. 1920. 801 Seiten.

Annalen der Philosophie. Mit besonderer Rücksicht auf die Probleme der Als-ob Betrachtung... herausgegeben von Raymond Schmidt und Hans Vaihinger, Leipzig, Erster Band, 1919. 680 S.; zweiter Band, 1921, 563 S.; dritter Band, Heft I—III 325 S. Leipzig. 1922.

Wie die Philosophie des Als-ob entstand. Von Hans Vaihinger 1921.

Die d. Phil. der Gegenwart in Selbstdarst. Hrsg. von R. Schmidt, Leipzig 1921. 2 B.

Г. Файхингер. Философия «фикции». Система теоретических, практических и религиозных фикций человечества на основе идеалистического позитивизма. С приложением о Канте и Ницше. Пятое и шестое издание. Лейпциг. 1920. 804 стр.

Анналы философии. Преимущественно с точки зрения проблем философии «фикции». Издан. Раймондом Шмидтом и Гансом Файхингером. Лейпциг. Первый том. 1919. 680 стр.; второй том. 1921. 563 стр.; третий том, книга I—III. 325 стр. Лейпциг. 1922.

О возникновении философии «фикции», издан. Гансом Файхингером. 1921.

Современная немецкая философия в авторском изложении. Издан. Раймондом Шмидтом. Лейпциг. 1921 г. 2 т.

Статья вторая.

Если в последних произведениях Риккерта [1]), в силу внутренней логики развиваемых ими понятий, современная идеалистическая философия становится на путь, в самом процессе логического развития неуклонно приводящий ее к самоупразднению, то в книге Файхингера современный идеализм обосновывает свое собственное самоупразднение, видя в этом обосновании не что иное, как мировоззрение. «Философия фикции» (или буквально: «философия как будто»—«Philos. des Als-ob»), по существу говоря, с самого начала раскрыта как во всех своих выводах, так и в предпосылках, как некоторая догма исповедания, не допускающая

[1]) См. «Печ. и Рев.». 1923. Кн. 2, стр. 27.

критики и требующая только одного отношения к себе: принятия или отказа. Она не имеет изнанки, не имеет логической кухни, биографическая последовательность развития и обоснования ей чужда, и логика, ее оправдывающая, не имеет никакой закулисной пружины, кроме себя самой. Фикционализм есть reductio ad absurdum современного идеализма и—логически—Файхингер последний завершитель той линии мышления, которую начал неокантианец Отто Либман в семидесятых годах прошлого столетия. Но движения мысли, упраздняющей тот логический стержень, на котором она же держится, в фикционализме нет: оно в нем доведено до своего логического конца, как если бы философское мировоззрение сделало бы из своего самоупразднения предмет своих доказательств и обоснований.

Книга Файхингера «Philosophie des Als-ob», вызвавшая упомянутое движение фикционализма, была написана еще в 1877 году для получения в университете venia legendi, но была выпущена в свет только в 1911 году, и с тех пор в течение самых последних лет выдержала шесть изданий. Уже более двух лет, как автор ее издает специальный философский журнал, посвященный вопросам «философии фикции», «Annalen der Philosophie», последний номер которого, также дошедший до меня, помечен осенним месяцем 1922 года. Любопытнее всего тот факт, что «точка зрения фикции» проникла в область исследований специальных наук, и целый ряд университетских ученых—физиков, математиков, историков, биологов, социологов, юристов—высказался об этой «точке зрения» в положительном тоне. Можно привести также длинный список серьезных и наиболее распространенных в Германии журналов, в согласном хоре которых не трудно было бы расслышать такие эпитеты о книге, как: «составляющая эпоху», «закладывающая фундамент новой логики», «обновляющая всю логику» и т. д. В прошлом году состоялась (третья по счету) «философская конференция», посвященная специально вопросам «точки зрения фикции» (Als-ob Konferenz), возбудившая сильнейший интерес в философской периодической литературе. Каковы же основные мысли этой «философии фикции»?

1.

Файхингер исходит из того, что ощущения наши являются единственным объектом нашего мышления. Факты переживаний, содержания ощущений—вот то последнее, во что упираемся мы как в практической жизни, так и в теории [1]). Последовательность ощущений и закономерность их связи и образует то, что в обычной жизни называют реальным миром [2]). Научное мышление есть биологический факт: функция души,

[1]) *H. Vaihinger*. Ist die Philosophie des Als-ob Skepticismus? Annal. d. Phil. II, 532 (1921). *Его же*. Wie die Phil. des Als-ob entstand? u. Phil. der Gegenw. in Selbstdarst. Hrsg. v. R. Schmidt, 2 B. S. 26 (1921).

[2]) Ann. der Phil. II, 533.

реагирующей на воздействия окружающего мира. И как всякая функция, мышление, вся познавательная деятельность, есть средство приспособления организма к среде и правильного ориентирования его в окружающей действительности. Конкретно эта функция души заключается в том, чтобы целесообразно, смотря по своим потребностям и реальным жизненным нуждам, изменять воспринимаемые впечатления. Теоретическое знание поэтому состоит не в согласовании мыслей с объективным миром, которое недоступно нам, смертным существам, и не в отображении внешних вещей, очень хитроумно сокрытых от нашего пытливого взгляда, но лишь в практическом пробовании (Erprobung), испытывании, проверке, возможно ли имеющимися у нас понятиями овладеть внешним миром. Познание служит исключительно целям практической пользы; оно—не теоретическая самоцель, но функция *воли*, целесообразно проявляемой организмом. Отсюда ясно, что всякое мышление оперирует субъективными, но целесообразно построенными понятиями. В процессе своего функционально-волевого проявления мышление, которое, как и всякая биологическая функция, развивается, улучшается и упражняется, по необходимости создает особый род логических понятий, ложность которых ему совершенно ясна, но принятие которых необходимо для лучшего его ориентирования в действительности. Эти понятия и являются *фикциями*. Фикции помогают мышлению достигнуть косвенным путем намеченных целей. Фикции суть инструменты, орудия, которыми пользуется рассудок для того, чтобы легче и правильнее ориентироваться в действительности [1]). Другими словами, наше мышление, как и вся душевная жизнь, есть продукт развития обычного рефлекса организма: воздействие извне, внутренняя переработка и реакция. Точно такова и каждая фикция [2]). Итак, двумя чертами характеризуется фикция («всякое сознательно-целесообразное, но ложное допущение»): во-первых, ложностью, внутренней противоречивостью, во-вторых, целесообразностью, полезностью. Следовательно, фикция отличается как от заблуждения, которое характеризуется не только ложностью и неправильностью, но и целесообразностью и полезностью, так и от гипотезы, которая не только целесообразна, но и притязает быть истиной, быть оправданной, как выражение чего-либо действительно существующего. Фикция выражается, далее, в суждении, называемом Файхингером «фиктивным». Основной формой фиктивных суждений можно считать следующий тип суждений: «А следует рассматривать так, как если бы оно было В» [3]). Здесь сочетаются субъективность допущения и требование ее необходимости. Необходимые элементы всякого фиктивного суждения, частицы «как если бы» («als-ob») «как будто», и выражают это отожествление чего-либо, очевидно, данного с выводами из заведомо ложных предпосылок. Эти выводы из заведомо ложных, недействительных предпосылок сами оказываются столь же ложными и невозможными, но позволяют, тем не менее, быть средством

[1]) Philosophie des Als-ob (5 u. 6 Aufl.) S. 1 — 25. [2]) Ib., S. II (Einl.). [3]) Ib., S. 592.

для открытия новых истин или косвенным мерилом для обсуждения, или средством для правильного ориентирования организма в действительности. Для примера Файхингер приводит суждение (взятое у Канта): «Человек должен поступать и относительно своих поступков должен думать так, как если бы (как будто бы) он был свободным человеком». Отсюда вытекают три необходимые момента фиктивного суждения: 1) невозможное допущение: существование свободных людей, 2) выводы из невозможного допущения законы, по которым поступают свободные люди, и 3) отожествление вывода с первоначальным фактом: законы, по которым поступают действительно существующие люди, должны быть теми же законами, которые вытекают из (недействительного) допущения, человеческой свободы вообще [1]). Во всяком фиктивном суждении, таким образом, должно присутствовать вместе с ложностью и внутренней противоречивостью, выражаемою в условном предложении, некоторое требование мыслить именно так, а не иначе. Фиктивное суждение есть нормативное суждение, выражающее полезность или целесообразность данного признака. «Круг следует рассматривать как многоугольник с бесконечным числом бесконечно-малых сторон». Это фиктивное суждение, которое легко превратить в ложную мысль, что «круг есть многоугольник», целесообразно принять и руководствоваться им, ибо в противном случае мы не могли бы, например, производить над объемом круга никаких вычислений. Вся наша умственная деятельность была бы невозможна без подобных фикций: ими она оперирует, ими расчищает себе путь к познанию действительности. Не только математика, физика, «но и логика, этика, психология, наука о праве и государстве, политическая экономия и теология» «насквозь пронизаны фикциями».

В логике, например, принято говорить об «общих понятиях». Но что же такое эти «общие понятия», как не фикции. «Общие понятия современной логики» являются фикциями потому, что в действительности нет вовсе такого предмета, который был бы «общим»,—всюду мы видим лишь индивидуальные, конкретные единичные предметы. Но вместе с заведомой ложностью они сочетают полезность, потому что только благодаря им мы образуем «общие суждения», а на всех «общих суждениях» только и основано всякое понимание, доказательство, умозаключение. «Общие понятия» поэтому—фикции.

То же самое мы видим в математике. Можно сказать даже, что математика есть система фикции. Напр., по Файхингеру, понятие «бесконечно-малых» есть фикция. «В бесконечно-малом одновременно скрыто и нечто и ничто» [2]); оно внутренне противоречиво, ибо, с одной стороны, уменьшая до бесконечности некоторую величину, мы необходимо должны прийти к голому «ничто», а с другой стороны, складывая бесконечное множество бесконечно-малых сторон (в выше приведенном примере круга и многоугольника), мы допускаем «нечто» определенное и конечное. Между тем при бесконечном делении невозможно получить чего-либо определенного,

[1]) Ib., S. 586. [2]) Ib., 516.

ибо всякая, как и бесконечно-малая, величина есть предел деления вообще. С внутренней противоречивостью этого понятия сочетается, однако, величайшая полезность, так как только на основе его возможно универсальное объяснение или принципиальное обоснование связи противоположного, сходства несходного и т. д. (кривая и прямая, круг и эллипс, круг и многоугольник и пр.). Следовательно, «бесконечно-малое» есть фикция.

Что касается фикции в физике, то Файхингер прежде всего обращает внимание на «фикцию чистого абсолютного пространства». «Чистое, математическое пространство есть фикция. Понятие о нем содержит все признаки фиктивности: мысль о протяженности без протяженных вещей, о внеположности без положенных вне друг друга вещей,—есть нелепость, абсурд. Но понятие это для метаматики необходимо, полезно и плодотворно» [1]). Такими же фикциями являются—плоскость, линия, точка, и далее—сила и атом. Понятию силы в действительности ничто не соответствует; мы никогда не наблюдаем ее, но замечаем лишь изменения тех или других процессов и, не находя другой причины для объяснения их, создаем произвольное, заведомо-ложное понятие «силы». Файхингер доходит до того, что всю атомистику сводит к голой «системе фикции» [2]). «Нечто непротяженное,—говорит он,—что должно быть субстанциональным носителем сил,—это выражение есть лишь голое связывание слов без всякого определенного смысла» [3]). Математическая физика, таким образом, тоже является не чем иным, как системой «искусственных препаратов, искусственных построений, фиктивных абстракций и абстрактных фикций» [4]).

После этих рассуждений Файхингер, естественно, должен остановиться перед этой чудесной, загадочной ролью фиктивных понятий в познавании действительности. Каким образом это возможно, что при помощи заведомо неправильных, сознательно ложных понятий мы достигаем истины—спрашивает он. Объяснение же этого чуда, по его мнению, очень простое. Если мышление, думает он, в своих фикциях противоречит действительности или даже противоречит себе, и если, несмотря на это, мышление достигает цели, то это значит, что противоречие было повторено вторично, что первая ошибка была исправлена второю ошибкою; в этом заключается, по Файхингеру, «метод противоположных ошибок» [5]). Например, в умозаключении: «человек смертен, Сократ—человек, следовательно, Сократ смертен», первая фикция применена в первой посылке, фиктивном понятии «человека вообще», но эта же ошибка повторяется вторично, когда с «фиктивным понятием человека вообще связывается индивидуальное понятие Сократа,—именно этой двойной ошибкой объясняется правильный вывод. Вывод, к которому приходит этот остроумный философ, тот, что все мышление есть не что иное, как «урегулированное заблуждение».

---

[1]) Ib., 500 сл. [2]) Ib., 429—450. [3]) Ib., 433. [4]) Ib., 505. [5]) Ib., 194.

2.

Для того, чтобы правильно понять истинные причины столь большого вышеупомянутого успеха этого, наиболее всех других оформившегося в качестве целой школы, направления современной философии Германии, необходимо обратиться к ближайшей, социально-психологической обстановке, которая какою-то одною своею стороною безусловно питает и оправдывает его, независимо от того, выдерживает ли оно чисто логическую критику, или нет.

«Фикционализм есть нечто «среднее» между позитивизмом и идеализмом», так определяет свое учение сам Файхингер. По его мнению, позитивизм не способен поднять человека над фактами, обратить его лицом к «высшим, идеальным, от его воли зависящим ценностям», а идеализм уничтожает эти конкретные факты, эту конкретную действительность каждодневного мира [1]). Подобно этому, и само понятие фикции есть тоже «нечто среднее» между заблуждением и гипотезой, ибо она заимствует от заблуждения его ложность, внутреннюю противоречивость, а от гипотезы—ее полезность, целесообразность. «Философия фикции» есть философия «золотой середины», философия компромиссного духа. Компромиссная же между идеализмом и позитивизмом философия имеет успех в сфере влияний господствующего во внутренней политической жизни современной Германии социально-психологического духа компромиссов. Жалкая тактика компромисса не видящих дальше своего носа господствующих и прихлебывающих с ними власть политических партий, фикция золотой середины современного «социализма», запутавшегося в колесах классового соглашательства и не способного двинуть вперед ни на шаг дело реального преобразования общества,—вот что создает ближайшую почву для психологии, которая требует от философии одним мановением «несокрушимой логики» устранить все противоположности между партиями, считая последние относительными и одинаково «полезными» для страны. Отсюда ясно, что универсальность «точки зрения фикции», применяемой во всех областях знания, вытекает из ее бессилия самокритики и внутреннего развития. Фикционализму, по существу говоря, абсолютно чужд какой бы то ни было вопрос относительно *происхождения* наших знаний, подобно тому как необходимость признания примата «практически полезного» и «целесообразного» в политике делает современных Дон-Кихотов политики достаточно ловкими и хитроумными, чтобы самим же им спрашивать или позволять другим спрашивать об экономических и социальных своих корнях, — корнях, которых боятся, к которым питают отвращение, ибо только прирожденным глупцам из них не может быть известно, что в их прошлом—ключ к пониманию не только настоящего их, но и будущего,—будущей гибели их, [раздавливаемых тисками великого исторического перевала. Отсюда полити-

[1]) Annal. d. Phil. I, S. IV.

ческая трусость—как добродетель, и теоретическое отвращение *к истории*—как тактика.

Конечно, было бы наивно думать, что влияние социально-политической атмосферы современная философия могла бы фиксировать в фикционализме столь упрощенным путем, как это может отсюда показаться. Сфера влияний, сфера иных, не философских, и вообще неинтеллектуальных определяющих условий гораздо шире и сложнее. Несомненно, например, мы имеем здесь столь пропагандируемое целым рядом пророков иррационалистической дребедени и прилежных богокопателей всяческой мистики политически-откровенное требование компромисса между научным критерием и политическим интересом, с одной стороны, а с другой—компромисса между догмой религиозного откровения и научной истиной. Разграничение научного и политического необходимо для определения границ того поля деятельности, на которое наука и политика допускают в виде компромисса массы порабощенного класса. С другой стороны, необходимо оправдание религии, ибо религия гарантирует неприкосновенность «принципов морали» и «правил поведения», осуществляющих организованное порабощение одного класса другим. Это весьма удобное средство для оправдания всяких религиозных махинаций и всяческого богокопательства. Файхингер прямо так и пишет: «мы должны придерживаться логически неприемлемых, даже безусловно ложных представлений, хотя мы и уверены в их ложности. Мы придерживаемся их, так как мы знаем, что они полезны и необходимы для правильного поступка» [1]). Не удивителен поэтому тот факт, что оправданию «религиозной философии фикций» посвящаются целые философские монографии профессоров целого рода университетов современной Германии. Можно указать, например, на работу Г. Шольца: «Religionsphilosophie des Als-ob» (Lpz. 1921), главнейшая мысль которой—в доказательстве целесообразности и полезности фиктивного понятия бога [2]). Господствующее направление современного французского протестантизма (так наз. «парижская школа») обратило на себя очень большое внимание Файхингера. Фикционализм наивен, но не настолько, чтобы сказать, что религиозное откровение не менее объективно, чем научная истина, потому что сами фикционисты не верят ни в рай ни в ад. Вот почему «философия фикции» признает всю ложность, всю «фиктивность» религиозной догмы, и поэтому оправдание их им приходится связывать с их «ложностью»: вместе с их ложностью дана известная «целесообразность и практическая полезность» их для Дон-Кихотов буржуазной политики. Таким образом, сравнивая эти два конца фикционистской палки, можно сделать вывод, что, будучи выражением компромисса между религией и политикой, «философия фикции» устанавливает демаркационные линии сферы их влияния путем соответствующего компромисса

---

[1]) Vorbemekr. z. Einführ. S. VIII. Ibid.

[2]) Той же теме, в психологической разработке, посвящена работа Hegenwald'a: Gegenwarts philosophie und christliche Religion (Lpz. 1913), см. 87 и сл.

между религиозной «истиной» и научным критерием. Отсюда интеллектуальная безответственность—как добродетель, и лицемерие логики—как тактика. Так солнце идущего к своему закату капитализма истекает предсмертным мутным светом всеспасительного духа компромиссов между осужденными историей на гибель—партиями, классами и возглавляемыми ими государствами.

3.

Такова психология, создавшая фикционализм. Каково же его логическое значение?—Прежде всего, это не есть оригинальная самостоятельная теория. Это эклектическая мешанина, плохо скроенная, с выползающими белыми нитками логической беспомощности. В самом деле, идея о познании, как об одном из выражений волевой функции организма, как об орудии воли, заимствована у Шопенгауера (метафизический примат воли), идея о душе, как подчиненной организму функции,—у Гербарта (душа, как орудие организма), биологическая точка зрения на познание—у Штейнталя, Мах, Авенариуса, о чем подробно говорит и сам Файхингер, развивая свою мысль о подчинении законов мышления законам биологии. Наконец, идея полезности, как критерия истины, идея практицизма знания в субъективистическом смысле—прямо заимствована у прагматистов Пирса, Шиллера, Джемса.

Что касается чисто логического анализа, то, естественно, исходным пунктом лучше всего брать центральную идею Файхингера—понятие фикции. «Фикция есть сознательно ложное, но целесообразное полезное допущение». Здесь необходимо сделать следующие замечания.

Во-первых, раз мы отличаем «сознательно ложное» положение от положений «правильных», то мы должны молча обладать критерием различения истинного и ложного. Но критерий различения истинного и ложного сам уже не может быть фикцией, он может быть или проблемой или истиной.

Во-вторых, раз мы допускаем, что, кроме ощущений, нам ничего не дано, и действительность не может быть дана помимо них, то целесообразность, с которой организм создает фикции, и вообще всякая целесообразность и полезность мышления, становится просто метафизической выдумкой. Если действительность «не дана», то каким образом может отвечать своей цели какое бы то ни было мышление,—остается совершенно непонятным. Целесообразность была бы понятна, если бы предметам мышления соответствовало наше мышление о них, если бы между ними было нечто общее, если бы первое было доступно второму. В противном случае это мистическая, лишенная какого бы то ни было смысла, целесообразность. Поэтому,—

В-третьих, «различение гипотезы и фикции теряет точно так же всякий смысл, ибо остается совершенно непонятным, как вообще можно различать гипотезу и фикцию, если объективный мир нам не доступен». Но если это так, то вообще не оказывается при ближайшем анализе никаких критериев различения гипотезы и заблуждения. «Заблуждение и

истина,—говорит Файхингер,—объединяются одним общим понятием «средства для господства над внешней природой»; целесообразное средство называется истиной, нецелесообразное—заблуждением» (193). Смысл этих слов может быть правильно понят, если принять во внимание сказанное выше о «целесообразности» фикции.

В-четвертых, мысль, что нам «даны» только наши ощущения, а не объективный мир, противоречит утверждению, что познание служит человеку средством для ориентировки в *окружающей* его действительности. Это—противоречие, которое так и остается невыясненным. Поэтому, если одинаково допускается и отрицается *окружающий* мир, то и понятие индивидуума, выбирающего и ставящего цели, превращается в фикцию, на основе которой и «развивается вся философия фикции». Нелепость этой «точки зрения» здесь сразу бросается в глаза. Именно, устраняется всякая возможность не только дальнейшего спора, но и всякой внутренней критики, ибо самые элементарные принципы логики, на основе которых и возможно вообще обсуждение, превращаются в фикции: «фикционизм» есть фикция.

В-пятых, по Файхингеру, ощущения всегда «даны» в известной последовательности, во временных и пространственностях и связях, в определенной закономерности (S. 218). Но если это так, то совершенно непонятно, что же такое эта последовательность, этот ритм и закономерность ощущений. Не оказываются ли они такою же фикцией, как и все остальное? И не рушится ли тогда и «единственная данность ощущений?» Или закономерность их не есть фикция, что противоречит теории, или же она есть фикция, что превращает всю теорию в фикцию.

В-шестых, конкретные примеры, приводимые Файхингером, не только не убедительны, но и просто неверны. Ошибка заключается в том, что положения, служащие в науке гипотезами, использовываются в качестве «фикции». Следовало бы дать хоть сотую долю объяснения того замечательного факта, что психологически ни один физик, ни один геометр не решится утверждать в процессе конкретного исследования, что «атомы», и «бесконечно-малое», и «пространство» суть только голые фикции, рассматривая их вместе с тем, как внутренне противоречивые понятия.

Иллюстрации, почерпнутые Файхингером из отдельных наук, доказывают только то, что формальная логика вневременных понятий бессильна дать какое бы то ни было объяснение понятиям опередивших ее отдельных наук, когда они касаются реального, а не воображаемого мира материальных процессов. Поэтому и пытается она дать оправдание своему бессилию в виде учения о необходимости сознательной лжи, если она полезна. Подобной попыткой формальной логики оправдать свое бессилие перед реальным миром событий и является современный фикционизм. И подобно тому, как система компромисса оказывается лишь пылью, поднятой ветром, которая рассыпается в прах от таких уроков истории, как великая рурская мелодрама, так и «философия фикции» при малейшем соприкосновении чисто-логической критики, оказывается ничем иным, как фикцией в настоящем, полновесном смысле этого слова.

БАКУНИН И ДОСТОЕВСКИЙ.

Леонид Гроссман.

Лицо *моего* Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева.

Дневник писателя, 1873, XVI.

В лице Бакунина, как в обликах Бетховена или Ибсена, было что-то тяжелое и непроницаемое. Кажется, каменные черты слепка скрывают живую плоть этих сосредоточенных и словно застывших лиц. Оживляющие движения веселья или задумчивости словно стерты навсегда с этих неподвижных человеческих масок, возбуждающих в нас тревожную пытливость своей невозмутимой загадочностью.

Кажется, такой же тяжелый и непроницаемый покров до сих пор скрывает от нас духовный облик Бакунина. Великой загадкой прошел он среди своих современников, изумляя, возмущая и восхищая их своей непонятной гигантской и чудовищной духовной организацией. Потомки преклоняются перед величием этой человеческой кариатиды и бьются над разгадкой ее небывалой архитектоники. Самое тщательное собирание материалов и документов не дает здесь все же в результате тех ослепительных вспышек, какими подчас творческий гений озаряет мгновенно и во весь рост поразившую его конгениальную личность.

Последнее слово в истолковании загадочных образов прошлого принадлежит обычно не ученым, а поэтам. Не исследователи, а художники слова часто дают окончательную формулу самым глубоким и сложным историческим характерам. И в этом отношении Бакунин разделяет участь Цезаря, Кромвеля, Петра или Грозного. Личность его так же поражала фантазию поэтов, драматургов и композиторов. В одной русской литературе над портретом его работали Тургенев в романе, Герцен в своих мемуарах, Константин Аксаков в восторженной оде, в наши дни Мережковский в драме. И, тем не менее, фигура Бакунина не отлита для нас в окончательный и непререкаемый образ, и подлинное выражение его живого лица еще не обнаружено за его монументальным ликом.

И кажется только единственный раз, на протяжении целого полустолетия, маска с лица Бакунина была приподнята, и сущность труднейшей психологической проблемы разрешена до конца в одной замечательной художественной интуиции.

В русской литературе есть книга о Бакунине, написанная еще при жизни его, но до сих пор с этой стороны неизвестная. Это, конечно, самое выдающееся исследование о нем, и если нам удастся раскрыть таинственно запечатленный образ одного фантастического героя русского романа, духовная природа Бакунина предстанет перед нами в пластических чертах одного гениального «воображаемого портрета».

I.

Перенесемся в эпоху начального роста первого Интернационала. 9 сентября 1867 г. в Женеве, в огромном Избирательном Дворце, в присутствии шеститысячной толпы, открылся первый конгресс Лиги Мира и Свободы.

Это было крупное событие в политической жизни Европы, объединившее пацифистов различных толков и направлений. Гарибальди прибыл на открытие и выступил в первом же заседании его с боевой программной речью. Джемс Гильом, Людвиг Бюхнер, Цезарь де-Пап говорили от имени различных организаций и союзов. Наконец, почетный воин международной революции, ветеран Праги и Дрездена, узник Саксонии, Австрии и России, дважды приговоренный к смертной казни и спасшийся бегством через три части света, Михаил Бакунин, уже при жизни ставший легендарным героем, потрясал огромную аудиторию Женевского Дворца ударными тезисами своей очередной исторической речи.

Он начал с решительного протеста против самого существования русской империи, основанной на систематическом отрицании всякого человеческого права и свободы. Он требовал уничтожения централизованных государств для создания свободной федерации провинций и народов—будущих Соединенных Штатов Европы. В длящихся политических условиях он предсказывал неустранимость страшной всемирной войны с неизбежным возвратом «к ужасным временам Валленштейна и Тилли».—«Горе, горе нациям,—заключал он с обычным своим ораторским подъемом,—горе нациям, вожди которых вернутся победоносными с полей битв. Лавры и ореолы превратятся в цепи и оковы для народов, которые вообразят себя победителями».

Шеститысячная толпа, наэлектризованная мощными ритмами этого сокрушительного красноречия в напряженном безмолвии внимала оратору. А в пестрой массе ученых, журналистов и рабочих делегатов, жадно прислушиваясь к словам Бакунина и пристально всматриваясь в его титаническую фигуру, стоял затерянный в толпе, никем не замеченный и, вероятно, всем здесь незнакомый известный русский романист Федор Достоевский.

Все, происходившее в Женевском Дворце, глубоко потрясло его. Кратко, но выразительно, он через несколько дней в письмах к русским друзьям о работе конгресса возмущается проектами отмены христианской веры, уничтожения больших государств и насильственного насаждения мира. «Все это без малейшего доказательства, все это заучено еще 20 лет тому назад наизусть, да так и осталось. И главное—огонь и меч—и после того, как все истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир».

Так преломилась в сознании Достоевского речь Бакунина. Но гораздо сильнее всех взрывчатых тезисов этого воззвания, Достоевский был поражен обликом произносившего их оратора. Он жадно всматривался в могучие черты этого гиганта, давно уже знакомого ему по рассказам, теперь же на его глазах беспощадно судившего с высоты трибуны всю современную цивилизацию. Потрясающий дар слова знаменитого эмигранта, ореол бунтарского героизма и тюремного мученичества, живая легенда об его подвигах и страданиях, не могли не взволновать его собрата по эшафоту, тюрьме и Сибири. И пока эти стальные слова о разрушении религии и патриотизма болезненно вонзались в сердце писателя, личность произносившего их оратора как бы вырастала перед ним, раскрывая сложные тайники своего мятущегося и вечно ненасытного духа. Всматриваясь в черты этого лица, Достоевский почувствовал прилив блаженно-томительной тревоги, предвещавшей нарождение нового творчества. Личность Бакунина как бы расковала дремлющую стихию каких-то творческих возможностей, и новый, еще глубоко загадочный, но уже нестерпимо волнующий образ стал мучительно прорезаться в его сознании. В этот день Достоевский задумал своего Ставрогина [1]).

II.

Итак, «Бесы»,—вот то неизвестное исследование о Бакунине, которое подспудно и таинственно живет в нашей литературе в течение целого полувека. Роман, считавшийся до сих пор изображением «нечаевщины», является у нас первой монографией о Бакунине.

Такова наша тема: *Бакунин, как прототип Ставрогина*. Разработка ее сообщает немало новых данных для характеристики творческих методов Достоевского и попутно раскрывает одну из самых выдающихся трактовок личности Бакунина во всей мировой литературе о нем.

Оговоримся с самого начала: Ставрогин, конечно,—только воображаемый портрет Бакунина, т.-е. в основе глубоко преображающий его подлинный облик; герой Достоевского—не зеркало, поставленное перед ли-

[1]) В письме к Каткову от 8—20 октября 1870 г. Достоевский пишет о Николае Ставрогине: «Я сел за поэму об этом лице потому, что *слишком давно уже хочу изобразить его*». Достоевский обычно долго вынашивал в себе образы своих любимых героев, и два года, протекшие от встречи его с Бакуниным до начала работы над «Бесами», не представляются чрезмерно длительным сроком.

цом исторического деятеля, не фотография его, не точная копия с его речей и поступков. Этого, разумеется, нечего ждать от художника вообще, от Достоевского в особенности; совершенно очевидно, что фантастическая манера его письма, склонность к гипертрофии и крайностям, отражение действительности под самыми неожиданными углами,—все это должно было сказаться на разработке взятого прототипа.

Достоевский стремился в своей портретной живописи не к исторической подлинности, а к выявлению своего художественно-философского замысла, и потому, согласно велениям этого высшего императива, он комбинировал, изменял, усиливал и глубоко преображал все данные бакунинской биографии и психологии. Многое здесь было отброшено, как несоответствующее замыслу «Бесов»; многое по тем же соображениям усилено, сгущено, доведено до предельной, почти фантастической степени; иные намеки становились резкими чертами, иные подлинные характерные особенности оригинала совершенно опускались. Искать здесь точного отражения и полного совпадения, конечно, не приходится.

Нам важно установить один только факт: Достоевский, создавая Ставрогина, исходил из личности Бакунина, и по-своему, художественно-философски, т.-е. свободно и даже фантастически-произвольно трактовал его образ и толковал его жизненный подвиг. По Ставрогину, конечно, нельзя изучать исторического Бакунина, но при изучении его необходимо считаться и с той художественной трактовкой, какую он получил в творческом сознании одного из своих самых гениальных современников.

Мы увидим сейчас, что при всем преображении фактических данных основные контуры бакунинской биографии и некоторые капитальные эпизоды ее, главные этапы его идеологии и личной судьбы, нашли себе отражение в образе Ставрогина. Художественная переработка материалов действительности не могла стереть здесь исторической основы, и сложная личность знаменитого анархиста проливает неожиданный свет на облик самого загадочного героя мировой литературы.

* * *

Остановимся прежде всего на биографической основе нашего сближения. Здесь сразу поражает почти полное совпадение различных существенных обстоятельств в истории обоих героев.

Ставрогин, как и Бакунин,—аристократ, идущий в демократию; «сын генерал-лейтенанта и значительной богачки», он генеалогически и сословно вполне соответствует питомцу прямухинского гнезда.

Ставрогин воспитан известным литератором-идеалистом 30--40-х годов Степ. Троф. Верховенским (в лице которого изображен, как известно, Грановский), сумевшим «дотронуться до сердца своего друга, до глубочайших струн и вызвать в нем первое еще неопределенное ощущение той вековечной священной тоски, которую иная избранная душа, раз вку-

сив и познав, уже не променяет потом никогда на дешевое удовлетворение». Совершенно аналогичную роль в развитии Бакунина сыграл другой знаменитый идеалист той поры, ближайший друг Трановского, Станкевич, первый приобщивший своего друга ко всем соблазнам германской идеалистической философии.

Герой «Бесов»—представитель высшей европейской культуры, приобщенный к первоисточникам научной современности, Ставрогин, как и Бакунин, был «весьма порядочно образован: даже с некоторыми познаниями»—в смысле чисто научной подготовки. Ему была свойственна потребность постоянно обогащать свою культуру; мы узнаем, что «он изъездил всю Европу, был даже в Египте и заезжал в Ерусалим: потом примазался к какой-то ученой экспедиции в Исландию и действительно побывал в Исландии. Передавали тоже, что он одну зиму слушал лекции в одном немецком университете»; под конец романа снова говорится о «европейской образованности» Ставрогина.

Ряд черт здесь прямо выхвачен из биографии Бакунина: скитания по всей Европе—и не только по Европе—слушание лекций в немецких университетах—в Берлине у Вердера и других светил, наконец, очевидный намек на случайное участие Бакунина в известной экспедиции Лапинского в Швецию—все это с неизбежными художественными преображениями ложится в основу ставрогинской характеристики.

Заграничным скитаниям Ставрогина предшествует его недолговременная офицерская служба. «Он был зачислен в один из самых видных гвардейских кавалерийских полков», в котором пробыл, впрочем, недолго: за проступки был разжалован в один из пехотных армейских полков, а затем вскоре вышел в отставку.

В биографии Бакунина этому соответствует его зачисление в армейскую артиллерийскую бригаду в литовской глуши с определением «обходить чином в течение трех лет» за какие-то проступки в первом офицерском классе.

Впрочем, в Петербурге Бакунин вращается в кругу своей аристократической родни; молодой офицер радушно принят в салонах Муравьевых и Ниловых, посещает балы и рауты, хотя великосветские развлечения быстро начинают тяготить его. Мы читаем в истории Ставрогина: «Ее (Варвару Петровну) очень интересовали успехи сына в высшем петербургском обществе. Что не удалось ей, то удалось молодому офицеру, богатому и с надеждами. Он возобновил такие знакомства, о которых она и мечтать уже не могла, и везде был принят с большим удовольствием». Впрочем, вскоре Ставрогин забунтовал, закутил и выпал из высшего круга.

Подготовительная стадия ставрогинской биографии закончена. За границей начинается для Николая Всеволодовича новый и важнейший этап его существования—приобщение к международной революции и блистательная пропаганда своих политико-философских убеждений, властно подчиняющих ему разнообразных адептов в лице Шатова, Кириллова, Петра Верховенского и др. Шатов впоследствии вспоминает

об их встречах в Швейцарии: «был *учитель, вещавший огромные слова*, и был ученик, воскресший из мертвых. Я—тот ученик, а вы—учитель».

Здесь совершенно очевидна аналогия с заграничной жизнью Бакунина, философского проповедника и революционного пропагандиста небывалой силы и влияния, ставшего для многих «учителем, вещавшим огромные слова».

В дальнейшей истории Ставрогина представляет для нас существенный интерес его отношение к Петру Верховенскому. Изучая процесс нечаевцев, Достоевский неоднократно встречался с именем Бакунина, и сложные взаимоотношения двух знаменитых деятелей современной революции сообщили ему немало материалов для его романа. Многое из странной дружбы и последующей вражды Бакунина и Нечаева, легло в основу взаимоотношений двух главных героев «Бесов». В прошлом Ставрогин и Верховенский прочно связаны общей революционной работой в Швейцарии, где они сообща составляли устав революционной организации (нечаевский процесс установил почти непререкаемо сотрудничество Бакунина в составлении знаменитого «Революционного Катехизиса»). Но увлечение вскоре сменилось глубоким разочарованием. В июле 1870 г. Бакунин в своих письмах называет Нечаева опасным фанатиком с «отвратительным образом действий», применяющим «политику Макиавелли и систему иезуитов», допускающим «грязные приемы» и пр. В романе этому вполне соответствует общее презрительное отношение Ставрогина к Петру Степановичу, которого он готов заклеймить прозвищем «мошенника».

Одно характерное обстоятельство из истории взаимоотношений Бакунина и Нечаева отразилось на интриге романа. Как сообщает Драгоманов, «Бакунин очень хлопотал, чтоб она (старшая дочь Герцена) сблизилась с Нечаевым и поступила в его русское революционное общество... Для склонения Нат. А. Герцен Бакунин устроил в Женеве свидание ее с Нечаевым при таинственной обстановке, в его присутствии» и пр. Это происшествие отразилось на эпизоде доставления Верховенским Ставрогину Лизы Дроздовой. Хотя роли здесь и перемещены, основа случая—эксплуатация романического момента в подпольно-революционных целях остается неизменной.

Не менее авантюрно-фантастичной представляется в романе связь Ставрогина с разбойником Федькой Каторжным. Злодейский приказ Николая Всеволодовича: «режь еще, обокради еще», его попустительство убийствам и поджогам почти граничат с сенсациями бульварной романистики. А между тем здесь отражены глубоко подлинные черты действительности, нисколько не сгущенные автором «Бесов».

Бакунин создал, как известно, пламенную апологию русского разбойника. «Приближаются времена Стеньки Разина,—заявляет он в одном из своих воззваний.—Разбой—одна из почетнейших форм русской народной жизни. Разбойник в России—настоящий и единственный революционер,—революционер без фраз, без книжной риторики, революционер непримиримый, неутомимый и неукротимый на деле, революционер на-

родно-общественный, а не сословный... В тяжелые промежутки, когда весь крестьянско-рабочий мир спит, кажется, сном непробудным, задавленный всею тяжестью государства, лесной разбойничий мир продолжает свою отчаянную борьбу и борется до тех пор, пока русские села опять не проснутся. А когда оба бунта, разбойничий и крестьянский, сливаются, порождается народная революция. Таковы были движенья Стеньки Разина и Пугачева...». Примечательно, что, по мнению Верховенского, Ставрогин «мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина, по необыкновенной способности к преступлению».

III.

Остановимся на нескольких капитальных эпизодах романа, выявляющих особенно выпукло личность их центрального героя. Это пощечина Шатова, дуэль Гаганова, отношение Ставрогина к Лизе Дроздовой.

Особенное значение имеет первый драматический эпизод романа—пощечина Шатова. Ее биографический источник—пощечина, полученная Бакуниным от Каткова. Как известно, друзья Бакунина глубоко осуждали его за все его поведение в этой скандальной истории, особенно же за уклонение его от дуэли, несмотря на решительный вызов Каткова. Белинский, Огарев и многие другие не остановились перед обвинением Бакунина в подлости и трусости. Колебания Мишеля, отсрочки, извинения, весь видимый аппарат малодушного уклонения от смертельной опасности вызвали в среде друзей Бакунина брезгливое изумление и нескрываемое презрение. И только через несколько лет, на Пражских и Дрезденских баррикадах, на допросах в Хемнице и Ольмюце, Бакунин доказал, с каким спокойствием он встречал лицо смерти и с каким подлинным героизмом подвергался почти неминуемой опасности быть убитым на баррикадах или казненным в казематах. Его требование перед военным судом, чтоб его казнили расстрелом, а не позорной казнью через повешение, так как он бывший офицер, свидетельствует о его глубоком спокойствии и бесстрашии в минуту величайшей обреченности.

Такова одна из загадок бакунинского образа, глубоко поразившая Достоевского. Бесстрашный воин революции, непонятно и почти двусмысленно отступающий от опасностей дуэли после злейших оскорблений на словах и действием—как примирить это кричащее психологическое противоречие?

Достоевский тщательно разбирается во всех извивах этого сложного внутреннего конфликта.

Ставрогин не только силач и храбрец, он еще бреттер. Его неустрашимость и железная сила воли выявляются в романе с особенной рельефностью. «Напомню опять читателю, что Николай Всеволодович принадлежал к тем натурам, которые страху не ведают. На дуэли он мог стоять под выстрелом противника хладнокровно, сам целить и убивать до зверства спокойно». Необходимо отметить, что от некоторого налета

офицерского бреттерства не был свободен и Бакунин. В 1836 г. он вызвал на дуэль В. К. Ржевского, в 1840 г.—Каткова, затем Карла Маркса в случае его отказа поместить в «Рейнской Газете» требуемое Бакуниным опровержение. Впрочем, ни одна из этих дуэлей не состоялась.

Достоевский сравнивает Ставрогина с Лермонтовым и декабристом Л—ным, который «всю жизнь нарочно искал опасность, упивался ощущением ее, обратил его в потребность своей природы» и проч. Но, несмотря на такую натуру, он выносит без вызова пощечину Шатова и терпит злейшие оскорбления от Гаганова, принося ему смиренные извинения.—«Бесстыдный трус», решает о нем Гаганов, точь в точь, как Белинский о Бакунине. И когда, наконец, Ставрогин выходит к барьеру, он трижды стреляет в воздух.—«Я не хочу более никого убивать», заявляет он взбешенному противнику. Примечательно, что Бакунин высказывался иногда против убийства: «душа моя не была способна к злодейству... и никогда ни Брут, ни Равальяк не были моими героями». («Исповедь», 70.)

И только затем, в разговоре со своим секундантом Кирилловым, Ставрогин признается, что «ищет бремени» для своей непомерной волевой силы и что, конечно, величайшее испытание для него—«снести битье по лицу», не уничтожив тут же своего оскорбителя. То, что на первый взгляд кажется позорной трусостью, оказывается высшим, почти сверхчеловеческим напряжением волевой энергии. Таков, независимо от его исторической верности, психологический комментарий Достоевского к катковской истории.

И, наконец, для нашей темы имеет крупное значение отношение Ставрогина к Лизе Дроздовой. Достоевский с большой смелостью для русского романа отмечает в своем герое физическую ущербность, органическое бессилие, сексуальную дефективность: «принц Гарри» истощил свои силы в извращениях огромного разврата. Об этом заявляют в лицо ему различные герои романа. После проведенной с ним ночи, Лиза в своем смятом платье и расстроенной прическе, злобно кричит ему: «Вы всякого безногого и безрукого стоите». Петр Верховенский клеймит его с таким же ожесточением «... старая вы, дырявая, дрянная барка на слом». Этот смелый штрих в характеристике Ставрогина был зорко подмечен и зафиксирован в замечательных статьях А. Л. Волынского. Один из лучших исследователей Достоевского категорически говорит по поводу Ставрогина «о физическом вырождении его мужской личности», об его «полном органическом бессилии»:—«в нем подорван принцип жизни, истощены все непосредственные инстинкты».

Так раскрывает Достоевский великую тайну пола в Ставрогине. Холодный, чуждый подлинной страстности, он, по собственному выражению, «пробует большой разврат», не чувствуя влечения к нему. Спокойный экспериментатор в области чувственности, он с неохотой предпринимает свои хладнокровные опыты наслаждений.

Как ни трудна и опасна эта сфера для биографических исследований, позволительно утверждать, что и здесь Ставрогин является отражением Бакунина. По свидетельству Ю. М. Стеклова, «половой момент в

жизни Бакунина не играл никакой роли. Сомнительно даже, было ли ему вообще знакомо это чувство. Вся энергия этого колоссального организма уходила на работу мысли и на снедавшую его лихорадочную деятельность» [1]). «Детей Бакунин не имел и иметь не мог», сообщает Вяч. Полонский [2]). О том же свидетельствуют современники: Катков кричит ему: «скопец!», и, по свидетельству Белинского, это подействовало на него сильнее подлеца. Сам Белинский говорит об его «скопческом слоге», называет его «абстрактным героем», иронизирует над его девственностью. Не случайно Герцен называет его «революционером-аскетом», «монахом революции». Вообще говорить об его «холодной крови» стало обычным в кругу его друзей.

Но при этом, из тех же писем Белинского видно, что Бакунин «пробовал разврат». А по позднейшему свидетельству Анненкова он был в известные моменты своей жизни «весьма податлив на житейские наслаждения». Но поздно возникшие эксперименты чувственных эмоций быстро замерли: биографы Бакунина решительно отвергают за его браком какое-либо подобие реального супружества и совершенно категорически называют имя настоящего отца детей Антонины Ксаверьевны Бакуниной.

Так, даже в этом сложном изломе ставрогинского образа Достоевский не отступает от своей модели.

IV.

В заключение этого биографического обзора необходимо остановиться и на ряде дополнительных черт ставрогинского образа. Мертвенность, застылость, безжизненность Ставрогина может показаться полной противоположностью бурнопламенной активности Бакунина. И, конечно, героические подъемы этого страстного борца не нашли своего отражения в «Бесах». Но нужно учитывать, что легенда о Бакунине склонна преувеличивать его неутомимую действенность; на самом деле он знал периоды глухой и тупой безнадежности, наводившей его даже на мысль о самоубийстве. Он говорит в своей «Исповеди»: «Мне так бывало иногда тяжело, что не раз останавливался я вечером на мосту, по которому обыкновенно возвращался домой, спрашивая себя, не лучше ли я сделаю, если брошусь в Сену и потоплю в ней безрадостное и бесполезное существование»... И далее: «Во мне умер всякий нерв деятельности, всякая охота к предприятиям, я сказал бы—всякая охота к жизни»... Впоследствии он пытается отравиться в Ольмюцкой крепости и условливается с братом о доставлении ему яда, если бы освобождения из Алексеевского равелина не последовало.

---

[1]) *Ю. М. Стеклов.* «М. А. Бакунин, его жизнь и деятельность», М. 1920, I, 355.

[2]) *Вяч. Полонский.* «М. А. Бакунин, жизнь, деятельность, мышление». М. 1922, I, 455.

Другая черта, поражающая в Ставрогине, это—непонятная в таком культурнейшем европейце малограмотность. Достоевский жестоко иронизирует над слогом «русского барича, не совсем доучившегося русской грамоте, несмотря на всю европейскую свою образованность». Предсмертное письмо Ставрогина к Даше—образец уродливо изломанного, беспомощного и неправильного франко-русского слога, который почти сплошь отзывается дурным переводом и раздражает приемами чужого синтаксиса.

Для Достоевского—это важная черта: преобразователь мира, оперирующий грандиозными проблемами отвлеченной мысли и практического строительства, искушенный во всех тайнах современной философской культуры, не способен правильно написать простого русского письма! Реформатор вселенной не сумел доучиться русской грамоте! Вот что значит оторваться от почвы, потерять связи с родной землей,—как бы сурово заключает автор «Бесов».

Но свой философский вывод Достоевский строит на эмпирической основе. Прототип Ставрогина и здесь служит роману. Бакунин поражал своих друзей и учеников безграмотностью своих писем. Белинский не переставал жестоко клеймить его за незнание грамматики («Небось, по-французски не ошибешься в орфографии—на что же это похоже!»). Письма Бакунина поражают неудачными галлицизмами в роде «интегритет», «ридикульный», «фратернитет», «унанимно апробированный» и пр. Гениальный мастер устного слова, Бакунин в сущности до конца жизни не научился правильно писать по-русски. Достоевский, несомненно, читавший его письма к Огареву в Женеву, воспользовался их стилем и грамматикой для заключительного памфлета в характеристике Ставрогина.

Можно не настаивать на целом ряде других совпадающих деталей. Сюда относится Швейцария, с которой как-то фатально связан Ставрогин: здесь происходит у него до начала романа какая-то загадочная любовная история, затем встреча с Шатовым и Петром Верховенским и приобщение к делу международной революции; здесь же он собирается поселиться навсегда: «Я, как Герцен, записался в граждане кантона Ури»...

Другая деталь из биографии Бакунина—это обвинения в шпионстве, исходящие из своих же революционных кругов. Ставрогин говорит о своих политических единомышленниках: «Они уверены, что я тоже шпион. Все они, от неумения вести дело, ужасно любят обвинять в шпионстве».

Все эти дополнительные совпадения для нас несущественны, и мы ничего не строим на них; но их позволительно попутно отметить и учесть их значение в связи с другими данными романа.

V.

Внешность людей необычно действовала на Достоевского. Когда он встречал где-либо поразившее его лицо, он сейчас же видел в нем центрального героя своего будущего романа.

Так, на вечере у Анны Павловны Философовой, в середине 70-х гг. он встретился с молодым ученым Александром Львовичем Блоком, отцом будущего поэта. Это был человек странной, мрачной и интригующей красоты, с тяжелым взглядом и необыкновенно яркими губами. «Достоевский,—сообщает М. А. Бекетова,—собирался изобразить его в одном из своих романов в качестве главного действующего лица».

Своеобразный человеческий облик мгновенно переносился Достоевским в сферу художественного замысла и начинал жить в неясном окружении создающегося романа. Так именно должен был поразить его и внешний вид Бакунина. В этом необыкновенном лице он сразу прозрел своего будущего героя.

Это отчасти сказалось и на внешности центрального персонажа «Бесов». Ставрогин изображен в романе как «очень красивый молодой человек», но с лицом странным и поражающим: «волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист; зубы как жемчужины, губы как коралловые, казалось бы писанный красавец, а в то же время как-будто отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску; впрочем, многое говорили, между прочим, и о чрезвычайной телесной силе его. Росту он был почти высокого».

Нам известны три портрета молодого Бакунина. Ознакомление с ними в связи с свидетельствами мемуаристов не оставляют сомнения в физическом прототипе Ставрогина; мастерски выполненный Достоевским портрет его героя воспроизводит внешний облик Бакунина 30-х—40-х годов, лишь с небольшими художественными вариациями и отступлениями в роде «росту *почти* высокого».

Разумеется, Достоевского здесь интересуют не детали физического облика, а лишь глубоко своеобразное впечатление от его общего выражения.

Особенный интерес представляет для нас портрет Бакунина в 40-е годы, приложенный к книге Вячеслава Полонского: он дает разительное объяснение следующей помете Достоевского: «казалось бы писанный красавец, а в то же время, как-будто и отвратителен». Своеобразная правильность черт и овала лица в соединении с каким-то отталкивающе-неприятным выражением создает действительно впечатление застывшей и пугающей маски. Аналогичное, хотя и несколько ослабленное впечатление раздражающей красивости имеется и на редком литографическом портрете Митрейтера (1843), приложенном к монографии Стеклова (воспроизведен также в IV томе соч. Белинского, редакции Венгерова). Оба портрета Бакунина 40-х годов, модно и даже щеголевато одетого, вполне соответствуют свидетельству Достоевского: «Это был самый изящный джентльмен... чрезвычайно хорошо одетый... привыкший к самому утонченному благообразию»... Высокий рост и физическая сила Бакунина достаточно известны. Наконец, акварельный портрет, приложенный к книге Корнилова, подтверждает другую деталь ставрогинской внешности: ясные, светлые глаза.

Таковы показания бакунинской иконографии, подтверждающие общую верность портрета, исполненного Достоевским.

Так же показательны и свидетельства современников. По указаниям различных мемуаристов, молодой Бакунин был изящным красавцем, неизменно поражавшим окружающих своей великолепной внешностью. Арнольд Руге говорит об элегантности Бакунина, пострадавшей только после пражского восстания. Рейхель определенно называет Бакунина «красивым молодым человеком». Бакунин, по его словам, щеголял в то время изяществом одежды и внешних приемов, ловкостью блестящего артиллериста-гвардейца. Карл Грюн отмечает следы изящной барственности в Бакунине 40-х годов. Анненков говорит о замечательно красивом и выразительном лице Бакунина. Рихарда Вагнера поражает «необыкновенная импозантная внешность этого человека, находившегося тогда в расцвете тридцатилетнего возраста»...

Даже детали здесь списаны с натуры: ставрогинский «яркий и чистый румянец»—не фантазия портретиста. Белинский свидетельствует: «Бакунин—пророк и громовержец, но с *румянцем на щеках* и без пыла в организме». Дебагорий-Мокриевич описывает светло-голубые глаза Бакунина.

Важно при этом отметить общее впечатление от внешности Ставрогина; его фигура неизменно *поражала* окружающих. По свидетельству хроникера «Бесов», Ставрогин при первом своем появлении именно «поразил» его. Это впечатление повторяется при втором появлении Николая Всеволодовича: «как и четыре года назад, когда в первый раз я увидал его, так точно и теперь, я был поражен с первого на него взгляда».

Знавшие Бакунина в аналогичных терминах отмечают первое впечатление от его внешнего облика: «Когда я впервые увидел Бакунина,—свидетельствует Вагнер,—*меня поразила* необыкновенная импозантная внешность этого человека»... и проч. «Глаза у него были загадочные, как у хищного животного», свидетельствует Г. Иекк.

Достоевский видел Бакунина в 1867 г., когда его молодой облик был сильно стерт годами и испытаниями. Но и в чертах постаревшего героя романист видел все то же характерное выражение тяжелой маски, необычайно эффектной и в то же время неприятно поражающей. Взгляд, мимическая игра, общее выражение этого исключительного лица могли многое дать его наблюдателю, прозревавшему за чертами старика интересующий его молодой облик. При обычной тщательной информации и документации Достоевского, не может быть сомнения, что он собрал нужные ему сведения о внешности молодого Бакунина, столь разительно совпадающие со ставрогинским обликом. Наконец, нужно иметь в виду, что различные портреты Бакунина в молодости, до сих пор сохранившиеся, Достоевский мог видеть у его друзей—Белинского, Герцена или Огарева.

Во всяком случае, обилие черт и признаков сходства во внешности Бакунина и Ставрогина едва ли оставляет возможность предполагать

здесь случайные совпадения. Портрет Бакунина 40-х годов может служить лучшей иллюстрацией ко второй главе «Бесов», где впервые появляется «принц Гарри».

VI.

Для характеристики Бакунина представляет существенный интерес отношение к нему его ближайших современников. Необходимо под этим углом взглянуть и на героя «Бесов».

Духовная личность Ставрогина так же двоится в глазах его окружающих, как и его внешний облик. Он одновременно подчинял силой непобедимого очарования и возбуждал острую ненависть к себе.

Власть Ставрогина над сердцами поистине безгранична: перед ним благоговеют, на него почти-что молятся. Среди главных персонажей романа нет ни одного, который бы не поклонялся этому новому полубогу. Петр Верховенский страстно исповедуется ему в своей экстатической любви: «Ставрогин, вы красавец... вы мой идол. Вы—предводитель, вы—солнце, а я ваш червяк»...—И он страстно целует руку своему кумиру.—«Вы так много значили в моей жизни,—признается ему с почти женской влюбленностью Шатов,—разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из сердца моего, Николай Ставрогин». Кириллов загипнотизирован им до добровольного самоубийства, наглый Лебядкин уподобляется в его присутствии кролику под взглядом удава.

О женщинах нечего и говорить. Стоит ему неожиданно появиться в многолюдном обществе, как хромоножка Лебядкина с безумным, почти невыносимым восторгом складывает перед ним руки и готова преклонить колена. «Даша так и заколыхалась на месте при его приближении», Лиза забилась в истерике. Такими сильно драматическими приемами и бурно психологическими порывами Достоевский выявляет могучую власть этого неодолимого очарования.

В подготовительных записях к «Бесам» читаем: «Вообще иметь в виду, что князь обворожителен, как демон.—Он должен быть обольстителен.—Шатов порабощен князем до идолопоклонства».

Но эта демонская обольстительность Ставрогина дублируется в нем полярно противоположным свойством. Страстная любовь к нему сменяется в его адептах чувством дикой вражды до отвращения и неслыханных оскорблений. Петр Верховенский, целующий руки Ставрогину, клеймит его унизительными кличками: «Дрянной, блудливый, изломанный барченок»... Шатов, готовый целовать следы его ног, бранит его почти теми же словами и бьет кулаком по лицу. Молящаяся на него Лебядкина в минуту исступления кричит ему: «Самозванец... Гришка Отрепьев, анафема». И даже готовая бежать к нему из-под венца Лиза Дроздова издевается и жалит его своей пробудившейся ненавистью: «У меня... укрепилась мысль, что у вас что-то есть на душе ужасное, грязное и кровавое и... в то же время такое, что ставит вас в ужасно смешном виде. Берегитесь мне открывать, если правда: я вас засмею. Я буду хохотать над вами всю вашу жизнь».

Казалось бы, эта чудовищная смесь непобедимой прельстительности и жуткого безобразия, слитые в одном лице и одновременно возбуждающие поклонение и бунт, создают совершенно фантастический характер, реально-невозможный продукт воспаленного мозга Достоевского.

А между тем любопытно проследить, как тонко и точно романист кристаллизует здесь в своем искусстве данные жизни—глубокие противоречия бакунинской натуры. Все близкие Мишеля, его сестры, его друзья и ученики прошли через эти противоположные этапы, все были переброшены от полюса поклонения к полюсу непонимания и вражды.

Способность подчинять себе сердца была в высокой степени свойственна Бакунину. Примечателен в этом отношении рассказ Анджело де-Губернатиса о их первой встрече: «Бакунин словно хотел околдовать меня своим взглядом... Великий змей окружил меня с этой минуты своими фатальными кольцами» и проч.

По свидетельству близко знавшего Михаила Александровича его друга Рейхеля, Бакунин «не мог не производить своим блестяще одаренным умом сильного влияния на людей, которые горячо противились его взглядам». И, действительно, страстные спорщики с ним—Герцен, Белинский, Огарев, Тургенев—все подпадали под воздействие его покоряющего ума.

Особенно показательны в этом отношении признания Белинского: «Ты имел для меня глубокое и таинственное значение,—пишет он Михаилу Александровичу,—... и я люблю тебя, Мишель, люблю горячо».—«Люблю я тебя с твоею кудрявою головою, этим кладезем мудрости и дымящимся чубуком у рта». «После Станкевича я тебе больше всех обязан... Ты внес в мою жизнь мысль». «Много я понимаю теперь глубоко и понимаю через тебя». «Ты возжег во мне новое пламя, развил в росток то, что во мне было зерном». Он отмечает в своем друге «силу, дикую мощь, беспокойное стремление в даль без удовлетворения настоящим моментом»...—«Ты, Мишель, просто велик», заключает он в одном письме.

Замечательно, что и на лиц совершенно иного, решительно враждебного ему круга—на европейских суверенов и их ближайших сподвижников, Бакунин часто производил такое же пленительное впечатление. В Швеции, напр., брат короля, министры, различные государственные деятели подпадают под власть его очарования несравненно сильнее, чем это полагается трезвым политикам. У нас один из царских следователей князь Г. (биографы предполагают, что Горчаков), участвовавший в допросах Бакунина, дал ему самую лестную характеристику. Наконец — что примечательнее всего—даже сам император Николай I, несомненно, поддался заочному очарованию этого загадочно-пленительного человека.

А на ряду с этим—какое напряжение антипатии и вражды, подчас даже ненависти и отвращения! Мягкосердечный и кроткий Огарев называет Бакунина «длинным гадом», «подлецом», считает его «человеком, которому гадко руку протянуть». После истории с Катковым, Бакунин

казался Белинскому настолько противным, что он не допускал возможности любви к нему со стороны женщин и не понимал, как могут целовать его сестры.

В своих письмах Белинский не скрывает, что он «с ожесточением и остервенением» восставал на Бакунина за его злость, чудовищное самолюбие, гордость, тщеславие, хлестаковство. «Ты говоришь,—пишет он ему,—что в моих глазах, по моему понятию, ты—пошляк, подлец, фразер, логическая натяжка, мертвый логический скелет, без горячей крови, без жизни, без движения; отвечаю, да, Мишель, к несчастью, с одной стороны, это правда»... «Пожить с тобой в одной комнате значит разойтись с тобой».

Это мнение разделялось и прочими друзьями. «Талант и дрянной характер!» лаконично и выразительно бросает Герцен. «В Бакунине,—записывает проникновенными словами Рихард Вагнер,—антикультурная дикость сочеталась с чистейшим идеализмом человечности. Мои впечатления от него постоянно колебались между невольным ужасом и непреодолимой симпатией». Н. А. Огарева-Тучкова отмечает в своих мемуарах разительную противоречивость всех отзывов об этом близком друге ее семьи. Один из убежденных адептов Бакунина, его флорентинский ученик Ножин был горячо привязан к нему и в то же время почти ненавидел его. Чрезвычайно характерен отзыв Грановского: «Странный человек этот Бакунин: умен, как немногие, с глубоким интересом к науке и без всяких нравственных убеждений. В первый раз встречаю такое чудовищное создание. Пока его не знаешь вблизи, с ним приятно и даже полезно говорить, но при более коротком знакомстве с ним становится тяжело—unheimlich как-то».

Полнее всего это странное, мучительное, трагически-двойственное отношение к Бакунину формулировал в своих письмах тот же Белинский: «Уважаю его, но любить не могу», сообщает он Станкевичу. «Пустой малый в своей внешней жизни,—пишет он ему непосредственно,—ты, Мишель, высокая душа в своей внутренней жизни». «Я любил и ненавидел тебя», признается он в другом письме. «Ты в моих глазах раздвоился, и в тебе одном я видел два различные существа: одно прекрасное и высокое, могучее и глубокое; другое—пошлое до-нельзя, до невозможности». «Всегда признавал и теперь признаю в тебе благородную львиную природу, дух могучий и глубокий, необыкновенное движение духа, превосходные дарования, бесконечное чувство, огромный ум; но в то же время признавал и признаю: чудовищное самолюбие, мелкость в отношениях с друзьями, ребячество, легкость, недостаток задушевности и нежности, высокое мнение о себе на счет других, желание покорять, властвовать, охоту говорить другим правду и отвращение слушать ее от других».

И, наконец, словно пытаясь суммировать бесконечное разнообразие впечатлений и ощущений: «Я не умею иначе выразить моего чувства к тебе, как любовью, которая похожа на ненависть, и ненавистью, которая похожа на любовь».

Нельзя не заметить, что это сложное и мучительно-надрывное отношение к Бакунину всех его друзей поразительно напоминает аналогичные метания Шатова, Кириллова, П. Верховенского, Лебядкиной, Лизы Дроздовой в их поклонениях и вражде к Ставрогину.

VII.

Задавался ли автор «Бесов» целью отразить в своем романе и сложную идеологию Бакунина, пришедшего в эволюции своих воззрений от мистического идеализма и политического консерваторства к боевому атеизму и анархической проповеди? На первый взгляд может показаться, что в личности Ставрогина нет соответствий этим сложным идеологическим этапам бакунинской психографии,—но это впечатление, при более пристальном рассмотрении текста, обнаруживает всю свою иллюзорность.

Два полярных миросозерцания Бакунина Достоевский разлагает на личностях учеников Ставрогина: с одной стороны, Шатов, с другой—Кириллов и отчасти Петр Верховенский; Шатов—выразитель раннего миросозерцания Бакунина: панславизм, религиозность, возвеличение идеи народности до ее философского апофеоза; Кириллов—это поздняя формация бакунинской идеологии: «бога нет и, стало-быть, я—бог» (идеология, доведенная в романе до трагического абсурда и находящая себе разрешение в жутком эксперименте философического самоубийства). Наконец, Петр Верховенский, воплощая Нечаева, выражает и практические заветы позднего Бакунина (во многом оказавшегося солидарным с Нечаевым): это—проповедь безграничного разрушения во имя разрушения, новой пугачевщины, великой «раскачки» Руси.

Какие же «огромные слова» вещал Ставрогин своему воскресающему из мертвых ученику Шатову? Он формулирует мессианское учение о спасении мира Россией, — единственным народом-богоносцем, «кому даны ключи жизни и нового слова». «Вы насаждали в моем сердце бога и родину», говорит Шатов. По позднейшему определению Ставрогина, «это была славянофильская мысль». И действительно, в его исповедании религиозной общественности и даже мистической революционности, в его основном тезисе—«бог есть синтетическая личность народа», наконец, особенно, в его вере, что обновление мира пойдет от России, есть нечто от того политического славянофильства, от которого не были свободны ни Герцен, ни Бакунин.

Достоевский-художник, конечно, не задавался целью воспроизвести здесь стенографически слова и мысли Бакунина. Степень художественного преображения действительности здесь, конечно, значительна, но основная сущность раздумий и проповеди молодого Бакунина здесь все же звучит явственно и передана замечательно верно. Учение Бакунина сороковых годов, а отчасти и шестидесятых, определяется исследователями как «революционный панславизм»; здесь даже отмечается подчас влияние

Константина Аксакова [1]). То, что Ставрогин говорит о России, Бакунин переносит на все славянство, придавая, впрочем, русскому народу особое значение в деле революционного обновления мира. «Считая этот (славянский) мир наименее испорченным цивилизацией,—рассказывает Рихард Вагнер,—он отсюда ждал возрождения человечества. Свои надежды он основывал на русском национальном характере, в котором ярче всего сказался славянский тип. Основной чертой его он считал свойственное русскому народу наивное чувство братства»... «Я не мог оторвать ни природы, ни сердца, ни мыслей своих от России», пишет Бакунин в своей «Исповеди».

И с каким пламенным подъемом он исповедует этот русский мессианизм в своем знаменитом воззвании к славянам, где он говорит о пробуждающемся «народе-великане», о «могучем племени», полном величия и силы: «В Москве будет разбито рабство всех соединенных под русским скипетром славянских народов, а с ним вместе и все европейское рабство, и навеки будет схоронено в своем падении под своими собственными развалинами; высоко и прекрасно взойдет в Москве созвездие революции из моря крови и огня и станет путеводной звездой для блага всего освобожденного человечества»... Так Бакунин насаждает родину в сердцах своих слушателей. Это почти что слова Ставрогина об едином народе, призванном обновить и спасти мир силою нового верования.

Ибо нужно помнить: молодой Бакунин, обратившись к революционной деятельности, сохранял религиозность прежних лет и даже несомненную склонность к мистицизму. (Это настроение, как известно, он во многом сохранил до преклонного возраста, и уже в 1862 г. он говорил Тургеневу, что верит в личного бога.) В 40-х годах он своеобразно сливает в своем миросозерцании революционность, религиозность и культ славянства, в частности—религию России.—«Вы скептик, я верующий», определенно заявляет он в 1847 г. в письме к Анненкову, формулируя ему свое credo. «Во всем этом много мистицизма,—скажете вы,—да кто же не мистик? Может ли быть капля жизни без мистики? Жизнь только там, где есть широкий, безграничный и потому несколько неопределенный мистический горизонт»... Еще определеннее он высказывается тогда же в письме к одному из своих польских друзей. «Вы ошибаетесь, дорогой друг, если думаете, что я не верую в бога; я только вполне отказался от того, чтобы признавать его научно и теоретически. Я ищу бога в людях, в их любви, в их свободе и теперь я ищу бога в революции. Я был бы очень счастлив, если хоть сколько-нибудь мог способствовать освобождению славян, освобождению моей родины, был бы очень счастлив умереть за свободу поляков и русских... Мы находимся накануне великих событий. Это—критический момент для славян, да исполнит каждый свой долг и да будет с нами святая божественная истина»...

---

[1]) *Вяч. Полонский.* «Мих. Бакунин в эпоху 40—60-х годов». (Вступительная статья к «Исповеди» Б-на, 1921, стр. 39).

Письмо заканчивается словами: «Да хранит вас всех бог!».. Невольно вспоминается шатовская формула о Ставрогине, насаждавшем в его сердце «бога и родину».

Наконец, в статье о Вейтлинге и коммунизме (1843 г.) Бакунин говорит о новой революционной религии. Наступившая эпоха «открывает собой великий революционный переворот, и жестокая борьба, которая должна разгореться, будет иметь не только политический, но и религиозный характер. «Не надо себя обманывать. Дело идет именно к новой религии, к религии демократии, на знамени которой начертаны слова: «Liberte, égalité et fraternité» [1]).

Можно было бы сильно умножить цитаты из писаний Бакунина для более полного освещения его религиозного и революционно-патриотического учения сороковых годов. Полагаем, что и немногих приведенных выдержек вполне достаточно для установления фактической связи между бакунинскими теориями и проповедью Ставрогина в ее «шатовской» рецепции.

Но мы знаем из романа, что в то время, как герой его обращает Шатова в свою мистико-патриотическую веру, он так же убежденно и с таким же успехом проповедует атеизм Кириллову. Эту сторону его учения мы узнаем опять из уст его ученика, страстно принимающего его философию. Его тезисы лапидарно-выразительны: «Для меня нет выше идеи—что бога нет. Человек только и делал, что выдумывал бога, чтобы жить, не убивая себя; в этом вся всемирная история до сих пор. Я один во всемирной истории не захотел первый раз выдумывать бога. Атрибут божества моего — своеволие. Это все, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую сознательную свободу мою».

Ставрогин внушил Кириллову идею воинствующего атеизма, которую ученик сам определяет термином человекобожество, т.-е. обожествление человека в виду отсутствия бога. Заповедная формула Кириллова: «Если нет бога, то я—бог». Он развивает эту формулу в следующих тезисах: «Если бог есть, то вся воля его, и из воли его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие».

Достоевский здесь излагает в стиле обычных полуфантастических философем своих героев позднюю формацию бакунинского миросозерцания, разумеется, всячески заостряя и стилизуя ее, согласно своему художественному замыслу. Теоретическая основа его—крайний, абсолютный, боевой атеизм, который сам Бакунин называет антитеологизмом, выявляя и подчеркивая объявленную войну всему богословскому мироучению. Высший принцип всякой религии, утверждает Бакунин, систематическое, абсолютное умаление, уничтожение и порабощение человечества в пользу божества. «Так как бог—все, то реальный мир и человек—ничто. Так как бог—истина, справедливость и бесконечная жизнь, то человек — ложь, неправедность и смерть. *Так как бог—*

[1]) Вяч. Полонский, 122.

господин, то человек—раб»... «Существование бога,—читаем в бакунинском исследовании «Федерализм, социализм и антитеологизм»,—логически связано с самоотречением человеческого разума и человеческой справедливости; оно является отрицателем человеческой свободы и необходимо приводит не только к теоретическому, но и к практическому рабству». И дальше: «Всякий, желающий обожать бога, должен будет отказаться от свободы и достоинства человека.

Бог существует, значит человек—раб.

Человек разумен, справедлив, свободен,—значит, бога нет.

Мы смело утверждаем, что никто не сможет выйти из этого круга...

Уважение к небу переходит в презрение к земле, а обожание божества—в унижение человечества».

Мы видим, что художественная транспозиция Достоевского и этой фазы идей Бакунина отличается такой же близостью к оригиналу, как и прочие элементы ставрогинского облика. Учение Кириллова в его основных положениях о человекобожестве—за выделением его крайнего вывода о необходимости самоубийства—является точным переложением основоположных тезисов бакунинского «антитеологизма».

Наконец, последнюю практическую формацию бакунинского учения—сущность его анархизма выражает в минуту вдохновенного подъема Петр Верховенский. В Ставрогине живет страсть к разрушению. Он дает Федьке Каторжному зловещий сигнал к убийствам и поджогам, и по его верховному мановению сгорает половина города и начинается поножовщина. Пожары, массовые убийства, раскачка и смута исходят в романе от него, несмотря на всю его видимую пассивность. По первоначальным заметкам и наброскам к «Бесам» видно, что одна из формул Ставрогина— «*все сжечь*», совпадает полностью с лозунгом Бакунина. В монологе Верховенского мы имеем свободное изложение бакунизма, с тем фантастическим отблеском, какой неизбежно принимают в романе все исторические документы, использованные Достоевским. Но материал действительности явно просвечивает сквозь бредовые видения: «Мы сначала пустим смуту,—начинает Верховенский,—мы проникнем в самый народ... Мы провозгласим разрушение... почему, почему, опять-таки, эта идейка так обаятельна?.. Мы пустим пожары, мы пустим легенды... Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... и застонет стоном земля: «новый правый закон идет», и взволнуется море и рухнет балаган»...

Можно не приводить соответствующих цитат из Бакунина—достаточно указать на все его воззвания, речи и статьи, где затрогивается и, следовательно, вдохновенно трактуется тема гибели старого мира. Монолог Верховенского великолепно отражает напряженный пафос Бакунина, упоенного творческими возможностями идеи всемирного разрушения.

VIII.

Возникает вопрос: откуда Достоевский мог почерпнуть столько сведений о жизни и личности Бакунина в эпоху, когда вообще не существовала еще ни одна его биография? Откуда такое щедрое обилие фактов, черточек, событий, эпизодов, взятых из самой гущи истории Бакунина и насквозь напитавших личность и судьбу Ставрогина? Оправдывается ли фактами творческой истории «Бесов» наша презумпция о широкой осведомленности их автора во внешней и внутренней биографии Бакунина?

Заочное знакомство Достоевского с будущим прототипом Ставрогина относится к ранней поре его творчества—сороковым годам. Достоевский попал в кружок Белинского вскоре после того, как Бакунин покинул его. Глубокий след, оставленный великим диалектиком в сознании его друзей, был здесь слишком ощутим в беседах и помыслах его недавних адептов. Сам Белинский, Тургенев, Панаев—ближайшие друзья Михаила Александровича, должны были постоянно упоминать его имя, особенно в связи с разворачивающейся на Западе громкой революционной деятельностью Бакунина. Если Рихард Вагнер был поражен этим именем, встретив в газетах известие о выступлении одного русского на польском банкете, то можно представить, с каким напряженным волнением следили за деятельностью Бакунина его недавние друзья и ученики.

В кружке, специально следившем за ходом европейской революции—в среде петрашевцев, где начинает вскоре постоянно бывать Достоевский, имя Бакунина должно было звучать еще чаще. 1848 год, придавший руководителю Пражского восстания всеевропейскую знаменитость, как раз застает Достоевского в разгаре его увлечения фурьеризмом. Не может быть сомнения, что в кружке петрашевцев, бдительно следивших за всеми событиями революционного движения на Западе, имя первого русского, приобщившегося к европейской революции, постоянно произносилось в благолепном окружении всех слухов и устных сведений об его бесстрашной борьбе с европейской реакцией.

На исходе 40-х годов в судьбах Достоевского и Бакунина открываются некоторые реальные аналогии. По странному совпадению, для них обоих открывается одновременно длительный период тюрьмы и ссылки. Весной 1849 г. Достоевский и Бакунин были арестованы. Петропавловская крепость, а затем далекий Омск видят их почти одновременно. Конец 50-х годов оба проводят на положении сибирских поселенцев, правда, в различных городах и ни разу не встретившись, но, несомненно, зная друг о друге. Появление Бакунина в Сибири было крупным событием в жизни политических ссыльных,—о нем заговорили, на него обращали особенное внимание. В последние годы своего пребывания в Сибири Достоевский много наслышался о Бакунине, который находился в это время в Иркутске, где жили также Петрашевский, Спешнев, Львов, т.-е.

товарищи Достоевского по политическому процессу. В свою очередь, и Михаил Александрович в своих сибирских письмах упоминает имя Достоевского (письмо к Герцену от 7 ноября 1860 г. из Иркутска).

Летом 1863 г. Достоевский видится в Лондоне с Герценом (встречались они, по сведениям, сообщенным мне М. К. Лемке, и во Флоренции). Есть полное основание гипотетически ввести тему о Бакунине в их беседы, вообще касавшиеся социальных проблем европейской современности. Как отмечал в свое время Страхов, Герцен оказал заметное влияние на тогдашние социально-политические воззрения Достоевского, сказавшиеся с такой живостью и остротой в «Зимних заметках о летних впечатлениях». Вот почему для нас представляет особый интерес высказанное тогда же мнение Герцена о Бакунине, которое суммирует ряд характерных черт, отметивших впоследствии образ Ставрогина.

1-го сент. 1863 г. Герцен в письме к самому Бакунину дает ему суровую оценку, подчеркивающую отвлеченность и «призрачность» его воззрений: «Оторванный жизнью (от жизни?—*Л. Г.*), брошенный с молодых лет в немецкий идеализм, из которого время сделало dem schema nach, реалистическое воззрение, *не зная России*, ни до тюрьмы, ни после Сибири, но полный широких и страстных влечений к благородной деятельности — *ты прожил до 50-ти лет в мире призраков*, студентской распашки, великих стремлений и мелких недостатков. После 10-летнего заключения *ты явился тем же теоретиком со всей определенностью* du vague, болтуном... с долей тихонького, но упорного эпикуреизма и с чесоткой революционной деятельности, которой недостает революции». Здесь как бы дан размашистый психологический набросок будущего образа Ставрогина.

В 60-ые годы Достоевский знакомится довольно близко с Жакларом, мужем его «невесты» Анны Васильевны Корвин-Круковской, впоследствии известным коммунаром. Это был один из видных сторонников Бакунина; когда в 1868 г. на конгрессе Лиги Мира в Берне Бакунин был вынужден оставить Лигу, Жаклар вместе с Реклю и некоторыми другими последовал за ним.

Наконец, как мы знаем, в 1867 г. Бакунин и Достоевский одновременно находятся в Женеве. Первый из них выступает на конгрессе Лиги Мира, заседания которого, по свидетельству Анны Григорьевны, посещались и Достоевским.

Чрезвычайно существенно в истории заочного знакомства автора «Бесов» с Бакуниным, встреча и близкое отношение Федора Михайловича с Огаревым в Женеве в 1863 г. Сведения об их дружбе и постоянных беседах мы имеем в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской.—«Знакомых в Женеве у нас не было почти никаких. Федор Михайлович всегда был очень туг на заключение новых знакомств. Из прежних же он встретил в Женеве одного Н. Огарева, известного поэта, друга Герцена, у которого они когда-то и познакомились. Огарев часто заходил к нам, приносил книги и газеты и даже ссужал нас иногда десятью франками, которые мы при первых же деньгах возвращали ему. Федор Михайлович

ценил многие стихотворения этого душевного поэта, и мы оба были всегда рады его посещению»... и проч. («Воспоминания А. Г. Достоевской», глава «Женева», цит. по рукописи).

Огарев принадлежал к тому небольшому кружку лиц, которые досконально изучили личность Бакунина. Зная его с юных лет, Огарев был свидетелем всех бурных эпизодов бакунинской молодости, близко прикасался к различным обстоятельствам его тогдашней жизни, принимал постоянное участие в дружеских обсуждениях, а иногда и пересудах поведения Мишеля. Вся биография Бакунина и всестороннее освещение его характера могли быть раскрыты Достоевскому его постоянным женевским собеседником. Нет такого фактического или биографического вопроса о личности Бакунина, на который бы Достоевский не мог бы получить исчерпывающего ответа от Огарева. Мы имеем здесь обширнейший источник информации нашего писателя о заинтересовавшем его герое. Если для ознакомления с личностью Грановского Достоевский специально выписывает книгу Станкевича, для изучения Бакунина ему с лихвой заменяют все печатные источники разговоры с Огаревым, и, что еще важнее—письма к нему Бакунина. Ибо нужно думать, что Огарев, в то время усиленно переписывавшийся с Бакуниным, не скрывал от Достоевского писем своего корреспондента, и многое высказанное в этих пространных признаниях послужило Достоевскому материалом для «Бесов».

Здесь прежде всего останавливает внимание обстоятельная характеристика Грановского, сделанная Бакуниным совершенно в духе записей Достоевского о Степане Трофимовиче Верховенском.

23 ноября 1869 г. Бакунин пишет Огареву: «...И Грановский также был идеалист, не грязный, — это правда; он был слишком благороден и слишком друг Станкевича, чтобы грязь могла когда-либо до него коснуться. Но в нем не было ни одной капли реальной дидеротовской и дантоновской, реально-человеколюбивой крови. Он жил и умер в доктрине и в сантиментально-гуманистической фикции. Он любил гуманность, но не живых людей. Как все доктринеры и идеалисты, он, сам того не сознавая, презирал во имя нации и во имя изящной гуманности глупую, ненаучную и неизящную толпу, черный люд. Поэтому он должен был быть отъявленным врагом социализма и верующим в жизнь другую, в которой, вероятно, он думал, толпа будет иметь случай поумнеть и умыться. Я прочел несколько писем его к сестрам, к кузинам, — что за прекраснодушие, какое отвратительное хлопотание о себе, о своей позе в исполнении de sa mission, что за несносно-изящное саморисование в идеале, как перед зеркалом, что за отвратительное, самолюбивое кокетство! И все это на французском диалекте—признак лжи. Вечные хлопоты о себе, о своем счастьи, о своем несчастьи, о своей красоте, о своем достоинстве, о своем положении и о своем призвании,—когда же ему было думать о живом, страждущем, попранном человечестве... Грановский был сам собою доволен, это явствует из каждой строки его к кузинам и сестрам, в письмах к

которым он так женоподобно рисуется... Перед гигантом Станкевичем Грановский был изящный маленький человек, не более. Я всегда чувствовал его тесноту и никогда не чувствовал к нему симпатии».

Некоторые черты здесь разительно сходны с трактовкой Грановского Достоевским. Примечательно, что вся эта характеристика дана по поводу вышедшей тогда книги Станкевича о Грановском, которую Бакунин как раз прочел в Локарно. В одном из следующих писем к Страхову от 26 февраля (10 марта 1870 г.) Достоевский умоляет его «ради Христа» исполнить его «величайшую» и «неотступнейшую просьбу»: выслать ему книжку Станкевича о Грановском, нужную ему «как воздух», как необходимейший материал для романа. Соображая даты, отношения Достоевского с Огаревым и содержание бакунинских писем, необходимо все это поставить в связь с работой Достоевского над «Бесами».

Вчитываясь в эти замечательные бакунинские письма к Огареву, приходишь к заключению, что они вообще не мало дали Достоевскому. Необходимо учесть в декабрьских письмах 1869 г. рассказы Бакунина о возвращении к нему его номинальной жены Антонины Ксаверьевны (фактической жены итальянского политического деятеля Гамбуцци) за три недели до родов, при чем возникающие денежные заботы Михаила Александровича, его сообщение о повивальной бабке и проч., вся необычная конъюнктура события воспроизведена Достоевским в истории родов Шатовой.

Отдельные характерные выражения писем Бакунина, в роде «наш бессмертный друг Badingué» (4 янв. 1870 г.) или: «Alea jacta est» (21 февр. 1870 г.), со всей точностью воспроизведенные в «Бесах», подтверждают предположение о знакомстве Достоевского с этими письмами.

Укажем еще одну дату—именно, день начала работы над «Бесами». 7/19 декабря 1869 г. Достоевский сообщает Майкову: «через три дня сажусь за роман в «Русский Вестник» (т.-е. за «Бесы»). Приведенные бакунинские письма, таким образом, совпадают с моментом приступа к роману и первой работы над ним.

В распоряжении Достоевского имелись и различные печатные данные. В органах Каткова — «Московских Ведомостях» и «Русском Вестнике» 60-х годов, в которых печатаются и «Преступление и Наказание» и «Идиот», появляются в то время различные сведения о Бакунине. Некоторые из этих сообщений представляют для нас крупный интерес.

«...Кто же этот Бакунин?—спрашивает Катков в № 4 «Моск. Вед.» 1870 года, т.-е. в момент разгара первой постройки «Бесов».—В молодости это был человек не без некоторого блеска, способный озадачивать людей слабых и нервных, смущать незрелых и выталкивать из колеи. Но в сущности это была натура сухая и черствая, ум пустой и бесплодно возбужденный. Он хватался за многое, но ничем не овладевал, ни к чему не чувствовал призвания, ни в чем не принимал действительного участия. В нем не было ничего искреннего; все интересы, которыми он, повидимому,

кипятился, были явлениями без сущности»... Эту характеристику не лишне учесть при изучении образа Ставрогина.

Наконец, в «Русском Вестнике» 1866 г., т.-е. рядом с «Преступлением и Наказанием», а затем и в 1867 г., печатаются «Воспоминания старообрядческого архиепископа Пафнутия Коломенского» о любопытных его встречах и беседах с Бакуниным (по поводу сближения старообрядцев с кружком «Колокола»). Все это, несомненно, входило в читательский кругозор Достоевского.

Собственные воззрения и теории Бакунина Достоевский мог узнать из различных статей и брошюр, которые свободно распространялись в женевских книжных лавках и читальнях, куда, как известно, постоянно заходил Достоевский. Он мог прочесть здесь и «Романов, Пугачев или Пестель», и прокламации к русским студентам и офицерам, то-есть целый ряд бакунинских страниц, художественную транспозицию которых мы отмечали в теориях Ставрогина. Наконец, ряд чрезвычайно существенных сведений автор «Бесов» почерпнул из отчета о процессе нечаевских сообщников, за которым он следил с жадностью художника, напавшего на благодарнейшую творческую руду.

Наконец, у нас есть фактическое указание на то, что, работая над «Бесами», Достоевский думал о Бакунине. В подготовительных набросках романа, где будущий Ставрогин всюду называется *князем*, имя Бакунина все же встречается, правда, только один раз, в мелкой приписке. «Гр. (ановский) говорит: Бакунин—старый гнилой мешок бредней» и проч. Даже если эта запись относится не к Ставрогину, а непосредственно к историческому лицу—это упоминание Бакунина в черновиках «Бесов» весьма знаменательно.

Все это, думается, достаточно объясняет ряд поразительных совпадений романа о Ставрогине с бакунинской биографией.

* * *

Нам необходимо считаться и с одним соображением из области творческой психологии Достоевского. Изображая русскую революцию, Достоевский не мог пройти мимо ее центральной фигуры и, намечая главных героев «Бесов», он никак не мог миновать самого выдающегося деятеля всего движения, его вождя и руководителя, уже отмеченного в то время мировой славой. Не забывая в своем романе таких второстепенных участников «нечаевщины», как Успенский или Зайцев, припоминая и некоторых малозаметных петрашевцев в роде Ал. Милюкова, воспроизводя с большой точностью деятельность самого Нечаева, Достоевский не мог оставить в стороне крупнейший эпизод нечаевской деятельности—его столь прошумевшую связь с Бакуниным. Если вспомнить, с каким жадным вниманием Достоевский стремился воспроизвести в своих эпопеях всех выдающихся деятелей современной России (в известном письме к Майкову он сообщает, что думает вывести в задуманном романе и Тихона

Задонского и Чаадаева, и Павла Прусского, и Пушкина, и Белинского, и Грановского),—станет очевидным, что в план его изображения русской революционной современности Бакунин должен был войти, как центральное лицо. Это тем очевиднее, что из всех деятелей тогдашнего подполья и эмиграции, получивших отражение в «Бесах», Достоевский лучше всего знал Бакунина, только его лично видел и даже слышал, как политического оратора.

Но это нисколько не ослабляет степени преображения исторического лица в романе. В своей творческой работе Достоевский никогда не стеснял себя данными действительности и подлинными признаками прототипа; ему нужна была не определенная конкретная фигура во всех ее особенностях, а лишь ее художественная типичность. Он пишет Майкову: «*Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип*»... Он заявляет в «Дневнике писателя»: «Лицо *моего* Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева»... Это полностью выражает и его отношение к Бакунину; он взят Достоевским не как подлинная историческая фигура, а лишь как *романический тип*, т.-е. с полным сохранением за автором прав на свободное преображение этой крупной и характерной фигуры политической современности. Портретного сходства здесь, конечно, нечего искать, а все отличия от оригинала нисколько не ослабляют исконной связи Ставрогина с его историческим прообразом.

IX.

Как же воспринимает и толкует Достоевский образ Бакунина?

Ставрогин—воплощение исключительно умственной, мозговой силы. В нем интеллект поглощает все прочие духовные проявления, парализуя и обеспложивая всю его душевную жизнь. Мысль, доведенная до степени чудовищной силы, пожирающая все, что могло бы рядом с ней распуститься в духовном организме, какой-то феноменальный Рассудок-Ваал, в жертву которого принесена вся богатая область чувства, фантазии, лирических эмоций,—такова формула ставрогинской личности. «Вас борет какая-то новая грозная мысль», «вас колеблет великая мысль», говорят ему окружающие, ощущая нечто трагическое и грозное в этом человеке, снедаемом без остатка идеей. Этим исключительным развитием логики Достоевский придает своему герою какие-то сатанинские черты, лишая его всякого творческого дара, всякой вдохновенности или героических порывов. «Из меня вылилось одно отрицание, — пишет сам Ставрогин в предсмертном письме,—без всякого великодушия и безо всякой силы».

Но и тот элемент, который может уравновесить отсутствие этих вечно-человеческих свойств—мощная творческая воля—в аспекте активной строительной силы не дана Ставрогину. Его исключительный волевой закал остается бесплодным и безжизненным, не выявляется во вне созиданием новых ценностей и при своей высочайшей напряженности

способен только медленно разлагать духовную природу своего носителя. Ставрогин отмечен каким-то проклятием духовного бесплодия, он может только раздражающе томить души своих адептов, бессильный благодатно оплодотворять их. Поставленный в самый центр революционного движения, стоящий в фокусе целой системы политических заговоров, как их глава и руководитель, он сохраняет при этом до конца позицию поразительного невмешательства в эту возбужденную подпольную работу. Это какой-то новый Сальери революционного действия, способный вырабатывать отважные теории, сводить гармонию к алгебре и отравлять своими формулами живые души, но бессильный подняться к этой творческой и действенной гармонии.

Фатальная рефлексия разъела до конца всякую творческую способность в этом мощном духовном организме и обрекла его на медленную гибель. В Ставрогине невозможно предположить интереса к поэзии, к музыке, к живым и звенящим голосам великой сферы мирового искусства, ибо влечение к ней предполагает ту живую сердечную стихию, которой навсегда лишил Ставрогина его могучий и холодный, как стальная машина, рассудок. Этим образом Достоевский дал совершенно исключительный в мировой литературе опыт: он создал личность, поглощенную без остатка огромным интеллектом и в нем потерявшую себя.

Не одному только Шатову Ставрогин должен был бы сказать: «Мне жаль, что я не могу вас любить»... И есть какая-то трагическая обреченность в его предсмертном признании: «Я никогда не могу потерять рассудок»...

Вот почему в Ставрогине есть нечто жуткое и прельстительное. Эта колоссальная сила ума, играющая всеми соблазнами диалектики и вобравшая в себя без остатка все духовные и творческие возможности его организма, одновременно пугает и влечет к себе. Этот голый мозг, достигший какой-то небывалой гипертрофии, поражает мощью своих грандиозных концепций, обреченных на крушение в силу их исключительно мозговой природы. Перед нами гений абстракта, исполин логических отвлечений, весь захваченный безграничными перспективами мощных и бесплодных теорий. Их пафос в колоссальной разрушительной силе, умертвляющей все, к чему прикасается Ставрогин; их трагизм в бессилии стать созидательными, переплавить истребление в творчество. Мертвенность Ставрогина—это окаменелость гениального теоретика при обнаружившейся невозможности возвести идею ломки в категорию созидания, жизненно отождествить волю к разрушению с творческой страстью. Знаменитый лозунг Бакунина «Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust» несет в себе неисправимое противоречие, фатально обрекающее на трагичечкое бесплодие.

Так понимал Достоевский Бакунина, и нельзя не признать, что в свете такого истолкования загадочная личность великого мятежника получает поразительное озарение. Ставрогин—это яркий рефлектор перед лицом Бакунина. Зоркая меткость этой характеристики подтверждается.

как мы видели, фактами жизни и психологическими чертами исторического героя. Анненков замечательно определяет коренное свойство Бакунина: «Потребность созидания систем и воззрений, обманывающих духовные потребности человека вместо удовлетворения их». Это фатальный опыт ставрогинских теорий на Кириллове и Шатове. Сам Бакунин отмечает в себе эту оторванность от почвы: «Я знал Россию мало; восемь лет жил за границей, а когда жил в России, был так исключительно занят немецкою философиею, что ничего вокруг себя не видел». «Я создал себе фантастическую Россию».

Друзья Бакунина чувствовали, что непосредственная, целостная и многокрасочная жизнь лишь тогда вдохновляла и увлекала Бакунина, когда она отлилась в идею, переплавилась в ratio, т.-е. в известном смысле обесцветилась, раздробилась и оскудела, но взамен приобрела исключительную силу стремительности. Способность Бакунина увлекаться процессом логических построений, независимо от их выводов и конкретных приложений, создавала особый вид философского «искусства для искусства», игры в мышление ради самого процесса мышления.

Сам Бакунин отмечает в себе склонность смотреть на жизненные вопросы «с высоты философской абстракции»: «Мой политический фанатизм, живший более в воображении, чем в сердце, имел свои... границы»; «*ненависть моя была в воображении, в мыслях, не в сердце*».—«Я был в то же время обманутым и обманщиком, обольщал себя и других, как бы насильствуя мой собственный ум и здравый смысл моих слушателей» [1]).

Поднимая гибельные бури в душах своих слушателей, сам Бакунин испытывал лишь головное возбуждение и, бросая смертоубийственные тезисы, он не ощущал реальных последствий их приложения. Повидимому, он одинаково восхищал поразительным блеском своего изложения и могучей способностью играть самыми отвлеченными и гибельными идеями, придававшими его учению вид холодной, обнаженной и сверкающей гильотины. Мысль для Бакунина была всегда гигантским рычагом и тараном, стенобитным орудием исключительной силы, способным снести до основания любые крепостные стены и уже потому непригодным к более тонким заданиям духа—к художественному творчеству, к интимной душевной жизни.

Мощь своих разрушительных мускулов Бакунин должен был искупить дефектом своей духовной организации. Возбуждавший к себе такую исключительную влюбленность женщин и преклонение мужчин, сам он никогда в жизни не любил: природа, одарив его небывалым мозговым аппаратом, сделала это за счет его сердца и даже в ущерб его физиологической нормальности. За свои сверхчеловеческие упоения логическими празднествами Бакунин никогда не узнал общечеловеческой радости любви, страсти, супружества и отцовства. Семейные отношения

[1]) «Исповедь», 49, 70—71, 84.

его были бы глубоко трогательны, если бы в них не было чего-то жалкого, бессильного, слишком отвергающего всякое представление о достоинстве и красоте подлинной мужественности. Богатырь мысли и действия являет в основном человеческом существе своем—в отношении к женщине—такую беспомощность, тоскливую неприспособленность (вспомним свидетельство Герцена: «Бакунин женился из скуки»...) и обидную пассивность, что поистине можно, по примеру древних, говорить здесь о каком-то жестоком законе возмездия, которым завистливая судьба поражает за свои слишком щедрые дары.

Так же разительно сказывалась и духовная ущербность Бакунина, всюду, где творчество не исчерпывалось мыслью и не всецело определялось рассудком. Область искусства была отрезана от Бакунина и, кажется, сам он сознательно и намеренно завалил себе все входы в этот мир высших человеческих эмоций. Он словно сознательно стремился вытравить здесь даже те склонности, которыми природа не вполне обошла его, напр., свою прирожденную музыкальность. Если по свидетельству Рейхеля, он мог часами слушать Бетховена и отличался музыкальной памятью, сам Бакунин осознавал в себе это как величайший грех и осуждал себя за проявление такой слабости. По свидетельству Рихарда Вагнера, «каждый разговор он неуклонно сводил к разрушению,—все попытки ближе обрисовать перед ним цель моих эстетических стремлений оставались бесплодными»...

Это относилось не только к музыке. Известный художник Н. Н. Ге отмечает полную неспособность Бакунина к эстетическим восприятиям. Решительнее всего это сказалось в его распоряжении выставить Сикстинскую Мадонну против артиллерии пруссаков, осаждавших Дрезден; правда, это было сделано в расчете, что пруссаки «zu classisch gebildet», чтоб стрелять в Рафаэля — но это, конечно, не колеблет мнения о глубоком эстетическом равнодушии Бакунина. Хотя сам он отвергал впоследствии другое обвинение — о том, что он отдал тогда же приказ об устройстве временного склада горючих материалов в знаменитой Дрезденской галлерее, отчего и произошел пожар, уничтоживший часть коллекций—нужно признать, что такое распоряжение было бы вполне в духе его боевого приказа о Сикстинской Мадонне, его пожелания видеть сожженным Париж при отступлении коммунаров и всех его диспутов об искусстве. Замечательно, что еще в 40-х гг. прозорливый Белинский совершенно категорически произносит приговор: «Отсутствие в тебе эстетического чувства».

Поистине поразительно, насколько этот выдающийся ум, вечно погруженный в проблемы современности, столь самобытно и дерзко разрешаемые им, беспомощен в чисто литературном отношении: чтоб написать статью, ему необходима помощь друзей, он не умеет самостоятельно построить обычного журнального трактата и подчас ищет помощи даже у скудного дарованием Огарева. То, что Бакунину не удалось выработать из себя писателя, что его мемуары, которые могли бы составить интереснейшую книгу XIX века, так и не были написаны, свидетельствует

лишний раз, насколько всякое искусство, всякая литература, все отмеченное художественным вдохновением, было чуждо ему. Единственное исключение отсюда — ораторское искусство, столь органически свойственное Бакунину; но оно почти сплошь построено на рассудке—особенно в своем политическом виде — и, конечно, можно быть выдающимся политическим оратором, сохраняя при этом полную анти-художественность в своей натуре. Выдающиеся ораторские дарования Ставрогина и Бакунина не делают их художниками, и нисколько не приближают их к живому эстетическому чувству.

В жизни Бакунина бывали трагические минуты тупой безнадежности, когда он мечтал о самоубийстве и даже пытался прибегнуть к нему. Окованный, обреченный, он, видимо, переживал моменты морального оцепенения, напоминающие мертвенность Ставрогина. Для философского замысла Достоевского важно было выдвинуть на первый план это именно состояние и всецело сосредоточить на нем психологическую структуру своего героя. Художник имел право взять под этим углом свою модель и зарисовать ее в этом редкостном освещении. Другой великий художник той же эпохи, во многом родственный Достоевскому, Рихард Вагнер, схватил ту же модель в совершенно ином озарении и рассмотрел в ней иные черты. Для германского трагика, изобразившего Бакунина в образе своего Зигфрида, русский бунтарь, сражавшийся рядом с ним на дрезденских баррикадах, являет общечеловеческое воплощение торжествующего героизма и радостного великодушия. Это—мощный заклинатель всех зловещих сил истории, великий борец за избавление человечества от вековых пут и скреп, победоносно ведущий его к высшему бытию и прекраснейшему будущему.

Эту героическую сущность великого завоевателя Достоевский, как мыслитель, должен был отвергнуть в Бакунине и, как художник, он прошел мимо нее. Согласно велениям его романического замысла, образ вождя «Бесов» должен быть, как Антихрист в предании—прельстительным и ложным, умственно неодолимым и нравственно несостоятельным. Вот почему Ставрогин, воплощая общую схему психологического типа Бакунина с его чудовищно-развитым интеллектом на счет всех прочих духовных даров, не передает того бурнопламенного устремления, которым вечно была подвигнута личность «святого бунтаря». Ставрогину чуждо то героическое начало, которым искупались бесчисленные грехи бакунинской натуры.

Герой «Бесов», как всякий художественный образ, не есть точная копия своего прототипа, он комбинирует по-новому и глубоко преображает жизненные черты оригинала. Совершенно очевидно, что возмущение Достоевского «нигилизмом» направляло его концепцию в сторону развенчания и отрицательной тенденции. Достоевский создал Ставрогина, чтоб казнить его позорной казнью через повешение. Таково было намерение романиста, которое, как известно, не всегда подчиняется рационалистической программе автора. С Достоевским произошло то же, что с Шекспиром при создании Шейлока: желая дать убийственную

карикатуру, он создал величественный и трагический образ. Гений художника, по слову Гейне, оказался выше его воли. Личность Бакунина не пошла на памфлет и убийственную пародию, на которую так легко поддались фигуры Грановского, Нечаева, даже Тургенева.

Бакунин выдержал испытание сатирического возмущения Достоевского. Он и под натиском этого гневного вдохновения сохранил свое величие и цельность. Никакие приемы романиста не могут принизить его героя до того уровня жалкого, поистине смешного и мелкого, на котором очутились живые прообразы Кармазинова или обоих Верховенских, попав в заколдованный круг памфлетического гнева Достоевского. Поставленный в самые тяжелые и невыгодные условия, Ставрогин до конца сохраняет известное достоинство и значительность. Там, где расплывчатые, колеблющиеся, двойственные фигуры Грановского и Тургенева оказались благодарнейшим материалом для насмешливой карикатуры, образ Бакунина остался непоколебимым и целостным, облитым сарказмом, но не осмеянным. Там, где так легко пародируются «Довольно» и «Призраки» Тургенева, поэма Печерина и исторические исследования Грановского, — писания Бакунина служат материалом для глубоких и возвышенных философских поэм Шатова и Кириллова, для вдохновенного в своем исступлении бреда Петра Верховенского. Достоевский, решившийся посягнуть пародийным стилем на самого Гоголя, оказался бессильным перед поставленным заданием—дать пародию речей и статей Бакунина.

В процессе изучения своей модели великий художник невольно и в разрез со своим намерением увлекся и пленился ею. Повторилось то же, что и с образом Грановского, взятого для карикатуры и вдохновившего Достоевского на глубоко возвышенные страницы «Последнего странствования Степана Трофимовича». Не даром сам Достоевский признавался, что он любит этого героя. Нечто аналогичное произошло и с образом Бакунина. Желая казнить и проклинать, он многое невольно принял в нем, многим пленился и восхитился... «Николай Ставрогин—тоже мрачное лицо, тоже злодей, — сообщает он в одном из своих писем.—Но мне кажется, что *это лицо — трагическое*... Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению, это и русское, и типическое лицо. Я из *сердца взял его*».

Сложное отношение романиста к его знаменитому современнику сказалось полностью на художественном воплощении его. Ставрогин не столько портрет, сколько, скорее, маска Бакунина. Слепок снимается с мертвого лица, он с максимальной точностью воспроизводит черты, но никогда не передает их живого выражения. Маска всегда разительно похожа и фатально неподвижна.

Таков и герой Достоевского. Это, конечно, Бакунин, запечатленный в его основных чертах, но совершенно лишенный богатой мимической игры оригинала. Он схвачен здесь в момент жуткой застылости и того душевного оцепенения, которое находило подчас на ско-

ванного Прометея революции 1848 г., но не могло быть длительным для его бурно-динамической натуры.

Достоевский в «Бесах» был подлинным ваятелем масок, мощно лепившим облики своих современников, стилизуя, украшая или искажая их, согласно велениям своего художественного замысла. Среди этих слепков с живых лиц мыслителей и мятежников имеется и тяжелая голова «исполина с львиной гривой». Лицо его резкими и неизгладимыми чертами отпечатлелось на маске Ставрогина, и только огонь высокого героизма, озарявший могучий облик Бакунина, ускользнул от его гениального портретиста[1]).

[1]) *Примечание.* Помещая исследование Л. П. Гроссмана, редакция «Печ. и Рев.» предполагает в одной из ближайших книг нашего журнала посвятить особую статью критическому анализу этой интересной работы.

Редакция.

И. И. Нивинский. Заставка к мелодраме А. В. Луначарского «Оливер Кромвель».

РУССКИЕ ГРАВЕРЫ.

И. И. НИВИНСКИЙ.

Проф. В. Я. Адарюков.

И. И. Нивинский принадлежит к талантливым и немногочисленным у нас живописцам-граверам, которые всецело посвятили себя офорту.

Искусство графики является одним из самых утонченных видов области изобразительного творчества. В свою очередь, самой значительной отраслью графики является гравюра, в которой находят самое широкое применение и реальная действительность, и фантастика, и отвлеченная символика и где существует полной простор для выражения художественных идей и достигается художественная свобода в гармонии творчества с определенностью практических заданий и границ жизни, несмотря на то, что гравюра располагает сравнительно немногими средствами изображения: здесь мы имеем только плоскость белого листа бумаги, пятна, параллельные или скрещивающиеся линии. Эти средства могут быть усилены удачно выбранной манерой, тоном, искусно найденной краской

и хорошо подобранной бумагой. Этими скромными средствами гравер должен выявить все многообразие и богатство форм внешнего мира. Главным средством все-таки остается линия с присущей ей отвлеченностью, и художник-гравер одной этой линией дает выразительный намек на характер натуры, отмечая типичной чертой существенный признак предмета и опуская все мелочи, и эти изображения образов одними линиями часто не совпадают во многом с реальностью, и даже совершенно удаляясь от реальности, современная гравюра может уловить тонкую сущность вещей и сохранить глубокий эстетический смысл. Для выражения огромного богатства существующих тонов и оттенков в гравюре существуют только контрасты черного и белого и в их отношениях выражается весь синтетический лаконизм тонов.

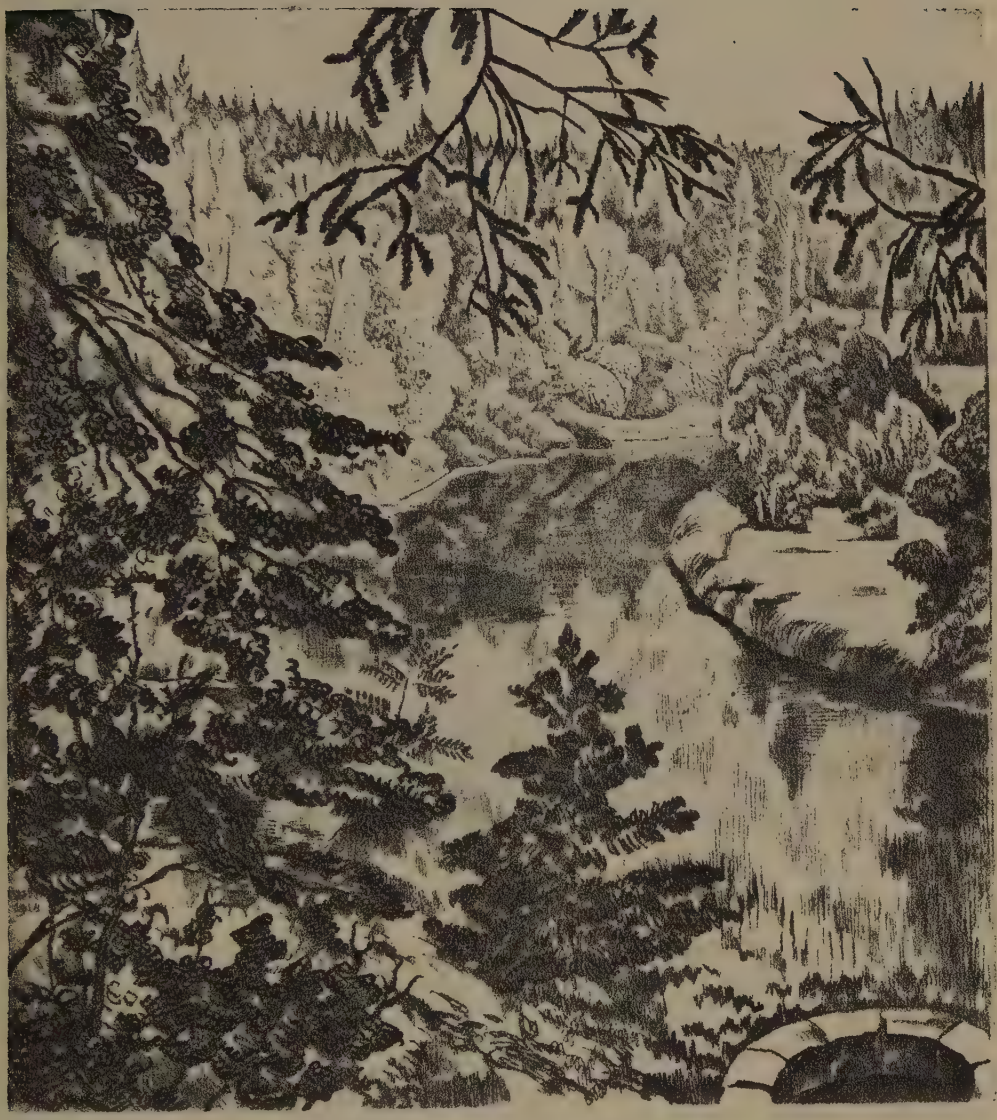
Несмотря на то, что вообще графика по сравнению с живописью не так богата средствами изображения, внутреннее содержание ее образов и выразительность нисколько не меньше, чем в живописи, оно даже острее и богаче в связи с сосредоточенностью синтеза, лаконизмом выражения и духом отвлеченности, составляющими особенности графики. С полной выразительностью и насыщенностью одними беглыми чертами, контрастами белого и черного выражается в графике целый мир идей и символов, безграничное богатство образов и тем при полной свободе от оков реальности.

Гравюра является художественным произведением, единое содержание и достоинство которого многократно воплощены. Выражаясь языком современности, гравюра всегда агитационна. Найденная художником мысль и способы ее выражения проявляются многократно, не убывая в силе убедительности. Эта доступность гравюры широким массам публики сближает ее с литературой, с произведениями печати и ставит перед ними почти общие задачи.

Богатство технических возможностей в гравюре иногда рассматривается как нечто приближающее эту отрасль искусства к ремеслу. С другой стороны, применение различного рода химических воздействий как будто вырывает из рук художника-гравера непосредственное выявление его замыслов. Но все эти средства, несмотря на их механичность, находятся в полной зависимости от творческой воли гравера.

Благодаря консервативности гравировального мастерства, его приемов, сохраняется связь с произведениями предшествующих эпох бо́льшая, нежели это имеет место в живописи. Живописные эффекты картин прошлых веков и нынешнего глубоко различны. Офорты же Рембрандта остаются вполне современными, но это отнюдь не должно считаться доказательством ограничения возможностей.

Художник - гравер тесно связан с материалом, и чем более выявлена эта связь, тем более ценным является его произведение. У каждого способа гравирования есть своя определенная логика, вытекающая из свойств материала. Ранее гравированные произведения выявляют инстинктивно чувствуемую эту логику.



И. И. Нивинский. Река Яуза под Москвой.

И. И. Нивинский. Москва. Кремль.

В наши дни, в отличие от прошлого, художники-граверы не повторяют чужих произведений, а являются глубоко-самобытными индивидуальными творцами, изображающими собственные замыслы, и произведения эти составляют такое же высокое и чистое искусство, как картина или статуя большого мастера. Современная гравюра носит более богатый и сложный характер в смысле композиции и замысла. Только одна гравюра в графике может дать исключительную глубину, силу и многообразие оттенков черного тона или гармоническую объединенность и звучность красок в многоцветной гравюре.

Ни один род гравирования не дает такой широкой возможности художнику-граверу улавливать субъективные оттенки впечатлений или выражать свою творческую мысль, как офорт, в котором гравер легко зачерчивает на доске самые интимные и прихотливые извивы своей мысли и непосредственно передает волнующие его образы. В офорте современный художник-гравер является мыслителем, поэтом и вместе с этим мастером-исполнителем, и поистине справедливым является мнение известного

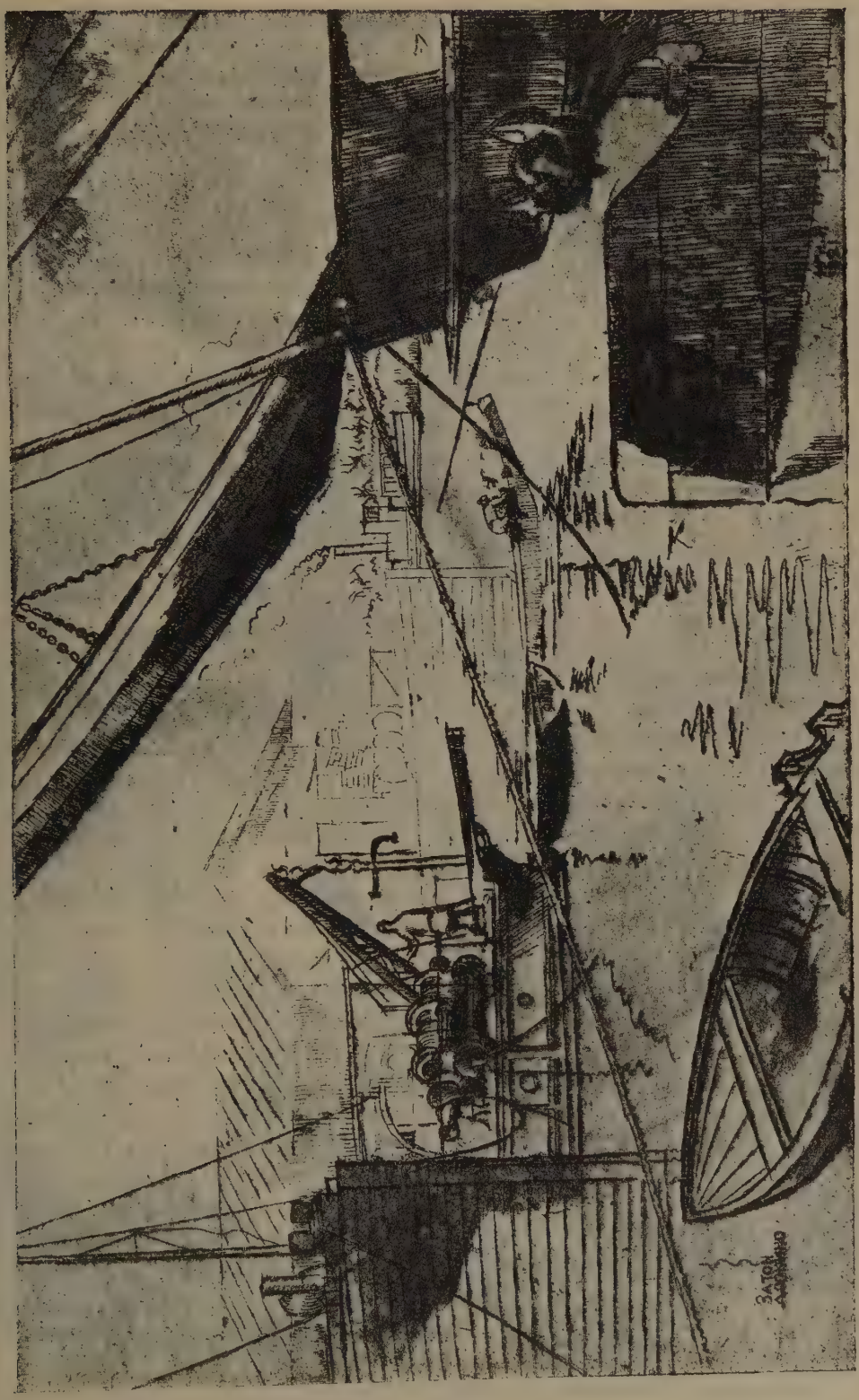
французского критика Фромантене об офорте, как самом высшем роде искусства.

Офорт заключается в вытравлении кислотой на меди или цинке рисунка, процарапанного по покрывающему металл слою лака. Одним из видов офорта является акватинта, в которой тени и тона получаются посредством повторного травления соответствующих мест доски, запыленной смолистым порошком (асфальт и канифоль), приставшим к ней от нагревания. Получаемые оттиски похожи на проложенные кистью тона жидкой туши. Другим способом офорта является мягкий лак (Vernis-mou, Durchdruckgrund, Saftground), основанный на том, что лак, содержащий жир, наносится томпоном на доску, протертую жиром. Рисунок

И. И. Нивинский. Барки. Евпатория.

делается карандашом через бумагу, наложенную на лак, и затем вытравляется кислотой. Оттиски напоминают рисунок карандашом. Наконец, есть работа в офорте холодной или сухой иглой (pointe sèche), которой гравер процарапывает рисунок в самой доске, и травление становится уже не нужным, т.-е. гравирование происходит без нагревания, необходимого при травлении, почему способ этот и носит название холодной или сухой иглы.

Желание использовать гравюру на меди и для репродукций произведений живописи создало цветной офорт, при котором пользуются несколькими досками, предназначенными каждая для одной определенной краски. В наше время цветной офорт получил широкое распространение



Затон. Досягно.

П. П. Нивинский.

(цветной офорт с акватинтой, цветная гравюра на дереве или линолеуме).

К началу XX века в Европе особенно выделились такие офортисты, как Ш. Мерион (1821—1868), Уистлер (1834—1903), А. Цорн (1860—1921), Ф. Брангвин и др., и офорт получил огромную популярность в Европе. Что касается наших офортистов, то в прошлом году [1]) на страницах настоящего журнала я писал о Симоне Федорове Ушакове, Афанасии Трухменском, Леонтии Бунине, Тарасевиче, Ширском, а также о А. И. Сомове, Т. Г. Шевченко, Н. С. Мосолове, В. А. Боброве, В. В. Матэ, Шишкине и др. Там же мною были указаны те далеко немногочисленные руководства по технике офорта, которые у нас существовали. Надлежит отметить, что за это время на русском языке появилось еще два: В. Анисимов. «Гравирование цветных офортов и эстампов». Петербург. 1922, и «Гравюра и Литография». Краткое руководство с 81 иллюстрацией. Составил В. Масютин. 1922. Геликон. Москва—Берлин.

Известно, что у нас офорт не пользовался, да и теперь еще не пользуется широкой популярностью, и у нашей публики еще недавно царили очень смутные представления об искусстве «графики» и очень часто смешивали нарисованное и раскрашенное с воспроизведенным. Отзвуками царившей у нас путаницы в понятиях могут служить самые названия устраиваемых выставок «офортов и гравюр», хотя казалось бы, что всякому должно быть понятно, что термин «офорт» входит в понятие гравюры. Причин малой распространенности у нас офорта много, и одной из главных является безучастное отношение к офорту нашей Академии Художеств, в жизни которой лет 40 тому назад был факт временного закрытия гравировального класса и печатной «из-за экономии». Факт этот глубоко знаменателен, ярко свидетельствуя о взглядах высшего художественного учреждения на гравюру. Само собой разумеется, что при таких взглядах офортное дело стояло у нас очень низко.

Сравнительно недавно, всего лет 20 тому назад, наши художники обратили серьезное внимание на офорт, но весьма немногие из них сделались специально «офортистами», прежде всего потому, что в прошлом ознакомиться с техникой офорта можно было только в Академии Художеств, да и то только тогда, когда в качестве руководителя этого дела стал В. В. Матэ. Те же художники, которым почему-либо не удалось попасть в Академию, для изучения офорта должны были сами добиваться этих знаний без всяких руководителей, путем настойчивых трудов, личных опытов и усилий. Даже среди художников основанное еще в 1871 году «Общество русских аквафортистов» просуществовало всего два года. Лишь теперь в новой России мы имеем не только в Петербурге, Москве (графический факультет Вхутемаса), но даже и в провинции рационально поставленное дело ознакомления с техникой гравюры вообще и офорта в частности. В прошлом надо было много иметь любви к делу, настойчивости, огромного трудолюбия, чтобы самому сделаться «офортистом»,

[1]) «Печать и Революция», кн. 6-ая, стр. 94—103.

И. И. Нивинский. Саввино-Сторожевский монастырь близ Звенигорода.

И. И. Нивинский. Волга.

имея в виду притом полное у нас отсутствие спроса на офорт. К числу именно таких художников, обязанных в своих достижениях исключительно самому себе, принадлежит у нас талантливый офортист И. И. Нивинский.

Игнатий Игнатьевич Нивинский родился в Москве 30 декабря 1881 г., и с детства в нем обнаружилась склонность к рисованию, в силу которой он был определен в бывшее Строгановское училище и в 1898 году окончил его настолько блестяще, что был оставлен в нем же преподавателем. Дело обучения будущих художников в Строгановском училище было поставлено плохо, и когда И. И. Нивинский, один из лучших учеников, пытался поступить в Академию Художеств, то попытка эта не увенчалась успехом. Желая пополнить свое образование, И. И. Нивинский два года слушал лекции в Московском Археологическом институте. Состоя преподавателем Строгановского училища, И. И. Нивинский близко сошелся и стал работать в мастерской талантливого архитектора,

И. В. Желтовского, принадлежавшего к той небольшой группе наших архитекторов, которая состояла поклонницей классицизма, пышных форм Ренессанса, Микель-Анжело, Палладио и старалась по мере сил продолжать и осуществлять традиции великих мастеров XVIII и XIX столетий. Это увлечение классицизмом и старой Италией передалось И. И. Нивинскому. Благодаря И. В. Желтовскому, он познакомился с принципами композиции, гаммой красок, соотношением масс. Огромную пользу для И. И. Нивинского принесли совместные с И. В. Желтовским поездки по Италии, изучение итальянских фресок и живописи, значительно расширившие кругозор художника и обогатившие его ценными знаниями.

По возвращении из Италии И. И. Нивинский занялся расписыванием плафонов в возводимых И. В. Желтовским зданиях: так, им были исполнены эти работы в доме скакового клуба, в даче Рупперта, в доме Тарасовых и др. зданиях. В этих плафонах и эскизах к ним ясно и сильно сказалась любовь И. И. Нивинского к живописцам итальянского возрождения. Увлечение итальянскими мастерами было благодетельно для И. И. Нивинского в том отношении, что, благодаря отчасти ему, художник выработал замечательно правильный рисунок, что составило, несомненно, одно из достоинств всех его последующих работ. Занятия архитектурой принесли художнику огромную пользу в его последующих театральных декоративных работах и сказались в монументальности некоторых его офортов. Работая в мастерской И. В. Желтовского, И. И.

И. И. Нивинский. Евпатория. У лодки.

И. И. Нивинский. Гурзуф. Кедр ливанский.

И. И. Нивинский. Ай-та-Дор. Деревня.

Нивинский настолько познакомился с архитектурой, что самостоятельно построил летний дом Ф. Ф. Берга в Пушкине под Москвой.

Живописи И. И. Нивинский учился в школе С. Ю. Жуковского и Халявина. Первое публичное выступление Нивинского состоялось в 1909 году, когда на XXVIII периодической выставке он выставил свою первую картину «Весенний этюд», признанную художественной критикой лучшей на выставке.

Картины И. И. Нивинского можно разделить на два периода: в первом из них он мастер фрески и один из немногих у нас «плафонистов»; картины этого периода подчинены отчасти архитектурным заданиям и носят несколько декоративный характер. В картинах второго, более зрелого периода, изучение формы переплетается с итальянизмом компо-

И. И. Нивинский. Венецианский мостик.

зиции, таковы, напр., «Сон», «Адам и Ева»; в них весьма удачно разрешаются как композиционные, так и колористические задачи; обращает на себя внимание отсутствие в его картинах «литературности» сюжета: он больше интересуется декоративностью действительности, как, например, в картинах «Цирк», «Борьба» и др.

Особую группу, как картин, так и офортов И. И. Нивинского, составляет обнаженное тело; в этих картинах и офортах видна строгая академичность рисунка и отчасти кубизм, что дает блестящую красочность и выразительность ритма обнаженного тела. В обнаженных женских фигурах И. И. Нивинского чувствуется что-то напоминающее Фелисьена Ропса.

Свои картины И. И. Нивинский выставлял на периодических выставках, на выставках Московского Товарищества, на академических и др., но главные его симпатии были к «Миру Искусства» и, подобно многим художникам этой группы, И. И. Нивинский увлекся театрально-декоративными работами.

Известный современный исследователь русского искусства Луи Рео отметил эту особенность русских художников—увлечение рисованием театральных декораций. «Эта ориентация,—говорит Луи Рео,—определилась отчасти достоинствами и недостатками их национального темперамента, их пристрастием к ярким тонам, так резко выступающим в иконах и у кустарей, их неожиданными импровизациями и их относительной безразличию-

стью к технике». Это пристрастие к театральным декорациям Луи Рео объясняет отчасти и простым расчетом. «В России,—говорит он,—где широкие массы не восприимчивы еще ко всему движению в искусстве, картины продавались плохо, русские меценаты в большинстве случаев предпочитали произведения иностранцев, и наши художники должны были искать выхода в театральном и графическом искусствах. Только в декоративной живописи и иллюстрации книг современное русское искусство стоит на самой высоте и искренно нас восхищает. Как бы ни были замечательны картины Александра Бенуа, Бакста, Серова, Рериха и др., они менее выдвигают их таланты, нежели макеты, декорации и рисунки костюмов».

К этому справедливому заключению почтенного исследователя надлежало бы прибавить указания на те крупные достижения в области гравюры на дереве, которые выдвигают Россию в настоящее время едва ли не на первое место среди всех европейских стран. И эти достижения богато были использованы теперь, в революционное время. Только во время расцвета гравюры на дереве, в 40-х годах, появлялось так много гравюр на дереве, как в наше время; в особенности широкое применение гравюра на дереве получила в книгах, но с той существенной разницей, что в 40-х гг. она была почти сплошь подражанием французской, настоящая же носит совершенно самобытный и творческий характер.

И. И. Нивинский. Книжный знак Сараджиева. Офорт.

По талантливым рисункам И. И. Нивинского были исполнены постановки пьес «Эрика XIV» и «Принцессы Турандот». Несомненный успех этих пьес должен быть в значительной степени приписан и художнику, их создавшему. Работая с такими крупными деятелями театра, как К. С. Станислав-

ский и Е. Б. Вахтангов, будучи хорошо знаком с архитектурой, И. И. Нивинский дал замечательную картину дворца «Эрика XIV» и поразительные импровизации расцветности в плане гармонической конструкции дель-арте сказки «Принцесса Турандот». В настоящее время он работает над новой постановкой «Плодов просвещения» в Художественном театре в виду предстоящего юбилея пьесы.

И. И. Нивинский не чужд также книжной иллюстрации. Так, в №№ 1—4 журнала «Москва» он дал ряд очень красивых заставок, а в № 5 иллюстрировал комедию Андрея Глоба «Ножки императрицы Чай-Чай». В 1920 году им чрезвычайно удачно была иллюстрирована историческая мелодрама А. В. Луначарского «Оливер Кромвель». К каждой из 10 картин этой пьесы он дал по рисунку и по одной заставке. Во всех этих иллюстрациях виден отличный рисовальщик, блестяще справившийся со своей задачей.

Главная специальность И. И. Нивинского—офорт, изучать который серьезно он начал в 1912 году, и первым его учителем был Г. Э. Гаман, работавший раньше под руководством В. В. Матэ. От него он познакомился с приемами травления, грунтовки и печатания, но более подробное и серьезное изучение офортного дела художник почерпнул из трудов Циглера, Зейбольда, Прейсига и др. Прочитывая главы по технике офорта, И. И. Нивинский тотчас же проделывал опыты и настолько быстро овладел техникой офорта, что через год, в 1913 году, выступил с серией пейзажей-офортов из итальянского путешествия на XX выставке Московского Товарищества Художников, затем он ежегодно выставлял свои офорты на выставках «Мира Искусства» и на графических выставках в галлерее Лемерсье, но почти исключительно в Москве. За истекшие 10 лет работы, или, вернее, 9 лет, так как в 1919 году ему не пришлось работать, вследствие тяжелых условий времени, им было исполнено 91 гравюра, главным образом, акватинтой и сравнительно меньше сухой иглой и мягким лаком.

Все гравюры И. И. Нивинского можно разделить на несколько серий. Две первые из них, представляющие впечатления художника от Италии, составляют 15 гравюр, главным образом, видов: Венеции, Вероны, Трento, Виченцы, Мантуи и Генуи. Некоторые из них, как, например, «Копи св. Марка в Венеции», были воспроизведены в «Архитектурном Ежегоднике».

Исполнены они были художником на цинковых досках, прямо с натуры, без эскизов, и могут быть отнесены к классическому офорту. Уже в этих первых работах И. И. Нивинского видно большое изящество, простота и уверенность рисунка, передача глубины и света с помощью немногих средств и яркость в выражении местного характера. При всех этих положительных достоинствах его офортов выясняется особенность таланта художника, верное и сильное чутье к архитектурным формам.

В 1916–17 гг. им было исполнено 16 гравюр, составляющих Крымскую сюиту видов: Евпатории, Гурзуфа, Ай-Петри и Ай-Тадора. Эта сюита гравюр, представляющая живые, восхитительные наброски видов нашей Ривьеры и ее курортной жизни, также исполнена прямо с натуры, без эскизов.

И. И. Нивинский. За работой.

Эти гравюры отличаются чрезвычайно уверенным рисунком и очень удачной передачей глубины и света, обнаруживая в художнике превосходную технику. В 1922 году Крымская сюита была приобретена Государственным Издательством для выпуска в виде альбома.

Наконец, в одну серию могут быть объединены виды Москвы, Волги, Оки, Ярославля и виды Саввино-Сторожевского близ Звенигорода, исполненные художником в 1921 году и являющиеся совершенно исключительными прежде всего по своим размерам: так, «Вход на лестницу Саввино-Сторожевского монастыря» имеет размеры 62,7 × 48 сант., а «Красная Башня» имеет еще большие размеры—53,2 × 79,1 сант. Эти монументальные офорты И. И. Нивинского представляют большой интерес: в них, помимо большого технического искусства, художник выявил с большой силою индивидуальные черты своей художественной личности: его особенную чуткость к впечатлениям архитектуры; чувство внушительных архитектурных масс выражено удивительно красиво и сильно, с глубоким пониманием духа древней русской архитектуры, и листы эти, по красоте композиции и мягких переливов светотени, бесспорно, принадлежат к наиболее типичным и значительным работам И. И. Нивинского.

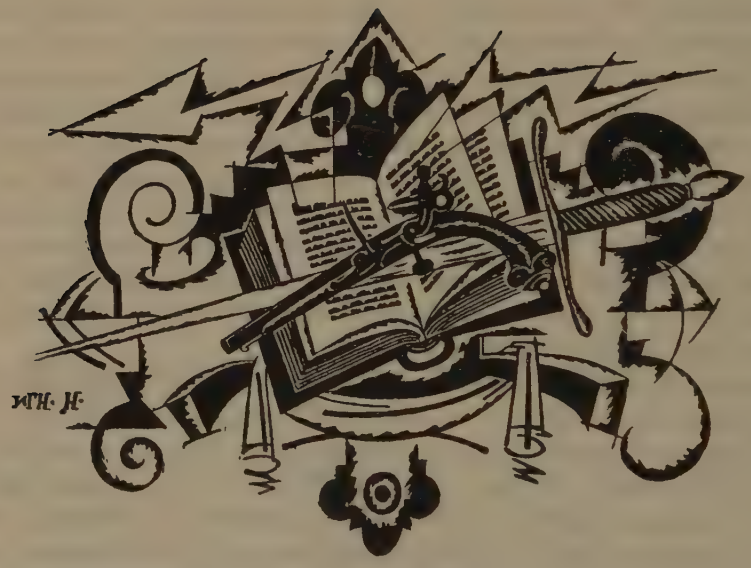
Нельзя обойти молчанием также превосходный офорт художника «Св. Севастьен», посвященный разрушенной войной Бельгии, с изображением коленопреклоненной фигуры на фоне архитектурных развалин. Воспроизведенный в скульптуре офорт этот был бы великолепен над порталом будущего музея великой войны. Чрезвычайно также интересны исполненные с большим изяществом, простотой и мастерством конкурсные проекты 1914 года по заказу московской городской думы: «Диплом для архитектора» и «Медаль для домовладельца». На первом офорте изображена капитель, как символ архитектуры, на капителе—герб Москвы, на другой стороне—архитектор, венчаемый фигурой Славы; вокруг изображений — подписи.

Отдельным циклом работ И. И. Нивинского стоят офорты, представляющие продуманное изучение женского тела, сюда относятся: «Даная», «Две женщины на ковре», «Nue», «Кариатида», «Утро», «Туалет» (размерами 50 × 32,5 сант.), «Отдых», «Купальщицы» и «В студии перед зеркалом», — этот последний офорт, один из наиболее удачных, исполнен на медной доске и представляет собой модель, изображение которой отражается в зеркале, и автопортрет художника за работой. Если первые по времени фигурные композиции страдают некоторой этюдностью, то в последующих, невольно вызывающих в памяти Ф. Ропса, художник дает вполне выдержанные композиции, мастерски достигая замечательной выразительности ритма обнаженного тела и чрезвычайно умелого сочетания белых и черных пятен, и листы эти, бесспорно, принадлежат к числу наиболее интересных и чрезвычайно удачных офортов талантливого художника.

Работы И. И. Нивинского, являясь прекрасными образцами чистого и сложного офорта, интересны по композиции, в них виден искус-

ный, тонкий, культурный рисовальщик, с художественным вкусом и темпераментом, твердо и энергично владеющий иглой. Дарование И. И. Нивинского показывает, что большинство его произведений тесно связано с впечатлениями реальной окружающей его действительности, в ней черпает он лучшие индивидуальные черты и любимые мотивы своих произведений, и его сила в глубоком понимании и сродстве с ней.

И. И. Нивинский принадлежит у нас к числу немногих чистых, идейных живописцев-граверов, разнообразный в своих творческих замыслах и разносторонний по духовным интересам, он, надо надеяться, даст еще много интересных работ.



И. И. Нивинский. Концовка из мелодрамы А. В. Луначарского «Оливер Кромвель».

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

I. НА ФРОНТАХ ТЕКУЩЕЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ.—В. Ф. Переверзев. II. СРЕДИ СТИХОВ.—Валерий Брюсов.

I. НА ФРОНТАХ ТЕКУЩЕЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ.

В. Ф. Переверзев.

Предлагаемая статья имеет целью дать беглый ориентирующий обзор беллетристики первых месяцев текущего года на основании материала, предоставленного мне редакцией «Печати и Революции». Материал этот, конечно, не исчерпывающий. Тем не менее, и этого материала совершенно достаточно, чтобы составить представление о характере текущей беллетристики, о наметившихся в ней группировках и потенциях, заложенных в каждой из них.

Передо мною два номера альманаха «Круг»; два сборника «Твори!» и «Под пятикрылой звездой»; первый номер художественного журнала «Леф» и томик сочинений Всеволода Иванова «Сопки».

Несмотря на случайный подбор всей этой литературы, легко заметить, что данный ею беллетристический материал располагается по трем линиям, развертывается, так сказать, тремя фронтами: фронт «беспартийных» беллетристов, фронт «пролетарских» писателей и так называемый «Левый фронт» или коротко—«Леф».

Наиболее сильным фронтом остается пока первый. «Беспартийные» выступили с двумя номерами альманаха «Круг», являющимися единственно заметным вкладом в беллетристическую литературу. Здесь даны произведения всех уже замеченных читателями молодых беллетристов—Пильняка, Никитина, Зощенко и др. Здесь обращают на себя внимание произведения начинающих авторов, в которых чувствуется оригинальность и талант, как «Падение Даира» Малышкина или «Мятеж» Буданцева. Подлинные завоевания молодой русской беллетристики здесь, на этом фронте, и нигде больше.

Не следует преувеличивать этих завоеваний. Успехи и достижения молодой беллетристики чрезвычайно скромны. Нет еще среди этих беллетристов никого, кто мог бы назваться выразителем нашего времени, в роде того как были выразителями своего времени Чехов и Горький.

Нет ни одного произведения, которое могло бы стать знаменем переживаемого момента, синтезировало бы опыт великой революции в художественных типах, очертило бы во весь рост «героя нашего времени», как это в свое время сделали Лермонтов, Тургенев, Толстой для их эпох. Тем не менее, никто не подошел так близко к разрешению этой задачи, как беллетристы «Круга».

Об этом прежде всего говорит тот исключительный интерес к революционной действительности, который так заметно проявляется у этих беллетристов. Они не жрецы чистого искусства, не маги отвлеченной красоты, а живые люди, жадно припадающие к родникам текущей действительности как единственному здоровому источнику творчества. Подлинное искусство всегда было эмоциональным резонатором современности. Лучший образ поэта «Эхо» Пушкина, и поскольку беллетристы «Круга» являются эхом великой революции, они — подлинные поэты. Чрезвычайно ценным в них является факт, что все они сознательно или инстинктивно догадываются, что очередная задача искусства—изваять образ человека, выплавленного в огне революции.

Русский человек в огне революции—вот тема, которая доминирует в альманахах «Круга». Из девяти помещенных здесь рассказов этой теме посвящено шесть и только три не связаны с революционной действительностью. Из них один написан еще до революции, но не получил распространения по цензурным условиям. Это—рассказ Замятина «На куличках», написанный с тем мастерством и теми живыми красками, которыми нас так когда-то пленил автор «Уездного». Хорошо знаком читателю и автор повести «Анна Тимофеевна» Константин Федин, у которого мрачный, суровый реквием Андреева зазвучал какой-то по-чеховски мягкой задушевностью. Менее знаком нам Каверин, автор третьей повести «Пятый странник», привлекающий внимание оригинальностью художественной композиции и новой в нашей беллетристике ноткой философского скептицизма. Скептический пафос молодого беллетриста нащупал весьма удачный композиционный прием для своего выражения, хотя нам кажется, что он еще не вполне овладел им. От повести остается впечатление некоторой смутности, недоговоренности, недоделанности.

Несмотря на несомненную художественную ценность названных повестей, им приходится отвести очень скромное место, говоря об альманахах «Круга». Они не характерны для молодой беллетристики, не ими определяется физиономия беллетристики «Круга». Она—в тех повестях, в которых трепещет и бьется пульс революционной современности.

Этих повестей, как уже сказано, шесть, из них три носят бытовой характер—это коротенькие новеллы Зощенко, Огнева и Никитина. Зощенко и Огнев дают быт в оправе революции, Никитин—революцию в оправе быта.

В рассказе Зощенко «Коза» перед нами трагикомическая фигура гоголевского Акакия Акакиевича, перенесенная в обстановку продовольственной разрухи революционного времени. В новой обстановке роковую для Акакия Акакиевича «шинель» сменила не менее роковая

«коза», сыгравшая в жизни героя рассказа Зощенко буквально ту же губительную роль.

Повесть «Коза» представляет собою разработку злободневного бытового анекдота в стиле гоголевского юмора. Злободневный бытовой анекдот лежит в основе повести Огнева «Щи республики», но разрабатывается он не в стиле юмора, а в стиле гоголевской фантастики. Приключения пустившегося мешечничать городского рабочего—вот тема повести. В неприютный, чужой, жуткий мир дремучей деревни попадает мешечник и, встревоженный жуткой необычностью обстановки, бодрит себя «ханжичкой», которую он нес с собою для обмена на картошку. Ханжичка ли тут сыграла роль, или подлинно наш мешечник попал в какое-то погоголевски «заколдованное место», но случились тут с ним такие чудеса, что он еле ноги унес из колдовского мира, чары которого рассеялись только при звуке колес и блеске огней родного рабочему паровоза. Чрезвычайно удачно автор использовал в своем рассказе гоголевский прием переплетения реализма с фантастикой для художественного развития темы, выдвинувшейся в революционную пору с особенной остротой: обострение противоречия двух миров—натурально деревенского, крестьянского, и технически—городского, рабочего.

Если Зощенко и Огнев художественно разрабатывают тему быта, разворошенного, растрепанного революцией, то Никитин в рассказе «Ночь» подсмотрел в проблеме быта и революции другую сторону. Революция, охваченная кольцом бытовой стихии, революция, рассасываемая бытом, революция как служанка быта,—вот тема Никитина. «Ночь»; навстречу друг другу несутся два бронепоезда: имени Корнилова и имени Белакун; в одной точке накапливается и зрест грозовой революционный смерч; а кругом необъятный простор казачьих степей, где зреет тихо пшеница и зреют в душные ночи груди станичных баб; пронесся смерч, оставив по себе обугленные трупы, гору золы и обломки железа, и со всех сторон потянули скрипучие арбы, развозя по станицам железо и золу; им это все на пользу: «который палец Кузьма ни загнет—все выходит ему на пользу... он стоит между двух разгромленных поездов, посмотрит налево—смеется, направо—смеется. Жаден, жилен и черен». Какой-то суровой и сосредоточенной болью наполняет эта картина автора, пересыпающего свое повествование энергичными, библейски апокалиптическими отступлениями. Из приведенных рассказов это наиболее серьезное и интересное по замыслу произведение. Рассказы Зощенко и Огнева еще носят печать анекдотичности; рассказ Никитина уже намечает художественное обобщение широкого масштаба.

В трех названных рассказах революция отражается в бытовом аспекте. Иной аспект отражения мы находим в повестях Пильняка и Малышкина. Здесь опыт художественного воплощения революции в ее сущности, революции как космической стихии. В большой повести «Третья Столица» Пильняк развивает эту тему в обычной для него метафизически символической манере, сильно напоминающей манеру Андрея Белого. Революцию рисует он в виде мистической вьюги, полной какой-

то космической тайны метели. Нельзя не заметить, что по этой повести уже скользит тень трафарета; после «Голого Года» она звучит несколько скучноватым перепевом.

Оригинально, по-новому, зазвучал этот мотив у Малышкина в повести «Падение Даира». Революция и здесь—стихия, но в ней нет ничего мистического, никакой космической метафизики. Это—буйно стихийное движение масс, охваченных одним порывом, тяжелой грохочущей, все ниспровергающей на пути лавиной, несущихся вперед. В стилистическом отношении Малышкин не свободен от влияния прозы Белого, может-быть, даже Пильняка. Но у него есть свое, только ему принадлежащее лицо, выглядывающее через трафарет стиля, и это дает основание возлагать на начинающего беллетриста большие надежды

Привлекает к себе особенное внимание произведение младшего среди молодых беллетристов, кажется, впервые выступающего в прозаическом роде Буданцева: «Мятеж». В отличие от предыдущих беллетристов «Круга», художников миниатюры, эскиза, Буданцев дает монументальную беллетристическую форму: роман. И в революции его привлекает не бытовое начало и не биологическая стихийность, а психология; не быт, а личность, не толпа, а герой революционной эпохи стоит в центре его художественного внимания. Проблема личного и стихийного в революции—вот тема романа Буданцева. В образе героя романа левого эс-эра Калабухова автор изображает внутреннее бессилие и трагическую обреченность индивидуального революционного героизма, оторванного от коллектива, диссонирующего с рокотом массовой революционной волны.

В связи с беллетристикой «Круга» стоит отметить и томик рассказов Вс. Иванова «Сопки», если и не официально, то по существу примыкающий к тому же литературному течению.

«Сопки» не являются в строгом смысле беллетристической новинкой. Собранные здесь «Партизанские повести» уже печатались раньше в журналах, сборниках и даже переиздавались отдельными книжками. Яркое дарование Вс. Иванова, полнее всего выразившееся в его партизанских повестях, уже оценено и критикой и читателями. Я отмечаю это новое издание только для того, чтобы лишний раз обратить внимание читателя на молодого беллетриста, произведения которого ярче всего демонстрируют успехи на фронте «беспартийной» беллетристики.

Читатель видит, сколь и разнообразны и интересны художественные темы, разрабатываемые «беспартийными» беллетристами, какие среди них имеются яркие художественные индивидуальности. Это не потому, разумеется, что они беспартийны, если, конечно, не разуметь под партийностью заклание во имя тенденции художественной правды. Партийность художника определяется не сознательными тенденциями, а подсознательными переживаниями. Художник может всю жизнь не догадываться, что своим творчеством он служил делу определенной партии, и, наоборот, может воображать себя художником определенной партии, будучи для нее совершенно бесполезным, а иногда и прямо

вредным. Гоголь, как художник, служил делу Белинского, будучи яростным врагом его партии по своим сознательным тенденциям. Декаденты одно время воспевали в своих стихах рабочую партию, оставаясь ей совершенно чужими художественно. Художники, у которых подсознательные переживания органически оформляются в сознательные тенденции, в сознательную партийность, встречаются не часто. Очевидно, воздвигнуть надстройку сознательной партийной идеологии над психологическим бытием художника дело исключительно трудное. И лучше совсем не иметь этой надстройки, чем иметь идеологическую надстройку, несоответствующую психологическому бытию художника. Враждебная психологическому бытию тенденция погубит художника, тогда как отсутствие надстройки и сознательной тенденции не сделает художника партийно безразличным. Ибо, повторяю, партийность художественного творчества коренится не столько в сознании, сколько в подсознательных сферах художника.

И в этом смысле беллетристы из «Круга» гораздо партийнее, чем, быть-может, это кажется им самим. Ведь уже факт их особенного интереса к революционной современности, напряженное внимание к темам дня, является фактом художественной партийности, отмежевывающей беллетристов «Круга» от идеологов и практиков «чистого искусства», «искусства для искусства». Их искусство от жизни и для жизни.

Мало этого. Их художественная партийность определяется еще теснее, если обратить внимание на их подход ко вдохновляющей революционной действительности. Все они приемлют революционную действительность как положительное явление. Это писатели без оглядки в дореволюционное прошлое, которое им, очевидно, совершенно чуждо.

И именно в этой здоровой, хотя и недостаточно четкой, несколько расплывчатой художественной партийности и лежит причина и их успехов и их неудач. Их беллетристика жива, интересна, полна движения, потому что они—художественное эхо революционной современности, но эхо это звучит глуховато, расплывчато, благодаря некоторой рыхлости расплывчатой мягкотелости отражающей звук поверхности.

Беспартийность беллетристов «Круга» можно понимать только в том смысле, что в их творчестве нет сознательно проводимой партийной идеологии, нет предвзятой тенденции. Эта весьма, впрочем, условная беспартийность очень полезна в искусстве, как профилактическая мера против фальши и неискренности—смертельных врагов искусства. Сфера сознания художника должна всегда быть проницаема для толкающихся в нее волн психически подсознательного. Пока эта проницаемость налицо, сохраняется необходимая для художника искренность с собой. Идеология, сознательная тенденция чаще всего нарушает эту проницаемость, делает глухим к голосам подсознательной сферы. А творчество художника, лишенное подсознательной основы, превращается в выеденное яйцо, цена которому ломаный грош.

В этом легко убедится всякий, заглянувший в два сборника «Пролетарского фронта»: «Твори!» и «Под пятикрылой звездой». В сборнике

«Твори!» творческий дух не заглядывал; не пребывал он ни мгновения и в сборнике «Под пятикрылой звездой». Газетный репортаж в форме беллетристики—вот содержание сборников. Вся эта беллетристика состряпана по тому рецепту, который так ядовито высмеял Добролюбов в своем «Свистке». Помните желчного поэта Конрада Лилиен Швагера, который открывает своему собеседнику секрет писания прогрессивных, либеральных и радикальных стихов, наводнивших нашу литературу в эпоху реформ? Он продемонстрировал его тем, что, взявши первую попавшуюся газетную статью, начинавшуюся словами: «В стране, где проводятся железные дороги, где с каждым днем растет пароходство и т. д.», тотчас набросал стихотворение: «В стране, где проводят дороги железные, пароходство растет каждый час, предприятья заводят полезные» и т. д., в этаком же роде. Вот в этом же роде пишутся стихи и рассказы авторами, участвующими в названных выше сборниках. И как в добролюбовские времена либеральные и радикальные передовицы, переложенные в стихи и рассказы, не были поэзией, так в наши дни остаются вне поэзии всевозможные переложения в стихи и рассказы идей пролетарских. Пролетарская поэзия—это пролетарская стихия, которой не почерпнешь в рациональных формулах пролетарской идеологии: ее черпают в глубоких подсознательных родниках пролетарской писихологии. Но авторы сборников «Твори!» и «Под пятикрылой звездой» глухи к журчанию этих родников. С точки зрения успехов пролетарского искусства беллетристика названных сборников не имеет никакой ценности. Сборники «Твори!» и «Под пятикрылой звездой» являются сплошной стратегической ошибкой на фронте пролетарской беллетристики. Здесь нет пролетарской беллетристики, потому что нет вообще никакой беллетристики, а есть парт-летристика, что̀ далеко не одно и то же.

Знамя пролетарского революционного искусства развевается и на «Левом фронте», передовая часть которого в виде первого номера журнала «Леф» только что выступила на позицию. Но кажется, что надежное знамя и здесь попало в ненадежные руки. Трудно понять, что̀ пролетарского в беллетристике «Левого фронта», и что̀ там от искусства. Можно решительно утверждать, что ни пролетариат, ни искусство никаким боком неприкосновенны к появлению таких беллетристических вещей, как рассказ Брика «Не попутчица», напечатанный в первом номере «Лефа».

Темой рассказа О. Брика «Не попутчица» является любовь видного коммуниста к породистой буржуазке. Это—новый вариант очень старой темы любви между мужчиной и женщиной, по рождению и взглядам принадлежащим к враждебным станам. Тема богатая и для нашей переходной эпохи животрепещущая. Как глубоко можно было бы заставить пережить современность удачной художественной разработкой этой темы. Как легко уложить в эту тему пролетарское переживание современности. Но для этого нужно пишущему самому все это переживать и переживать по-пролетарски. Брик же дает «опыт лаконической прозы на сегодняшнюю тему». Из богатого художественного сюжета он сделал школьное упражнение в технической задаче. «Лаконической прозы» у

него хоть отбавляй, а «современная тема» так бедна содержанием, так мало выразительна, что, пожалуй, в глазах барана, взирающего на новые ворота, больше выражения. Автор ничего не переживает в «современной теме», ничего в ней не понимает; ему нечего о ней сказать даже лаконической прозой. Читать рассказ Брика все равно, что мочалку жевать: сколько ни жуй, ничего не высосешь—ни пользы, ни удовольствия, только разве препровождение времени.

Другой рассказ, принадлежащий перу Асеева, гораздо интереснее, несмотря на то, что он представляет собой «опыт словесного лёта в будущее». Объясняется это тем, что в рассказе, кроме «словесного лёта в будущее», есть и эмоциональный лёт. За словами чувствуется внутренняя устремленность, сосредоточенный пафос их творца. Сознает или не сознает сам Ассев, что суть его рассказа не в словесном, а в эмоциональном лёте, это не важно. Важно, что в действительности словесная ткань его произведения является объективацией внутренней эмоциональной ткани писателя. Это не бриковская болтология в беллетристической форме, а подлинная беллетристика. Ничего, впрочем, особенно левого, ни тем более пролетарского, в ней нет. Это—«утопия—сон», видение завтрашнего дня человечества, картина его будущего, которая обвеяна не пролетарским, а инженерским духом, напоминающим утопии Уэльса и Келлермана. Инженерия очень почтенная и нужная вещь, но мы должны твердо помнить, что в социальном смысле это—«дышло, которое куда повернул, то и вышло». Можно повернуть налево, а можно и направо. О направлении инженерского полета в будущее по рассказу Асеева судить трудно: курс «словесного лёта», очевидно, не вполне ясен и самому автору.

Выше мы видели, как условна и, в конце-концов, спорна беспартийность беллетристов «Круга». Не менее спорной и сомнительной оказывается и левизна беллетристов «Левого фронта». Вообще самоопределения беллетристических фронтов нам кажутся весьма произвольными и совершенно для них не характерными, что и заставило нас ставить в кавычки и левый, и пролетарский, и беспартийный фронты. В действительности группировка всех этих беллетристов идет не по социальным, а по чисто эстетическим принципам, оценка левизны которых дело вовсе не художников и эстетов, а социологов и политических деятелей. Гораздо правильнее в «Левом фронте» видеть беллетристов чистой формы, в «Пролетарском»—беллетристов тенденциозников, в «Беспартийном» — беллетристов художественно-оформленного содержания. И, судя по всем данным, левая и нелевая беллетристика выйдет из этого последнего круга беллетристов, в котором уже теперь заметно выделяется левизной фигура серапионовца, Вс. Иванова, радужного певца революционного партизанства.

II. СРЕДИ СТИХОВ.

Валерий Брюсов.

Николай Асеев. Совет ветров. Гос. Изд-во. М.—Пд. 1923. Стр. 98.—*Михаил Герасимов.* Электропоэма. Изд-во «Кузница». М. 1923. Стр. 60.—*Петр Зайцев.* Ночное солнце. Стихи. Гос. Изд-во. М. 1923. Стр. 90.—*Б. Лапин* 1922-я книга стихов. Изд-во «Московский Парнас». М. 1923 г. Стр. 56.—*Константин Липскеров.* День шестой. К-во «Творчество». М.—Пд. 1922. Стр. 80.—*София Парнок.* Розы Пиерии. К-во «Творчество». М.—Пд. 1922. Стр. 32.—*С. Абрамов.* Зеленый зов. К-во «Творчество». М.—Пд. 1922. Стр. 48.—*Андрей Глоба.* Корабли издалека. К-во «Творчество». М.—Пд. 1922. Стр. 48.

Николай Асеев едва ли не самая яркая фигура нашей поэзии сегодняшнего дня. В то время, как В. Маяковский застыл в раз найденных формах, которые порой уже сбиваются на трафарет; в то время, как Б. Пастернак молчит по целым годам, и мы, читатели, в редких образцах его новых стихов находим лишь медленное углубление его своеобразного творчества,—Николай Асеев порывисто и нервно идет вперед. От «Ночной Флейты» и «Зора» 1912 и 1913 гг., даже от «Оксаны» 1917 г. до «Бомбы» 1921 г. и «Стального соловья» 1922 г., автором их пройден огромный путь. Сначала тесный, кругозор поэта чрезвычайно расширился; слог постепенно приобрел сжатость и выразительную силу. Очень многое сделано Н. Асеевым в области технической разработки стиха; когда-нибудь специальное исследование покажет, что именно Н. Асеевым введен в русскую поэзию целый ряд новых ритмических и звуковых приемов, частью уже широко подхваченных, ставших общим достоянием, частью еще не оцененных, как должно. Все это заставляет с большим вниманием следить за творческой деятельностью поэта.

К сожалению, лежащая перед нами новая книга стихов Н. Асеева, «Совет ветров», не есть книга новых стихов: в значительной мере ее образовали перепечатки из «Бомбы» и «Стального соловья», правда, с поправками и дополнениями. Нового этапа она не представляет. Для сборника выбраны стихи, «рожденные и связанные с революцией». В предисловии автор говорит, что это—«самые дорогие» ему, и что он считает этот сборник «своей единственной и первой книжкой». С такой авторской самооценкой согласиться трудно. Есть в сборнике превосходные стихотворения, и вообще Н. Асеев—один из самых живых, самых искренних «певцов» революции. Но все же и он не избежал роковых опасностей, встающих на этом пути перед всеми художниками слова: иные стихи слишком отвлеченны и остаются рифмованными статьями. В то же время подбор стихотворений исключил из сборника ряд стихотворений Н. Асеева, последнего периода,—весьма замечательных. Впрочем, так как «Бомба»

(изданная во Владивостоке) осталась мало кому известной, издание «Совета ветров»—далеко не лишнее [1]).

Другой поэт, тоже, несомненно, вырастающий, распространяющий свое творчество, это—*Мих. Герасимов*. И опять новая его книга, «Электропоэма», не из лучших его книг. Автор поставил себе задачи слишком трудные. В поэме он хотел выразить, как «дух машины» проникает всю современность, все подчиняет себе, а, как форму, избрал свободные стихи без рифм. Кое-что М. Герасимову удалось. Вот—«Одиночество и лес»:

Со мною два друга,—
Топор и ружье.
И я спокоен.
Стальные частицы машины,—
Душа завода присутствует здесь.

Это не лишено силы. В других местах энергия речи значительно слабеет. Стих, лишенный канвы определенного метра, не всегда ритмичен. Такие плеоназмы, как «потоки тока» или «неумаянно маячут», не помогают создать звуковой строй речи. Местами поэма похожа на прозаический перевод поэтического произведения. Но в целом она интересна и, как этап в развитии поэта, заслуживает внимания.

В «Ночном солнце» *П. Зайцева*, поэта, книгой дебютирующего, есть все, что имеет отношение к стихам и к поэзии. Есть эпиграфы,—из А. Добролюбова (поэта, не многим знакомого), из Стефана Маллармэ (поэта, мало кем читаемого), из А. Ахматовой (всем известной) и из П. З. Есть посвящения и обращения,—к Андрею Белому и И. И. Белоусову, к Тихону Чурлянису и О. Э. Озаровской, к В. П. Волкову и Шаху Персидскому. Есть точные размеры и есть вольные ритмы, есть свободные стихи и есть сонеты и триолеты. Есть рифмы в весьма старой манере, достаточно набившие оскомину, как «на палубе—жалобе», «парусом—ярусом», «ласки—сказки», «пламя—знамя», и есть ассонансы, в новейшем стиле, как «ветер—светел», «вынести—невинности», «плачем—счастьем», «зажаты—вожатый». Стихи есть обо всем, начиная со стихов о «танцах стрекоз» («Вейтесь, легкие мысли мои, золотые стрекозы!»), через стихи любовные, шутливые, философские и иные, до стихов о Революции и Мятеже («Красный крест! красный крест!..—Зловещее знамя—смертельных,—метельных, — ночей — мятежа, — исступленных — бессонных,—над ярым дыханьем костра».) Диапозон автора—от Шарля Лерберга до Эмиля Верхарна, от Пушкина и Тютчева до Блока и Чурляниса (а также до Сергея Боброва). Большего вряд ли можно и спрашивать, особенно принимая во внимание, что все это умещено в книжку

---

[1]) Мы еще незнакомы с недавно появившимся сборником избранных стихотворений Н. Асеева «Избрань».

всего в 90 страниц, считая с титулом, девятью шмуцтитулами, оглавлением, выходным листом и десятью недурными рисунками, занимающими каждый отдельную страницу. Может-быть, следовало бы дать здесь и образцы различных манер автора, но их так много, что для рецензии это невозможно.

Полудебютант *–Б. Лапин:* только этой осенью появились его первые стихи в печати (сборник «Молниянин»). В свое время они дали повод говорить о таланте молодого поэта; тем серьезнее должно отнестись к его новой книжке. В сущности в ней тот же Б. Лапин, как полгода назад, но, что̀ в первый раз могло быть сочтено своеобразием, при повторении начинает походить на оригинальничанье. Стихи Б. Лапина, большею частью, мало вразумительны. Это не значит, что нельзя доискаться в них смысла. Читавший Маллармэ, декадентов, футуристов сумеет дешифровать ломаную речь Б. Лапина. Однако, поэтическая речь в праве отличаться от прозаической не одной образностью, но и синтактически, только *ради чего-нибудь*,—для большей выразительности, большей сжатости. Ломать язык, только чтобы не говорить как другие,—ребячество. Зачем изломана речь Б. Лапина, часто неясно.

Б. Лапин, по примеру немецких романтиков (которых часто поминает), хочет ввести в лиризм элемент иронии. Но, по невыдержанности стиля, часто невозможно различить, где—намеренная ирония, насмешка автора, а где—невольная неловкость речи, приводящая к комическим словосочетаниям. Местами автор передразнивает сантиментальный стиль (таковы, повидимому, стихи «Надежда-мотылек»), местами сам впадает в наивный сантиментализм. (Что̀ иначе стихи: «Муза нам беспечно свой цветок дарит»). В стихах на каждом шагу замысловатые обороты и отчаяннейшие метафоры. Но они постоянно то срываются в избитые условности: «и там царит... поэзии кумир», «язвит мне грудь», «свет душевной глубины», «искренностью ложной не греша», «улыбка херувима», «ангел смерти», «сердце мира», «порфира мира», «факел м ира»; то сменяются никак не оправданными славянизмами и мифологизмами: «златой» (многократно, даже «златой час»), «хладный» (неоднократно), «витает» (и именно «вокруг чела»), «кумир», «длани», «сей», «муза», «лира». После этого не звучат как природный голос автора такие стихи:

Он без снов и без тихо,
Злобно за мир курясь,
Выпал эфирно
В эту пронзительную ясь.

Круг тем и запас образов Б. Лапина не то что ограничен, а однотонен. Есть с десяток любимых автором слов, которые монотонно перекочевывают из стихотворения в стихотворение. Таковы: «месяц» (иногда «луна»), «ветер» (также «ветерок»), «закат» (и вообще «небо»), «протягиваемые руки», «смерть» (или «умереть») и «труп» (с упорной рифмой «суп»),

но особенно—«стих» и «бог». «Стих» (варианты: «песня», «лира») заполняет всю первую половину книжки; «бог» (с его аксессуарами «храм», «крест», «иерей»)—ее всю, от начала до конца, если только не заменен «бесом» (редко «дьяволом»). Этот перечень вскрывает *психологическое* содержание поэзии Б. Лапина, каково бы ни было содержание рассудочное. И вся философия начинающего автора, зовущая за сто лет назад, к идеалам начала прошлого века, сливается в его трех стихах:

О стих, дорогой бог!
... так жить и так умирать,
Как жил святой Брентано.

Далеко не дебютанты—четыре поэта, объединенные изд-вом «Творчество» книжками одного формата и под одинаковыми, из пестрой бумаги, обложками: *К. Липскеров*, *София Парнок*, *С. Абрамов* и *Андрей Глоба*. Первые три книжки сходны не только по формату и шрифту, но и по содержанию. Это—даже не акмеизм, а самый откровенный парнасизм, т.-е. эпигонство парнасской школы, имевшей смысл и оправдание в 40-х и 50-х годах прошлого века. «Медленно движется время» (лучшей цитаты книжки не заслуживают).

К. Липскеров встречал у других поэтов исторические темы. Зачем брались эти темы, К. Липскерову осталось неизвестно. Но он, вероятно, думал следовать по стезям «великих», когда брал разные страницы Библии или учебников истории и перелагал их в стихи, именно в сонеты. Не правда ли, ну, совсем как Эредиа! Стихи, сами по себе, не вовсе плохи, не особенно хороши, но глубоко ненужные, никому и ни на что. Адам «внимает словесам разгневанного Бога», Ювал «лютней колдовал», Юдифь «идет, подъемля меч», и т. под. Нет, в Библии рассказано все это куда лучше!

София Парнок избрала образцами древне-греческих поэтов, преимущественно Сапфо, и сочиняет стихи античными метрами, особенно—будто бы сапфической строфой. Получаются ломаные строки, в которых, без нарочитого, искусственного чтения, нельзя уловить какой-либо ритм. «Эолийской лиры лишь песнь заслышу», уверяет поэтесса, как—«музыка в жилах». Читатель в своих жилах этой музыки не ощущает. В стихах все на своем античном месте: «в златых сандальях заря восходит», «стрелы точит Эрот», но «пуст Купидона колчан», «хищников лютых Орфей упрощает своим песнопеньем», «Ахилл пребывает меж дев Ионийских», «две голубки сладостно дышат», и все подобное. Но, кроме этих аксессуаров оперной античности, ничего другого и нет.

В стихах С. Абрамова, тоже (как у К. Липскерова) преимущественно сонетах, тоже (как у С. Парнок) все на своем месте, только не античном, а трафаретном: луна «струит свет таинственный», осенью «рдеют листья винограда», лето посылает «прощальную улыбку», «березки никнут богомольно», утром «лес омыт росой» и т. д. Автор патетически спрашивает у солнца, которое «глядит на землю с высоты»: «ведаешь ли ты, что в мире все твоим лучом согрето?» Рифма к «согрето»?—тонкое опреде-

ление солнца: «источник радости, тепла и света». Попутно на ту же рифму (но в другом сонете) высказываются мудрые максимы: «что долог летний день, но кратко лето».

Пожалуй, неожиданно, что четвертая книжка, в том же издании, в такой же пестрой обложке, Андрея Глобы, производит совершенно иное впечатление. Казалось бы, и она—«одного поля ягода», и издатель, очевидно, полагал, что печатает четыре аналогичных сборника. А. Глоба тоже пишет и сонеты, и газеллы, и японские танки и разными иными «твердыми формами»; в его стихах тоже—«экзотика», арабская песня, киргизские песни, песни трубадуров, испанские песенки и т. под. Но это—поэзия «в самом деле». Нет причин говорить, что «Корабли издалека»—особо важное явление в нашей литературе. Нет, Андрей Глоба в лирике—не звезда первой величины и, кажется нам, его дарование полнее выражается в драме; но в его стихах, в его переводах и подражаниях,—голос настоящего поэта, хороший вкус, достаточное мастерство, а всего этого не мало. Стихи А. Глобы доказывают, что можно и по-парнасски подходить к темам и при этом не мазать кистью по трафаретам. Большинство оригиналов, которые он переводит или которым подражает, нам неизвестно, но во всяком случае автор нашел в своих образцах (или сам вложил в них) не банальные мысли и не стертые образы. Когда-то К. Бальмонт (в период своей испаномании: «Я—испанец, опьяненный...» и т. д.) перевел чуть ли не целую книгу испанских песенок; но все они не стоят двух первых, приводимых А. Глобой:

— Клянись
Моим быть вечно!
— Клянусь:
Гораздо дольше!

— Но если скажу я тебе: не люблю?
— Не жить мне тогда.
— Но если скажу я тебе, что люблю?
— Не жить мне тогда.

В киргизских песнях А. Глобы есть какое-то дикое своеобразие:

— Выходи, выходи, царь-девица!
Покажись мне лицом, царь-девица!
— Я открыла б лицо,—но зачем?
Ты зеркал никогда не видал?

И, вспоминая сотоварищей А. Глобы по «Творчеству», хочется обратить к ним его двустишие из старо-французской песенки:

Как есть червоточинка, право,
Все косточки будут дырявы.

ЛИТЕРАТУРА ПРОФИНТЕРНА

(Обзор).

А. Чекин.

«Красный Интернационал Профсоюзов», №№ 20, 21, 22, 23 и 24 (стр. 80, 130, 94, 192, 178), А. Рязанова, «Профсоюзы и Работница», вып. I. Работница в производстве (60 стр.), «A. Losovsky, Frankreich und die französische Arbeiterbewegung in der Gegenwart» (А. Лозовский, «Франция и французское рабочее движение в наше время», стр. 140), «Die Gewerkschaftsfrage auf dem Vierten Kongress der Kommunistischen Internationale» («Вопрос о профессиональных союзах на IV Конгрессе Коминтерна», стр. 52), «Отчет Исполнительного Бюро Профинтерна II Международному Конгрессу Революционных Профсоюзов» (стр. 164) и «Резолюции и постановления II Международного Конгресса Революционных Профсоюзов» (стр. 64).

В течение второй половины 1922 года мировое рабочее движение пережило ряд крупнейших событий. Международные конференции, на которых капиталистические государства собирались отыскать безопасное для себя решение судеб Европы и внеевропейских стран, чередовались с все более развертывающимся наступлением капитала на труд, с образованием и укреплением фашизма, с попытками разгрома рабочих организаций, с захватом, наконец, Францией Рура и прилегающих местностей. На ряду с этим — новые страницы, которые классовая борьба переворачивает на наших глазах каждый месяц, содержат огромную массу фактов менее крупного значения, но в общем своем контексте составляющих ту мозаику, из которой постепенно складывается картина неослабной *гражданской войны* на всем земном шаре.

Эта-то общая обстановка и придает исключительно большой интерес литературе Профинтерна.

Что собою представляет эта литература? Не издательство обычного типа занято выпуском ее: она выходит в свет со специальной маркой,— маркой мирового центра профессионального движения, объединяющего вокруг себя не менее 12 миллионов революционно-настроенных пролетариев. Она, эта литература, служит заодно и руководящим материалом для всей этой массы революционного пролетариата, организованного в профессиональных союзах, и средством идейной борьбы с врагами революционного профессионального движения, и способом отвлечения

масс от тех «стезей буржуазных добродетелей», по которым ее пытаются вести руководители прежних, соглашательских центров движения—Амстердамского Интернационала профессиональных союзов в первую голову. И так как в исторические моменты, характернейшей чертой которых является значительное обострение классовой борьбы, профессиональные объединения, и именно они одни, в состоянии играть роль тяжелой пехоты, своим численным весом и мощью укрепляющей позиции, занятые передовыми отрядами, то совершенно естественно, что *литература Профинтерна в текущее время* необходимо становится *одним из важнейших факторов* в общей картине классовых боев.

Тем самым на нее возлагается большая и ответственная задача. Необходимо сосредоточить в одном фокусе всю ту мощь классовой идеологии, которая в состоянии была бы рассеять софизмы соглашательского лагеря, внести ясность в классовое сознание массы и создать тот руководящий центр, рупором которого она является. Так в сущности определяются функции литературы Профинтерна в переживаемый нами исторический момент,—момент накопления сил для революционных боев в самом ходе этих боев...

И тем самым предопределяется *тип* литературы Профинтерна. Не академические работы, не исторические монографии и не мемуары должны быть объектом издательской деятельности Профинтерна. Как ни существенны все эти виды литературы о профессиональных союзах *в каждой отдельной стране*, как они ни нужны для того, чтобы создать кадры вполне окрепших идеологически марксистов-профессионалистов,—не дело Профинтерна заботиться о них. Такая забота целиком и без остатка ложится на профессиональное движение в каждой из стран, где движение уже развернулось в самый мощный и влиятельный фактор современной политики и экономики. Профинтерну надлежит всю свою издательскую энергию направлять на то, чтобы обслужить должным образом нужду *мирового* движения именно в *боевой* литературе,—в литературе, дающей каждому очередному событию мировой жизни, каждому очередному факту классовой борьбы то толкование, то освещение, какое диктуется классовыми интересами пролетариата Профинтерну...

И так как общая обстановка мировой жизни выдвигает Профинтерн в качестве того фактора, от работы которого, в конечном счете, зависит исход классовых боев, руководимых Коминтерном, то совершенно понятен повышенный интерес *к литературе* Профинтерна как раз за последние полгода.

Верно ли намечены в издательстве задачи этого последнего, в какой мере намеченные задачи решаются удовлетворительно, и какого рода материал дает литература Профинтерна,—вот те вопросы, которые неизбежно и естественно возникают перед каждым, кто только ни следил за мировым профессиональным движением...

Перед нами—не вся литература, изданная за последнее полугодие Красным Интернационалом Профсоюзов. В приведенном в заголовке списке книг не хватает значительного числа названий, выпущенных в свет Профинтерном, как в самой Советской России, так и за рубежом,

на тех языках, на которых говорят в подавляющей своей массе сторонники Красного Интернационала Профсоюзов. В частности, из «Библиотеки Красного Интернационала Профсоюзов», издаваемой на немецком языке, в нашем списке приведены всего только два названия, тогда как за вторую половину 1922 г. и начало 1923 г. в этой библиотеке изданы были чрезвычайно важные работы: А. Андреева «О профсоюзах в Советской России за 1921—1922 гг.», М. Томского «Профсоюзы в новых условиях», З. Ледера, «Желт ли Амстердам?» и др.

Но и те материалы, которые имеются налицо, вполне показательны для издательской работы Профинтерна. Та литература, которая приведена в заголовке нашей статьи, дает достаточно представления о существе этой работы для суждения о том, в какой мере она отвечает своей исторической роли.

Само собою—основным стержнем издательства, по тому определению задач Профинтерна в области издательства, какое вытекает из общественно-политической роли этого мирового центра революционных профессиональных союзов, являются *периодические издания*. Памфлет, листок, брошюра более солидного содержания в меньшей мере могут играть роль *боевой* литературы, чем ежемесячный журнал, время от времени, периодически инструктирующий всех сторонников революционной классовой борьбы в рядах профессионально-организованного пролетариата, дающий отпор всем нападкам со стороны врагов движения, вовлекающий в сферу влияния Профинтерна новые прослойки рабочего класса. Их роль в этом отношении тем сильнее, тем значительнее, чем по своему характеру *ближе* они стоят к журнальной или газетной статье... Совершенно естественно поэтому, что в общем объеме издательства Профинтерна *журналу* принадлежит едва ли не 60% всего количества печатных листов, выпущенных за последние полгода (42 печ. листа из общего количества в 72 печ. листа), если даже считать лишь *русское издание* журнала, т.-е. не учитывать того обстоятельства, что «Красный Интернационал Профсоюзов» издается одновременно и на русском, и на французском, и на немецком, и на английском языках...

Но достаточно лишь бегло просмотреть и непериодическую литературу, изданную Профинтерном, чтобы убедиться в том, что в ней *превалирует публицистический момент*. Фактически, в списке вышедших за полгода книг имеется лишь одна работа, которая не носит на себе печати публицистики. Речь идет о работе А. Рязановой—«Профсоюзы и Работница». Что собою представляет эта работа?

План работы А. Рязановой задуман чрезвычайно широко. Давая в первом выпуске анализ лишь *участия женщины в современном производстве*, автор собирается дать еще ряд выпусков, в которых будет учтена обстановка женского труда, сведены воедино вопросы его охраны, проанализирована заработная плата, установлена тарифная политика и даны выводы относительно задач профессиональных союзов по отношению к женщине-работнице. Другими словами, перед нами работа чрезвычайно углубленного, даже скорей *академического* характера. И знакомство с

характером первого выпуска вполне подтверждает этот вывод. Краткий очерк истории женского труда в домашнем и фабричном производстве предшествует детальному статистическому анализу роли женского труда в производстве до мировой империалистической войны. Здесь подобран и проверен путем сравнения и сопоставления весь материал, какой только содержится в ряде статистических работ и общих исследований по вопросу об участии женщины в производстве и распределению рабочей женской силы по отдельным производствам в довоенный период в главнейших капиталистических странах. Затем в третьей и последней главе собран и обработан материал по вопросу о влиянии войны и демобилизации на развитие женского труда. Опять-таки здесь мы имеем попытку такого статистического исследования, какое почти что не производилось по данному вопросу ни у нас, ни за рубежом, если не считать работы проф. Баули и статистических сводок английского и германского министерств труда, а отчасти работ «Американской Академии Политических Наук», Иэннинга, Бюка и др... Словом, работа А. Рязановой, бесспорно, исключительно ценная и остающаяся навсегда необходимым источником для изучения проблемы женского труда в наше время, никоим образом не может быть подведена под категорию памфлетов—поденок, листовок и публицистических брошюр.

Но эта работа—исключение из общего правила. Ничего, что могло бы равняться по научной ценности и прочности значения работе А. Рязановой, Профинтерн за полгода не издал. Из книжного материала лишь вышедшие на немецком языке работы Томского, Лозовского и Андреева представляют собою нечто, что не является простым сборником постановлений и решений, либо отчетом. «Наступление капитала, раскольническая деятельность Амстердама и единый фронт», напр., представляет собою стенографическую запись речей тов. Геккерта и Павлика на II Конгрессе Профинтерна; о «Резолюциях и постановлениях II Международного Конгресса Революционных Профсоюзов» говорит самое заглавие; «Отчет Исполнительного Бюро Профинтерна»—точно так же издание явно отчетного характера. Остаются, повторяем, работы Томского, Лозовского и Андреева. *Но и эти работы—чисто публицистического характера.*

Наиболее солидная по объему работа А. Лозовского («Франция и французское рабочее движение в наше время»), по заглавию создающая представление о монографии, на самом деле представляет собою *боевую публицистику*. Русскому читателю эта работа прекрасно известна. Он ее читал в свое время—немедленно после Сен-Этьенского Конгресса французских синдикалистов—в «Правде», где тов. Лозовский делился с ним своими впечатлениями от чрезвычайно живописного эпизода с неожиданным появлением генерального секретаря Профинтерна на заседании конгресса и его таинственным исчезновением, несмотря на самые тщательные поиски со стороны полицейских ищеек... Конечно, в своей работе А. Лозовский говорит о французском рабочем движении нашего времени, вскрывает с присущей ему яркостью пера и легкостью стиля

движущие силы современного революционного брожения, дает блестящую характеристику и анархо-синдикалистов, и французских социалистов, и положения Франции... Но при всей бесспорной ценности и захватывающем интересе эта работа всего только—публицистика. Не даром она увидела свет впервые в виде фельетонов в газете...

Примерно, публицистикой является и работа М. Томского. Брошюра, в России выпущенная в свет издательством «Красная Новь» и теперь вышедшая на немецком языке в Германии в издании Профинтерна, представляла собою переработку *комментария к решениям II пленума ВЦСПС*, в феврале 1922 г. наметившего новые пути российского профессионального движения,—комментария, который был в свое время напечатан в ежемесячнике ВЦСПС, в «Вестнике Труда». Наконец, брошюра А. Андреева—третья по счету работа, выпущенная на немецком языке Профинтерном—была в свое время *предисловием* секретаря ВЦСПС к отчету ВЦСПС за 1921—22 годы, представленному V Всероссийскому Съезду Профессиональных Союзов. Она, очевидно, скорей носит характер сводки отчета, чем научного исследования...

Оговоримся. Отнесением к категории публицистических работ и брошюры А. Андреева или М. Томского и более основательной книги Лозовского мы не хотим ни в малейшей мере умалить достоинство этих работ. Все они—чрезвычайно полезны и ценны; все они дают богатейший материал для всякого читателя, который хотел бы ознакомиться, как следует, с общим уклоном русского профессионального движения или с положением рабочего движения во Франции. Основательность их, их авторитетность и порой исключительные достоинства изложения их стоят вне сомнения. Просто-напросто мы отмечаем *основной* характер издательской деятельности Профинтерна: вся почти изданная им литература призвана служить не делу академического исследования, а пропаганде международного единства революционных профессиональных союзов.

И лишь то обстоятельство, что работа А. Рязановой *выделяется* именно своим академическим характером, заставляет нас подчеркнуть эту a priori ясную мысль. Издавая эту работу, Профинтерн совершил *отступление* от общих задач своего издательства, взялся фактически не за свое дело: необходимая, чрезвычайно ценная работа т. А. Рязановой должна была быть изданной либо ВЦСПС, либо Женотделом ЦК РКП, либо Социалистической академией, но не Профинтерном. Она нарушает общий тон издательства Профинтерна, искривляет его, в общем строго выдержанный, план. К тому же, такая работа, как данная, должна бы была вызвать к себе несколько больше внимания со стороны техники. Досадно видеть прекрасную книгу, изданную чуть ли не петитом (и изрядно слепым), на сравнительно неважной бумаге и притом с такими типографскими оплошностями, как отсутствие в оглавлении указания на страницы, с выпадением в слове «таблицы» первого слога (остается (блицы»—см. 59 стр.) и т. д...

Но это—замечания «между прочим». По существу же, если оставить в стороне первый выпуск работы А. Рязановой, то общий характер изда-

ний Профинтерна окажется выдержанным и намеченным правильно. Наш первый вопрос, другими словами, получает утвердительный ответ: задачи издательству поставлены *правильно*...

Правильно ли они разрешаются? Отчасти, говоря о непериодических изданиях Профинтерна на русском и немецком языках, мы уже указывали, что работы, вышедшие за последние полгода, представляют собою *ценный вклад* в боевую литературу международного профессионального движения. Но центр тяжести работы издательства Профинтерна лежит именно в публицистике, т.-е. скорей всего в *периодическом* освещении событий мирового рабочего движения. Отсюда—необходимость учитывать успешность или неуспешность выполнения стоящих перед издательством Профинтерна задач скорей всего по работе журнала Профинтерна, по работе «Красного Интернационала Профсоюзов». Что же можно и нужно сказать об этом центральном органе международного рабочего движения, об этом орудии обсеменения всего земного шара идеями революционного профессионального движения?

Прежде всего, об общем характере журнала.

В сущности говоря, «Красный Интернационал Профсоюзов», развившийся из «Международного Рабочего Движения», которое издавалось еще «Временным Международным Советом Профессиональных Союзов», сохранил, в общем и целом, первоначально намеченный план издания. Весь орган, теперь несравненно более высоко стоящий в техническом отношении и в смысле *полноты* сведений о мировом движении профессионально-организованного пролетариата, распадается на четыре основных отдела. В каждом из этих отделов, как этого и следовало ожидать, учитывая рост самой организации и укрепление ее связей с зарубежным миром, теперь чувствуется приток свежих сил и материалов. Чрезвычайно показателен в этом отношении и статейный отдел и отдел «Из международного рабочего движения». В обоих отделах имеется уже прочный кадр сотрудников, и притом весьма значительный кадр, что обеспечивает большое разнообразие содержания. Статьи пишутся работниками, имеющими непосредственное отношение к тем вопросам, которые в этих статьях трактуются. Пример—любой номер «Красного Интернационала Профсоюзов»: в январском, за 1923 г., напр., основные статьи написаны, кроме А. Лозовского («Амстердамский Интернационал и борьба против войны»), Андресом Нин («О разложении анархо-синдикализма», автор сам является деятелем испанского профессионального движения, что его делает особенно авторитетным в вопросах синдикализма), Пьетро Трессо («О фашизме»), А. Эндерлэ («О германских реформистах в связи с вопросом о 8-часовом дне»), Чарлзом Эшли («О борьбе течений в американском рабочем движении»). Что особенно следует отметить, так это то, что в сущности, за исключением двух-трех имен (Лозовский, Андрес Нин и т. д.), почти ни одно имя не повторяется. В пяти последних номерах, напр., помещены 21 статья, написанные 14 авторами... Это—признак того, что журнал приобрел *значительный* контингент сотрудников. Из этих 14 авторов только один А. Лозовский является представителем *русских*

союзов; таким образом, мы имеем в «Красном Интернационале Профсоюзов» орган, объединяющий, действительно, *мировое* профессиональное движение... Примерно, таким же разнообразием отличаются и остальные отделы—особенно отдел «Из международного рабочего движения», в котором даются обзоры движения и корреспонденции со всего земного шара.

Таким образом, общий характер «Красного Интернационала Профсоюзов», как центрального органа мирового революционного профдвижения, становится совершенно ясным. Если добавить к этому еще и то, что в журнале находит полное отражение деятельность и Профинтерна и Амстердамского Интернационала, что в обстоятельно поставленном библиографическом отделе даются оценки всех выходящих за рубежом и у нас, в Советской Федерации, работ по вопросам профессионального движения и труда,—то картина станет еще более определенной...

Но если *план* журнала правилен, если с помощью руководящих статей Профинтерн в состоянии направлять внимание всего мирового профессионального движения на основные вопросы этого движения и давать им надлежащее освещение, если в обзорах и корреспонденциях журнал в состоянии проделать точно то же самое по отношению к событиям и по отдельным странам—то это еще не все. *Как* именно вся эта работа проделается—таков основной вопрос.

На него мы должны дать совершенно точный и ясный ответ: журнал ведется *правильно*, план выполняется *хорошо*.

Чрезвычайно важно то, что, помимо отмеченного уже участия в журнале авторов, непосредственно принимающих участие в разрешении всех трактуемых ими вопросов, в «Красном Интернационале Профсоюзов» мы находим и ту «летопись повременных дней», которая придает каждому номеру свое *лицо*. «Заметки» С. Форжерона—это и есть боевой момент в каждом номере. Отклик на все то, что стоит в порядке дня международного профессионального движения, освещение очередных вопросов этого движения в нескольких фразах с точки зрения *общей политики* революционного профессионального движения,—вот что дает в своих заметках С. Форжерон. И так как заметки ведутся из месяца в месяц и ведутся одним и тем же лицом, стоящим, очевидно, в центре всего того, что делается Профинтерном, то, конечно, именно эти заметки и придают каждому номеру своеобразный «тон»...

О том, насколько удовлетворительны остальные статьи, едва ли приходится говорить. В конечном счете, было бы трудно в обзоре дать простое даже перечисление того богатого и содержательного материала, который помещен в последних пяти книжках журнала. Разумеется, материал далеко не всегда равноценен и далеко не всегда в достаточной мере использован. Некоторые статьи, даже написанные бесспорными знатоками вопроса (напр., статья «Революционный синдикализм и Второй Конгресс Профинтерна» Андреса Нина в декабрьском номере за 1922 год), отличаются чрезвычайной беглостью: на двух страничках дать по такому вопросу, как затронутый Нином, сколько-нибудь полный материал,

конечно, невозможно,—невольно получается конспект мыслей автора, а не статья. Но, как правило, статьи и заметки составлены с полным знанием дела и весьма обстоятельно. Вместе с тем—они все же не носят сухого характера академического исследования. Это не статьи «навсегда»; это, скорей, основательный разбор явлений и событий международного движения с дидактическими целями. Вся январская книжка журнала (как и любая из предшествующих)—тому доказательство...

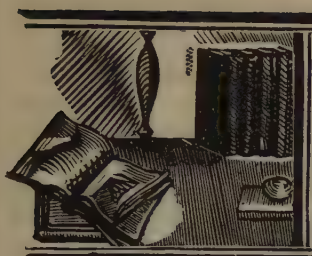
Вот, напр., статья Эндерлэ о восьмичасовом рабочем дне. В ней автор дает чрезвычайно богатый материал по данному вопросу: история вопроса об отмене восьмичасового рабочего дня, история обсуждения его в Имперском Совете Народного Хозяйства, нашли себе место в данной статье. Но написана она вся в полемических тонах, обличает двойственную политику амстердамцев, устанавливает чрезвычайно большое, мировое значение срыва восьмичасового рабочего дня в Германии и делает соответствующие общие выводы...

Такова же статья в этом номере и о фашизме в Италии. Боевой тон и широкие обобщения, способные показать рабочей массе уроки событий, проходят красной нитью по всей статье Пьетро Трессо.

Такова статья и Андреса Нина о разложении анархо-синдикализма, по поводу жалких потуг его создать свой собственный рахитичный интернационал. И таковы все статьи этого и предшествующих номеров...

Мы начали нашу статью о литературе Профинтерна с констатирования того факта, что общая обстановка, в которой развивается профессиональное движение во всем мире, в настоящее время возлагает на издательство Профинтерна чрезвычайно большую и ответственную задачу: быть тем фокусом, откуда истинная классовая точка зрения на положение яркими снопами света заливает всю жизнь профессиональных союзов, разгоняя туман реформистской софистики, просветляя головы и служа маяком для отдельных революционных группировок. Нам остается спросить и себя и читателя: та литература, которая перечислена в заголовке, отвечает своему назначению или нет? И наш ответ, как кажется, должен быть положительным. Да, отвечает.

Мы видели, что центр тяжести работы издательства Профинтерна лежит в революционной публицистике. Почти во всем—и в исключительном внимании, уделенном журналу и его постановке, и в подборе сотрудников для последнего, и в удельном весе его в общей издательской работе—сказывается то же самое, что мы находим и в непериодических изданиях Профинтерна. Именно, стремление дать твердое, отчетливое руководство мировому профессиональному движению, проставлять на его пути верные вехи...



ОТЗЫВЫ О КНИГАХ

СОЦИАЛИЗМ И КОММУНИЗМ.

1. М. БЕЕР. Всеобщая история социализма и социальной борьбы, ч. I, II, III. *Б. Горев.*
2. К. КАУТСКИЙ. Классовые интересы. *Ю. Вильдо.*—Г. ЗИНОВЬЕВ. Коммунистический Интернационал за работой. *М. Зеликман.*

М. БЕЕР. Всеобщая история социализма и социальной борьбы. Часть первая. Древний мир. Перев. с нем. изд. 1921 г., под ред. И. Давидзона. Изд. 2-е. Гос. Изд. Украина. Киев. 1923 г. Стр. 110. Часть вторая. Средние века. Перев. со 2-го нем. изд. Стр. 98. Часть третья. Новое время от XIV до XVIII столетия. Перевод со 2-го нем. изд., под той же редакцией и в том же издании. Стр. 125.

Перед нами широко задуманная история социализма и социальной борьбы с древнейших времен до современных нам дней,—история, принадлежащая перу старого марксиста, несколько десятилетий прожившего в Англии и известного уже своей капитальной «Историей социализма в Англии» (печатается в русском переводе в изд. Гос. Изд. в Москве).

Такую в высшей степени необходимую работу надо бы всячески приветствовать, если бы не было некоторых «но». Прежде всего уже при чтении авторского предисловия несколько удивляет расположение материала. Вся работа должна состоять из пяти частей, при чем три лежащих перед нами части обнимают период до XVIII в., не доходя до французской революции, и следующие две будут посвящены всей истории социализма от конца XVIII в. до настоящего времени. Между тем совершенно ясно, что во всякой истории социализма *главное внимание* должно быть обращено именно *на эту последнюю эпоху*, все же предыдущее развитие должно быть в сущности лишь обширным введением. Это расположение материала отчасти предопределяет и недостатки в выполнении первых частей. Автор слишком широко понимает свою задачу. Конечно, всякая история социализма и социальной борьбы должна быть написана на широком историческом фоне, социально-политическом и культурном. Но автор так увлекается иногда этим фоном, что забывает свою основную цель, и мы получаем суррогат истории культуры,—суррогат потому, что для истории культуры этого слишком мало, между тем как для истории социализма много лишнего. Так, в первой части автор слишком много внимания посвящает историческим анекдотам, оставшимся от античных историков, и библейским пророкам, слишком серьезно и непропорционально подробно трактует их, и получается нечто в роде социалистического Иловайского. Всерьез и очень обстоятельно занимается он также личностью и пропагандой Христа, самое существование которого, как известно, подвергается сомнению. Далее, во 2-й части автор слишком много занимается теми сторонами средневековой культуры, в частности, средневековой философией и схоластикой, которые к социализму имеют лишь весьма отдаленное отношение. Гораздо содержательнее и ближе к предмету в этом отношении является *третья* часть. Но она конечно, далеко усту-

пает «Предшественникам новейшего социализма».

Автор известен, как ревизионист. Но на вышедших трех частях книги это не отражается. Он все время стоит на революционно-классовой точке зрения и задним числом, как это бывает со многими ревизионистами и оппортунистами, для давно минувших веков охотно выступает как непримиримый революционер, и с этой точки зрения вышедшие выпуски могут быть вполне рекомендованы, хотя в некоторых, спорных моментах автор и отступает от установившейся марксистской традиции. Так, он изображает коммунизм Платона не как аристократический коммунизм высших классов, сословия «стражей», а как план коммунистического преобразования всего общества.

Отдельные места его книги, как, напр., анализ социальной проповеди библейских пророков, хотя и занимают слишком много места, но читаются с большим интересом и для многих читателей покажутся оригинальными и новыми.

Вообще же вышедшие три части, при всех их недостатках, главнейшим из которых является слишком серьезное и легковерное отношение к историческим анекдотам и легендам, тем не менее, именно как нечто среднее между историей социализма и популярной историей культуры, будут с удовольствием, интересом и значительной долей пользы прочитаны многими.

Перевод в общем хорош. Издана книга прилично.

Б. Горев.

К. КАУТСКИЙ. Классовые интересы. Перевод с немецкого. С предисловием Н. Н. Попова. Изд. «Красная Новь». 1923 г. Стр. 31.

«В своей практике коммунизм отводит классовой борьбе слишком видное место, и поэтому экономическое выяснение этого понятия, точное определение термина класс, какие существуют классы в современном обществе, где лежит грань между ними...,—все это и с точки зрения теории и с точки зрения практики коммунистического марксизма имеет очень большое значение». замечает т. Попов в предисловии к брошюре Каутского. Переиздание этой брошюры следует признать вполне своевременным. Теперь о брошюре. В буржуазном обществе существуют три основных класса: пролетариат, капиталисты и аграрии. Что определяет собою понятие «класс»? На это Каутский отвечает словами Маркса: «тожественность доходов и источников доходов. Это три большие общественные группы, составные части которых — образующие их индивидуумы—живут или заработной платой, или прибылью, или земельной рентой, т.-е. или пользованием своей рабочей силой, или своим капиталом, или своей земельной собственностью». А источники доходов—это и есть отношение того или иного класса к средствам производства: для капиталистов — владение фабриками, машинами, сырьем и проч., для помещиков — крупными земельными угодьями, для пролетариата—только своей рабочей силой. Но эта «общность источников дохода» обязательно влечет за собой и «общность интересов и общую противоположность их интересам других классов, из которых каждый стремится сократить источник дохода других, чтобы сделать богаче свой собственный». Это и создает классовую спайку. Правда, внутри классов часто образуются отдельные группы, интересы коих несколько противоречат интересам всего класса,—например, денежный капитал, вступающий в коллизию с промышленным и торговым капиталом из-за увеличения процента, что (при постоянной величине общественного продукта) соответственно уменьшает прибыль промышленного и торгового капиталов. Но, в общем и конечном итоге, интересы всего класса едины и обычно прямо противостоят интересам прочих классов. А так как современное капиталистическое общество построено на эксплуатации широких трудовых масс небольшой кучкой владельцев средств производства, то классовую борьбу в ее развитии надо рассматривать, как стремление этой кучки «удержать и расширить возможности хозяйственной эксплуатации,—интересы эксплуатируемо-

го большинства,—как стремление освободиться от этой эксплуатации» (Бухарин. «Теория исторического материализма»). И поэтому не может быть единых интересов у всех классов и «утверждение какой-нибудь партии, что она защищает интересы всех классов, есть пустая фраза, и даже хуже—демагогический обман» (Каутский). Все это прекрасно понимал старый Каутский,—не тот, который теперь зовет к единению всех классов для спасения нации. Надо признать интересной попытку т. Попова в своем предисловии проследить элементы оппортунизма уже в этой, в общем марксистски-выдержанной, брошюре Каутского. И надо сказать, что попытка в значительной степени удачная.

Что-то непреодолимое заставляет Каутского, на целых страницах доказывать, что «пролетарские интересы совпадают с интересами всей нации», зазывать интеллигенцию и выходцев из других классов в ряды социалистической партии, пышными и расплывчатыми фразами расписывая борьбу социалистов «за свободу и равенство всех, за высшие и всеобщие интересы человечества», и много другого, что великолепно звучало бы в эпоху Великой французской революции и совершенно не подходит к формулировке целей борьбы пролетариата, которые должны быть ярко и четко очерчены с классовой точки зрения. Коммунизм борется за «прогресс всего общества, за свободу и равенство всех» и проч., но основные стимулы этой борьбы—интересы рабочего класса; партия рабочего класса ведет борьбу, которая только *после победы пролетариата* приведет к счастью всего человечества, а во время этой борьбы,—полное отсутствие свободы для анти-пролетарских, анти-революционных классов и групп и подавление всякой их попытки опираться на абстрактные принципы «свободы и равенства», для того чтобы ставить палки в колеса пролетарской революции.

Каутский почти не затрагивает в своей брошюре проблемы взаимоотношений рабочего класса и широких трудовых масс, в частности крестьянства, а если и касается этого, то не в разрезе координирования действий до и после революции, во имя победы пролетариата, а только под углом зрения борьбы за ближайшие практические реформы и достижения в рамках капиталистического строя. Не ясна терминология Каутского там, где он говорит об «общих и классовых интересах». «Художественные, научные интересы, интересы полов и т. п. очень часто не являются классовыми интересами». И тут же спохватывается: «Тем не менее... классовые интересы в последнем счете являются решающими». В действительности же как раз наоборот: «общественные» интересы являются производными классовых интересов. «Экономическая структура общества подкреплена бесконечным количеством надстроек. Неудивительно поэтому, что классовый экономический интерес надевает также на себя костюм интереса политического, религиозного, научного и т. д. Так классовые интересы развертываются в целую систему, охватывающую самые различные области общественной жизни».

Брошюра К. Каутского не утратила своего значения и теперь, в смысле постановки и освещения вопроса, но еще большую ценность она представляет для нас тем, что по ней можно проследить тот идеологический мостик, который пролегает между Каутским-марксистом и Каутским-ренегатом социализма.

Ю. Вильдо.

Г. ЗИНОВЬЕВ. Коммунистический интернационал за работой. Тактические проблемы Коминтерна и работа его секций. 2-е издание. Госиздат. 1923 г. Стр. 297.

Эта сравнительно небольшая по объему, но интересная по содержанию помещенного в ней материала, книга вышла очень кстати: в настоящий момент учебы и углубления партийного понимания задач и тактики Коминтерна, доклады тов. Зиновьева на IV всемирном Конгрессе являются ценнейшим источником для такого понимания. Это так не только потому, что т. Зиновьев в качестве бессменного председателя Коминтерна находится с самого начала

основания последнего в центре движения авангарда мирового пролетариата, но и потому, что тов. Зиновьев направляет деятельность Коминтерна не только идейно, но и во многих случаях практическим своим участием в разрешении вопросов, касающихся отдельных секций, как, например, его личное участие на съезде в Галле при образовании Гер. Комм. Партии.

В разбираемой нами брошюре особенный интерес для каждого интересующегося международным движением рабочего класса представляют два документа: 1) Доклад о деятельности Исполкома Коминтерна и 2) Доклад о тактике Коминтерна.

Первый доклад охватывает деятельность Н. К. К. И. за период от III (июль 1921 г.) до IV Конгресса Коминтерна (ноябрь 1922 г.). По этому отчету тов. Зиновьева читатель может ознакомиться со всеми препятствиями и помехами, которые на каждом шагу встречал со стороны 2 и $2^1/_2$ Интернационалов коммунистический авангард международного пролетариата на своем пути к осуществлению лозунгов Коминтерна: «единый пролетарский фронт» и рабочее правительство». В докладе приводятся интересные данные о деятельности отдельных секций Коминтерна, о Профинтерне, о международном политическом и экономическом положении, каким он представлялся к моменту IV Конгресса Коминтерна, об объединении 2 и $2^1/_2$ Интернационалов и т. п.

В докладе о тактике Коминтерна тов. Зиновьев подробно останавливается на вопросе о наступлении капитала, о фашизме, как о явлении международного характера, о тех пацифистских иллюзиях, которые социал-соглашатели стремятся прививать в отсталых слоях рабочего класса, о расколе в профдвижении (Амстердам и Москва) и т. д., и т. п. И в связи со всеми этими явлениями, из которых в течение отчетного периода одни окончательно оформились (фашизм, вопрос о с лиянии 2 и $2^1/_2$ Интернационалов), другие находятся в стадии оформления, Коминтерн вырабатывает свою тактику, которая в конечном счете сводится к задаче: овладеть большинством рабочего класса.

В книге помещен и ряд других документов, представляющих для партийной массы значительный интерес, как, например, резолюция по итальянскому вопросу и др.

Издана книга хорошо: ясный шрифт, недурная брошюровка.

М. Зеликман.

АНАРХИЗМ И СИНДИКАЛИЗМ.

1. ЛОЗОВСКИЙ. Анархо-синдикализм и коммунизм. *А. Дивильковский.*—2. А. АНДРЕЕВ. Неонигилизм. *Б. Горев.*

А. ЛОЗОВСКИЙ. Анархо-синдикализм и коммунизм. Москва. 1923. Изд. «Красная Новь». Главполитпросвет. Стр. 108. Тир. 10.000.

Книжка составилась из шести статей т. Лозовского и одной его речи на Сент-Этьенском конгрессе «революционных синдикалистов».

В свое время они нами читались, как срочные злободневные атаки против синдикалистского недомыслия и фразы, в защиту, действительно, революционного Профинтерна, во главе которого стоит автор.

Но лишь сейчас, когда эти острые, каждая в отдельности, стрелы собраны в один пучок, перед нами вырисовывается целая картина борьбы внутри широкого, профсоюзного рабочего движения на Западе—за торжество наших, большевистских революционных принципов, за *нашу*, централизованную, плотную, железную организацию в нем—против вековой отравы «крас-

ных слов без дела», красивой фразы, позы и жеста.

И пробежав эти семь статеек, чувствуешь, что борьба идет не даром, напыщенная анархо-синдикалистская фраза прячется, отступает перед реальной правдой классового рабочего *дела*. Возникает твердая уверенность, что пролетарские массы Запада построятся в такие же легкоуправляемые боевые колонии как и в нашей, местной восточно-европейской революции—и пройдет там затишье, и придет Октябрьская буря.

Книжка чрезвычайно убедительна. Несмотря на то, что в ней мы имеем дело, повидимому, лишь с небольшим углом всей борьбы за влияние на массы Запада—именно лишь с профсоюзной борьбой, да и в ней лишь по одной, повидимому, узкой линии—против так наз. «революционного синдикализма», притом преимущественно лишь французского, это ничуть не ослабляет сказанного впечатления. Ибо этот именно угол всего огромного сражения является особо показательным, почти символичным.

Здесь мы, собственно, ведем борьбу даже не с прямыми врагами коммунизма, а с его «друзьями», с искренними большею частью пролетариями, революционерами, проникнутыми подлинной ненавистью к капитализму, но затуманившими себе мозги фантастическими, заимствованными от мелкой буржуазии, якобы революционными формулами. И так как это—друзья, а не враги, так как они (по крайней мере, следующие за этими формулами массы) искренно обманываются, то оказывается в высшей степени важным и нужным в первую голову разбить именно их нелепые формулы. Ибо раз разбитые на глазах всех масс, готовых ринуться в бой, но не видящих настоящей дороги, эти формулы оставляют чистое место для истинной, марксистской, революционной классовой идеи—и тогда массы быстро завоеваны. Лавина пойдет расти со стихийной силой.

Вот эта-то работа на наших глазах проходит, как в кинематографической фильме, в книжке т. Лозовского. Конечно, мы присутствуем тут лишь при паре-другой моментов ее, но этого достаточно, чтобы видеть, что дело не стоит на месте, что синдикализм, сперва покушавшийся на завладение Профинтерном, потом решил бежать от него, боясь коммунизма, а затем, преследуемый по пятам в самое свое гнездилище, во Францию (путешествие т. Лозовского на конгресс в Сент-Этьен), оказывается разбит там на-голову. Разбит покамест лишь *идейно*, но повторяю—это начало и организационной победы. Теория так называемого «независимого, автономного, чисто-профсоюзного революционного движения» терпит решительный крах. Следовательно, передовые сознательные пролетарии в большинстве за объединенное, централизованное, политически-направляемое (т.-е. партийное)—короче, за коммунистическое рабочее движение. Это ли не перелом?

Перелом этот, его развитие, его элементы отчетливо могут быть прослежены по книжке. Если отдельные статьи и не представляют отдельных этапов этого развития—в них много повторений, естественных при условии писания для разных журналов в России и Франции или произнесения в разных аудиториях,—то все же разные моменты «сражения» выражены в них с замечательной ясностью. Ясность формулировок, идейная прозрачность—лучшее достоинство изложения автора вообще. Так первый момент,—момент наибольшей видимой «дружбы» с синдикалистами освещен достаточно холодным и «трезвым» светом, напр., в ст. «II Интернационала (дружеское объяснение с французскими синдикалистами)». Известно, что революционное меньшинство французских синдикалистов под именем «Унитарной Конфедерации Труда» откололось от «Всеобщей Конфедерации Труда», превратившейся, в особенности под влиянием войны и затем победы, в реформистско-патриотическую помойную яму.

И когда в июле 1921 г. был созван в Москве I конгресс революционных профсоюзов, это отколовшееся крайне-левое крыло, повидимому, с радостью присоединилось к Москве и послало сюда своих делегатов, часть которых (Росмер, Т. Манн) подписались и под всеми решениями I конгресса. Но еще в момент самого конгресса вожаки рев. синдикалистов во Франции, как Монатт

и Монмуссо, подняли тревогу против некоторых его резолюций, направленных к единству революционного действия (взаимное делегирование членов в Исполнит. комитеты Профинтерна и Коминтерна). Начался вопль о засилии коммунистов, о «независимости и автономии» не только синдикалистских организаций отдельных стран, но и Профинтерна —от «политических партий». Словом, известные анархические формулы «истинно-рабочей», «экономической» революции в отличие от «мнимой» революции «государственного», «партийного» или «политического» характера.

Т. Лозовский прекрасно показывает всю связь этих пагубных идеек «независимости», «аполитичности» и проч. с ярко-мелкобуржуазной враждебностью к диктатуре пролетариата, как к единственному на самом деле реальному выражению рабочей революции. В своем «дружеском объяснении» с недомысленными теоретиками французского синдикализма он с беспощадной логикой марксиста вскрывает всю трусливую мещанскую подоплеку этой мнимой «независимости»—в действительности несомненнейшей зависимости от буржуазной идеологии и буржуазной гегемонии. Он показывает, как неудачно скрывается под маской синдикалистской «анти-партийности на самом деле просто - напросто такая же политическая партия (синдикалистская либо анархическая), только со своеобразным и нелепым лозунгом «долой партии». Он разоблачает всю непоследовательность Монаттов [1]) и Монмуссо, когда они, разорвавши с выжившей из ума и совести «Всеобщей Конфедерацией Труда», все еще, как на евангелие, упорно стремятся опереться на прогнившую «Амьенскую хартию» этой Конфедерации (конгресс 1906 г.), где провозглашается этот самый принцип «независимости и автономии». Словом, автор в этой статье исчерпывающе выявляет главный пункт расхождения «революционного синдикализма» вообще с принципами, действительно, боеспособной профсоюзной организации, как они сказались в постановлениях двух, теперь уже конгрессов Профинтерна.

Из дальнейших статей мы видим, как революционный синдикализм, не будучи в силах выдержать идейной борьбы на арене Профинтерна, дезертировал в свои собственные окопы—вплоть до попыток создания (в Берлине) своего нового Интернационала (Международное Анархо-синдикалистское Бюро).

Понятно, движение наших недавних друзей началось—как указывает здесь т. Лозовский — во второй половине 1920 г., и он связывает его вполне правильно с объективной причиной: с приходящимся на этот момент кризисом массового рабочего движения во всех странах Запада. Революционные попытки пролетариата в Германии, в Венгрии, в Италии разбились о все еще мощную, вековую организацию буржуазии. Да и само рабочее движение оказалось в таких крепких тисках лживой, мелкобуржуазной идеологии («социал-демократической» и анархической), что *не могло не* потерпеть поражения. И вот эта объективная причина отразилась на «субъективном факторе», на союзе наших «революционно-синдикалистских» друзей с нами, дезертирством от нас под сень, казалось, достаточно уже опозоренных амьенских знамен.

В статьях «Анархо-синдикалисты и Профинтерн», «Детские болезни французского синдикализма», «Французское рабочее движение на распутьи», «Борьба коммунизма и анархизма», также в ст.-этьенской речи автор в разной форме возвращается к этому дезертирству, клеймя его, как малодушие, как перебежку в стан «лунатиков» (анархистов). И нет сомнения, что аргументы его победоносны не только на бумаге, а и на деле. Достаточно проследить те реплики, которые в Ст.-Этьене подавались ему с делегатских мест, чтобы убедиться и в победе организационной над последними разновидностями французской мелко-мещанской «рр-революционности». После Ст.-Этьена крайнее левое крыло французского профдвижения стало уже, несомненно, иным. Это и выразилось уже в конце 1922 г. на II Международном конгрессе в Москве

[1]) Пьер Монатт в настоящее время вошел в коммунистическую партию. *Примеч. ред.*

гораздо большей склонностью т. Монмуссо и его друзей к действительному организационному единству.

Этот результат заставляет нас видеть, как бы ощупывать даже своими руками приближение нового момента в массовом профдвижении Запада.

Проходит кратковременная психологическая реакция 1920—22 гг. Еще, быть-может, в широких пролетарских низах она отзывается, но в организационном смысле ей конец. Истинно революционный принцип нашел уже отклик в рядах «революционного синдикализма». Не даром сейчас т. Монмуссо арестуется во Франции за одновременный с немецкими коммунистами протест против рурского нашествия на Германию. По нашему старому опыту мы знаем, что подобные аресты—при условии лишь восходящей войны в организационном движении — не столько нам вредны, сколько, наоборот, высоко-благоприятны. Поэтому вероятней всего, что они докончат то, что еще не хватало: объединение идейно-организационное—результат нашей острой критики незрелых синдикалистских идей превратят, в конце-концов, в объединение массово-боевое.

Под углом зрения этих крайне-вероятных перспектив книжка т. Лозовского приобретает особенно-интересный характер—как бы маленькой идейной лаборатории, где на наших глазах брожение революционных ферментов планомерно направляется и толкается в нужную сторону—к рабочей революции на Западе.

Д. Дивильковский.

АНДРЕЕВ, АНДРЕЙ. Неонигилизм. Изд. «Китеж». М. 1922. Стр. 108.

Хотя автор-анархист гордо заявляет в предисловии, что «эта книга не для многих—она предназначена тем, кто стоит одиноко на поле битвы... кто не боится глядеть в глаза не только смерти, но и жизни», тем не менее, книжка явно бьет на популярность и своим крикащим заглавием и содержанием. Составлена она из ряда статей, появившихся в разных анархистских изданиях, воззваний, резолюций и деклараций и даже протокольных записей речей, произнесенных автором на некоторых анархистских собраниях. Впрочем, все это относится почти исключительно к первой части, названной, как и вся книжка, «неонигилизм». Что же касается второй части, носящей заглавие «неонигилист», то в нее автор поместил все вообще свои доморощенные измышления и фантазии, не имеющие почти никакого отношения к основной анархистской теме книжки.

Тут и тюремные «заметки смертника» под претенциозным заглавием «Квадратура круга жизни», написанные еще в 1909 г. в севастопольской тюрьме, и «Половая проблема», в которой проповедуется «омнигамия открытая, явная, признанная всем человечеством», при чем пускаются в ход какие-то «токи-флюиды» и сложные арифметические расчеты, «нормальной» продолжительности любви. Наконец, автор делится с нами и новым педагогическим откровением, в виде «хирософии» и «хиропедагогики», т.-е. педагогики, основанной на изучении линий рук у детей. Словом, здесь перед нами самовлюбленный провинциал, изобретатель якобы новых, «научных» и крайне «левых» идей, пользующийся тем, что бумага все терпит, и надеющийся на то, что даже анархистская «оппозиция» может найти читателя, который прочитает все эти бредни. Эта самовлюбленность нашего автора, кичащегося своим гордым одиночеством, доходит до того, что в конце своей книжки он любезно сообщает читателю «список всех напечатанных работ» его «в хронологическом порядке», т.-е. всех газетных статей, заметок и листовок (всего 94 номера), обнимающих период с 1917 по 1921 гг. Очевидно, А. Андреев очень заботится, чтобы это драгоценное литературное наследство не пропало для потомства.

Переходя к первой части книжки, в которой именно и собраны статьи, отражающие особый анархистский уклон автора, его «неонигилизм», мы находим его в двух моментах: во-первых, как гласит эпиграф к первой статье сборника, вопреки известной формуле Ба-

куница,—*«дух разрушения—самодовлеем»* (ющ?), ни о каком созидании анархисты и думать не должны; а, во-вторых,—*и в этом гвоздь всей книжки* и величайшая гордость автора — «посколько рабочий является строителем жизни, созидателем прибавочной стоимости и рабом, трудящимся на капиталиста,—*он мой принципиальный враг*; господин и раб, владыка и подчиненный стоят для меня в одной плоскости,—с теми и другими я буду бороться» (стр. 27, курсив наш. *Б. Г.*). Поэтому он решительно осуждает «анархистов-трудовиков», т.-е. допускающих труд в капиталистическом обществе; поэтому главная особенность неонигилизма, отличающая его от всех других анархистских течений, это, по словам нашего автора, «отказ от труда на капиталистов теперь же, сию же минуту» (стр. 33).

Эта мысль повторяется многократно с утомительным однообразием, чередуясь лишь время от времени напыщенными формулами обычного индивидуалистического анархизма, в роде: «*Деторождение Он* (т.-е. штирнеровский «единственный») *считает самодержавным произволом живущих*», и потому «рожденный, как появившийся без своего согласия, вопреки Его санкции, свободен от всех обязательств к тому, что принято называть «обществом» без различия количества и качества», при чем далее этот «Он не признает прошлого и не хочет знать будущего» (стр. 52—53).

Само собою понятно, что единственным достойным анархиста способом добывать себе средства к жизни в капиталистическом обществе автор считает *экспроприацию*, которую он определяет, как «уравнение несправедливо разделенных наслаждений». Рабы капиталистического строя работают или голодают. Свободные анархисты выдвигают лозунг: *«не трудись — экспроприируй»* (стр. 41).

Но так как, очевидно, этих свободных людей всегда будет горсточка, ибо «анархизм не терпит апелляции к массам», «анархизм — вне классов, сословий и каст; он надмассовое движение, и мы зовем в свои ряды отрешившихся от предрассудков среды, отбросивших прошлое своих отцов» (стр. 27),—то наемные рабы капитализма вынуждены будут создавать прибавочную стоимость не только для своих непосредственных эксплуататоров, но и для этих аристократов-экспроприаторов...

Вся книжка может быть отмечена, как простой курьез, как запоздалый отзвук наиболее смешных анархистских потуг 1905—6 гг., соединенный с несомненной манией величия.

Б. Горев.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.

1. «Антанта и Врангель». Сборник статей. Вып. I. *Г. Сандомирский.*—2. «Хроника гражданской войны». *К. Добраницкий.* – 3. I) Дер идишер хурбы ин Украи̇ н. (Разгром евреев на Украине).—II) *И. Штиф.* Погромы на Украине. *М. Рафес.*—4. «Материалы об антиеврейских погромах». *М. Рафес.*

АНТАНТА и ВРАНГЕЛЬ. Сборник статей. Вып. I. Государственное Издательство. Москва. 1923. Стр. 260. (С иллюстрац.)

Особенная ценность данного сборника—не в потрясающих примерах из практики врангелевского управления в Крыму, ибо таких свидетельств в настоящее время собрано очень много не только в революционной прессе, но и в целом ряде «демократических» газет и брошюр, которые не смогли при всем желании скрыть от читателей всего того, что «во имя демократии и против коммунизма» творилось на полуострове. С необычайной выпуклостью и ясностью авторы сборника вскрывают интимную связь врангелевщины с Антантой. И на эту тему, разумеется, писалось не мало, но все же такого богатства фак-

тов, рисующих гнусный заговор капиталистических государств всего мира против трудящихся масс России, мало где приходилось встречать. Мы все знали о роли Франции и Англии в смысле поддержки Врангеля, но только из прекрасной статьи И. Альфа (Сеймович) «Антанта и Врангель», богато документированной, мы узнаем подробно об активной роли Италии, Бельгии, Японии, Соединенных Штатов и т. д. во врангелевской авантюре. Сильное впечатление производит и обстоятельная статья Л. Полярного «О распродаже русского флота». Автор, опираясь исключительно на официальный материал, приводит ряд поразительных данных, разоблачающих хищнические махинации наших белых патриотов, в результате которых Россия на долгие времена лишилась ценнейшего имущества. Эта статья появилась, как нельзя более своевременно, ибо теперь из разных концов начинают поступать сведения о том, что советскому правительству удается вернуть—правда, в полуразрушенном виде—отдельные суда из похищенных и проданных белыми иностранным капиталистам. Автор вскрывает гнусную роль в этих сделках Сербии, нынешней Юго-Славии, правительство которой попрежнему остается злейшим врагом русских трудящихся масс. Статья Шафира дает интересный очерк экономической политики белых. Дополнением к ней может служить статья Хвойного о рабочем движении и профсоюзах в Крыму. Оба автора, очевидно, не использовали до конца всех имевшихся в их распоряжении материалов, но и то, что они дают, может послужить яркой показательной картиной обычных приемов хозяйничанья белых в захваченных ими областях. Особняком стоит и представляет исключительный интерес статья Д. Маслова «Печать при Врангеле». Дело в том, что, благодаря целому ряду случайных обстоятельств, Крым изобиловал газетами. На них и обратил серьезное внимание Врангель, сумев до некоторой степени искусно использовать это орудие в целях своей «агитпроповской» работы. Вместе со статьей К. У—ского, специально посвященной вопросу о положении интеллигенции в Крыму в период врангелевщины, она представляет собою яркий очерк морального разложения, господствовавшего среди тех слоев нашей интеллигенции, которые устремились за Врангелем, частью из позорного малодушия, частью потому, что на нее всегда красивые слова о демократии и народоправстве действовали так же сильно, как трубный глас на кавалерийскую лошадь. Даже лучшие и наиболее искренние элементы этой интеллигенции не могут похвастать тем, что своей легальной тактикой они принесли хотя бы малейшее облегчение трудящимся массам Крыма, стонавшим под игом золотопогонных демократов. Так называемая социалистическая интеллигенция ровно ничем в этом отношении не отличалась от остальной. О том, как белые разрешали национальный вопрос, мы узнаем из статьи Григорьева: демагогическое заигрывание с татарами на словах и беззастенчивое руссификаторство на деле,—таковы два кита национальной политики белых. Наконец, из статьи Л. Полярного «Следы разгрома» мы узнаем о неслыханных даже в истории самых кровавых международных войн актах насилия белых, граничащих с явным безумием. Достаточно процитировать такой факт, как, например, попытка поджога города Симферополя со всем его населением при отступлении белых. Характерно, что американцы при отступлении белых ярко продемонстрировали свою хваленую демократическую культуру и ту специфическую «американскую гуманность», о которой с начала мировой войны продажные перья слагают свои душеспасительные легенды для обездоленных масс. Мы узнаем, что во время отступления белых из Крыма американская миссия предпочла на глазах обезумевшей от голода толпы сжечь свои громадные продовольственные склады, набитые сахаром, мукой, мануфактурой и даже *медикаментами*, чем оставить все это добро во власти красных, т.-е. трудового населения Крыма. Этот один факт перевесит на чаше весов истории все многопудовые трактаты о добродетелях банкиров и дипломатов Нового Света.

Иллюстрации к статье тов. Полярного, на которых зафиксированы следы

разгромов, произведенных белыми, весьма близко напоминают картинки из деятельности итальянских погромщиков-фашистов.

В книге есть один технический дефект: нет вступительной статьи, которая объединяла бы отдельные очерки, не указаны также хотя бы приблизительное содержание следующих выпусков, ни количество их, но, разумеется, этот дефект не обеспечивает прекрасного коллективного замысла авторов и его выполнения.

Герм. Сандомирский.

ХРОНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. Составлено Коллективом Военно-Научного Общества при Военной Академии под руководством тов. Семенова. (Из книги «За 5 лет» Ц. К. Р. К. П. Изд. «Красная Новь»).

Уже давно мы нуждались в хронике революции, но до сих пор мы имели ее или только за 1917 г. (как в книжках Максакова, Нелидова и Авдеева) или же в виде приложения к собранию сочинений Ленина, где до сих пор выпущены тома с хрониками только за 1917, 1918 и 1920 гг.

Понятно, что мог обрадовать только выпуск под фирмой Ц. К., «Хроники», составленной Военно-Научным Обществом. Сожаление могло быть только о том, что составители сами сузили свою задачу, назвав работу «Хроникой гражданской войны». Однако, беглый просмотр успокоил, так как мы нашли не только военные события, и даже не только события, относящиеся к России, но и такие события, как «провозглашение Баварской Советской Республики» или же «образование в Германии правительства из с.-д. большинства и независимых».

Однако, будучи приятно поражены полнотой Хроники (4 листа), при более внимательном просмотре мы были очень удивлены, увидев ряд грубейших и ничем неоправдываемых ошибок. Например, за 15 апреля 1918 г. мы нашли «Екатеринодар в руках Корнилова», хотя в действительности после двухдневного безуспешного штурма корниловцы отступили, не взяв города. За 2 марта 1919 г. мы находим «в Москве 1 съезд III Интернационала», между тем, как на самом деле 2 марта открылся международный съезд коммунистов, который только 5 марта организовал III Интернационал. Под 16 апреля 1920 г. мы видим сообщение о том, что «турки заняли Батум, Карс, Ардаган». В 1920 г. ничего этого не было, и, несомненно, заметка относится к 1918 г.

Ошибок в датах очень много. На первой же странице мы видим, что отречения Николая и Михаила помечены 17 и 18 марта, между тем, как они произошли 15 и 16 марта. (Все даты в Хронике по новому стилю.) Распадение Закавказской (а не обще-Кавказской, как ее называет Хроника) Республики было не 27, а 26 мая 1918 г. У нас записан еще целый ряд неверных дат, но было бы слишком долго их приводить.

Составители Хроники ухитряются забывать перевести дату со старого стиля на новый, которого они придерживаются в обзоре событий. Выступление рабочих в Петербурге в 1917 г. они помечают 3—4—5 июля, между тем, как следовало бы его пометить 16—18 июля.

I Универсал Украинской Национальной Рады был принят 24, а не 10 июня 1917 г. Провозглашение Украинской Народной Республики было 20, а не 7 ноября 1917 г.

Хроника отмечает такие события, как то, что «наши части овладели рядом селений в 25 верстах юго-западнее Луганска», или, что «бои в 10 верстах западнее Пскова»; такое событие, как успешное наступление наших частей на Новороссийск, отмечено 24 марта 1920 г., а занятие Новороссийска сов. войсками—27 марта 1920 г.—совсем не отмечено. Расстрел Колчака, так же, как и взятие Харькова немцами (9 апреля 1918 г.) вообще не отмечены.

Встречаются неправильные выражения. Например, под 4 июня 1918 г. отмечается «крупное крестьянское движение на Украине». В чем оно выразилось, не сказано и остаешься в недоумении, как можно было крупное крестьянское движение пометить одной датой. 17 июня 1919 г. «на внутреннем фронте

нами занят Жаботин». Надо было бы сообщить, против кого мы боролись на внутреннем фронте, а то тут он появляется первый и последний раз во всей Хронике. 11 февраля 1919 г. помечен «приказ Предреввоенсовета солдатам Северной армии». О каждом приказе Хроника не сообщает. Очевидно, этот приказ имел какое-то особое значение, но об этом нам остается только догадываться.

Мы указали только на наиболее грубые ошибки, но ошибок и неправильностей в Хронике очень много. Если бы эта работа была сделана каким-либо частным человеком и выпущена частным издательством, грех был бы небольшой. Но когда Хроника составлена Коллективом *Военно-Научного* Общества, выходит в книге, носящей инициалы Ц. К. Р. К. П., в количестве 20.000 экземпляров, тогда такие ошибки недопустимы. Правда, у нас нет хорошей и полной Хроники Революции, но это не основание, чтобы выпускать Хронику с большим количеством ошибок, неправильностей и пропусков.

Хроникой этой пользоваться и доверять ей нельзя.

К. Добраницкий.

ДЕР ИДИШЕР ХУРБЫ ИН УКРАИНЕ. (Разгром евреев на Украине). Материалы и документы. Редактировано и обработано Л. Хазановичем. Издательство «Иудеа». Берлин. 1920 г. Стр. 108 (на еврейском языке).

И. И. ШТИФ. ПОГРОМЫ НА УКРАИНЕ. (Период добровольческой армии). Издательство „Восток". Берлин. 1922 г. Стр. 96.

Обе книги говорят об одном и том же. И. И. Штиф выделил себе одну отдельную область (106 погромленных пунктов), но и в первой книге имеется кое-что о погромах добровольческой армии.

Книга под редакцией *Хазановича* помещает сырой материал, а оценку его дает в предисловии. Книга *Штифа* вся состоит из оценки погромного похода Деникина. Надо иметь в виду, что перед нами авторы—не друзья Советской власти, а эмигранты, не способные ужиться с режимом пролетарской диктатуры. Но и они не могли молчать. Ведь среди еврейской заграничной эмиграции были и есть сторонники соглашения и с Петлюрой и с Деникиным. Столько наговорили слов о «цивилизаторской миссии» белых и так это противоречило фактам, что *Штиф* и *Хазанович* решили каждый по-своему заявить протест.

Авторы обращаются к белой аудитории. Они не употребляют большевистских выражений, не принятых в «цивилизованном» обществе, они стараются быть «объективными», выдерживают тон. Но материал, который они сообщают, говорит сам за себя.

Мы не будем здесь сообщать подробностей из материала обеих книг—все это уже известно. Ограничимся лишь тем, что зарегистрируем обе эти книги заграничного издания, как довольно полные источники для характеристики Петлюры и Деникина, «как они есть».

М. Рафес.

МАТЕРИАЛЫ ОБ АНТИЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМАХ. Серия 1. Погромы в Белоруссии. Выпуск 1. Погромы, учиненные бело-поляками. (Официальные документы, обследования и свидетельские показания). Вступительная статья З. Миндлина. Издание Евр. Общ. Комитета Помощи при Евотделе Наркомнаца. Москва. 1922 г. Стр. 80 (убористого шрифта).

Особенность настоящей книги — ее официальный характер. За исключением одного лишь предисловия, в ней нет более «текста»—одни лишь документы: доклады комиссий, заявления потерпевших, результаты обследований. И нельзя не признать своевременным издание этой серии, если принять во внимание ту новую кампанию травли Советской власти, которую в последнее время в Польше и Америке ведут меньшевики-бундисты с умершим недавно Медемом и политическим мертвецом Абрамовичем во главе. Основной смысл этой кампании—развенчать перед еврейской массой авторитет Советской власти, которую делают виновной в анти-еврейских погромах, учиняемых...

бандитами, врывающимися к нам из Польши.

Погромы в Белоруссии в 1921 году служили поводом для указанной меньшевистско-бундовской кампании. Этим погромам будет посвящен следующий 2-ой выпуск. Но и настоящая книга имеет прямое отношение к вопросу. Увлеченный ненавистью к советской республике, Медем противоставлял ей... белую Польшу, в которой правительство, когда не хочет, не допускает погромов. В этой книге и собраны цветки деятельности бело-поляков в годы 1919—20: 1) в мирной обстановке, 2) при наступлении и 3) отступлении польской армии.

Мы обращаем внимание читателя на погромы *в мирной обстановке*. Чего стоят издевательства над еврейским населением Бобруйска 4 октября 1911 года, в день «Иом Купур» (Судный день), когда из синагоги выгнали всех евреев и гнали за город на работы!

Далее следует военное время, но и здесь погромы—не действия, вызванные военной необходимостью или в пылу борьбы—это просто результат «культуры» и «цивилизации» буржуазии «западного» народа, как привыкли говорить о себе бело-поляки. Поджоги, грабежи (при чем в местечке не остается ни у кого часов—все снимают), участвуют офицеры, десятки человеческих жертв, изнасилования. Документы и предисловие отмечают, с другой стороны, добрососедские отношения между еврейским населением, сочувствие и участие, проявленное к погромленным, и общую ненависть к оккупаторам. Воинство Пильсудского вполне оправдало себя, как союзника Петлюры, этого непревзойденного еще пока никем погромных дел мастера.

Картина из материалов небольшой книги получается довольно яркая.

М. Рафес.

ИМПЕРИАЛИЗМ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА.

1. НОРМАН АНДЖЕЛЛ. I) Плоды победы. II) Будет ли Британия существовать. *И. Звавич.*—**2. А. СТОКЛИЦКИЙ. Рур.** *М. Брагинский.*— **Р. И. БЕРЗИН. Мировая борьба за нефть.** *С. Сбручев.*—**3. МОРИС ПЕРНО. Турецкий вопрос.** *Г. Сандомирский.*

NORMAN ANGELL. The fruits of victory. A sequel to The Great Illusion. London and Glasgow. Collyns Press. 1922. Pp. XVIII+332.

NORMAN ANGELL. If Britain is to live. London. Nisbet and Co. 1923. Pp. 128.

НОРМАН АНДЖЕЛЛ. «Плоды победы». Продолжение «Великого заблуждения». Лондон и Глазго. Коллинс. 1922. Стр. XVIII+332.

НОРМАН АНДЖЕЛЛ. Будет ли Британия существовать. Лондон Издательство. Нисбет. 1923. Стр. 128.

Первая книга Нормана Анджелла, являющаяся продолжением «Великого заблуждения», вышла первым изданием еще в июне 1921 года. С тех пор она успела уже изрядно устареть. За годы 1921 и 1922 накопилось весьма много новых фактов, новых событий, которыми автор мог бы иллюстрировать мысли, высказанные им в «Плодах победы». Но к чести для автора многие из его положений остались непоколебленными. В главе, посвященной «патриотизму и власти во время войны и мира», Анджелл, например, совершенно справедливо указывает, что система вооруженного мира, установившаяся и после «великой», «освободительной» и «последней» войны является лучшим доказательством банкротства той системы «равновесия», которую Анджелл не решается назвать капиталистической. Он пишет о заявлениях политических деятелей Франции 1921 года о необходимости сильной армии, как первой гарантии «мира». Старые погудки на новый лад. Между тем заявление французского военного министра Мажино

в марте 1923 г., приводимое в последнем мартовском номере английского журнала «Нэйшен», показывает как нельзя лучше, что все осталось в этой области попрежнему.

«Франция жаждет мира. Только для того, чтобы воспрепятствовать началу войны, необходимо не только быть пацифистом, но и иметь возможность воспрепятствовать чужим вожделениям,— сказал в своей речи Мажино.—Только опасение перед нашей силой помешает нашим соседям навязать нам войну».

Выдвинутые Анджеллом мысли являются общими положениями английского радикализма в области внешней политики. В более научной форме эти положения были неоднократно, в статьях и книгах, высказываемы Кейнсом. Журналистское произведение Норман Анджелла дает мало нового; оно является, однако, характерным, как идейное отображение известного течения английской политической мысли.

В качестве журналиста Анджелл лучше осведомлен о той роли, какую сыграла в извращении понятий среднего английского обывателя желтая пресса. И в других своих книгах, например, в книге «Версальский мир и экономический хаос в Европе», Анджелл неоднократно указывал на сознательную ложь в печати, защищающей интересы той или иной капиталистической группы. Влияние печати весьма велико. Достаточно вспомнить, в каких огромных размерах расходится так называемая «Нортклиффовская» печать, представляющая одну из характерных разновидностей желтой прессы. По данным чрезвычайно интересного сборника о взаимоотношениях труда и капитала в английской периодической печати [1]), ежедневная «Дейли Мэйль» выпускается в размере 1.500.000 экз.; «Дейли Миррор» и «Дейли Скетч» (иллюстрированны)—более миллиона, а воскресная «Сендэй Пикториэль», принадлежащая лорду Розермеру,—газета, в которой еще недавно появлялись погромные статьи владельца газеты с требованием поддержки рурской оккупации и применения к немецкому населению тех приемов, какие применялись немцами во время войны, расходится даже в количестве 2.363.000 экземпляров.

В настоящее время, благодаря книге Синклера «Медная марка», стало возможным говорить о коррупции американской прессы на основании точных документальных данных. Такая работа до сих пор еще не проделана в области английской периодической печати, и главы книги Анджелла, посвященные этому вопросу, представляют собой лишь весьма незначительную иллюстрацию на эту тему.

Книга Анджелла может рассматриваться как популярное изложение воззрений английских радикалов. Но длинота ее несколько утомляет при чтении; текст пересыпан рядом цитат из речей политических деятелей и по большей части газетных статей, уже устаревших теперь. Поэтому с точки зрения популярного изложения может быть рекомендована вторая книжка Норман Анджелла: «Будет ли Британия существовать?» Тема этой книги по существу та же: Плоды победы для Англии. Плоды войны и послевоенной политики Англии рассматриваются здесь, однако, с более узкой точки зрения; результаты рассмотрения более определенны. Победительнице Англии угрожает распад ее империи. То, что до войны даже не приходило на ум политическим деятелям Англии, может стать совершившимся фактом в течение ближайших лет. Англия — страна, живущая переработкой иностранного сырья; ее задачей было до сих пор использование колоний и доминий, как поставщиков сырья и потребителей мануфактуры. За войну торговля с Европой страшно пострадала; размеры ее, в виду почти полного исчезновения России, и сокращения покупательной способности Центральной Европы и Германии, чрезвычайно сократились. Англия еще больше, чем когдалибо, стала жаться к колониям и доминиям. Характерным в этом смысле является стимулирование интереса к доминиям и к развитию внутриимперской торговли в прессе и в периодических изданиях журнального

[1]) The Press. Labour Research Department Studies. Volume II. 1922. Pp. 48.

типа (см., например, отдел внутри-имперской торговли в журнале «Nineteenth Century and after», а также в Empire Revieu»).

В то же время колониям и в особенности доминиям оказалось не по пути с метрополией. Они стали прибегать к протекционистским мерам в целях защиты собственной промышленности, явно не желая поддерживать Англию. Даже Индия нашла удобным перемещение хлопчатобумажной промышленности из Ланкашира поближе к сырью на собственную территорию. Отпадение доминий совершается даже с чисто формально-юридической точки зрения. В конце марта в канадский парламент был внесен билль о неучастии Канады в войнах Великобритании, не затрагивающих ее непосредственные интересы. Та же Канада подписала от своего имени конвенцию с Соединенными Штатами (о рыбных промыслах) в качестве суверенного государства, и вне всякой связи с утверждением метрополии.

Эту мысль Анджелла можно считать наиболее интересной в его второй книге. В обеих книгах, однако, заметно, что Анджелл чего-то не договаривает, не приводит всех выводов, вытекающих из его наблюдений. Довоенная эпоха кажется Анджеллу раем по сравнению с современным положением Европы; между тем ведь и война явилась порождением все той же эпохи; следовательно, корни разложения кроятся и там. Нельзя отводить влиянию националистических тенденций в современном империализме так много места, как это делает в своих книгах Анджелл; у него заметна недооценка экономического фактора империализма. Казалось бы, протекционистская волна, прошедшая по всему капиталистическому миру после войны, должна была бы отнять у Анджелла уверенность в отсутствии экономической «необходимости» захвата рынка для капиталистической группы империалистического государства. Все рассуждения Анджелла о эквивалентности рынков-колоний и рынков иностранных государств построены на убеждении в незыблемости фритрэда.

И. Звавич.

А. СТОКЛИЦКИЙ. Рур. Изд. «Красная Новь» Москва. 1923 г. Стр. 37.

Рур попрежнему остается в центре внимания мировой политики. Те затруднения, с которым французским оккупантам пришлось столкнуться при осуществлении своих планов в захваченной ими области, не только не умерили, но еще более распалили их хищнические вожделения, и все дальше и дальше толкают их по пути новых захватов германскихг ородов, грубых насилий над беззащитным населением, самого откровенного грабежа германского имущества не только казенных учреждений, но и частных лиц. Дело дошло то того, что французские оккупанты превратили часть своих оккупационных войск в чисто бандитские отряды, которые, наподобие обыкновенных разбойничьих банд, нападают среди бела дня на железнодорожные поезда и опустошают карманы пассажиров.

Откровенный бандитизм—таково последнее слово репарационной политики.

В чем же заключается истинная подоплека и скрытые цели рурской операции, во время которой французы и бельгийцы успели натворить уже столько невероятных гнусностей? Этот коренной вопрос давно уже привлек к себе внимание наших политиков и публицистов, выступавших и в печати и на ораторской трибуне с целым рядом докладов на эту тему. И надо признать, что в настоящее время рурская проблема получила достаточно полное освещение.

Маленькая книжечка т. Стоклицкого в этом отношении почти ничего нового не прибавляет. Однако, для читателя, черпающего свои сведения о Руре из сообщений периодической прессы, названная брошюрка, вскрывающая действительные мотивы политики удушения Германии, проводимой Антантой вообще и Францией в особенности, окажется не бесполезной. Рассматривая рурскую проблему с важнейших сторон ее и иллюстрируя свои положения многочисленными и интересными статистическими данными, т. Стоклицкий своей книжечкой может помочь неискушенному в политике читателю лучше

ориентироваться в пестрых газетных сведениях по вопросу, возбуждающему острый интерес во всем мире.

М. Брагинский.

Р. И. БЕРЗИН. Мировая борьба за нефть. Издание Главного Управления по топливу (ГУТ). Москва. 1922 г. Стр. 125 + V.

В экономических взаимоотношениях современных мировых держав нет, пожалуй, ни одного столь острого вопроса, как вопрос о нефти. Борьба за нефтяные месторождения ведется с необычайным напряжением, и все крупные мировые конференции последнего времени—и экономические и политические—проходят под знаком нефти—и Генуя, и Гаага, и Лозанна. Осветить нефтяной вопрос со всех сторон и понять преимущества России в нефтяной борьбе—задача первоочередная, имеющая для будущего международного положения России значение, которое сейчас даже трудно охватить во всей его широте.

Поэтому с большой радостью мы узнали о выходе в свет нового издания Главного Управления по Топливу—книга «Мировая борьба за нефть»; эта радость еще усугубилась, когда мы увидели, что книга эта вышла из-под пера Р. И. Берзина—одного из ответственных руководителей нашей топливной промышленности. С живым интересом мы развернули книгу, но уже первые строки введения показались нам очень странными: оказывается до сих пор—до появления труда Берзина—вопрос о нефти «не был изучен, разработан и освящен с достаточной полнотой». Автор считает, что своей книгой он дает первую попытку собрать и систематизировать материал по вопросу мировой борьбы за нефть (стр. 3—4).

Исполнение, к сожалению, далеко от розовых надежд автора. Правда, книга напечатана на хорошей бумаге, четким шрифтом, заключена в плотную обложку, но под этой приятной внешностью скрыта какая-то невообразимая каша таблиц, цитат и собственных невразумительных мыслей. Читаешь и чувствуешь, как пухнет голова и волосы встают дыбом. Начать с того, что нет ни оглавления, ни выделения глав особыми заголовками; таблицы не отделены от текста, цитаты часто без кавычек, и никогда не знаешь, что принадлежит Берзину, что—другим авторам, а заимствования достигают иногда десятков страниц.

Немного разобравшись в этой каше, выясняем с трудом, что первая треть посвящена характеристике мировой нефтяной промышленности, вторая—русской, главным образом, довоенной, наконец, последние 28 страниц дают очерк мировой борьбы за нефть—выводы и перспективы.

Обработка материалов, положенных в основу этих выводов, поистине чудовищна. Приводимые ниже примеры являются небольшой частью того, что можно собрать в книге.

Что, кажется, проще и невиннее цифровых таблиц?.. Но в этой книге нет ни одной почти таблицы, которой можно было бы довериться. Они почти всегда в сыром виде, в самых разнообразных единицах, с несходящимися итогами, с неверными цифрами, с необъясненными разногласиями между отдельными таблицами. На странице 9, например, даны три таблицы для Соединенных Штатов—из них в первой, из шести колонок вывоза, три подытожены неверно, во второй (потребление) вместо тысяч баррелей показаны миллионы баррелей, что в тысячу раз увеличивает потребление; наконец, в третьей—даны без всяких объяснений еще раз цифры вывоза (по немецким источникам), совершенно не совпадающие с первой таблицей.

На страницах 10, 40 и 43 даны цифры вывоза нефти из Мексики—каждый раз другие—напр., для 1919 г. имеем 77.703.000 баррелей, 80.701.780 барр. и 81.332.000 барр. Разногласие это ничем не объяснено, и решение, очевидно, надо искать в анархическом состоянии Мексики—каждый год перевороты, до статистики ли тут!?.

В беспорядочности Мексики убеждают нас и другие данные, например, сравнение приведенных на странице 40 процентов экспорта, которые никак не сходятся с цифрами других таблиц, или декрет мексиканского президента о сдаче нефтяных концессий: «компании должны уплачивать 100 *песов* (?) ежегодно за километр

или другую (?) меру земли, переданную им для обработки (?)». Что за странная причуда—взимать аренду непременно в английских пенсах, в 25 раз менее ценных, чем мексиканские *песо*, и требовать их за любую меру земли!

Соединенные Штаты в умелых руках автора оказываются не менее легкомысленными. Мы уже видели выше, как они потребляют, вывозят и ввозят; перегонка идет не хуже. На стр. 36, 37 и 38 в разных видах нам преподносятся таблицы выработки и запасов для января и февраля 1922 г.; то, что в первой таблице показано как запасы января, в третьей уступлено февралю, а январь обогатился новыми. Вторая таблица, для разнообразия, врет иначе—в ней из десяти цифр выработки января, не сходятся с данными первой таблицы шесть, и при этом «масла разные» в первой—в тысячах галлонов, во второй, при той же цифре—в тысячах баррелей, т.-е. в 42 раза больше.

И такие чудеса почти в каждой таблице. Что можно сделать при таком искусстве обращения с цифрами—страшно подумать. Берзин на стр. 23—25 дает образец выводов, которых можно добиться при подобных либеральных понятиях в области арифметики. Ему нужно доказать, что нефтяные короли получают на «вложенные капиталы сотни процентов чистого барыша». Поэтому приводятся такие цифры:

Чистый доход Англо-Персидской Компании повысился с 90 *миллионов* фунтов стерлингов в 1914—15 гг. до 4028 *миллионов* в 1920—21 гг. и всего за 7 лет она получила 10.526 *миллионов* фунтов, то-есть что-то около 100 *миллиардов золотых рублей*, или, как вычисляет Берзин, каждый из 70.000 рабочих дал Компании за последний год одну седьмую миллиона фунтов (т.-е. 1.400.000 золотых рублей). Рядом с этой астрономической цифрой (уж не помутилось ли у т. Берзина в голове от дензнаков разных выпусков?) кажутся бледными доходы «левиафана нефтяной промышленности»—Американской Компании «Стандарт оф Нью-Джерсей», которая при основном капитале в 625 милл. долларов имела чистый доход в 1920 г.—161 милл. долларов, в 1921 г.—33 милл. долларов, и выдавала дивиденд в 19%. Но и из этих цифр т. Берзин ухитряется сделать вывод, что Компания выдавала в течение последних 12 месяцев на каждую акцию дивиденды в размере 400% (стр. 25).

Мы вполне согласны с автором, что нефтяные короли наживают колоссальные суммы, и что нужно всячески бороться с ними, но полагаем, что для этого называть их на каждой почти странице «кровожадными хищниками международного капитализма» и «акулами империализма», или выводить их на чистую воду при помощи выкладок, подобных приведенным, недостаточно — нужно вести борьбу посерьезнее.

К сожалению, в книге обнаруживается не только незнакомство автора с нефтяной статистикой и методами ее использования, страдает и география, и метрология, и геология, и техника, и русский язык.

Штаты Северной Америки и ее нефтяные районы скачут в каком-то диком хороводе; вот некоторые из их новых, берзинских, названий, со всеми вариантами (стр. 34—36): Апалахен, Апполашин (в зависимости от немецкого или английского источника), Роки-Моутени, Роки-Мутен (т.-е. Скалистые горы), Иокогама (т.-е. японский порт вместо штата Оклагома), Иллиноа, Илиноа, Иллиона (т.-е. Иллинойс), Байоминг, Конзас и т. д. Перенесение некоторых штатов в Японию и Грецию проходит безболезненно и несколько компенсируется аннексией в пользу Соединенных Штатов Южно-Американской Республики Колумбии (стр. 58—«Получает большие концессии в Колумбии и других *штатах*», очевидно, по созвучию с одной из областей С. Америки). Надо думать, что, приняв во внимание платиновые богатства Колумбии, Соединенные Штаты будут благодарны т. Берзину за обмен.

Автором произведен ряд политических переворотов: «Смирна и Соллоники» (!) из городов превращены в страны (стр. 12), Голландская Индия разделена на два нефтедобывающих государства—Голландию и Индию (стр. 18). Особенно досталось Персии, очевидно, как стране, в которой хозяйничают все, кому не лень: месторождения Каср-и-ширин, Майдан-и-нафтун, города

Бендераббас, Хоремабад, Султанабад—все размножились, поделены на два, и о них пишут почтительно, во множественном числе с большой буквы. «Майдан и Нафтун являются», «Майдан и Нафтун признаны», «Каор и Ширин» (стр. 50), Бендер Аббас, Хорем, Абад, Султан, Абад (стр. 60), Ша эль-араб офранцузился и превратился в Ша-эль-арас (уже не французская ли это «экспансация», как говорит автор).

Берзин с неменьшей легкостью творит новые фамилии: главный геолог Геологического учреждения Соединенных Штатов Уайт превращается в Давида Вите (стр. 21), председатель Межсоюзнического Нефтяного Совета, Кадмен—в Ведмона (стр. 22), известный русский геолог нефтяник Чарноцкий—в Черпецкого (стр. 19), наконец, П. В. Оль, часть книги которого «Иностранные капиталы в России» целиком перепечатана на стр. 71—91, систематически именуется «П. Ойль» по какой-то новой специально нефтяной орфографии (интересно знать, как зовут «П. Ойля» по имени—не Петролеум ли?..).

С перепечаткой выдержек из книги этого нефтяного гомункулюса-Ойля, которые Берзин обещает «привести без изменения», произошли чудесные превращения. Капиталы обществ, действовавших в России, выраженные у Ойля в фунтах стерлингов, уменьшились в пять раз, ибо переданы у Берзина в тех же самых цифрах, но именуемых долларами (стр. 82—88), или совсем без указания монеты (стр. 79), тресты и компании неудержимо размножаются, напр., «Новое Акционерное общество Русский Стандарт» превратилось в два: Novelle Société и «Anonyme Standard Russe Co», или «О-во Грозненск. Нефтяного производства под фирмою И. А. Ахвердов и К-о»—в «О-во Грозненск. Нефть» и Производ. под фирмою «И. А. Ахвердов и К-о» (стр. 77); другие изменяют названия; из «Европейской Корпорации» получается «Евр. Кооперация», стр. 78).

Впрочем, и в принадлежащих ему строках Берзин не тверд в названиях трестов: каждый почти раз они пишутся в иной транскрипции; даже крупнейшие из компаний—«Royal Dutch» и «Shell transport and Trading Co» — делаются иногда так: Royal Durch Shell и Transport and Trading Co (стр. 65); во Франции появляется какой-то невероятный «Комиссариат Эссенции и Жидкого Топлива» (стр. 104), в Персии — банк Еастери быть Истерн-восточный?) (стр. 50).

Вообще автор все время старается перевести свой материал на русский язык, но это ему удается с трудом; буровые скважины именуются колодцами (стр. 41 и др.), районы—полями (стр. 111), нефтепаливной флот (Америки и Англии)—«танковым флотом» (стр. 99), на стр. 63 сообщается, что «Стандарт-Ойль и К-о» во всех странах располагает «мощными нефтяными рынками, возами для распределения нефти по складам».

Технические термины также домашнего изготовления: «теплопроводность одного пуда нефти» (стр. 6), «сланцевые земли» (стр. 38), «продуктивность нефти» (стр. 51), «самоупотребление промыслов» (стр. 34), «центродуженные насосы» (стр. 103) и т. п.

Конечно, часть этих достижений должна быть отнесена на счет небрежной корректуры; вот, например, явная опечатка: «О-во для хранения в банках и перевозки нефти» (в баках) (стр. 89), но печатавшая книгу типография известна, как исключительно аккуратная по корректуре и вся вина падает на издательство, выпустившее такую книжку, и на ее автора.

Безапелляционное заявление т. Берзина в начале книги, что до сих пор «вопрос о нефти не был изучен, разработан и освещен с достаточной полнотой» приходится оставить в силе (если считать его верным) и после выхода книги «Мировая борьба за нефть».

Книга Берзина напоминает славную русскую традицию—«шапками закидаем». На «левиафанов мирового империализма» мы идем с неверными цифрами, с смехотворными подсчетами, смешиваем все страны, путаемся в технике—и надеемся еще одержать «успех в сердце противника» (по терминологии автора). Очень сомнительно... Для этого нужно больше знаний, иначе наша роль «третьего смеющегося», которую так усиленно подчеркивает Берзин, может превратиться в роль Иванушки-дурачка, которого представитель «Американского Стандарта», приехавший в Москву, обведет

вокруг пальца, — обведет тем легче, что мы не знаем даже названий трестов и не можем сосчитать их дивиденды.

Сергей Обручев.

MAURICE PERNOT. La question turque. Paris, 1923, cher Bernard Grasset. P. 322.

МОРИС ПЕРНО. Турецкий вопрос. Париж. 1923 г. Изд. Берн. Грассэ. Стр. 322.

Перно во Франции считается одним из недюжинных знатоков Бл. Востока, который, однако, ни в малейшей мере не может быть отнесен к числу объективных академически-мыслящих исследователей ближне-восточных дел. Это—типичный до мозга костей шовинист и империалист, отдающий, однако, предпочтение знаменитой системе pénétration pacifique по отношению к странам «низшей культуры» и великолепно понимающий, что при помощи одного только бряцания оружием Франции едва ли удастся отстоять на Бл. Востоке свою долю «плодов победы». Главная и слишком прозрачная цель книги: сведение счетов с союзниками-англичанами, обнаружившими на Бл. Востоке свои «слишком эгоистические аппетиты» и крайнее вероломство по отношению к своим союзникам. Горечь обиды, нанесенной французским империалистам коварными сынами Альбиона, разлита по всей книге. У Перно, конечно, находятся достаточно вежливые фразы для протеста против британской политики, но это не мешает его книге быть одним из серьезнейших обвинительных актов против британской политики на Бл. Востоке. При всей ловкости и изворотливости автора ему, разумеется, все же не удается скрыть и основных пружин «туркофильской» политики Франции. Спор Перно с английскими колониальными кругами — типичный спор двух... воров о дубинке или еще проще: спор двух грабителей о том, как проникнуть в чуждой дом,—с оружием в руках или с скромной отмычкой. Да простит читатель это режущее мягкий слух сравнение,—но иного впечатления книга Перно не оставляет. Критикуя британскую политику на Бл. Востоке, П. упрекает англичан в том, что они не хотят считаться с основным духом времени, требующим раскрепощения угнетенных народов Востока, и хотят навязать Турции свое влияние силой. Напротив, Франция относится к национальной независимости турок с глубоким уважением; стремления французов сводятся лишь к насаждению влияния своей превосходной культуры мирными путями. Автор—ярый католик—отводит не мало места «гуманной» деятельности католических миссионеров на Бл. Востоке, что не мешает ему на стр. 264 неожиданно расшифровать основную цель миссионерской работы в следующих словах: «Конечно, миссионеры никогда не упускали из виду ни экономических ни политических интересов своих стран». С нескрываемой завистью говорит Перно об огромных успехах, одержанных за последнее время по части «мирного проникновения» в Турцию американским капиталом. За один сентябрь месяц 1921 года американцами ввезено в Константинополь товаров на сумму в 203 милл. пиастров, превышающую сумму ввоза из всех остальных стран (включая и Англию). Вот—истинная подоплека жалоб Перно на победы, одержанные протестантизмом над католицизмом на Бл. Востоке. Автор заверяет, что Америка так прочно укрепилась теперь в европейской и азиатской Турции, что вряд ли она позволит теперь принять союзникам какое-либо существенное решение об ее судьбе без прямого участия и давления Америки. Япония, не имея такого влияния, как Америка, однако, по словам автора, так же не собирается умыть руки в турецком вопросе, прекрасно поставила свою шпионскую работу и следит за малейшими событиями в М. Азии и на Кавказе.

Таким образом, Перно излагает современный турецкий вопрос, как проблему не европейского, а международного характера. На этот его тезис и данные, приводимые в подкрепление его, несомненно, следует обратить серьезное внимание всем изучающим турецкий вопрос. В основе этого вопроса,

однако, остается англо-французское соревнование,—откровенная борьба между грекофильской ориентацией англичан и туркофильской политикой французских империалистов. Автор дает достаточно подробную и откровенную, местами весьма красочную картину борьбы двух хищников—британского и французского империализмов, подробно излагает все безнадежные попытки примирить их противоречивые интересы сначала в уродливом и ублюдочном Севрском договоре, затем в целом ряде попыток на европейских конференциях. Можно только пожалеть о том, что книга, хотя и выпущена в 1923 г., но не дает еще любопытной картины борьбы союзников на Лозаннской конференции. Борьба Англии и Франции за влияние в Ангоре, а так же история возникновения и развития кемалистского движения занимают в книге Перно центральное место. Не меньше внимания уделяется автором и «русскому вопросу», т.-е. взаимоотношениям Ангоры и Москвы. Ярый враг Советской России, Перно все же отдает должное ее умелой политике (припутывая, конечно, на каждом шагу «русско-германские интриги») и направляет много отравленных ядом стрел по адресу британской дипломатии, не сумевшей, вместе с французами, превратить Ангору в барьер против России вместо того, чтобы помочь им протянуть друг другу руки. Перно пытается доказать, что сами кемалисты горько жалеют об этом. Вот один из разговоров с вождями кемалистов, часто цитируемых автором, на эту тему. Собеседником Перно был Изет-паша, глава турецкой делегации в Лозанне. Беседа происходила в июле 1921 года, когда союзники—после поражений, нанесенных кемалистам греками—особенно опасались военного сближения Ангоры с Москвой. «Вы знаете,—сказал Изет-паша,—до какой степени я ненавижу большевиков. Я не думаю, чтобы Мустафа-Кемаль любил их больше. Только жестокая неотвратимая необходимость могла бы заставить нас открыть им ворота. Но почему другие допустили такое положение? Почему не использовали нас, согласно с нашими устремлениями? Мы обладаем всем необходимым для того, чтобы представлять надежный оплот против России *и сильную фланговую позицию* (курс. авт.), о которую разбивались бы все попытки напасть на Месопотамию или Индию».

Перно горько сетует на то, что, увлеченные своими узко-эгоистическими расчетами, англичане отвернулись от Ангоры, дав утвердиться в ней русскому влиянию, связав судьбу своей ближайшей политики с Грецией. Слово «связать», однако, не следует, по его мнению, понимать слишком буквально для Англии. Перно вынужден признать, что обе комбинации разрешения турецкого вопроса, усиленно выдвигаемые Англией за последнее время, глубоко продуманы британской дипломатией и одинаково для нее беспроигрышны. Для Англии совершенно безразлично, отдать ли Константинополь грекам или самой утвердиться в ней; Греция, не имеющая ни флота ни денег, конечно, может быть только вассалом Англии. Интернационализация Константинополя даст те же результаты. Англия, располагающая самым сильным флотом, и будет осуществлять фактически контроль проливов...

Следует отметить, что, несмотря на резко выраженные тенденции автора, плохо скрываемые выспренней, чисто-галльской болтливой и лицемерной «словесностью», книга Перно дает много ценного материала рядовому читателю для уяснения сложной турецкой проблемы. Русский читатель, отбросив рассуждения Перно, извлечет из нее все же много ценного фактического материала. Так, он дает весьма любопытную картину нравов и экономического положения современного разноязычного Константинополя, раздираемого на части борьбой различных чужеземных (вернее, союзнических влияний). Значительное место в этой картине уделено и русской эмиграции. Ценно и приложение к книге: ряд исторических документов, из которых многие опубликованы впервые, рисующих важнейшие этапы развития кемалистского движения, «дружественного» нам и все же, в существе своем, малоизвестного в России...

Герм. Сандомирский.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ И НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

1. Проблемы восстановления европейского железнодорожного транспорта. *М. Павлович.* — 2. С. С. ЗАК. Организация труда и капитала. *Ф. Капелюш.* — 3. КАЛИНА-АЙЗЕНБУХ. Рабочий вопрос в свете классической политической экономии. *В. Яроцкий.*— 4. В. СМУШКОВ. Экономическая политика РСФСР. *В. Сарабьянов.*—5. Проф. А. Н. КОСТЯКОВ. Задачи и нужды исследований в области мелиораций в России. *А. А. Бессер.*— 6. С. Н. ПРОКОПОВИЧ. Сельско-хозяйственная кооперация и бюджет крестьянского хозяйства. *Г. Эльяшев.*—7. А. САПЕГИН. Вариационная статистика. *С. Бобров.*

ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. Сборник статей, извлеченных из The Reconstruction In Europe—специального приложения к газете Manchester Guardian Commercial, выпуск VII, 7 сентября 1922 г., под редакцией Джона Мэйнарда Кейнса. Перевод под редакцией Ал. Зака. Стр. 75. Издание редакционно-издательского отдела Н. К. П. С. Москва.

Джон Мэйнард Кейнс (John Maynard Keynes), автор двух книг о Версальском мире, получивших всемирную известность, предпринял в последнее время агитацию в мировом масштабе за восстановление хозяйственной жизни Европы и борьбу с гибельными последствиями войны и условий мирных трактатов. Под его редакцией во второй половине 1922 г. газета «Манчестер Гардиан» издает ряд специальных приложений сборников статей выдающихся авторов-специалистов со всех концов Западной Европы, посвященных характеристике положения различных отраслей народного хозяйства отдельных европейских стран и проблемам восстановления их хозяйственной жизни.

Сборники издаются под общим заглавием: «Восстановление в Европе»—на пяти европейских языках: английском, немецком, французском, итальянском и испанском. Рассчитаны они на самый широкий круг образованных читателей и написаны вполне популярно. Редактор извлек из выпуска VII от 7 сентября 1922 г., посвященного железнодорожному хозяйству и тяжелой индустрии (углю, железу, стали и машиностроению), весь отдел о железнодорожном транспорте.

Статья лорда Монтегью оф Болье: «Железнодорожный, автомобильный и воздушный транспорт в будущем», пытается установить, насколько автомобили и аэропланы, эти новые конкуренты железных дорог, грозят отодвинуть их на второй план.

Лорд Монтегью делает такое резюме, очерчивая вероятное поле деятельности каждого из видов транспорта: «На расстояниях до 250 миль по будущим улучшенным шоссе будут преобладать автомобили; на расстояниях от 250 до 500 миль смогут развить свою деятельность аэропланы; для путешествий свыше 500 миль, т.-е. длиннее дневного пути как национальных, так и международных, как континентальных, так и вне континента, для путешествий в Египет, на Восток и в Африку лучшим средством передвижения окажется дирижабль. Железные дороги также будут иметь свою особую область и пробьются в определенном направлении, если только они подтянутся и поймут, какие новые соперники у них появились».

В статье «Современные перспективы британских железных дорог» Р. Л. Веджвуд жалуется на невероятное повышение стоимости рабочих рук и ухудшение положения жел. дор. Необходимость сокращения расходов повела к слиянию (фузии) железных дорог по железнодорожному акту 1921 года. Образованное тарифное бюро обещает уладить все трения между промышленностью и транспортом.

В статье «Европейские транспортные проблемы» («Проблемы европейского транспорта». В. Ч.) Френсис Дент подчеркивает полнейшую усталость и бунт

против всякой дисциплины в среде железнодорожных рабочих, далее—падение квалификации труда и разрыв международных сообщений. Конференции в Стрезе и Порторозе наметили пути восстановления международных связей.

Проф. Клеман Кольсон в статье: «Французские железные дороги», указывает, что разрушение немцами железных дорог требует $2^1/_2$ миллиардов франков на восстановление и, кроме того, 5 мрд. фр. составляет дефицит, непосредственно вызванный войной. Это одно из самых тягостных наследий войны. Вследствие введения восьмичасового рабочего дня (согласно 372 ст. Версальского договора, французские железные дороги вынуждены были увеличить служебный персонал на 30%, что повело к увеличению издержек производства. Вообще повышение цён, вызванное бумажной инфляцией, не покрывается для железных дорог тарифами, и железные дороги Франции, давшие в 1913 г. всего 75 милл. фр. дефицита, дали его в 1920 г. 2.925 милл. фр., а в 1921 году — 1960 милл. фр.

В статье «Новый вид транспорта» Харольд Бэкер знакомит с шоссейно-рельсовой системой («Roadrailsystem»), не требующей земляных работ.

Эта система достигает значительного уменьшения сопротивления движению и пользуется малой силой тяги. Система эта уже применяется с успехом в африканских колониях Англии (в Уганде и Родезии).

Статья Г. Франке «Работоспособность германских железных дорог после войны и стоимость их восстановления» дает картину тяжелого положения германской жел.-дор. сети. Причины тому: 1) перенапряжение сети во время войны, 2) передача союзникам по Версальскому миру 3.000 локомотивов и 150.000 вагонов, 3) отход к союзникам ряда линий и сортировочных станций, 4) падение трудовой дисциплины железнодорожного персонала, 5) расчленение Австро-Венгрии и России и 6) упадок международного товарообмена. И все же замечается как будто некоторое улучшение, дефицит с 15,6 миллиарда в 1920 году упал до 6,9 марок в 1921 г. Увеличение тарифов в 1922 году равно 130-кратному увеличению прежних ставок (стр. 451). Надо отметить, что в числе мер улучшения работ железных дорог (повышение тарифов, сокращение расходов) германское правительство намечает также выделение железнодорожного хозяйства из общего бюджета. Крайне тягостно отражается на германских железных дорогах распространение принципа наибольшего благоприятствования на железнодорожные тарифы по ст. 365 Версальского мирного договора. Лишь возвращение германским железным дорогам права независимой тарифной политики может их вывести, по мнению автора, из их тяжелого состояния (стр. 48).

В статье о польских железных дорогах приводятся любопытные цифры о разрушении железных дорог в Польше во время мировой войны. Когда немецкие и австрийские войска покинули в 1918 г. Польшу, было *взорвано на воздух 7500 мостов, включая сюда 249 мостов длиной свыше 20 метров, 9 ремонтных мастерских, 47 паровозных депо, 93 железнодорожных станции.*

Все статьи сборника подчеркивают необычайно тяжелое положение европейского железнодорожного транспорта. Фрэнсис Ден характеризует современное состояние «как *своего рода железнодорожный паралич*» (см. стр. 28). Монтегью Болье говорит о тяжелом финансовом положении европейских железных дорог, об их убыточности и отсутствии каких-либо перспектив на лучшее будущее в этом отношении (стр. 9). Вообще из сборника явствует, что не только у нас, в Советской России, железнодорожный транспорт крайне расшатан.

К сожалению, почти все статьи сборника проникнуты насквозь архи-буржуазной, эксплуататорской точкой зрения. Главную причину железнодорожного кризиса и паралича авторы статей видят в «невероятном повышении стоимости рабочих рук» (стр. 20), в «полнейшей усталости рабочих и *бунте против всякой дисциплины*» (стр. 27), в восьмичасовом рабочем дне (стр. 33) и т. д... «Можно, пожалуй, без преувеличений сказать,—плачется Фрэнсис Дент,—что после войны большинство мужчин перестало считать необходимым повиновение указаниям начальства» (стр. 27).

Очень жаль, что редакционно-издательский отдел Н. К. П. С. не предпослал сборнику соответствующего предисловия, в котором были бы выяснены истинные причины всеобщего кризиса железнодорожного хозяйства и подчеркнута крайняя тенденциозность статей, напечатанных в сборнике.

Мих. Павлович.

С. С. ЗАК. Организация труда и капитала. Издание автора. Одесса. 1922 г. Стр. 120.

Эта содержательная книга представляет серьезный вклад в нашу экономическую литературу.

Автор дает сжатую, но исчерпывающую (доведенную до войны) историю организаций промышленников и рабочих и освещает их значение и взаимодействие между ними. Из обилия приводимых им исторических, статистических и экономических фактов мы постараемся привести здесь, поскольку позволят размеры рецензии, самое главное.

До середины XIX века о внутрикапиталистической конкуренции, или, что то же самое, о внутриклассовой буржуазно-капиталистической борьбе, в единственной для того времени капиталистической стране, Англии, нельзя было еще говорить. Бывали, конечно, и в это время в Англии кризисы, но они оканчивались открытием новых рынков сбыта. Что отмеченная Марксом заминка в росте числа хлопчатобумажных предприятий была связана именно с хлопковым голодом, показывает то обстоятельство, что в других отраслях промышленности остановка произошла гораздо позже. Великий промышленный кризис 1873 г. дал капитализму толчок к созданию нового оружия для самозащиты, а именно, «капиталистической организации промышленности»: картелей, трестов и т. д. «Оружие это во время Маркса не могло быть предусмотрено в том виде, в каком оно отлилось впоследствии».

Германия стоит во главе той группы государств, которые организуют свою промышленность по типу картелей. Она первая, еще в 80-х годах вступила на этот путь (в 60-ые и 70-ые годы учреждено было здесь только 5%). К немецкому типу примыкает также Россия и тоже с 80-ых годов (объединения, которые наблюдались, например, на Нижегородской ярмарке еще в 40-х годах для фиксации цен, «нужно считать обыкновенными купеческими стачками»). Переходное положение от картелизации к трестизации занимают Швейцария, Италия, Испания, Швеция, Япония. Бельгия своеобразна тем, что устраивает промышленные организации в других государствах, при чем большей частью тресты. Своеобразность Франции заключается в том, что ее промышленные организации тесно связаны с союзами работодателей: кроме того, как картели, так и тресты построены здесь на принципе полной децентрализации управления. В Англии более развиты тресты; но автор подчеркивает, что линия, отделяющая трест (или фузион) от акционерного общества, до того незаметна, что их можно отличать только по субъективным признакам. Для английской промышленности характерно широкое распространение центральных и чаще всего местных бирж. Так, владельцы копей и железных заводов каждого промышленного района еженедельно собираются с большой аккуратностью на металлических биржах, а представители районов каждые четверть года собираются в Бирмингаме. Страною трестов par excellence являются Соединенные Штаты. Что касается международных комбинаций, то Лифман насчитывает их не менее 100. Ланц исчислял до войны капитал картелей и трестов всего мира в 225 миллиардов франков, т.-е. в 50% всего промышленного капитала, но эти цифры только догадки.

Автор констатирует, как бесспорный факт, что картельное движение развивается не только в эпоху кризисов, но еще сильнее—в эпоху промышленного оживления. Объясняет это тем, что если кризис 70-ых годов привел капитал к идее монопольных организаций, то процесс консолидации промышленности должен был затем развиваться уже самостоятельно. По вопросу о взаимодействии между картелями и таможенными пошлинами автор выступает против мнения, что картели возникли для того,

чтобы в полной мере использовать пошлины; вернее то, что только внешняя конкуренция мешала им явиться раньше. Чем большее место сравнительно с экспортом занимает внутреннее потребление, тем более благоприятна в стране почва для картелей. Лифман стоит на обратной точке зрения, но он вместо целесообразности картелей постулирует здесь потребность в них. В Англии доминирует производство для экспорта, вот почему в Англии организация промышленности идет в сторону амальгамаций, отчасти трестов—*для удешевления производства*,—а также интернациональных картелей. Это очень важное утверждение автора. Поэтому не случайность, говорит он, что в одних государствах растут, главным образом, картели, в других—фузионы или амальгамации, в третьих—тресты. (К сожалению, автор нигде не дает сравнительного определения этим трем последним понятиям; в других местах автор отождествляет трест и фузион; на кардинальной проблеме, удешевляет ли трест производство в отличие от картели, тоже следовало бы автору остановиться подробнее.

Не только картели, но «союз трестов» бессильны против кризисов. Автор соглашается с R. May (Das Grundgesetz der Wirtschaftskrisen. Berlin. 1902), что капиталистическая организация промышленности лишь еще усиливает тенденцию к перепроизводству и, следовательно, к кризисам. Анализ цифр приводит автора к выводу, что в Соединенных Штатах, благодаря трестам, не удается даже противодействовать удорожанию товаров, несмотря на удешевление производства. Итак, тресты здесь (в отличие от Англии—это автор специально подчеркивает) не удешевляют производства, так же, как и картели. Лескюру, объясняющему бессилие картелей против кризисов их системой ограничения производства, автор возражает, что нередко именно в период кризисов прибегают к еще большему повышению цен, очевидно, для покрытия потерь от убыточного экспорта, которым картели борются с переполнением внутренних рынков. Так, например, в результате политики рейнско-вестфальского угольного синдиката цены стояли выше обычного уровня именно тогда, когда по логике вещей, а именно во время кризисов, они должны были бы быть низкими. Другой политики придерживается организация железной промышленности в Соединенных Штатах; там годы кризисов отмечаются сравнительно низкими ценами.

Однако, как кризис 1900—1902 гг., так кризис 1907—1908 гг. показали, что промышленные организации в состоянии сделать кризисы менее продолжительными. В прежние времена кризисы редко затягивались менее, чем на 3—4 года; кризис 1836 г. окончился в 1852 г. Ныне же продолжительность кризисов сокращают до 2 и даже до одного года. (Заметим, что проф. Ледерер придерживается того же мнения относительно послевоенного мирового кризиса: госбанк Соединенных Штатов заблаговременно поднял учет, этим ускорил, но зато и ослабил кризис.) Значит ли это, спрашивает автор, что кризисы становятся также и менее вредны? Потери от сокращения производства, в частности выплавки чугуна, теперь за 1 год бывают равны 39%, тогда как прежде за 6 лет составляли 84%. В прежнее время вовсе не было обязательно, чтобы кризисы сопровождались сокращением производства; напротив, пока предприниматели действовали врозь, начало кризиса всегда сопровождалось даже расширением производства—этим они старались парализовать потери от упадка цен. Теперь же стальной трест Америки за один 1908 год сокращает свои обороты с 760 миллионов долларов до 483, при чем на мостовую были выброшены 44.869 или почти 21% его рабочих. Автор отмечает также, что за последние 15 лет максимум банкротств приходится не на годы кризисов или близкие к ним, а на годы оживления, т.-е. обостренной конкуренции.

Организация промышленности — резюмирует автор—несомненно, действует на буржуазные классы благотворно. Лифман считает бесспорным, что она благотворна и для рабочих, обеспечивая им работу. Это безусловно неверно. Для рабочих вполне безразлично, состоит ли контингент, очутившийся на мостовой, из рабочих окончательно закрывшихся или только сократившихся пред-

приятий. Зато им далеко не безразлично, сокращается ли производство, как теперь, сразу, захватывая врасплох громадные массы людей, или это сокращение растягивается, как прежде, на многие годы. Здесь интересы рабочих идут в разрез с интересами организации производства, возможной при капитализме. Некоторые авторы полагают, что убыточный экспорт облегчает положение рабочих; однако, этот экспорт наиболее распространен в тяжелой индустрии и, уменьшая количество сырья в стране, уменьшает также спрос на труд, следовательно, наоборот, вреден. Впрочем, вреден и убыточный экспорт готовых фабрикатов, так как повышает внутренние цены и уменьшает емкость внутренних рынков. Наконец, этот экспорт становится все менее возможным, его вытесняют интернациональные картели.

В лучшем случае тресты стараются привлечь и сохранить у себя наиболее квалифицированных рабочих; оттого и заработная плата здесь бывает выше. Но зато стальной трест Америки, пользуясь всяким понижением конъюнктуры, предпочтительно останавливал или вовсе ликвидировал те предприятия, в которых рабочие были хорошо организованы. Даже картели дают работодателю сильное оружие против рабочих, освобождая его от всяких обязательств в момент стачки и, тем не менее, оставляя за ним право на участие в прибылях. Промышленные организации всегда дополняют собою профессиональные союзы работодателей, они сделали их вообще возможными.

В дальнейшем изложении автор переходит к истории организации рабочих. Так как эта тема в нашей литературе освещалась не раз, мы не будем здесь подробно следовать за автором, будучи вынуждены экономить на размерах статьи. Заметим только, что изложение автора отличается систематичностью и богатством фактического материала.

Остановимся еще на истории работодательских организаций. Старейшие из них мы находим в Англии еще в 30-х годах. В 1902 году число их подымается до 846, в 1908 г.—до 1025. Где сильнее и сосредоточеннее рабочее движение, там также более распространены и централизованы союзы работодателей. Конечно, эти союзы широко практикуют так наз. черные списки и т. д.; но к наступательным действиям против рабочих они долгое время не прибегали, наоборот, часто видели свою единственную задачу в планомерных сношениях с тред-юнионами. Накануне войны происходит перелом в этой тактике. В Штатах с начала XX века начинают сильно размножаться работодательские союзы боевого классового типа. Во Франции в 1890 г. имеется 1004 синдикатов хозяев с 93.411 членами, в 1913 г.—5053 синдиката с 422.000 членами. Центральная федерация их, между прочим, возбудила даже судебное преследование против врачей за выдачу будто бы фиктивных удостоверений рабочим о последствиях увечий. Важную роль в организации хозяев играет страхование на случай стачек, а также локаутов. В Германии в 1904—1910 гг. число членов в организациях хозяев дает в среднем ежегодный прирост свыше 27%. Такого усиленного роста мы не находим у рабочих даже в самые счастливые эпохи развития рабочего движения. По далеко не полному подсчету работодательские организации Германии в 1909 году контролировали рабочую армию в 3.855.000, тогда как цифра организованных в профсоюзы рабочих составляла тогда в Германии только 2.890.000. Международные организации работодателей имелись до войны в судоходстве и в строительном деле. А по всем отраслям промышленности они существовали для трех скандинавских стран.

«Паритетные соглашения», которые буржуазные писатели считают «наилучшей формой умиротворения труда и капитала», на самом деле являются лишь перемирием для сторон. Очень интересные факты и цифры автор приводит о наступательных и оборонительных стачках рабочих; последние возрастают гораздо быстрее. Характерно следующее: имея опору в страховании, предприниматель все чаще прибегает не столько даже к локауту (объявление его требует разрешения работодательского союза), сколько провоцируемым им стачкам. Во время кризиса 1908 г. число стачек в Германии не уменьшилось именно благодаря таким провоцированным стачкам. «*Прошло*

время, когда забастовки были пугалом для работодателей. Она стала, напротив, чуть ли не обыденным тактическим приемом их».

«Промышленный капитализм никогда не исчерпывал собою всего, что понимают под капиталистическим строем». «Обезличение предприятий (в трестах) вовсе не то же самое, что их обобществление». В корне неправильна поэтому мысль, впервые формулированная Шенланком и подхваченная Зомбартом, что тристизация явится чуть ли не выходом из классовой борьбы. Каутский, в свою очередь, находит, что союзы работодателей могут «преградить дорогу» профессиональному рабочему движению; рабочая борьба под напором организованной буржуазии теряет смысл, ее место должна занять борьба политическая. Легин, Р. Шмидт и др., напротив, подчеркивают, что тактика локаутов встряхивает также индифферентных рабочих и толкает их в союзы. Гильфердинг пытается примирить оба взгляда; выход он, подобно Каутскому, видит в переходе к политической борьбе. На основании анализа цифр членов рабочих союзов в XX веке наш автор приходит к заключению, что усилившийся темп рабочего движения, в ряду других причин, вызван также движением работодателей. Когда работодатель прибегает не к локауту, а к провокации стачки, это доказывает, что он с самого начала сознает слабость своей позиции; но оборонительные стачки всегда бывают для рабочих дороже, чем наступательные; еще дороже для них локауты (в книге приводится статистика). После 1908 г., вплоть до войны, процент успешных стачек в Германии увеличился, но зато в локаутах усилились удачи хозяев; очевидно, локауты сделались более агрессивными, а рабочие к стачкам прибегают более осмотрительно. В Англии годы накануне войны были для рабочих в отношении стачек менее удачными, точно так же в Соединенных Штатах, в Германии и Франции автор тоже констатирует, что организация работодателей, безусловно, ослабляла боевую устойчивость труда. «О кризисе стачки сами рабочие говорили накануне войны все чаще и настойчивее».

В заключение отметим следующее: на стран. 26-й автор говорит о проф. И. Гольдштейне, как об «единственном в русской литературе серьезном исследователе картелей». Нисколько не умаляя заслуг этого ученого, мы все же должны протестовать против такого утверждения. Укажем на работу столь серьезного экономиста, как Г. Циперович.

Ф. Капелюш.

КАЛИНА - АЙЗЕНБУХ. Рабочий вопрос в свете классической политической экономии. Изд-во «Московский Рабочий». Москва, 1923 г. Стр. 104. Цена не указана.

Т. Ш. Двойлацкий, в предисловии к диссертации т. Калины-Айзенбух, так характеризует эту работу: «выполнена вполне добросовестно, и мы не сомневаемся, что она окажет неоценимую услугу и слушателю партийной школы, и студенту факультета общественных наук, и просто читателю, интересующемуся историей общественной мысли вообще и политической экономии в частности. Нелишне отметить, что предлагаемые очерки написаны достаточно популярно и требуют лишь общего знакомства с экономической наукой».

С этой оценкой как будто и можно согласиться. В самом деле, т. Калина-Айзенбух (которого, кстати, переводчик величает то Айзенбухом, то Эйзенбухом—ср. обложку и титульный лист) добросовестно (как и полагается для диссертации) подобрал все то, что можно разыскать у классиков политической экономии по рабочему вопросу. Он не ограничился лишь изложением точек зрения Адама Смита, Рикардо, Мальтуса, Сэя и Милля, но и попытался осветить эти точки зрения анализом экономики соответствующего периода. Он затем совершенно верно характеризует отношение классиков к рабочему вопросу, как «игнорирование»: «Внешним признаком единства взглядов ее представителей,—говорит, напр., он на стр. 97 своей работы,—если оставить в стороне Милля, является нечто негативное, а именно, то обстоятельство, что для всех классиков не существует рабочего вопроса в современном смысле слова. Для них, как, напр., для Смита и Сэя, рабочие существуют,

как отдельные личности, но не как класс. Остальные авторы, как, напр., Мальтус и Рикардо, рассматривают рабочий вопрос, как проблему заработной платы, бедности и народонаселения, и связывают его решение с урегулированием или смягчением этих проблем». И, наконец, у него намечается совершенно правильная оценка влияния социально-экономических отношений каждого периода на отношение классиков к рабочему вопросу. «Независимо от персональной симпатии или антипатий того или иного представителя этой школы к рабочему классу, их труды представляют собою теоретическое выражение их эпохи, т.-е. тех экономических и социальных отношений, которые были тогда господствующими. Эти экономические и социальные отношения наложили также свой отпечаток на позицию, занятую классической политической экономией в рабочем вопросе. Словом, т. Калина-Айзенбух дал в своей работе действительно добросовестное марксистское освещение взглядов классиков политической экономии на рабочий вопрос. Но...

Но, во-первых, согласиться с оценкой т. Двойлацкого не позволяет то обстоятельство, что не всякая добросовестно написанная диссертация имеет право на то, чтобы служить пособием даже для студентов. Мы несколько перегибаем палку в обратную сторону вообще, когда издаем для студентов наших университетов и партшкол пережеванные и «популяризированные» до нельзя работы, вместо того, чтобы заставить их самих надлежащим образом поработать. Для каждого марксиста необходимо проделать ту работу, какую т. Калина-Айзенбух проделал для своей диссертации. И дать ему работу т. Калины, вместо того, чтобы заставить его самостоятельно проследить ход развития взглядов классиков политической экономии на рабочий вопрос, значит совершить большое нарушение основных положений педагогики.

Во-вторых, работа т. Калины вовсе не блещет какими-либо исключительными достоинствами, чтобы ее можно было выделить в разряд диссертаций, особо заслуживающих перевода и издания на русском языке. Кроме добросовестной разработки вопроса, мы, признаться, ничего в ней самостоятельного и яркого не усмотрели. Просто-напросто—хорошо написанная студенческая диссертация, каких и у нас в лекторских группах и в институте красной профессуры теперь пишется немало. Эрудиция т. Калины в вопросе о состоянии промышленности и хозяйства в соответствующие периоды, о положении рабочего класса—не идет дальше общеобязательного для марксиста минимума: «Капитал» Маркса, «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса и работы Ностица и Веера—составляют фактически весь багаж, который использован т. Калиной для характеристики положения рабочего класса и состояния производственных сил. Не кажется ли этот багаж читателю несколько маловесным для диссертации, которую стоит перепечатывать на русском языке? Ведь, повторяем, указанные работы являются фактически минимумом для всякого марксиста, который прошел уже начальные ступени марксистских кружков...

Наконец, тот вид, какой работа Айзенбуха приобрела в русском переводе, тоже не придает ей ценности. Не говорим уже о массе опечаток. Несмотря на зеленую вклейку с перечислением замеченных опечаток, неисправленных остается чрезмерно много. Однако, более существенно то, что язык русского перевода отличается всеми достоинствами ученического перевода: «Период, на который падает теоретическая и политическая деятельность Джона Стюарта Милля», «первым открытием в этой области была машина *Дженни*» (читатель, незнакомый с историей изобретений, в «прядильной дженни» усмотрит, пожалуй, имя изобретателя «Дженни», никогда не существовавшего); «вторым и *решающим прядильный станок* (ватерная машина)» (вместо «водяная рама») и т. п. фразы делают книгу чрезвычайно удобочитаемой...

Было бы гораздо более целесообразным издать несколько диссертаций, написанных нашими собственными слушателями института красной профессуры, чем переиздавать в русском переводе добросовестную, но ничего исключительного собою не представляющую диссертацию Калины-Айзенбуха.

В. Яроцкий.

В. СМУШКОВ. Экономическая политика РСФСР. Издан. «Красная Новь». 1923 г. Стр. 148.

Автор имел в виду написать учебник по НЭП'у, приспособленный для неподготовленной аудитории.

В большой степени ему это удалось: язык популярный, архитектоника удачна, подзаголовки отдельных параграфов имеются.

Как единственную книгу, охватывающую нашу политику в отношении всех главных отраслей хозяйства, мы ее смело рекомендуем читателю и педагогу.

Но именно потому, что она единственна и обладает большими достоинствами, мы должны подчеркнуть те недостатки, которые нами в ней усмотрены. Прежде всего, совершенно недопустимо в учебнике проводить в больших вопросах *свою* точку зрения, *замалчивая иные* позиции. Не знаем, сознательно ли т. Смушков проводит такое замалчивание, но оно имеется. Так, напр., на стр. 8 он категорически утверждает, что пролетариат, захватывая власть в стране развитого капитализма, может очень просто организовать социалистическое хозяйство: «менять что-либо в работе сразу не нужно, нужно только немедленно сменить управление, посадив вместо капиталистов—рабочих».

Т. Смушкову должна быть известна точка зрения т. Бухарина («Экономия переходного времени»), противоположная только что изложенной. Да и противники последнего тоже едва ли согласятся с утверждением, слишком легким, т. Смушкова. Нужно было указать читателю, что по этому вопросу имеются разногласия.

Не менее существенно замалчивание и разных толкований термина «государственный капитализм». Одни, в том числе и автор, понимают под ним такое положение, когда «государство становится само капиталистом, притом наиболее крупным, и как капиталист начинает вести борьбу с другими более мелкими капиталистами» (15 стр.), другие, напротив, крупную промышленность в руках пролетарского государства считают элементом социализма. Здесь замалчивание последней точки зрения особенно вредно, так как едва ли толкование «государственного капитализма», даваемое автором, приемлемо для значительной части партии. Ведь мы знаем, какова категория «капитализма», и притянуть в нее госпромышленную экономику можем только с бесчисленными оговорками, совершенно уничтожающими самое понятие: «капитализм».

Ленин насчитывает 5 бытов в Советской России, из которых самый совершенный—социализм, а перед ним стоит государственный капитализм. Ленин под последним понимает самый доподлинный капитализм, который пролетарское государство старается, опираясь на экономическую и политическую свою мощь, ввести в русло, выгодное государству. Государственный капитализм в Советской России есть арендаторы, концессионеры, кустари, производственная кооперация и т. д. Такое понимание вполне соответствует вполне точному термину: «государственный капитализм».

Об этом автор даже не упомянул.

Местами он грешит либо слабым знанием НЭП'а в отдельных отраслях хозяйства, либо непониманием основных вопросов нашей политики. Так, напр., он пишет: «Госпромышленность объединяется в тресты и комбинаты, постепенно увеличивая величину каждого объединения и сокращая их число, т.-е. стремясь к полному объединению всей госпромышленности в одно целое хозяйство».

Как известно, если мы и сокращаем число трестов, то вовсе не для того, чтобы «увеличить величину» каждого объединения. Дело не в величине, а в рациональной организации, в создании соответствия частей объединения. Да и самая задача путем укрупнения создать «полное объединение всей госпромышленности в одно целое хозяйство» утопична, а в худшем случае возвращает нас к главкам-центрам.

Очередная задача районирования—о чем, между прочим, т. Смушков почти ничего не сказал—не содействует такой централизации, а, напротив, требует организации порайонных трестов. Неверно, также, и следующее замечание автора: «В то время, как в условиях старой экономической политики в Советской России ВСНХ одновременно регулировал и управлял промышленностью, в

условиях новой политики он управляет госпромышленностью в то время, как регулирует хозяйственную жизнь СТО»...

Может-быть, автор по-своему понимает термины: регулировать, управлять. В литературе же их понимают так, что ВСНХ именно при НЭП'е перестает управлять—это дело трестов и ВСНХ,— а занимается регулированием.

СТО регулирует *всю* хозяйственную жизнь, а ВСНХ — жизнь промышленности.

В параграфе об «отрицательных явлениях» НЭП'а автор наивно перечисляет пустяки—«рестораны, кафе, театры легкого содержания»—и молчит далеко не о пустяках,—о росте наших классовых врагов. Т. Смушков даже не молчит, а говорит, что мероприятия, вытекающие из НЭП'а, «ни в коем случае не изменяют политического соотношения классов». Автор слишком «услужливо» защищает НЭП. Но ведь это неверно, т. Смушков!

Наивно звучит и такое соображение автора:

«Частное капиталистическое производство было окончательно разрушено, возможность возврата к старому была потеряна, так как переброска машин из одной фабрики в другую, переформирование, перевод на другое производство предприятий,—все это уничтожило старые капиталистические отношения» (31 стр.). Это не только наивно, но и грубо ошибочно.

Дело в диктатуре пролетариата, а не в переброске машин. Если бы буржуазия вернулась к власти, «переброски и переформирования» ни капельки не помешали бы установить капиталистические отношения.

Как-то странно звучит формулировка одного из «итогов работы за 1917 — 1920 гг.» — борьба с бюрократизмом, упрощение счетоводства и канцелярской волокиты» (31 стр.).

Но ведь нам известно, что одним из итогов, подведенных в 1920 г., были как раз волокита, бюрократизм и «дождь анкет».

Помимо этих ошибок, мы имеем ряд других, иного порядка. Совсем неверно, что СЭП «особенно сильно» разрушал сельское хозяйство. Напротив, промышленность пострадала значительнее. В отделе о налогах ничего не сказано о подоходном налоге, волнующем сейчас наших плательщиков. В отделе сельского хозяйства нет ни слова о пользе и значении национализации земли, а в отделе о торговле — о споре хозяйственников, как бы сохранить монополию внешней торговли и усилить хозорганы на заграничных рынках. Много и других недочетов. Автор должен 2-ое издание переработать, так как положение обязывает: книга т. Смушкова не может не стать учебником, пока другие не, написаны.

В. Сарабьянов.

Проф. А. Н. КОСТЯКОВ. Задачи и нужды исследований в области мелиораций в России. Материалы работ Опытно-мелиоративной части Н. К. З. Выпуск 24. Изд. «Новая Деревня». Москва. 1923 г. Стр. 139.

Работа проф. А. Н. Костякова представляет собою детализованную сводку основных положений о задачах и нуждах исследований в области мелиорации в России, одобренных Всероссийским съездом по сельско-хозяйственному опытному делу в 1921 г., Техническим Комитетом Управления Мелиорации Н. К. З. и Всероссийским съездом мелиораторов в 1921 г.

Выработать конкретный общий план последовательного развития опытно-мелиоративных исследований в смысле изучения норм, техники и форм водопользования,—такова задача, поставленная опытно-мелиоративной частью Н К. З., которая намечена к преобразованию в особый государственный сельско-хозяйственный мелиоративный институт. В главе «Предмет и задачи исследований» автор указывает на необходимость изучения произведенных уже мелиораций, на степень потребности различных районов России в с.-х. мелиорациях и на выявление наиболее рациональных и выгодных технических способов и норм мелиорации в областях, для чего потребуется применение методов-опытов, стационарных наблюдений, описаний и учетов. Все с.-х. мелиорации

А. Н. Костяков делит на три группы: климатические, почвенные и мелиорации, имеющие своей задачей изменение и регулирование почвенных и поверхностных вод данной с.-х. территории.

Мелиорации этих групп осуществляются гидротехническими или агротехническими методами.

Переходя к исследованиям в области осушения и орошения, автор рассматривает задачи этих исследований по схеме деления России на мелиоративные районы, изучая как произведенные уже мероприятия в этой области, так и наиболее рациональные и выгодные технические способы и нормы осуществления каждого данного вида мелиораций в этих районах, при учете всех условий и факторов с.-х. мелиораций: гидрологических, климатических, топографических, почвенно-ботанических, агрономических, экономических и строительных.

Регулирование внутреннего влагооборота открывает широкие горизонты для хозяйственного развития страны. Усиление внутреннего влагооборота властно требует: 1) интенсификации сельского хозяйства, улучшения техники его в направлении задержания максимума выпавшей влаги и сохранения ее до более сухого времени и 2) правильной организации увлажнительных мероприятий, которые должны быть направлены на задержание и использование снеговой воды и ливневых вод в засушливых областях страны, а в более влажных ее частях—на облесение.

Дальнейшее направление опытного дела по увлажнительным работам важно не только с агрономической точки зрения, учитывая меры, направленные к увеличению урожая зерна и трав, но и как средство для широкого и мощного воздействия на климат страны (учет оборота влаги на опытных участках, количественное измерение влияния работ на приход и расход влаги, опыты с усилением испарения в лесах, влияние лесных культур, живых изгородей, как меры борьбы с засухой, суховеями, пыльными бурями, сильными ветрами и т. д.).

В главе «Изучение увлажнительных работ и климатических мелиораций» А. Н. Костяков намечает программу исследований в этой области. Такую же программу дает он, рассматривая те задачи исследований, какие стоят перед отдельными видами с.-х. мелиораций: плавней, солонцов, регулирование стока рек и водоемов, укрепление оврагов.

Для производства общих сельско-хозяйственно-мелиоративных исследований, для планомерного и систематического проведения их, автор намечает 14 районных опытно-мелиоративных организаций, возглавляемых в центре особым учреждением в форме самостоятельного научно-исследовательского органа или института, который объединял бы все дело сельско-хозяйственных мелиоративных мероприятий.

А. А. Бессер.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ. — С. Н. ПРОКОПОВИЧ. Сельско-хозяйственная кооперация и бюджет крестьянского хозяйства. Издание центрального товарищества «Кооперативное Издательство». Москва—Петроград. 1922 г. Стр. 92.

Принадлежащая перу старого кооперативного работника, хорошо знакомого с бюджетными исследованиями (см. его работу: «Бюджеты петербургских рабочих»), книга эта, несмотря на ряд недостатков, которые будут отмечены ниже, представляет значительный интерес и является ценным вкладом как в общекооперативную литературу, так и в очень бедную литературу кооперативной статистики, ибо первая и четвертая главы книги безусловно входят в круг ее работы и пополняют немногочисленные в этой области работы Н. М. Трегубова, В. Черневского и М. П. Красильникова.

Книга распадается на четыре главы: I. Крестьянское хозяйство, как основа кооперативного строительства. II. Кооперативные формы при натуральном строе хозяйства. III. Денежные формы сельско-хозяйственной кооперации. IV. Хозяйственный облик крестьянина-кооператора.

В первой главе автор указывает, что так как «задача сельско-хозяйственной кооперации заключается в обслужи-

вании нужд крестьянского хозяйства как в области сельско-хозяйственного производства, так и в деле снабжения его необходимыми орудиями и материалами и сбыта производимых им продуктов», то «как содержание работы сельскохозяйственной кооперации, так и ее строение находятся в теснейшей зависимости от строения крестьянского хозяйства». Выяснению положения крестьянского хозяйства по бюджетным исследованиям, произведенным земскою статистикою по Вельскому, Вологодскому, Вятскому и Старобельскому уездам и по Тамбовской и Новгородской губерниям, и посвящена эта глава. Хозяйства разбиты по величине посева на 6 групп (до 1,0, от 1,01 до 2,0, от 2,01 до 3,0, от 3,01 до 4,0, от 4,01 до 6,0, от 6,01 до 10,0, от 10 десятин и более), и, кроме того, приводится средняя по всем хозяйствам. Рассмотрев ценность всех продуктов, производимых в течение года в крестьянском хозяйстве, % денежности валового дохода—«условно чистый доход» от крестьянского хозяйства (без вычета оплаты затраченного на хозяйство крестьянином и членами его семьи труда), размер этого дохода на душу крестьянской семьи, доходы от промыслов, носящие почти исключительно денежный характер, и их % отношение к условно чистому доходу крестьянской семьи и бюджет крестьянской семьи на одну душу (суммируя вместе «условно чистый доход» и от сельского хозяйства и от промыслов),—С. Прокопович приходит к выводу, что «бюджетные исследования крестьянского хозяйства показывают нам, что хозяйство русского крестьянина характеризуется следующими особенностями: 1) натуральные элементы преобладают в нем над денежными, 2) в нем сильно развиты промысловые заработки и 3) оно мало доходно и дает крестьянину чрезвычайно низкий уровень материального достатка».

Так как «только денежные отрасли крестьянского хозяйства, притом только те, которые работают с капиталистическим рынком, поддаются кооперированию в современных денежных формах сельско-хозяйственной кооперации», то, рассмотрев составные части валового дохода крестьянского двора от сельского хозяйства, хозяйственные расходы крестьянского двора и расходы крестьянского двора на удовлетворение личных потребностей семьи крестьянина (таб. на стр. 17, 19 и 22—все три по группе хозяйств с посевом от 3,01 до 4,0 десятин), и сведя в одну таблицу данные в возможном пределе обхвата крестьянского хозяйства разного рода кооперативными организациями в зависимости от площади посева (по тем же 6 группам, что и ранее), по трем, признаваемым им типичным, уездам: Вятскому, в крестьянском хозяйстве которого преобладают натуральные элементы, Вологодскому, с развитым денежным хозяйством, и Старобельскому, как представителю черноземной «полосы»,—С. Прокопович отмечает, что «в кооперативах по сбыту размеры возможного участия правильно растут с ростом посевной площади», при чем развитие денежных элементов в крестьянском хозяйстве увеличивает эти возможности; что «такой же характер носят и данные о возможном участии крестьянских хозяйств в кооперативах по закупкам, только цифры этого участия в несколько раз ниже»; что «возможное участие в потребительской кооперации обнаруживает прямо противоположные тенденции развития: падает с ростом посевной площади»; что отношение различных слоев деревни, сохранившей натуральный или полунатуральный характер своего хозяйства, к потребительской кооперации, довольно существенно отличается от их отношения к различным видам сельско-хозяйственной кооперации. «Для сельского пролетариата и полупролетаризированного малоземельного крестьянства доступен только один вид кооперативного объединения». В общем, чем производительнее труд крестьянина, ведущего сельское хозяйство, тем более активным членом различных кооперативных объединений может он быть, тем больше пользы приносит ему участие в кооперации и тем успешнее развиваются обороты кооперативных организаций. Крупные материальные успехи германского кооперативного движения, сопоставленные с результатами, достигнутыми русской кооперацией, наглядно показывают, какое значение имеет для кооперации вы-

сокая доходность сельского хозяйства и порождаемая ею зажиточность крестьян.

На основании всего этого С. Н. Прокопович приходит к следующим выводам: «1) торговля предметами, закупаемыми крестьянами на соседском, чисто-местном рынке или сбываемыми на этом рынке, кооперированию не поддается; 2) торговля предметами, закупаемыми крестьянами на широком капиталистическом рынке, благодаря незначительным размерам этих закупок, равно как и сбыт на этом рынке продуктов, производимых в крестьянском хозяйстве в незначительных количествах, могут быть кооперированы только в форме второстепенной или подсобной деятельности при кооперативной организации, покрывающей свои расходы работою иного рода; 3) торговля теми произведениями крестьянского хозяйства, сбыт которых производится раз в году в течение сравнительно короткого периода времени, также не может быть предметом специальной кооперативной организации; 4) кооперированию в форме специальной организации по сбыту поддается торговля только теми продуктами крестьянского хозяйства, которые сбываются не на соседский, а на капиталистический рынок, производятся каждым двором в больших количествах и притом в течение круглого года или, по крайней мере, значительной части года».

«В общем, судя по данным крестьянских бюджетов, в наших экономических условиях возможно широкое развитие двух видов сельских кооперативных объединений, потребительных обществ и маслодельных артелей. Кроме того, крестьянское хозяйство дает достаточный материал для широкого развития кооперативной организации мелкого кредита. Самостоятельный характер должны также носить кооперативные организации, занимающиеся переработкою картофеля и сушкою овощей и владеющие ценными недвижимыми имуществами (заводами, сушильнями). Что же касается всех остальных, возможных кооперативных заданий, они могут существовать, при современном уровне развития крестьянского хозяйства, главным образом, в форме подсобных, дополнительных видов деятельности этих трех основных форм крестьянской кооперации». Большим недостатком этой части работы нужно признать, по нашему мнению, что автор не указывает, как велико то количество бюджетов, на основании которых делаются все его выводы; что им взято очень малое количество уездов для того, чтобы иметь право сделать по ним выводы на всю Россию; что материалы взяты разновременные за период с 1900—15 гг. и что им недостаточно учтена эта отмеченная и им самим разновременность обследований, именно которой больше чем «различием строения крестьянского хозяйства в разных уездах и губерниях» следует объяснить «чрезвычайную неодинаковость размера валового дохода крестьянского хозяйства при одинаковой величине запашки в различных губерниях», так как, если мы проставим против года обследования каждого уезда размер валового, то получим два правильных статистических ряда, в которых обследованиям более поздних лет соответствует и больший размер валового дохода, а именно: (см. табл. внизу).

Вторая глава посвящена кооперативным формам при натуральном строе хозяйства. Как указывает и сам С. Н. Прокопович, «от кооперативных форм, свойственных натуральному строю хозяйства, сохранились в настоящее время только

Исследования были произведены:	Год обследования	Средн. размер дохода.
В Вятском уезде	1900	290,3 р.
» Вологодском »	1905	315,0 »
» Вельском »	1907	319,4 »
» Новгородском »	1905—1912	444,7 »
» Старобельском »	1910	1057,0 »
» Тамбовской губ.	1915	926,5 »

жалкие остатки... уцелевшие обломки примитивных форм сельско-хозяйственной кооперации, хотя и существуют кое-как, но не имеют сил к дальнейшему развитию... практического значения они в настоящее время не имеют... Поэтому невольно появляется вопрос, зачем было включать в книгу эту главу и на протяжении 15 страниц (1/6 часть книги) давать сведения о «помочи или толоке» трудовых артелей (сборных, плотников, крючников, биржевых, сырьевых артелей (сыроваренных) на Кавказе и в Бессарабии, о супрягах, аргашестве), хотя нужно признать, что, имея очень мало права на столь большое внимание, все эти формы описаны полно и довольно содержательно».

Третья глава отличает значение кооперации в разрешении встающих, «с развитием парового транспорта, ростом городов и проникновением в деревню денежного хозяйства» перед крестьянином экономических задач. В этих целях возникают товарищества по сбыту и закупке и на ряду с ними подсобные товарищества. В области кооперативного сбыта основным является вопрос о форме сбыта—должны ли товарищества покупать продукты труда своих членов за твердый счет или брать их на комиссию. С. Н. Прокопович признает «нормальной формою кооперативной организации сбыта прием продуктов труда членов кооперативов на комиссию». Далее рассматриваются маслодельные артели в связи с данными бюджетов о потреблении и продаже молока и молочных продуктов в различных по посевности группах хозяйств, кооперативный сбыт льна, кооперативная ссыпка хлеба, продажа яиц,—все это тоже в связи с данными бюджетов и расходы крестьянских хозяйств на инвентарь и сбрую в целях выяснения значения закупочной кооперации и, наконец, производительные товарищества, относительно которых он приходит к выводу, что «вообще фактический материал, которым мы располагаем, не дает никаких оснований ожидать широкого развития производительств в сельском хозяйстве. Теоретические же соображения говорят в пользу развития тех форм сельско-хозяйственной кооперации, которые способствуют развитию индивидуального крестьянского хозяйства и укрепляют его, а не производительных ассоциаций, его уничтожающих». Эту главу следует признать наименее удачной частью всей книги. Кроме сказывающегося во всей книге печального влияния того обстоятельства, что, оперируя с данными производившихся по иному плану обследований, автор принужден был подгонять план работы к материалу, а не подбирал материалы к плану, отмеченной выше не совсем полной доброкачественности самих материалов и их недостаточного количества, делающего их пригодными лишь для иллюстрации, а не для обоснования его взглядов; нужно указать еще, что эта глава носит в высшей степени фрагментарный (отрывочный) характер, выхвачены отдельные стороны явлений и фактов, и хотя приведен богатый сырой материал, но в совершенно сыром виде; не чувствуется совершенно обработанности, что, конечно, может быть объяснено отчасти трудностью изложить вопрос о формах сельско-хозяйственной кооперации, в связи с историей их развития и связав его со строем крестьянского хозяйства на протяжении 26 страничек, и отсутствием полноты в самых материалах.

«Сельско-хозяйственная кооперация—не цель в себе, а только средство для удовлетворения хозяйственных нужд трудового крестьянского хозяйства и содействия развитию его производительных сил. Поэтому при изучении сельско-хозяйственной кооперации нельзя довольствоваться анализом условий ее развития, ее организационных форм и деятельности,—это только половина дела. Нам необходимо итти дальше и выяснить, как влияет кооперативная работа на хозяйство участвующих в ней крестьян, способствует ли она их агрономическому и экономическому прогрессу и как велика мера этого влияния», говорит С. Н. Прокопович.

Выяснению этого хозяйственного облика крестьянина-кооператора путем статистического изучения хозяйства членов кооперативных организаций (главным образом, маслодельных артелей и кредитных товариществ), на основании результатов работ Трегубова, Черневского, Красильникова и др., и

посвящена четвертая, самая ценная, глава книги, резюмирующая результаты целого ряда работ в этой области кооперативной статистики. Данные по Барнаяльской волости за 1905 г. и по Вологодской за 1911 г. при группировке хозяйств по величине посева или по числу коров указывают, что в маслодельных артелях по числу членов первое место принадлежит крестьянам среднего достатка, но по степени участия первое место занимают многосеющие и многокоровные крестьяне. То же можно сказать об участии различных слоев крестьянства в кредитных кооперативах на основании данных по Херсонской, Таврической и Екатеринославской губерний, Уфимской губернии и Московскому, Судогодскому и Челябинскому уездам. Таблица по Уфимской губернии позволяет проследить увеличение с 1905 по 1911 гг. коэффициента участия членов товарищества по всем группам хозяйств. Много внимания С. Н. Прокопович посвящает таблицам состава членов артелей, и коэффициента участия различных посевных групп коровности членов в зависимости от возраста артелей и мере участия членов маслодельной артели в ее экономической деятельности, размерам открытого кредита для членов кредитных товариществ и, наконец, им приводится очень интересная, основанная на работе Черневского по Судогодскому уезду, таблица количества душ обоего пола, работников мужского пола, надельной земли и пашни у членов и нечленов по Дубасовскому и Смолинскому товариществам.

Г. М. Эльяшев.

А. САПЕГИН, проф. генетики и селекции Одесской высш. школы. Вариационная статистика. Элементарн. учебник для агрономов. Изд. Наркомзема Укр. Харьков. 1922. Стр. 80. 2000 экз.

Появление этой брошюрки, написанной, в конце-концов, не специалистом, говорит о широком интересе, который возбуждается применением к решению чисто практических задач — математической статистики. Давно уже писал об этом в журнале «Природа» недавно убитый в Польше проф. Орженцкий и, видно, что его указания не пропали даром. Достижения биометрики К. Пирсона пошли в биологию, а ныне и в агрономию, науку по существу дела практическую. Но статистика—вся в практике, эксперименте и конкретности; практическая деятельность современника, очевидно, не может обходиться без нее.

Огорчает здесь одно обстоятельство: выходит книжечка, имеющая своим предметом приложение математической статистики к агрономии...—и нет на рынке ни одной книги о математической статистике! «Вестник Статистики» ЦСУ по мере сил заполняет этот пробел, печатая труды Б. С. Ястремского, Четверикова, Обухова, но каждый из этих авторов предполагает, что читатель уже знаком с основами его науки, а научиться им читателю негде. Почему Госиздат не придет на помощь ЦСУ в этом деле? Почему до сих пор не выходит перевод учебника Эльдертона, обещанный ЦСУ? Госиздат выпустил интереснейшую книгу проф. Лахтина о кривых распределениях, но как раз практического-то в ней чрезвычайно мало. Статьи проф. Чупрова, печатаемые им за границей и полагающие твердый аналитический фундамент нашей науки, вызвавшие такой интерес со стороны Пирсона и его учеников, слишком трудны, сложны и непонятны для рядового работника. И вот мы имеем очень трогательные доказательства необходимости нашей науки в роде книжек проф. Голубева или проф. Сапегина, и не имеем руководств по этой науке. Пора бы об этом подумать и заполнить этот пробел. Обстоятельства современной работы наших статистиков неизбежно вызывают особое внимание к математической статистике. Наше нарождающееся законодательство требует хотя бы примерного постижения родины, при нашей бедности, высоко-организованными первичными статистическими центрами,— что, как не углубленная обработка и критика материала, может этому помочь? С другой стороны, отсутствие учебников заставляет людей, оперирующих со статистическим материалом (а кто теперь с ним не оперирует!), пользоваться по «своему разумению» и «здравому смыслу»

простейшими методами интер- и экстраполяции. Часто, видя где-нибудь в «Экономической Жизни» ожесточенную полемику по толкованию статистических таблиц, приходится задумываться, а что бы осталось от всего этого пыла и жара, если бы можно было подвергнуть методологической критике те суммы, которые выдаются авторами за «сведения по РСФСР»? Сколько раз требовали с пеной на устах весьма ответственные люди у нас «срочной и правильной» отчетности,—но и то и другое может дать осторожная и глубокая разработка. А учиться ей не по чему.

Книжка проф. Сапегина может помочь начинающему статистику на первых шагах. Она может пробудить в нем интерес к методам математической статистики, фрэкентам и корреляционному исчислению. Но мы бы не посоветовали, имея только ее в руках, начинать практическую работу. С этой стороны в ней немало промахов. Говоря о рядах, то-есть кривых распределения главным образом, автор даже не приводит всех типов ассиметрических фрэкент Пирсона. Говоря о биномиальной кривой, и довольно пространно, автор не говорит ничего о кривой Гаусса. Совершенно упускается из виду теория вероятностей. Автор, видимо, преувеличивает практическое значение пирсоновского «коэффицента рассеяния» (термин в переводе Слуцкого, отношение квадратического отклонения к средней арифметической), и ясно, что для его задач гораздо большую пользу сослужили бы коэффициенты пирсоновских кривых: полуоснование, мода, модальная ордината и проч. Автор не упоминает вовсе об явлении трансгрессии — многовершинных фрекэнтах и методах распознавания их элементов. А это явление сослужило большую службу биологии (исследование сперматозоидов морского ежа). Говоря об альтернативном варьировании, автор упускает из виду существеннейший метод—теорию контингенций. Именно этим методом с богатейшими результатами были исследованы Пирсоном те объекты, которые не поддаются количественному определению (если не ошибаемся, проф. Чупровым было указано, что коэффициент контингенции является наиболее чувствительным и аналитически наиболее неуязвимым из показателей математического ожидания, к чему и сводится вся математическая статистика). А проф. Сапегин, говоря об явлении сопряженности, даже и не пробует исследовать альтернативные (по его термину) совокупности, Различая в своей работе величины «именованные» и «отвлеченные», автор делает крупную ошибку, говоря, что коэффициент корреляции есть величина отвлеченная,—он упускает здесь из виду правило, формулированное Ястремским: коэффициент корреляции может служить относительным показателем связи явлений лишь в том случае, когда известны веса сравниваемых совокупностей. В этом смысле коэффициент корреляции—величина очень и очень именованная, и именуют ее—веса. Очевидно, что в агрономической работе последние могут играть сколько угодно большую роль. На стр. 61 автор приводит вымышленный пример криволинейной корреляции (достаточно невероятный, кстати сказать,—в нем x не зависит от y вовсе, а y с увеличением икса переживает изменение по симметрично расположенной параболе второго порядка), вслед за этим говорится, что коэффициент корреляции не может служить показателем связи в случае нелинейной корреляции. Это—святая правда, но откуда узнает читатель о том, что есть нелинейная корреляция и какими методами определяется практическая линейность данной сопряженности? Об этом проф. Сапегин умалчивает, а также, за компанию, не говорит ничего и о «корреляционном отношении, которое и освещает дело с нелинейной корреляцией. Ничего также не сказано и о «частных» коэффициентах корреляции, дающих возможность произвести *статистический эксперимент*, а также понизить вредное влияние «ложной корреляции» (о коей также проф. Сапегин забывает).

Конечно, агроному полезно будет знать, что между некоторыми объектами x и y существует прямая зависимость, но для этого требуется лишь комбинационная табличка, а не коэффициент корреляции. А при отсутствии в учебнике проф. Сапегина указаний на

опасность хотя бы ложной корреляции (а также разно-взвешенных коэффициентов корреляции), начинающий работник может впасть в весьма курьезные ошибки, и тогда вместо научного подхода к делу выйдет пустое резонерство, и силлогистические уверения, что хотя статистика и показывает тут то-то и то-то, опыт говорит против нее, а следовательно... и т. д. Результат, которого совсем не стоит вынуждать.

С. П. Бобров.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТЕХНИКА.

1. Инж. Л. БЕРНАЦКИЙ. Общие понятия о железнодорожном пути и сооружениях *Н. Оппенгейм.*—**2. А. Д. БРЕЙТЕРМАН. Медная промышленность России и мировой рынок.** *С. Обручев.*—**3. Акад. А. Е. ФЕРСМАН. Геохимия России.** *С. Обручев.* — **4. Проф. Л. М. ЛЯЛИН. Химическая технология органических веществ.** *Н. К. Траубенберг.*

Инж. Л. БЕРНАЦКИЙ. Общие понятия о железнодорожном пути и сооружениях. Государств. Издат. Москва. 1923. Стр. 156. С 105 чертеж. в тексте.

При просмотре этой книги прежде всего напрашивается вопрос, с какой целью она написана и издана, для кого собственно она может быть необходима или полезна?

Автор в предисловии указывает, что цель его книги—«дать общие понятия о пути и сооружениях железной дороги,—понятия, которые необходимо знать каждому культурному железнодорожнику, независимо от того, к какой службе он принадлежит», и что поэтому в книге «не приходится искать тех практических и теоретических указаний, которые необходимы для лиц, специально посвятивших себя деятельности строительной или по службе пути».

По ознакомлении с настоящей книгой нельзя не признать, что она вряд ли может рассчитывать на более или менее значительный успех, в общем на то, чтобы она могла принести более или менее значительную пользу. Для лиц, посвящающих свою деятельность службе пути на железных дорогах, она, разумеется, не может дать достаточных сведений, для лиц же, посвятивших себя деятельности по другим службам, она может дать конгломерат самых разнообразных сведений и по устройству пути, и по содержанию, и по ремонту его, и даже по проектированию железных дорог, в общем, однако, сведений, большинство коих совершенно излишне для агентов служб тяги, движения и т. д. В дни своего нового строительства наша страна нуждается в издании всякого рода *практических* руководств, которые давали бы известного рода *знания*, а не понятия о чем-либо, с которыми многого не сделаешь. В общем, к сожалению, приходится признать, что при современном бумажном и прочем голоде издание настоящей книги не является достаточно обоснованным.

В отношении изложения вопроса настоящая книга, к сожалению, грешит некоторыми неточностями.

Например, на стр. 8 сказано, что «причина создания в России колеи, особой от заграничной, вызвана была чистой случайностью». Колея в 5′ была принята в России далеко не случайно—она принята была при постройке СПБурго-Моск. жел. дороги после долгого обстоятельного рассмотрения вопроса особой комиссией по настойчивому предложению приглашенного в качестве консультанта при постройке названной дороги американского инженера Уистлера, который упорно держался того взгляда, что колея Стефенсона в 4′ $8^1/_2$″ несколько узка и требует небольшого увеличения, в целях более целесообразного размещения частей паровоза (в С. Америке, в особенности в ее Южных штатах, колея в 5′ была в то время довольно

широко распространена). Указание автора, что Россия не перешла к заграничной нормальной колее в 4′ $8^1/_2$″ «из опасения, чтобы, в случае, войны наши западные соседи не пустили к нам своих воинских поездов» (подобную мысль обычно высказывают немецкие специалисты, считающие, что путем жел.-дорожной колеи в 5′ Россия желала отгородиться от Зап. Европы), вряд ли тоже отвечает действительности, так как, если бы это было так, то почти в то же самое время, когда строилась СПБургско-Моск. жел. дорога, наверно не было бы разрешено *пограничную* Варшаво-Венскую дорогу строить с заграничной колеей.

Не совсем точно и то указание (на той же стр. 8), что из-за различия заграничной и русской колеи «всякий» груз приходится на границе перегружать. С начала нынешнего столетия на нескольких наших пограничных станциях (напр., на ст. «Млава») были построены приспособления для смены осей наших вагонов на оси, отвечающие заграничной колее, в связи с чем далеко не всякий груз перегружался на границе, а часть грузов провозилась за границу в наших же вагонах.

Затем, например, на стр. 24 правильно указано, что в многопролетном мосте отверстие равно сумме всех пролетов, между тем на черт. № 14-б отверстие моста показано в виде расстояния между гранями устоев (KL), что уже неправильно.

Далее, не совсем точно указание (стр. 46), что в России ширина балластного слоя большей частью равна 1,5 саж. (на черт. № 33 эта ширина показана почему-то даже 1,7 саж). На наших магистральных дорогах нормальной, можно сказать, шириной балластного слоя поверху является ширина 1,45 саж., которая в качестве минимальной ширины установлена у нас еще с 1899 г. «техн. условиями проектирования и сооружения магистралей» (§ 55). На дорогах же местного значения указанная ширина еще меньше—обычно 1,35 саж.

На стр. 47 указано, что на черт. № 35 стыковые шпалы обозначены буквой «а»; на самом же деле на этом чертеже буквой «а» обозначены не только стыковые, но и пристыковые шпалы.

Далее, на той же странице имеется указание, что «у нас на 1 версту идет 1500 шпал, независимо от того, много или мало поездов идет по дороге». Во-первых, это не отвечает действительности, так как у нас на многих дорогах лежит большее число шпал, напр., на Моск.-Курской, Южных, Сев.-Зап. и др., при 42′ рельсах—1583 шпалы, при 35′ рельсах—1600 шпал, а на Николаевской дороге число шпал на версту при 42′ рельсах составляет 1667 шпал, при 35′ рельсах—1700 шпал; во-вторых же, число укладываемых шпал на версте зависит далеко не только от густоты движения, как это может быть понято из приведенного указания автора, а от веса и скорости движения поездов.

Не точно указание автора (стр. 49), что «в треснувшие шпалы с торцов забиваются особые скобы из полосового железа, мешающие дальнейшему растрескиванию». Скобы забиваются не только в треснувшие шпалы. Если шпалы дубовые, то в них наперед забиваются скобы (то же делается в отношении всякого рода шпал в местностях с малым количеством выпадающей влаги и продолжительным стоянием жаров), дабы трещины не образовались; допускать трещины и тогда только забивать скобы—неправильно. Вообще же забивка скоб является преимущественно мерой «против растрескивания» шпал, а мерой «при наличии трещин» является схватывание шпал болтами.

В перечислении (стр. 49) установленных у нас нормальных типов рельсов, к сожалению, не указан новый наш нормальный рельс типа О весом 35 фн./фт., принятый в 1919 году и включенный в нормальный сортимент русских рельсов.

На той же странице указано, что «обыкновенно укороченные рельсы имеют длину всего на 5 дюймов меньше, чем нормальные». Это верно лишь для рельсов длиной 35 фт., для рельсов же длиной 42′ укорочение установлено у нас в 3,6 дм., а длиной 49′—4,2 дм.

На стр. 50 сказано, что центробежная сила «могла бы выбросить наружу поезд, быстро идущий по кривой, если бы не применялась соответствующая мера; она заключается в том, что наруж-

ному рельсу придается некоторое возвышение против внутреннего».

Подобного рода указание совершенно не отвечает современным взглядам. Данными теоретических исследований и практики ныне считается вполне установленным, что с точки зрения безопасности движения нет никакой надобности давать наружному рельсу в кривых возвышение и что упомянутая безопасность оказывается вполне обеспеченной и при полном отсутствии такого рода возвышения. Последнее ныне делается в целях некоторого уменьшения радиального давления на рельс и сопротивления движению поездов в кривых и тем самым уменьшения износа рельсов; рационально приданное возвышение, парализуя действие центральной силы, уравновешивает давления на рельсы и тем устраняет в известной степени неравномерный износ рельсовых головок обеих ниток. Таким образом, возвышение наружного рельса в кривых имеет в общем чисто экономическое значение, а не техническое, как это указано автором.

Обращаясь к рельсовым скреплениям (стр. 50—53), нельзя не выразить некоторого удивления, почему автор, указывая типы скреплений, указал типы, которые у нас устарели и уже давно не являются нормальными. Так, например, указан болт с бородкой, устраиваемой в целях предупреждения при завинчивании гайки вращения стержня при наличии у болта круглой головки. После того, как практика показала, что указанного рода бородки постоянно сминаются, в России от таковых отказались при выработке скреплений к рельсам нормальных типов, и наш современный нормальный болт имеет квадратную головку, несимметрично расположенную по отношению к оси стержня болта, диаметр коего по всей длине постоянен, так что головка болта при завинчивании гайки упирается в горизонтальную полку накладки (это и предотвращает возможность вращения болта). Затем в общем, стык указан четырехболтным, когда стыки наших нормальных рельсов все шестиболтные. Далее указано, что костылей ставится по два на каждый рельс, между тем при наших нормальных рельсах костылей ставится три. Словом, все указанное относительно скреплений не соответствует тому, что у нас нормально установлено с начала нынешнего столетия.

Относительно способа укладки подкладок (стр. 53) указание сделано тоже не отвечающее действительности. На всех магистральных линиях, при рельсах типов I-а, II-а и III-а, подкладки укладываются не только на стыковых шпалах и в кривых, а сплошь на всех шпалах.

Далее, например, на стр. 66 указано, что американцы широко применяют систему неохраняемых переездов, а что «в России теперь также встречаются неохраняемые переезды, но с целым рядом ограничений и т. д.». Это тоже не совсем точно, так как за последние годы и в России система неохраняемых переездов тоже получила широкое распространение, и ныне уже на многих дорогах почти все переезды—неохраняемые.

Можно было бы еще привести ряд неточностей и неудачных указаний, имеющихся в рассматриваемой книге, но, казалось бы, и приведенного вполне достаточно, чтобы установить, что издание это является в общем не совсем удачной новинкой нашего книжного рынка.

Техническая сторона издания оставляет желать лучшего—некоторые чертежи, напр., № 57 (английский перевод), № 61 (тип станции), № 85 (схема оборудования водоемного здания), выполнены настолько мало отчетливо, что вряд ли несведущие лица, для которых книга предназначена, могут получить «понятия» о том, что они собой изображают.

Единственное достоинство настоящей книги, можно сказать, заключается в том, что она написана простым, общепонятным языком.

Проф. К. Д. Оппенгейм.

А. Д. БРЕЙТЕРМАН. Медная промышленность России и мировой рынок. Часть I. Монографии, изд. Комиссией по изуч. ест. произв. сил России при Рос. Ак. Наук. Монография 2. Петроград. 1922 г. Стр. 133.

Многие называют алюминий металлом будущего, но едва ли не с большим правом это название должна носить медь,

так как она является одним из важнейших материалов для электропромышленности. Относительная доля участия электропромышленности в потреблении меди возросла, наприм., в Германии, с 29% в 1901 г. до 46,1% в 1913 г., а в Соединенных Штатах даже до 52,1%; таким образом, степень потребления меди страною является мерилом ее культурного развития (в большей степени, чем пресловутое мыло), и изучение состояния медной промышленности представляет большой интерес. Особенное значение имеет это изучение для России, так как темп развития медного дела у нас поразителен—даже по сравнению с Америкой: с 1903 г. по 1913 г. наша продукция поднялась с 9,2 до 34,3 тысяч тонн, т.-е. в 4 раза. Правда, доля нашего участия в мировой продукции незначительна—она поднялась за эти 10 лет с 1,3% всего до 3,4%, но возможности развития медного дела в России значительны. Поэтому монографическое изучение, предпринятое КЕПС'ом, более чем своевременно, тем более, что не только в русской, но и в иностранной литературе мировой медный рынок изучен недостаточно.

Первая часть монографии Брейтермана посвящена выяснению роли меди в современной промышленности и характеристике мирового медного рынка. Написанные автором, но еще не вышедшие части заключают: 2-я — краткий очерк развития медного дела России до начала XX века, и 3-я—изучение состояния его в XX веке, выяснение влияния войны и установление перспектив ближайшего будущего. Первая часть составлена чрезвычайно обстоятельно и интересно и позволяет надеяться, что мы будем вскоре иметь очень ценную монографию по меди.

В первой главе рецензируемой части Брейтерман выясняет значение меди в современной промышленной жизни. Выше уже указано, что главный потребитель меди настоящего и, вероятно, еще более монопольный в будущем — электротехническая промышленность. Большое значение в потреблении меди имеют также паровые машины, но их роль меньше, и они больше принадлежат настоящему, чем будущему. Для характеристики потребления меди электротехнической промышленностью следует привести еще абсолютные цифры: для Германии—26 тыс. тонн в 1901 г. и 120 тыс. тонн в 1913 г., для Соед. Штатов общая выплавка меди в 1880 г. была 27 тыс. тонн, в 1905 г.—392 тыс. тонн, и из этого количества 52,1% поглощалось электротехнической промышленностью. Вторая глава посвящена технике обогащения и плавки медных руд и истории ее развития. Глава эта представляет краткое и ясное изложение вопроса, с которым подробнее познакомиться читатель может в специальных руководствах. Основные черты—это удешевление производства, при все более увеличивающемся размере установок. Хороший очерк развития мирового производства и потребления меди дается в 3-й главе; 4-я глава посвящена описанию положения мировой медной промышленности перед войной. За недостатком места мы не можем подробно изложить содержание этих глав. Отметим только, что центр медной промышленности переместился в XIX в. из Европы в Америку—Чили и Соед. Штаты, и что в этих странах медное дело пришло к формам чрезвычайно концентрированных предприятий — как по добыче, так и по переработке и сбыту меди. Достаточно указать, что компания Anaconda добыла в 1910 г. 100 тыс. тонн меди, в то время, как производство всей русской медной промышленности в том же году было всего 25 тыс. тонн. Количество руды, переработанной Utah Copper в 1912 г. равнялось 5.315 тыс. тонн, и его превосходило в этом отношении только золотопромышленное предприятие Yukon Gold, добывшее в том же году 8.297 тыс. тонн, а все остальные, даже железорудные, остались далеко позади. Точно так же рафинирование меди сосредоточено в крупных предприятиях, и, наприм., Raritan Copper Works имела в 1912 г. производительную способность в 10 милл. пудов, т.-е. в 5 раз превышала медную продукцию России. Наконец, в области сбыта, в Соединенных Штатах, в 1913 г. 6 крупных организаций сосредоточивали в своих руках 9/10 всего выпуска меди. Любопытно, что в России в 1913 г. медный синдикат сосредоточивал в своих руках продажу

96% всего производства. Такая колоссальная концентрация производства позволяет перерабатывать чрезвычайно бедные руды. Автор отмечает, что постановке таких предприятий должны предшествовать подробные геологические исследования, столь еще слабо развитые у нас, в России.

В двух последних главах изложена история медных синдикатов и трестов и медных цен. Особенно любопытна история чисто спекулятивного синдиката, основанного в 1887 г. банковским дельцом Секретаном, просуществовавшего 18 месяцев и лопнувшего при катастрофическом падении цен. Синдикат контролировал до 85% мирового производства меди—концентрация, не достигнутая ни до, ни после; убытки одних лишь французских капиталистов при его крахе достигли 277 милл. франков, не считая суммы банкротств. Другую, не менее интересную, страницу представляет история американских трестов; в Соед. Штатах чрезвычайно развиты Holding Companies — владеющие акциями других трестов и контролирующие их деятельность. Таким образом, нефтяной монополист Standard Oil Co руководил почти половиной производства медного ринга, объединявшего свыше 4/5 всего медного производства Соед. Штатов и около половины мирового производства. История американских трестов и их всемогущего влияния на уровень цен и общий ход производства чрезвычайно для нас поучительна. Автор все же приходит к выводу, что колебание медных цен в незначительной степени зависит от спекулятивной деятельности трестов, а определяется общими причинами, коренящимися в условиях мирового производства и потребления; в этом он сходится с некоторыми видными заграничными специалистами. Автор считает, что медная промышленность вступает в более спокойный период, в котором не будет таких резких скачков. Основания для этого он видит в переходе к эксплуатации бедных руд, требующих обширных установок, и в влиянии регулирующих рынок мощных промышленных объединений.

Все интересующиеся русской медью будут с нетерпением ждать выхода последующих частей работы Брейтермана

Сергей Обручев.

Академ. А. Е. ФЕРСМАН. Геохимия России. Вып. I. Издание Научного Химико-Техн. Издательства. Петроград. 1922. Стр. 214, с 6 табл. рисунков и 7 геохимическими таблицами.

Еще не так давно всякий беллетрист, которому надо было вывести в романе ученого-педанта, брал минералога или энтомолога. Минералогия казалась—да и была в умах большинства ее адептов—сухой систематикой по преимуществу, и лишь постепенно, по мере развития петрологии и физической химии, в минералогию проникала струя жизни—генетического изучения мертвой природы. В настоящее время это новое течение увлекло уже большинство минералогов, и без изучения генезиса минералов не может обойтись ни одна серьезная работа по минералогии. Но изучение генезиса минералов оказывается недостаточным—сами минералы только кратковременные гости на земле—и прочную базу для познания жизни земной коры может дать только изучение распределения и жизни самих элементов,—создается новая наука, геохимия. В области русской геохимии крупное событие последних дней—появление книги академика Ферсмана «Геохимия России». Со свойственной ему широтой взгляда, Ферсман пытается свести в стройную систему тот, столь еще незначительный, материал, который имеется по геохимии отдельных областей России, и дать ясную картину распределения элементов в пространстве и времени—их генетических типов и генетических циклов. Неполнота использованного материала, конечно, не позволяет считать работу Ферсмана окончательной и бесспорной, и, несомненно, она вызовет много возражений. но самая возможность тех обобщений и выводов, которые делает автор и которые делались до сих пор только частично для некоторых районов, яв-

ляется знаменательной гранью в развитии геохимии России.

Первые 60 страниц работы посвящены выяснению общих вопросов геохимии и определению ее понятий. Автор выделяет три задачи минералогии: описание минералов, изучение происхождения и образования их—генетическое описание и изучение распространения и роли отдельных химических элементов—собственно геохимию. Далее более подробно характеризуются различные генетические циклы и типы развития минералов, при чем автор дает новую классификацию этих элементов минеральной жизни. Наконец, в шестой главе дается общая схема качественного и количественного распределения химических элементов в земной коре и их ассоциаций. Удачное применение несколько видоизмененной таблицы Менделеева (разделены четные и нечетные ряды) дает возможность Ферсману необычайно ярко выявить четыре важнейших ассоциации химических элементов.

Вторая, большая часть книги—описание отдельных геохимических областей России. В вышедшем томе описана восточная часть Фено - скандинавского щита, кембро-силур и девон северо-запада России, Московский каменноугольный бассейн и Пермские море и суша; в следующих двух томах предполагается дать описание остальных областей Европейской и Азиатской России. Для каждой области вкратце даются орографическое и геологическое описание, описание пород, минералов и элементов, генетические типы и циклы, общая геохимическая характеристика. Для каждой области все встречающиеся в ней элементы приведены в указанной выше измененной менделеевской таблице, что сразу дает возможность определить ее геохимические ассоциации; кроме того, для каждой области в приложении даны большие геохимические таблицы, в которых сделана попытка суммировать весь геологический и минералогический материал.

Книга Ферсмана имеет не только крупный научный интерес, но и серьезное практическое значение, так как на основании геохимического изучения областей, можно определенно утверждать, какие ассоциации минералов можно найти в этих областях, и, следовательно, какие месторождения полезных ископаемых в ней могут быть найдены и какие искать безнадежно. Сам Ферсман еще не делает этих практических выводов, но его обобщения дают уже геологам-практикам важные руководящие нити. Мы с нетерпением ждем следующих томов, которые должны заключать описание несравненно более сложных и важных в практическом отношении рудоносных областей Урала, Кавказа и Сибири.

Как и другие книги Ферсмана, «Геохимия» изложена блестящим и образным языком. Издана книга Химико-Техническим издательством хорошо, и, несмотря на посредственную бумагу, даже довольно изящно—в противность обычному характеру изданий этого издательства, обладающих бедной и иногда несколько неряшливой внешностью.

Сергей Обручев.

Проф. Л. М. ЛЯЛИН. Химическая технология органических веществ. Часть I, стр. 213. Ч. II, вып. I, стр. 120. Ч. II, вып. 2, стр. 97. Научное Химико-Техническое Издательство (Н. Т. О.—В. С. Н. Х.). Петроград. 1920—1922.

Вопреки принятому обычаю, автор не предпослал своему сочинению предисловия, и читателю предоставляется самому догадываться о назначении сочинения, с чем связываются требования, которым оно должно удовлетворять.

Если книга предназначается в качестве руководства для высших технических школ, то едва ли можно признать ее вполне подходящей для этого. Согласно существующим учебным планам, в большинстве высших технических учебных заведений преподавание технологии органических веществ обслуживается тремя кафедрами: технологии органических веществ (в узком смысле), технологии волокнистых и красящих веществ и питательной технологии. На все эти курсы отводится по одинаковому числу часов. В сочинении же проф.

Лялина технологии органических веществ посвящено свыше 200 стр., а технологии волокнистых и красящих веществ всего 50 стр. Надо заметить, что автором вообще часто нарушается пропорциональность между отдельными частями его сочинения. Местами оно отличается излишними, пожалуй, для общего курса подробностями, местами страдает слишком большой краткостью. Слишком кратко изложено, напр., писчебумажное производство, которому отведено всего семь страниц. Правда, это преимущественно механическое производство, но все же надо было бы более подробно остановиться, напр., на работе полумассного и массного ролов. Назначение массного рола автором совершенно не выяснено. Но и химическая сторона производства затронута лишь самым поверхностным образом. Об отбелке упомянуто как-то вскользь; совершенно не дается объяснения значения сернокислого натра в сульфатном способе получения целлюлозы. Говоря о проклейке бумаги, автор ограничивается буквально следующим: «Масса снабжается, если нужно иметь проклеенную бумагу, клеем, для чего вносят в нее соответствующие вещества». Для чего проклеивается бумага, какие способы проклеивания существуют, какими веществами пользуются для проклеивания—обо всем этом автор не говорит ни слова. Недостаточно выясняется вопрос о качествах бумаги в зависимости от материалов, из которых она приготовляется. Наконец, не сделано никакой попытки дать представление о том, что же такое бумага.

Другие места книги отличаются излишними, быть-может, подробностями, к сожалению, не всегда достаточно установленными и достаточно точными. Это особенно относится к страницам, где говорится о химическом составе древесных дегтей.

Вообще химическая технология проф. Лялина производит впечатление сочинения, составленного очень спешно, чем только и можно объяснить целый ряд более или менее значительных недочетов и неточностей. Чтобы не быть голословным, приводим некоторые из них.

Ошибочно указано в книге проф. Лялина, что бакинская нефть содержит 5% парафина (часть I, стр. 7); о грозненской же парафинистой нефти почему-то не упомянуто. На стр. 8 автор говорит: «Марковниковские нафтены на деле принадлежат к трем типам углеводородов, происходящих от гексагидрогенизованных бензолов, от пятичленного кольца и от шестичленного кольца—гексаметилена». Как это понимать? Разве гексаметилен не гексагидрогенизованный бензол? Говоря о пирогенетическом разложении нефти (стр. 11), проф. Лялин пишет, что Летний получил 40% бензола и его гомологов. Эта невероятно высокая цифра сравнительно даже с достигнутыми в последнее время выходами бензола и толуола объясняется очень просто: речь идет о 40% от смолы, а не от нефти, как выходит из текста. Неудачно описана автором перегонка нефти. Нефть, поступающая в перегонный куб, подогревается обычно за счет теплоты отходящего мазута, а не теплотою дымовых газов. По книге проф. Лялина выходит, что только первые три куба перегонной батареи отапливаются нефтяными остатками; в остальных же кубах перегонка ведется только перегретым паром (стр. 16). На стр. 17 сказано, что к нафтеновым нефтям относятся нефти бакинская и апшеронская. Впервые приходится встречать такое противопоставление...

Дана характеристика нефти Нидерландской Индии и ни слова не сказано о приобретшей за последнее время громадное значение нефти грозненской. На стр. 116 автор неправильно утверждает, что деготь лиственных пород состоит, главным образом, из фенолов. Какое представление о химическом составе дегтя хвойных составит себе читатель, да еще мало сведущий, прочитав, что «деготь хвойных заключает в себе, главным образом, углеводороды терпенового ряда, по преимуществу фенолы, органические кислоты, альдегиды и кетоны»? (Стр. 117). А вот, на той же стр., о берестовом дегте: «Большая часть берестового дегтя состоит из углеводорода теребена C_{10} H_{16}, терпена и фенолов; кроме этих веществ, имеются еще крезол, гваякол и ксиленол». Во-

первых, фенолов в берестовом дегте не так много, чтобы говорить об их преобладании в нем (по моим личным неопубликованным еще исследованиям, берестовый деготь содержит фенолов меньше, чем другие древесные дегти); во-вторых, выходит, что не только гваякол, но даже крезол и ксиленол не относятся к фенолам. Русский скипидар вращает плоскость поляризации вправо, а не влево, как сказано на стр. 131. На стр. 134 автор, по нашему мнению, излишне подробно для общего курса перечисляет отдельные углеводороды, спирты и другие соединения, входящие в состав смоляного масла; но если говорить исчерпывающе подробно, надо было включить в перечень и тетрагидроароматические углеводороды, выделенные из смоляного масла. Неправильно считает проф. Лялин холестерин и другие стерины принадлежащими к ароматическому ряду (часть II, вып. 2, стр. 9). На стр. 60 того же выпуска сказано, что оливковое масло применялось для мыловарения еще до XIX века, а несколькими строками ниже говорится, что жидкими растительными маслами стали пользоваться для мыловарения лишь в самое последнее время с изобретением способа гидрогенизации жиров. Читатель учебника может подумать, что оливковое масло не относится к жидким растительным маслам. На стр. 17 сказано, что, по исследованиям Райта и Левкочива, процесс гидролиза жиров совершается постепенно через ди- и моноглицериды, других взглядов на этот вопрос не приводится, и только на стр. 49 читатель узнает, что на этот счет существуют различные мнения. Приготовление эшвегерского мыла описано неудачно, и читатель едва ли составит себе представление о сущности дела и о различии между клеевым и эшвегерским мылом (стр. 63). Вовсе не упоминается о способе Кребица. В главе о кожевенном производстве автор дает определения понятий шкуры и кожи, а затем сам же там, где надо говорить «шкура», говорит «кожа». Кроме растительного, жирового и минерального дубления автор отличает еще животное дубление (стр. 73), которое, впрочем, тотчас же оказывается жировым. О том, что замачивание производилось гниением шкуры в гниющей воде, да еще недавно, можно было бы и не упоминать (стр. 73, 74). Говоря об осветлении экстрактов (стр. 78), автор не упоминает о применении для этой цели бисульфита. Лучшим дегтем для смазки кожи считается не березовый, а берестовый. Автор подчеркивает, что применяемый деготь содержит много фенолов, как будто от большого количества фенолов и зависит пригодность дегтя для смазки кожи. Возможно, что как раз одно из преимуществ берестового дегтя заключается в малом, сравнительно с другими дегтями, содержании фенолов. Неблагополучно обстоит дело и с дегрой (стр. 78 и 85). Совершенно отсутствует объяснение значения комбинированного дубления. В таблице на стр. 83 вместо «вещество самой кожи» лучше было бы применить термин проф. Поварнина— «гольевое вещество». Из описания двухванного способа хромового дубления читатель поймет, что соляная кислота вливается сразу, а не постепенно (стр. 84). В качестве восстановителей в двухванном способе предложено, действительно, много веществ, но разве автору известно применение где-нибудь, напр., гидроксиламина для этой цели?

Заканчивая этим перечисление недочетов и lapsus'ов рецензируемой книги, нельзя не признать, что выбор для издания учебника по химической технологии сделан Научно-Техническим Отделом В. С. Н. Х. не совсем удачно.

Проф. Н. К. Траубенберг.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ.

1. У. КРЭЙК. Краткая история современного рабочего движения в Англии. *А. Чекин.*

У. КРЭЙК. Краткая история современного рабочего движения в Англии. Пер. С. Пестковского. Социально-политическая библиотека, № 1. Госиздат. Москва—Петроград. 1923 г. Стр. 112. Цена не указана.

В нашей литературе немного есть работ, которые в такой мере нужны были бы читателю, как работа Вилльяма Крэйка. Правда, она представляет собою не что иное, как перепечатку, с небольшими изменениями, ряда статей, публиковавшихся в органе Национального Союза Железнодорожников Англии, The Railway Review». Вместе с тем характер изложения таков, что в значительной мере осложняет пользование работой: мы в ней имеем скорей всего не книгу для чтения, а *конспект*. Но есть ряд достоинств самой работы, которые выделяют ее среди обычной литературы по вопросам мирового рабочего движения. А те обстоятельства, которые побудили Крэйка написать сначала ряд статей и затем их переиздать в переработанном виде отдельной книжкой, еще более увеличивают ценность ее.

Дело в том, что Вилльям Крэйк является одним из главных работников Центрального Рабочего Колледжа в Лондоне, организованного совместными силами Национального Союза Железнодорожников и Южно-Уэльской Федерации Горнорабочих в противовес мелкобуржуазному влиянию на рабочую массу Рескинского Колледжа в Оксфорде. Центральный Рабочий Колледж представляет собою единственную в Англии выдержанную и последовательную школу марксизма, откуда вышло уже не мало революционных руководителей английского рабочего движения, не мирящихся с экономическим мировоззрением Веббов, Уолласа, Слэйтера и др. «профессоров». пытающихся в Рескинском Колледже и в Высшей Школе Экономических Наук в Лондоне привить рабочим стипендиатам взгляды Джевонса, Маршалля, Бем-Бавеерка и Карла Менгера. И то обстоятельство, что Крэйк руководит этой школой, указывает определенно, в каком направлении идет его аналитическая мысль при изложении фактов и эпизодов истории английского рабочего движения. Другими словами, «Краткая История» написана *марксистом*. А это и есть первое достоинство книги.

Второе достоинство вытекает из мотивов, побудивших В. Крэйка написать книгу. Статьи в «Railway Review» им писались для того, чтобы *дать* своим слушателям отсутствующий на английском книжном рынке *учебник*. Книга оказалась поэтому построенной для студентов, для учащихся в рабочей высшей школе. Отсюда—ее недостатки (схематичность, конспективность) превращаются в ее достоинства. Ибо изложение, дающее сжатый пересказ главнейших эпизодов английской рабочей истории, и есть как раз то, чего не хватает не только английскому рабочему, впервые прикоснувшемуся к источнику знаний; оно необходимо не в меньшей мере и рабочему русскому, который до сих пор еще, пять лет спустя после того, как перед ним открылись ворота университетов, и как он сам создал свои собственные школы обществознания, оказывается без соответствующих пособий...

Но если «Краткая история» и написана марксистом, и предназначена служить учебником, то это вовсе не означает, что в ней нет известных недостатков.

В то время, когда Крэйк писал свою работу, он был *марксистом*, но примыкал к тому течению в английском социализме, которое не во всем и не всегда занимает выдержанно марксистские позиции. Речь идет о гильдейском социализме. Заключительный абзац книги совершенно определенно устанавливает этот факт. В нем Крэйк го-

ворит: «Производственный юнионизм, синдикализм» и «национальный гильдизм», хотя и сильно отличаются друг от друга в своих взглядах на политическую деятельность, знаменательно все сходятся в одном пункте: производственная организация воплощает в себе новый принцип общественно-экономической организации, благодаря чему им (ей?) суждено играть решающую роль в *преобразовании* общества и выполнять существеннейшие функции в *преобразованном* обществе... Здесь мы имеем *новую концепцию социализма,—социализма объективного и осязательного»*... (стр. 110). Разумеется, это вполне понятно, если вспомнить дату, когда писались данные статьи: 1916 г. еще не знал ни Октябрьской революции, ни тех опытов производственной работы, какие проделали русские профессиональные союзы, *конкретно* поставив весь мировой пролетариат перед целым рядом практических вопросов хозяйственного строительства. Крэйку поэтому гильдейский социализм, синдикализм и производственный юнионизм—в общем, в достаточной мере мало осознанные, но, тем не менее, революционные по своим здоровым устремлениям течения—и могли рисоваться «объективным и осязательным социализмом»... Но такого рода недостаточная *четкость* исходных точек зрения автора в значительной мере *подрывают* местами ценность книги.

Если бы такого рода дефектов в ней не было,—она представляла бы собою, разумеется, идеальную работу. Ибо в общем и целом трактовка и отдельных этапов развития английского рабочего движения, и основных тенденций этого развития верна и выдержана с марксистской точки зрения. Автор дает нам всегда *полную* картину движения—не только анекдотическую сторону *фактов*, но и изображение предпосылок и факторов этого движения. Однако, нечеткость и невыдержанность некоторых оценок налицо.

При переводе на русский язык эти недочеты легко, конечно, можно было бы избежать. Для этого достаточно было бы снабдить книгу соответствующими примечаниями редактора перевода или переводчика, в которых отдельные туманные или даже неверные мнения Крэйка нашли бы освещение, критику и дополнительные иллюстрации. Переводчик отчасти попытался сделать это. Но...

Тут-то мы и подходим к больному месту русского издания. Никто, конечно, так ясно не представляет себе всех трудностей перевода с английской работы, написанной так конспективно, как работа В. Крэйка. Тем не менее, следует признать перевод ее не выше среднего. Самый текст переведен чрезвычайно тяжелым языком. Местами подобраны прямо-таки неудачно термины. Порой мы встречаемся и с неверным пониманием смысла оригинала. В качестве примеров приведем хотя бы нечуткую фразу, которой переводчик подменил чрезвычайно симптоматичное заглавие XI, последней, главы. Крэйк назвал эту главу «Лицом к лицу с будущим»; переводчик подменил это заглавие «Видами на будущее»... Совершенно ясно, что виды на будущее—это одно, а попытка оценить положение накануне этого будущего, стоя лицом к лицу с ним,—это совершенно иное... Другая иллюстрация: «Война,—читаем мы на странице 103,—никоим образом не замедлила развития тех экономических факторов, которые до августа 1914 г. вызывали необходимость реорганизации профессиональных союзов. Война, напротив, способствовала чрезвычайному ускорению этого развития. Техника сделала новые завоевания. *Подразделение в процессе труда сильно возросло»*... Подчеркнутая фраза представляет собою попытку сказать, что техническое разделение труда (английский термин: «подразделение трудовых процессов») значительно усилилось. Но получается «новая» терминология, непонятная для читателя... Вообще все фразы, приведенные нами здесь, свидетельствуют о стилистической недоделанности перевода. А кошмарный «пересад» некоторых терминов, вообще еще не особенно привившихся в русском обиходе (в роде dilution of Labor, что обычно переводится словами «разжижение труда»), оставляет самое тяжелое впечатление. Мы читаем, напр., о «разводнении труда»...

И на ряду с этим в переводе тов. Пестковского нет достаточного числа при-

мечаний, которые освещали бы некоторые места, хорошо, очевидно, знакомые английскому рабочему, непосредственному участнику современного рабочего движения, но недостаточно известные рабочему русскому, а между тем оставленные переводчиком в таком именно виде, в каком они вышли из-под пера Крэйка в 1916 году...

Однако, как ни велики и многообразны дефекты перевода и как ни значительны дефекты и самой работы Крэйка, эта работа в русском издании все же является чрезвычайно ценным вкладом в русскую литературу вопроса. Необходимо лишь, чтобы в последующих изданиях—а таковые, несомненно, потребуются—перевод был тщательно проредактирован и снабжен дополнительными примечаниями...

А. Чекин.

ВОПРОСЫ ТРУДА.

1. Ф. Р. ДУНАЕВСКИЙ. Проблемы профессионального отбора. *И. Шпильрейн.* — **2. Сборник работ санитарной инспекции на Украине.** *С. Каплун.*

Ф. Р. ДУНАЕВСКИЙ. Проблема профессионального отбора (выбор профессии). Изд. Института Труда и журнала «Путь Просвещения». Харьков. 1923 г.

Молодому еще течению психотехнического профессионального отбора посвящено в России большое количество книжек, брошюрок и журнальных статей. Большинство этих брошюр и статей, надо прямо сказать, никуда не годится. Они или скомпанованы наспех и в небрежном неорганическом соединении отдельных частей стремятся передать читателю то немногое, с чем успели ознакомиться их авторы или составители, или хотят множеством иллюстраций заменить пустоту внутреннего содержания, или, наконец, сообщают о таких психотехнических достижениях других стран, которые бы могли поразить воображение неопытного читателя и «раскрыть ему глаза», а в действительности скорее затемнить его сознательный подход к проблеме, заставляя ожидать от психотехнического подбора и его нынешнего положения гораздо больше, чем профподбор может выполнить.

Недостаток в хорошей серьезной книге, намечающей основные вопросы психологического испытания профпригодности, восполняет только что вышедшая книга Дунаевского. Все основные вопросы, возникающие при практическом проведении работ по профессиональной ориентации, выявлены в этой книге. Указаны те основные достижения, дифференциалы психологии, которые только и позволили поставить работу по профессиональной консультации и профессиональному подбору, указаны те экономические причины, благодаря которым могла развиться такая работа, подчеркнуто влияние войны на развитие психотехнической практики, внимательно рассмотрена история методики психологических испытаний профпригодности и серьезно разобраны существующие за рубежом и у нас исследовательские институты. Наконец, книжка, не обещая всевозможных несбыточных решений и универсальных методов, подробно останавливается на таком серьезном для психотехники вопросе, как вопрос об изменчивости способностей, о значении упражняемости и т. д. Вопросу о социальной организации профконсультационной работы посвящено значительное место, точно так же, как методологическому делению изыскательной работы на анализ профессий и определение способностей кандидатов. Все это здесь дано в кратком, но достаточно точном критическом и научном виде.

Наконец, как на особенное достоинство книги, следует указать на то, что

автор не останавливается на разрешении одних только вопросов о методах психологического испытания профессионально важных качеств и на методах поверки этих испытаний, но ясно говорит о необходимости синтеза отдельных качеств в понятии человеческой личности со стойкими диспозициями и что только синтезирующая работа может дать прочное обоснование консультационной деятельности. Автор оказывается, таким образом, последователем Штерна, что проявляется и в том ясно-научном, лишенном излишнего словесного багажа, тоне книжки, который несколько напоминает штерновские работы.

Книга использует новейшую иностранную литературу и в простой понятной форме научно знакомит читателя с нынешним состоянием работ по профессиональной консультации, теоретическим обоснованием этой работы и основными проблемами.

В критике принято указывать не только на достоинства, но и на недостатки работы. Признаюсь, я это делаю значительно менее охотно, чем пишу о достоинствах книги, потому что достоинства во много раз перевешивают те пропуски, о которых нужно все же сказать несколько слов.

Во-первых, говоря о социальной организации психотехнической работы, автор не достаточно учитывает французский опыт объединения всех профконсультационных бюро при биржах труда под заведыванием французского министерства труда.

Во-вторых, может-быть, недостаточно ясно указано на значение возраста в деле определения профессионально-важных способностей. В частности, не упомянуто то, что практически неизбежная консультация подростков в период половой зрелости в бюро профессиональной консультации ведет к тому, что испытываются подростки в период наибольшей неустойчивости их психической жизни. Желательно было бы более подробное указание на такой острый теперь вопрос, как соотношение между психотехническим подбором и школами, специально профессиональными школами и т. д.

Но, повторяю, и без этих указаний, значительно увеличивших бы к тому же размеры книги, мы имеем в настоящем издании самое лучшее, что было написано до сих пор на русском языке по этому вопросу.

Исаак Шпильрейн.

СБОРНИК РАБОТ САНИТАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ НА УКРАИНЕ. (Под редакцией проф. А. Ф. Никитина). Харьков. 1923 г. Изд. Уполнаркомтруда. Стр. 137.

Рецензируемая книжка представляет собою первое в России издание подобного рода—собрание оригинальных, преимущественно описательно-экспериментальных работ сравнительно молодого института санитарной инспекции труда.

Во всем сборнике только три статьи не основаны на непосредственной специально произведенной работе в промышленных предприятиях или других местах применения профессионального труда. Статья *Б. Маркуса* дает краткий обзор деятельности Украинской санинспекции в 1922 году и показывает, что на ряду с ростом интенсивности деятельности органов охраны труда с каждым триместром уменьшалось число обнаруживаемых санитарно-технических дефектов в области условий труда.

Обстоятельная статья проф. А. Ф. Никитина посвящена вопросам гигиенической методики в работе санитарной инспекции. Статья эта дает много чрезвычайно ценных практических указаний, но все же от ее маститого и известного своими прежними работами в области экспериментальной гигиены автора можно было ожидать большего. Чрезмерно много места уделено таким моментам, с которыми на практике санитарному инспектору почти вовсе не приходится сталкиваться или разрешение которых элементарно просто (поверхностный рельеф почвы, температура наружной атмосферы и прочие метеорологические данные, температура и влажность почвы, уровень почвенных вод, температура воды, сила ветра) В то же время ряд вопросов методики санитарной работы в промышленных помещениях освещен недостаточно (как, например, определить объем машин при

вычислении кубатуры, недостаточно описание определения вентиляции и т. п.), не имеется подробного описания устройства и практических особенностей отдельных приборов. Но все эти недостатки почти не ослабляют общих достоинств работы проф. Никитина, и следует только пожелать, чтобы он ее, несколько расширив и углубив в части промышленной и сократив в главе, касающейся работ на открытом воздухе, выпустил отдельным изданием (обязательно иллюстрированно).

Специальная статья того же Никитина и д-ра Пастернака посвящена вопросу о роли и задачах санитарной инспекции в деле изучения профессиональных вредностей и указывает на необходимость проведения ряда углубленных научных работ.

Далее в сборнике следует ряд статей отдельных санитарных инспекторов, дающих материалы самого разнообразного характера. По кругу вопросов тут мы находим и проблему утомляемости, и влияние специфической работы на половую сферу женщины, и влияние шумных работ на орган слуха, и результаты медицинского освидетельствования различных групп рабочих и экспериментальное исследование пыльности и санитарно-технические описания отдельных производств. С точки зрения профессионально-производственной тут нашли себе отражение: телеграфистки и телеграфисты, котельщики, почтовые служащие, канатный завод, сахарное производство, паровозные мастерские, табачная фабрика, судостроительные работы и электрическая станция.

Само собою разумеется, что каждая из этих работ не дает еще права делать серьезных и широких выводов, но все они служат весьма ценным материалом, который должен подвергаться дальнейшему накоплению, критике и взаимной проверке, как это имеет место во всех остальных отраслях положительных наук. На научной ценности отдельных работ я здесь останавливаться не стану, так как этому место лишь на страницах специальной прессы, укажу лишь на особо интересные и богатые материалом статьи Никитина («Пыльность воздуха на канатной фабрике»), Якобсона («Попытка серьезного изучения утомляемости вне условий лабораторного эксперимента») и Трамбицкого («Исследование органа слуха у котельщиков»).

Помимо статей, в сборнике имеется ряд мелких заметок, объединенных общим заголовком «Из практики санитарной инспекции», также представляющих значительный интерес.

Почин Украины в издании подобного сборника оригинальных работ по типу всевозможных немецких «Archiw'ов» следует всемерно приветствовать. Идя по этому пути, мы углубим нашу практику и будем вносить максимум научной объективности во всю повседневную работу по охране труда.

Внешне (шрифт, бумага, брошюровка) книга издана хорошо. С. Каплун.

ЛИТЕРАТУРА О ВОСТОКЕ.

1. В. А. КРЯЖИН. Национально-освободительное движение на Ближнем Востоке. *Г. Сандомирский.* — **2. «Восток», № 2.** *В. Кряжин.* — **3. Л. СОЛОВЕЙЧИК. Басмачество в Бухаре.** *Г. Бройдо.*

В. А. КРЯЖИН. Национально-освободительное движение на Ближнем Востоке. Издан. Нар. Комис. по делам национальностей. Ч. I. Москва. 1923 г. Стр. 152.

Для того, чтобы широкие трудящиеся массы России могли разобраться в сложном клубке событий, завязавшихся на Бл. Востоке, интерес к которым значительно возрос в связи с Лозаннской конференцией, им необходимо дать хотя бы элементарное представление о современном социально - политическом положении отдельных стран Передней Азии и отчасти Сев. Африки. С этой точки зрения руководимая М. Павлови-

чем Научная Ассоциация Востоковедения не могла выбрать более удачного момента для выпуска в свет своей «политико-экономической серии». Выпущенная Ассоциацией книга В. А. Кряжина не только идет навстречу потребностям широких масс, внимание которых приковано к политическим событиям, разыгрывающимся в Передней Азии, но, несомненно, окажет ценную услугу нашей учащейся молодежи, до последнего времени принужденной довольствоваться лишь устарелыми пособиями,—преимущественно изданными на иностранных языках. Первая часть книги В. А. Кряжина посвящена Сирии, Палестине, Киликии, Месопотамии и Египту. Следует отметить, что не все перечисленные страны освещены в книге Кряжина одинаково ценным и обильным материалом. Наибольшую эрудицию автор проявил в отношении Сирии и Месопотамии, но и описание Палестины, Киликии и Египта сделано вполне удовлетворительно. С первых же страниц книга Кряжина производит приятное впечатление тем, что в лице Кряжина приходится иметь дело не с человеком, надевшим на себя давно опостылевшую личину «объективного» кабинетного исследователя, а с автором, несомненно, обладающим законченным политическим миросозерцанием, исключающим всякое примирение с грабительской деятельностью западно-европейских империалистов на Бл. Востоке. И то, что автор не удержался в рамках чисто-описательного очерка, составляет не минус, а значительный плюс его книги. Особенно ценным в его книге следует признать разоблачение истинной роли сионистов в Палестине, являющихся (вольным или невольным—в лучшем случае) орудием английских империалистов, помогающих последним в укреплении их господства над арабами и др. угнетенными народами Бл. Востока. Автор рядом убедительных фактов доказывает, что оборонительный национализм сионистов уже давно превратился в *угнетающий* национализм по отношению к арабам и др. соседям. Уделено соответствующее место и разоблачению военной авантюры ген. Гуро, увенчавшей бесславную и незадачливую империалистскую политику Франции на Бл. Востоке.

Таким образом, книга Кряжина явится не только ценным пособием для нашей рвущейся к свету учащейся молодежи, по большей части совершенно неосведомленной в ближне-восточных делах, но и одним из красноречивых, с темпераментом сделанных, разоблачений хищнического империализма союзников.

С еще большим интересом следует ожидать появления второй монографии того же автора, в которую войдут: Анатолия, Курдистан, Аравия и арабские области С. Африки. Анатолия все же является в данный момент главной ареной мировых событий на Бл. Востоке и главным опорным пунктом мусульманского мира, отражающего наступление европейских империалистов. Первая книга Кряжина дает основание надеяться, что он справится более чем удовлетворительно с описанием социально-политической структуры Анатолии. Было бы желательно увидеть во втором томе,—помимо удовлетворительно выполненных в первом географических карт, — еще и стратегическую карту греко-турецкой войны.

На случай, если 1-й том потребует переиздания (а в этом можно не сомневаться), необходимо, чтобы автор внес в него все же некоторые коррективы. Так, автор часто жалуется на отсутствие в Москве новейших справочных сборников, и потому приводит часто из «Statesman Yearbook» статистические данные лишь за 1919 г. и—весьма редко—за 1921 г. Между тем нам известно, что, при некотором усилии с его стороны, он мог бы найти в Москве тот же справочник за 1922 и даже за 1923 годы. Жаль еще, что хорошая книга В. А. Кряжина изобилует корректурными, а то и стилистическими небрежностями (напр., «всецелая поддержка» и т. п.). При переиздании 1-го тома и выпуске 2-го автору, конечно, легко будет их избежать...

Г. Сандомирский.

«ВОСТОК». Журнал литературы, науки и искусства. Книга 2-ая. «Всемирная Литература». Госиздат. 1923. Стр. 168.

В отличие от первой книги—центр тяжести второй книги журн. «Восток» лежит не в области науки, а литературы и искусства. Действительно, мы не встречаем в только что появившемся номере таких блестящих научно-теоретических статей, как «Яфетиды» Н. Марра или «Пещеры тысячи Будд» С. Ольденбурга, помещенных в первой книге журнала.

Наиболее интересная статья 2-го номера принадлежит Ф. Розенбергу — «Об индо-персидской и ново-индийской живописи». Путем кропотливого анализа немногочисленных дошедших до нас старинных произведений персидской живописи автор прослеживает эволюцию ее от эпохи сассанидов, через монгольский период, до эпохи расцвета XVI в. Иран представляется автору тем «котлом, в котором в течение веков перерабатывалось все то сырье или полусырье, которое доставляли запад и восток, север и юг». Именно поэтому «отпечаток эклектизма лежит на всех проявлениях Ирана, он сказывается в религии и философии, литературе и искусстве». Подобное утверждение можно, конечно, принять лишь с большими оговорками. Вряд ли, напр., суфийскую поэзию Персии, оказавшую подавляющее влияние на всю литературу Турции и Индии, можно назвать эклектической, т.-е. лишенной индивидуальной творческой физиономии.

Что касается до ново-индийской живописи, то автор устанавливает в ней два главных течения—аристократическое—придворное, находящееся под всецелым влиянием Персии, и народное, связанное с предшествующими эпохами искусства Индии. В общем же, по мнению Ф. Розенберга, ново-индийская миниатюрная живопись представляет из себя лишь вариант придворного индо-персидского искусства, хотя и проникнутый националистическими влияниями Индии.

Из остальных статей необходимо отметить небольшой этюд А. А. Ромаскевича: «Литературное движение в современной Персии», в которой автор прослеживает развитие персидской поэзии и публицистики с середины XIX в. и до революции 1906 года. Жаль только, что автор недостаточно использовал книгу E. Brown'a. «The Press and Poetry in Modern Persia» (C. 1914), где знаменитый ученый дает подробный список персидской прессы, характеристику современных поэтов, обильные образцы их творчества и т. д.

Очень серьезные статьи даны В. Струве: «Происхождение семитического алфавита», и В. Котвича: «Среди монгольских племен».

Несколько сбивчивое впечатление производит статья В. Алексеева «Очерки современного Китая». Автор сам указывает, что политических статей он избегает, так как, «будучи не в курсе дел китайской действительности, не умеет ценить известий по их существу, а не по навязанному образцу». Оговорив, таким образом, свою аполитичность, В. Алексеев, тем не менее, не ограничивается чисто литературными и художественными фактами, а все же пытается охарактеризовать и общественную жизнь современного Китая. Так, он приводит, напр., ряд фактов, взятых из китайской прессы, говорящих о крепости патриархального быта, о распространенности гаданий, оккультизма и др. суеверий и т. д. и делает следующий поспешный вывод: «Доза европеизма, данная Китаю современностью, в лице энергичных новаторов, сокрушает пока лишь его внешние устои, не трогая тех сторон, в которых китаец желает найти чтение легкое и удобное, до последней точки понятное». Может-быть, это и так, но ошибка автора заключается в том, что, приводя перечисленные факты, он не считает нужным указывать, из каких газет они взяты: из прогрессивных, консервативных, социалистических и т. п. Вообразите, что какой-либо иностранец вздумал бы характеризовать жизнь России до революции на основании «Московских или Петербургских Ведомостей», конечно, картина русской общественности получилась бы чрезвычайно искаженной.

Отсутствие общего углубленного подхода к явлениям китайской обществен-

ной жизни заставляет В. Алексеева сплошь и рядом центрировать свое внимание на пустяках и мелочах. Так, он указывает на неправильную латинскую транскрипцию китайских имен, на карикатурное употребление европейских знаков препинания и т. д. Иногда эта придирчивость доходит до курьезов. Так, напр., автор восстает против принятого китайцами обыкновения давать титулы газет на английском языке. «Неужели иностранцу достаточно одного лишь титула газеты, притом призрачного, не соответствующего действительному смыслу китайских иероглифов?» Неужели проф. Алексеев никогда не обращал внимания, что к той же «китайщине» прибегает, напр., Российская Академия Наук, снабжая заголовки своих изданий французским переводом?

Отдел переводов, поэзии и прозы народов Востока очень разнообразен. Чрезвычайно интересна небольшая поэма Ф. Аттара «Книга о соловье», переведенная Е. Бертельсом и дающая яркое представление о характере суфийской поэзии, одним из крупнейших представителей которой и был Ф. Аттар. Интересны изящные «рассказы из Исэ»— образцы японской солонной литературы, мастерски переведенные Н. И. Конрадом.

Украшение всей книги составляет, бесспорно, рассказ азербейджанского драматурга и писателя середины XIX в. Фет Али Ахундова—«Обманутые звезды». Рассказ этот представляет из себя талантливую сатиру на государственный и общественный строй Персии XVII в., несмотря на революцию, во многом сохранившийся вплоть до наших дней. Содержание рассказа заключается в том, что на место настоящего шаха становится бедный ремесленник, проникнутый широкими демократическими, даже чуть не социалистическими планами. Став шахом, он начинает проводить в жизнь свою программу, но наталкивается на вражду привилегированного класса и глубокую инертность народных масс. В результате он гибнет—и водворяется прежний шах, со всеми атрибутами деспотического режима. Пробуждение, рассказ-сказка Ахундова вместе с тем обладает глубоким социальным смыслом, и поэтому перевод его на русский язык является как нельзя более своевременным.

В журн. «Восток» имеются еще переводы «Библейской лирики» (А. Эфроса), прелестный монгольский рассказ о волшебстве (Б. Владимирцева), переводы арабских, китайских и армянских писателей и поэтов: И. Крачковского, В. Алексеева и П. Макинцяна. Большинство этих переводов сделано превосходно, но крупным недостатком является их чрезмерный фрагментарный характер. Действительно, по двум-трем страницам рядовой читатель, конечно, не в состоянии составить представление о совершенно чуждой ему китайской лирике или арабской повествовательной литературе. Что касается до вводных статей, то они в сущности являются краткими заметками, мало что дающими читателю и вдобавок часто написанными в неприятно приподнятом тоне. Лучше было бы сократить число переводов, но давать большие отрывки, снабжая их подробными историко-критическими статьями.

Очень хорошо поставлен отдел «Библиография», но, к сожалению, целиком отсутствует хроника, так хорошо составленная в № 1 журн. «Восток».

В. Кряжин.

Л. СОЛОВЕЙЧИК. Басмачество в Бухаре. Изд. «Красная Новь». Стр. 27+1 карта.

Мы до сих пор чрезвычайно бедны литературой о наших окраинах и сопредельных республиках.

Учет опыта революции, советского строительства в бывш. колониях царской России имеет колоссальное значение, так как он дает возможность на живой практике выковать линию Коминтерна в огромном количестве колониальных и полуколониальных стран, охватывающих $^5/_7$ населения земного шара.

В этом отношении брошюра Соловейчика, являющаяся перепечаткой статьи из журнала «Новый Восток», имеет положительное значение. Она дает краткие сведения о населении, хозяйстве,

общественной организации, государственного устройства дореволюционной Бухары, очерк революционного движения и более подробно останавливается на политических вопросах, выдвинутых революцией, как вопрос аграрный, басмаческий и др.

В книжке имеются некоторые дефекты. Не вскрыта политическая сущность и роль посольства бывш. Империи, а затем и Временного Правительства в демонстрации 3 апреля 17 г., которая по существу своему была фотографически повторенной 9 января.

Неправильно освещена классовая сущность басмаческого движения, которое, по мнению автора, «в своей основе не было контр-революционным, и лишь в дальнейшем оно, под влиянием непрекращающейся агитации духовенства» и т. д., «начинает выступать против Советской власти».

Это понимание, конечно, равняется полному непониманию и неумению за внешними проявлениями, за словами проанализировать классовую сущность движения.

Весьма отрывочны разбросанные замечания о взаимоотношении классовых сил в Бухаре, не дающие возможности мало сведущему читателю разобраться в специфической обстановке чуждой ему Бухары.

Однако, несмотря на эти дефекты и неполноту, книжка при нашей бедности кое-что дает. К книжке приложена карта.

Брошюра, как и все издания «Красной Нови», издана опрятно.

Г. И. Бройдо.

ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ.

1. ЛУИ МАДЛЕН. Французская революция. Том I и II. *Ц. Фридлянд.* — **2. Ц. ЗЕЛИКСОН-БОБРОВСКАЯ. Записки рядового подпольщика. Ч. II.** *Н. Мещеряков.* — **3. «Материалы по истории революционного движения».** *С. Пионтковский.* — **4. «Материалы по истории крестьянских волнений в России».** *Б. Павлов.* — **5. В. ПАНКРАТОВ. Жизнь в Шлиссельбургской крепости.** *К. Остроухова.* — **6. И. П. ВОРОНИЦЫН. Из мрака каторги.** *Е. Штейнман.* — **7. И. КУЛИК и М. ЯВОРСКИЙ. Очерки истории коммунистич. партии (б.) Украины.** *М. Рафес.* — **8. М. РАВИЧ-ЧЕРКАССКИЙ. История коммунистич. партии (б.) Украины.** *М. Рафес.* — **9. Д. С. ФРОЛОВ. Пробуждение.** *М. Рафес.* — **10. П. ВЕРНЕР. Евгений Левинэ и Баварская Советская республика.** *Ф. Капелюш.*

ЛУИ МАДЛЕН. Французская революция. Т. I и II. Книгоиздательство «Слово». Берлин. 1922 г. Пер. с французского. Стр. 350+390.

Книга Л. Мадлен—«Французская революция» на французском языке появилась еще до войны. «Издание Истории Революции в лето от Рождества Христово 1911,—пишет автор, — может показаться чрезмерно притязательным; я не скрываю от себя этого». И в самом деле: изучение революции превратилось в широко разветвленную научную дисциплину; и если автор не предполагает «окунуться в океан государственных архивов», если он не хочет пересмотреть ни в целом, ни частично накопленного материала под углом какой-либо новой точки зрения,—то в чем смысл и значение книги. «Это не школьный учебник, но и не подлинное ученое исследование,—пишет Л. Мадлен,—это общая сводка того, что в течение многих годов появилось о революции, и выводы, к которым пришли мои учителя и товарищи». Новая книга о «Французской революции» не попытка синтеза огромного материала, но и не критическая сводка накопленного. Прежде всего потому, что наука о французской революции в настоящий момент предполагает возможным подобный синтез и подобную сводку, как и вообще всякое дальнейшее исследование, лишь при изучении народной истории революции

как истории борьбы классов на почве экономических отношений эпохи. Но именно эта классовая история революции только в зародыше, а Л. Мадлен и не претендует на то, чтобы дать подробное исследование.

Автор не новичок в исторической литературе. Его монографии о Дантоне, Фуше и т. д. сделали ему имя.

Но в книге о французской революции он хочет сообщить нам лишь выводы и сводку работ его учителей и товарищей. Кто они? *А. Сорель* и *И. Тэн*. Особенно последний. «Тэн, перед которым я совершенно преклоняюсь,—пишет он,—был бы свободен от целого ряда преувеличений, если бы писал после А. Сореля». Тэн видел только деморализованных людей в осажденном городе, А. Сорель понял необходимость видеть и осаждающих. Л. Мадлен ищет примиряющей справедливости, он пишет: «Я действительно пытался оставаться справедливым». Но, конечно, мы не будем искать «объективной истины» у восторженного ученика Тэна: автор имеет определенные взгляды и симпатии, его книга морализирует и читателю преподносит уроки мудрости.

«Французская революция» не дает той безусловно мощной картины революции, какую мы находим у Сореля и даже у Тэна. Ученик во многом уступает учителям. Но это не «ученическое сочинение». Это—весьма своеобразная, литературно-художественная трактовка революции в христианско-социалистическом духе. Это—интересная драматизация событий вместо их научной трактовки. Сочувствие автора всецело на стороне побежденных. И если автор—враг старого порядка, то герои его ему близки. Людовик XVI, «австриячка»—«жертвы революции». Мести народа Л. Мадлен не понимает, она ему кажется «бунтом разбойников». Дымкой печали покрыто у автора изложение судьбы прошлого: если революция была необходимостью, то во всяком случае, по мнению автора, печальной необходимостью.

Этот характер литературно-художественного и драматизированного произведения заставляет автора от сухих архивных документов обратиться к мемуарам современников, к письмам участников событий «...Я хочу отметить предпочтение, оказываемое мною письмам, лучшим, сказал бы я, документам, которыми я всегда пользовался преимущественно перед мемуарами»... И, как бы Л. Мадлен при этом ни пытался убедить нас, что «письма, мемуары, заметки, в которых говорили очевидцы всех классов и всех партий, от иностранных послов до крестьян глухих деревень, от якобинских «проконсулов» до «аристократов», которых ждала гильотина», одинаково интересуют его, мы в книге находим только довольно удачный подбор показаний современников - реакционеров, «жертв революции». Письма, как материал исторического исследования!? Уже одно это свидетельствует о научной ценности книги. Но умелое пользование этими «человеческими документами» иногда придает «французской революции» захватывающий интерес романа. Он пересыпает свое изложение фразами и цитатами из писем, он делает художественные отступления для усиления эффекта. 2 июня 1791 г. король бежал в Варенн. Собрание обнаружило исчезновение короля в 7 часов утра 21 июня, «когда камердинер Лемуан зашел в комнату Людовика XVI и нашел кровать пустой». Начались поиски, но «тем временем Друэ и Гильоми скачут. Как часто, бродя по этим местам, столь родным мне, мне казалось, что я слышу этот галоп. Это молодой Друэ везет свою судьбу; как же он может опоздать. И в то время, как бывший драгун загоняет свою лошадь, тяжелая коляска короля медленно катится в жаркой ночи»...

«Новая эпоха,—пишет Л. Мадлен,—рождалась из ловкой выдумки, будто национальная гвардия буржуазии, организованная для подавления восстания 14 июля, завоевала свободу». И «раз созданная, двусмысленность не сможет более рассеяться». В этом двухсмысленном тоне и ведет автор изложение событий революции. Король, дворянство, духовенство, Вандея,—все это мученики: на их стороне жалость и сочувствие автора. Буржуазия коварна и груба. Народ: крестьяне, рабочие, мелкие буржуа—они или «чернь, разбойники»—и

тогда автор клеймит их презрением или это «абстрактные труженики»—и тогда «социалист-католик» Л. Мадлен их друг и почитатель. Кто виновник 14 июля, 5—6 октября, 10 августа? «Пивовар Сантер, мясник Лежандр, Фурье—американец, Лозовский, Шабо, весь генеральный штаб бандитов, который 10 августа сбросил трон». «Великий страх» охватил Францию накануне 14 июля, в нем надо видеть: «инстинктивное движение народа, почуявшего себя на краю пропасти». Народ взялся за оружие, но к грабежу феодальных замков побудили крестьян: «проходимцы, подлинные разбойники». Таков народ. А буржуазия? В день 14 июля она «не знала или почти ничего не знала о том, что происходило». Они готовили свою гвардию, чтобы раздавить народ. Разрушение Бастилии было для них лишь «счастливой ошибкой, которая обеспечивает нас от самых страшных покушений», как писал один из депутатов. Так, реакционер Л. Мадлен пытается очернить буржуазию, вождя «третьего сословия» первых месяцев революции, выявляя ее классовый эгоизм. Но король, духовенство? Какой торжественностью обставлена глава о процессе над королем. «Король вел себя поразительно просто, с глубоким достоинством», пишет историк Л. Мадлен. «Судьи, члены конвента, совершенно незаконное учреждение,—возмущается автор,—должны были рассматривать дело, которое по закону не подлежало никакому суду» и т. д. И Л. Мадлен, ссылаясь на А. Сореля, клеймит конвент за его приговор. Духовенство было ограблено. «Когда стране нужны были деньги, и собрание оказалось в тупике (какой ужас! *Ц. Ф.*), тогда надо было решиться на грабеж: взять деньги там, где они были: в сундуках духовенства». Вот «беспристрастный» представитель науки революции.

Мы не будем останавливаться на характеристике той части книги, которая посвящена изображению работ конвента, эпохе террора. Что может сказать Л. Мадлен нового после Тэна? Правда, он понимает, что «республика была осаждаемым городом», но это не изменяет глубоко-реакционных взглядов автора. Однако, автор при изложении трудов Комитета Общественного Спасения не может не повторить слов Жозефа де Местра: «Чудо!» «Это не легенда! Зеленый зал в конце темного коридора,—пишет Л. Мадлен,—был анатомическим театром, где нация была рассечена, а затем кузницей, где на паковальне она была выкована. Она вышла из рук этих людей искаженной, но закаленной».

Будем ли мы в заключение удивляться, что эту характеристику Комитета Общественного Спасения автор дополняет утверждением: «якобинцы не выставляли принципов, они защищали свои собственные интересы». Но революция родила «мужа». «Он вышел из армии: и это тоже было фатальным». И дальше: «Наполеон Бонапарт даст Франции то, чего она ждала»... Современный порядок был создан Мирабо, который открыл ему путь, и «Наполеоном, который ввел его в твердые границы осенью 1799 года»...

Такова «новая книга» о революции. Реакционный роман ученика Тэна...

Ц. Фридлянд.

Ц. ЗЕЛИКСОН-БОБРОВСКАЯ. Записки рядового подпольщика. Часть вторая. Государств. Издательство. 1923 г. Стр. 88.

Прошло всего каких-нибудь два года с тех пор, как Истпарт начал свою работу, а между тем он уже успел издать около 25 томиков своей серии. Кроме того, в работе находятся еще десятка полтора таких книжек.

Все это, конечно, пока еще не история партии, не история революционного движения. Это только материалы (большею частью воспоминания) для будущего историка. Каждый из авторов этих воспоминаний воспроизводит не общую картину революционного движения, а только тот кусок картины, который он видел своими глазами, ту часть сцены, на которой он стоял во время своей революционной работы.

Для будущего историка такие материалы окажутся, конечно, очень драгоценными. Немного уже остается старых большевиков, которые видели сво-

ими глазами скромные истоки революционного потока, превратившегося теперь в великую реку, которые своими руками пролагали русло для этого потока. Никто, кроме них, не может рассказать об этом, теперь уже далеком, от нас прошлом. Если эти рассказы не будут записаны, они пропадут для истории.

Воспоминания старых революционеров нужны. Но вместе с тем нельзя не сознаться, что, при всем обилии таких воспоминаний, читатель—в особенности молодой—все-таки не составит себе понятия об истории партии и революционного движения, ибо не сумеет связать воедино все эти отрывки, все эти разрозненные мелкие куски великой картины. Чтение ряда таких книжек становится для неподготовленного читателя делом слишком однообразным и мало продуктивным. Не зная общей картины движения, читатель часто не знает, куда отнести и как оценить те детали, которые дает ему вновь прочитанная книга.

Для того, чтобы сделать в дальнейшем интересной мемуарную литературу, нужно поэтому подвести итоги уже имеющемуся материалу, дать общую, хотя бы и не полную картину движения. Вот задача, которая настоятельно встает в настоящее время перед Истпартом.

Тов. Бобровская много и долго работала в революционном движении. У нее много материала для воспоминаний. И она дает этот материал в своих записках. Она вспоминает уже забываемые имена товарищей, рисует интересную обстановку подпольной работы, вспоминает факты, которые не найдены ни в каких архивах охранки, устанавливает даты и т. п.

Но, к сожалению, краски, которыми пишет свои портреты и картины т. Бобровская, слишком тусклы, не ярки. Она пытается, напр., зарисовать портрет такого крупного, интересного, яркого революционера, как Шанцер. Но при этом она не дает своего описания, своей характеристики, не зарисовывает ни одной черты Шанцера. Она рассказывает только на одной странице те данные, которые имела о Шанцере московская охранка. С остальными товарищами, о которых вспоминает в своих записках т. Бобровская, дело обстоит еще хуже.

Для того, чтобы написать интересные, занимательные мемуары, нужно быть более или менее художником. К сожалению, ни т. Бобровская ни большинство авторов других воспоминаний не дают ярких художественных картин.

А поэтому невольно возникает вопрос: действительно ли нужно *печатать* все те многочисленные воспоминания, которые пишутся и будут писаться? Ведь их будет очень много. Нужна ли, допустима ли такая роскошь? И не нужно ли печатать только наиболее яркие из них, наиболее обобщающие, сохранив остальные в письменном виде, как материалы для историка.

Н. Мещеряков.

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ. Т. III. Под ред. В. Т. Илларионова. Изд. Нижегородского Губкома Р. К. П. 1922 г. Стр. 264.

Вышедший том III материалов по истории революционного движения в Нижнем хорошо издан и производит очень выгодное впечатление. Он удачно средактирован—весь том посвящен двум моментам истории нынешней революции: февралю и октябрю. При чем материал, посвященный Октябрьской революции, превалирует и охватывает не только историю революции в Нижнем, но дает сведения и о всем Нижегородском крае. Это делает книгу цельной, внутренне связанной. Материалы, данные в ней, дополняют друг друга и дают много интересного историку. В книге помещен ряд воспоминаний об Октябрьской революции в Нижнем и Нижегородской губернии и «Летопись революционных событий в Нижегородской губернии с 1917 г по 1921 г.», составленная Н. И. Драницыным. Пока из этой Летописи дано только два отрывка, обрисовывающие ход февральской и октябрьской революций в Нижнем. Летопись составлена на основании газет и некоторых архивных материалов, посвящает почти все свое внимание

буржуазии и буржуазным организациям. На исторические подробности о пролетариате она очень скупа, но то, что дает работа Драницына о буржуазии и ее организациях, бесспорно, интересно. Нижегородская буржуазия, как и буржуазия всей России, готовилась к борьбе с пролетарской революцией, но в этой подготовке она проявила такое отсутствие способностей к организации, такую творческую скудость, что из всех ее попыток ничего не выходило, кроме заседаний и ничего не говорящих резолюций. В буржуазных организациях, ставивших своей целью борьбу с пролетарской революцией, царствовал полный развал. Не было ни решимости, ни ясного и твердо продуманного плана действия. Много интересного дает летопись по истории аграрного движения в Нижегородском крае в дни революции. Среди мемуарного материала об Октябрьской революции, помещенного в книге, обращает на себя внимание группа воспоминаний, обрисовывающих ход Октябрьской революции в деревнях Нижегородской губернии. Среди довольно обширной вообще мемуарной литературы по истории Октябрьской революции эти материалы, рисующие ход Октябрьской революции в деревне, пока единственные. Они в высшей степени интересны и, как бы критически не относиться к воспоминаниям и мемуарам вообще, имеют несомненную историческую ценность. В промышленных центрах Октябрьская революция имела ярых приверженцев и защитников в пролетарских рядах. Она прошла здесь успешно и быстро. Из промышленных центров волны ее разлились повсюду, проникая в самые отдаленные и глухие места. Деревня, многомиллионная крестьянская масса узнала об октябрьском перевороте в конце 17-го года, в ноябре, декабре, а иногда и позже. Носителями Октябрьской революции в деревне, ее инициаторами и пропагандистами явились захваченные партийной пропагандой рабочие промышленных центров да деревенская беднота—солдаты, пришедшие из армии домой. Они принесли весть о совершившихся событиях, они стали организовывать и пропагандировать большевистские партийные ячейки. Вокруг них быстро собирается деревенская беднота—пролетарии и полупролетарии деревни и провозглашают переход власти в руки советов. Так было в нижегородской деревне, так было, конечно, повсюду. Эти же воспоминания дают материал и о ходе после октябрьских событий в Нижегородской губернии, и о роли и участии в них организаций Р. К. П. Кулацкие элементы деревни не сразу склонились перед рабоче-крестьянской революцией, и в Нижегородской губернии был ряд кулацких восстаний. Бороться с ними приходилось деревенской бедноте под руководством партийных организаций. Партийные ячейки по губернии несли большую работу на местах, организуя и поддерживая диктатуру пролетариата. На ряду с этим им приходилось принимать непосредственное участие и в общей борьбе с буржуазией. Многочисленные фронты гражданской войны требовали от Советской власти напряжения всех сил, и партийные мобилизации выкачивали много работников с мест. Это отражалось как на силе местных организаций, так и на их работе. Обо всем этом в воспоминаниях, собранных в книге, дан интересный и ценный материал. Тепло и искренне написан биографический очерк—воспоминание о старом партийном работнике и крупной фигуре революционного движения в Нижнем—тов. Воробьеве (Коц) Я. З., убитом деникинцами. Сборник этот, благодаря своей компактности, хорошей средактированности и подбору исторически ценного материала, несомненно, один из лучших, изданных Нижегородским Истпартом. Не совсем удачно предисловие редактора сборника, особенно там, где он говорит о роли буржуазии в февральские и октябрьские дни. В феврале буржуазия также относилась к массовому революционному движению, как и в октябре. Февраль делался не руками буржуазии, и не торжество, а растерянность и испуг переживала буржуазия в феврале. Это не мешало ей внешне славословить революцию. Это настроение зафиксировано в воспоминаниях Станкевича, рассказывающего о том, что члены прогрессивного блока плакали по ночам в истерике, а днем славословили революцию. В

Нижнем, как видно из «Летописи» Дранницына, только уступая могучему напору рабочих и солдат, буржуазия предпринимала революционные шаги. Радость ее была только кажущаяся.

С. Пионтковский.

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ КРЕСТЬЯНСКИХ ВОЛНЕНИЙ В РОССИИ. Под ред Б. Б. Веселовского, В. И. Пичета и В. М. Фриче. Вып. III. Крестьянское движение 1902 г. Государств. Издательство. Петроград, 1923 г. Стр. 129. Тираж 120 экз.

Выпущенный центрархивом третий по порядку и первый по времени выхода в свет выпуск «Материалов по истории крестьянских волнений в России» содержит в себе документы, относящиеся к крестьянскому движению, охватившему весной 1902 года четыре уезда Полтавской и Харьковской губерний. Материалы эти извлечены из дела министерства юстиции, содержащего в себе переписку, вызванную вышеуказанными волнениями, и подготовлены к печати проф. И. Ф. Цызыревым под редакцией Б. Б. Веселовского.

Крестьянские волнения 1902 г. охватили весьма незначительную по размерам территорию и продолжались недолго: в Полтавской губернии—неделю, в Харьковской—три дня. Тем не менее, эти волнения имели громадное значение, так как они являлись ярким предвозвестником событий 1905 года. Уже одно это дает основание признать рецензируемую книгу ценным вкладом в нашу историческую литературу.

Собранные в рецензируемой книге документы отмечают одну весьма характерную черту волнений 1902 г. Это—уверенность крестьян в правоте и законности всего ими учиняемого. Являясь в усадьбу к помещику и забирая у него хлеб, крестьяне были убеждены, что они лишь восстанавливают свое попранное помещиком «право». Санкция этого права дается распространившимися в крестьянской среде слухами о соответствующем царском указе, о том, что во главе движения стоит великий князь Михаил и что ближайшими помощниками и сотрудниками его являются «студенты». Таким образом, волнения 1902 г. были направлены не против правительства, а исключительно против помещиков. По распространенному в былое время повсеместно в крестьянской среде убеждению, царская власть и ее носитель—на стороне крестьян, а не панов. В 1902 г. органы правительства сделали все зависящее от них для того, чтобы разбить это убеждение.

Известно, что волнения 1902 г. были подавлены с чрезвычайной жестокостью. Харьковский губернатор, кн. И. М. Оболенский, приобрел всероссийскую известность порками, которым он подвергал крестьян. Статский советник Коваленский, наблюдавший за производством судебных дел о крестьянских беспорядках, в обширной и чрезвычайно ценной по содержанию записке о причинах беспорядков, поданной им министру юстиции, констатировал, что Оболенский во время своей поездки по волнующимся местностям буквально «терроризировал» население. «Отбывая в Харьков, — пишет Коваленский,—он предоставил всем, кто считал себя начальством на месте, продолжать экзекуции. Нужно сожалеть, что все это дело даже не было хоть как-нибудь организовано. Сек всякий кого хотел и как хотел». Эти жестокие расправы не прошли даром. Они исцелили крестьян от одной из их иллюзий. С тех пор в «князей Михаилов» крестьяне верить перестали. Они были усмирены, но с своим тяжелым положением не примирились. Тот же наблюдатель, которого мы только что цитировали в своей записке, отмечает: «Крестьяне затаили злобу и розог не забудут». Мы знаем, что слова эти оказались пророческими.

Собранные в рецензируемой книге документы не только освещают общий ход волнений 1902 года, но дают также возможность уяснить причины, вызвавшие их. Основную причину крестьянских волнений в Харьковской и Полтавской губерниях надо, конечно, искать в экономическом положении местного населения.

Положение это было, поистине, безотрадным. В связи с увеличением народонаселения, земельные наделы, по-

лученные крестьянами при освобождении от крепостного права, раздробились до такой степени, что в некоторых селениях на душу приходилось не более половины и даже четверти десятины. Недостаток земли и отсутствие пастбищ поставили крестьян в полную экономическую зависимость от соседних землевладельцев, которые широко пользовались своим выгодным положением в целях эксплуатации крестьян. К этим общим причинам необходимо прибавить недород 1901 года. К весне все запасы были истощены, и крестьяне остались без хлеба и без корма для скота.

Таковы были экономические причины, обусловившие возникновение волнений. Однако, мы знаем, что тяжелое положение крестьян Харьковской и Полтавской губерний не было исключительным. В ряде других местностей сельское население находилось в совершенно аналогичных условиях. Однако, в этих местностях никаких волнений в это время не происходило. В чем же ближайшие причины крестьянского движения Харьковской и Полтавской губерний? Откуда исходил тот толчок, который подвинул местное население на волнения, на нападения на помещичьи усадьбы, на поджоги их, на разграбление помещичьих амбаров и т. д.?

Останавливаясь на этих вопросах, прокурор Харьковской судебной палаты Лопухин в рапорте министру юстиции пытался объяснить происхождение волнений вполне и исключительно злокозненною агитацией революционных организаций. По его словам, крестьянское движение 1902 г. «носило характерный отпечаток явления, не сложившегося естественным путем нарождения на почве экономической, а привитого извне, созданного посредством преувеличения кем-либо в глазах народа значения имущественного неравенства между ним и крупными землевладельцами». Таким образом, по мнению Лопухина, все сводится к революционной пропаганде. Однако, через несколько дней после отправки цитированного выше рапорта, автор его в письме к министру юстиции вынужден был сознаться, что дело не только в пропаганде, а также и в том, что эта пропаганда упала «на благоприятную почву крестьянского малоземелья и ряда недородов хлебов».

Какова же была в действительности роль революционной пропаганды? Проф. Цызырев в своем предисловии склонен сводить ее к минимуму, считая, что местная и центральная администрация из своих собственных расчетов раздувала значение деятельности революционных организаций. Правильна ли такая точка зрения? Думается, что материалы, собранные в рецензируемой книге, не дают возможности согласиться с автором предисловия.

Прежде всего надо отметить, что материалы эти по самому своему происхождению и характеру не могут вполне выяснить то значение и влияние, которое оказала на ход событий пропаганда тайных организаций и отдельных революционеров. В лучшем случае эти документы познакомят нас лишь с тем, что знала администрация о пропаганде. Но она многого не знала и сама сознавалась в этом, чувствуя невозможность найти полное освещение вопросов, интересовавших ее. Раньше всего волнения вспыхнули в селе Лисичьем, Константиноградского уезда; отсюда они распространились затем на другие селения. Местной администрации удалось установить, что с декабря 1901 г. в Лисичьем проживали два бывших студента, братья Алексеенко, исключенные перед тем из Харьковского университета за участие в беспорядках. Было ясно, что бр. Алексеенко являлись центром кружка, ведущего среди крестьян пропаганду и распространяющего нелегальную литературу. Однако, все попытки полиции и следственных властей выяснить точно роль бр. Алексеенко натыкались на одно непреодолимое препятствие: полное нежелание местных крестьян давать какие-либо показания, изобличающие названных лиц. Но не одни только бр. Алексеенко распространяли нелегальную литературу. Повидимому, этим же делом занимались и другие лица. Местными властями в течение февраля и марта 1902 года было констатировано в пределах одной Полтавской губернии 16 случаев распространения «преступных воззваний». А сколько таких случаев осталось не-

обнаруженными? А сколько их было в Харьковской губернии? Неизвестно. Во всяком случае надо признать, что цифра 16 для того времени являлась весьма значительной и доказывающей, что кем-то в данной местности ведется серьезная и упорная революционная работа. Оказала ли эта работа влияние на крестьян? Проф. Цызырев полагает, что это влияние было минимальным. Однако, документы, приведенные в рецензируемой книге, свидетельствуют об ином. Сошлемся хотя бы на то, что член консультации при министерстве юстиции Семенов в своей записке о причинах беспорядков, констатировал, что «некоторые крестьяне в разговоре с властями повторяли наизусть целые фразы из прочитанных (нелегальных) изданий».

Итак, можно констатировать, что крестьянскому движению 1902 г. предшествовала серьезная революционная работа каких-то организаций. Чрезвычайно интересные документы, собранные в рецензируемой книге, несмотря на всю их ценность, не могут вполне выяснить ни размеры этой работы, ни ее характер, ни источники, из которых она исходила. Выяснить все это могли бы лишь воспоминания лиц, принимавших участие в этой работе. Поэтому представлялось бы весьма ценным, если бы эти лица нашли возможным опубликовать сведения о своей деятельности. Эти сведения пополнили и уяснили бы то, что осталось не вполне ясным в событиях 1902 г. и после опубликования рецензируемой книги.

Б. Павлов.

В. С. ПАНКРАТОВ. Жизнь в Шлиссельбургской крепости. Издательство «Былое». Петроград. 1922 год. Стран. 141.

Воспоминания В. Панкратова, находившегося в одиночном заключении в Шлиссельбургской крепости с 1884—1898 гг.—вместе с примечаниями Р. Кантора рисуют потрясающую картину ужасов «каменного мешка», где заживо погребались наиболее опасные, с точки зрения правительства, революционеры-народовольцы. «Обстоятельства привели к мысли о необходимости приспособить именно Шлиссельбургскую тюрьму для выдающихся политических преступников, как совершенно отрезанную по своему географическому положению от какого-либо центра и недоступную при строгой охране для проникновения туда постороннего элемента» («Примечания», стр. 87).

Условия жизни заключенных были специально рассчитаны для того, чтобы убивать медленною смертью—доводить или до чахотки, или до умопомешательства: «Смерть косила и косила у нас в тюрьме. Жилось как-то скверно, душевное состояние было таково, что каждый день ждешь: вот - вот она унесет еще одного» (стр. 29).

Обыски, постоянные оскорбления доводили до исступления; единственное утешение—перестукиванье с товарищами и то постоянно прерывалось жандармскими окриками и всячески преследовалось. Нередко заключенные не выдерживали системы издевательств—кончали самоубийством или подвергались смертной казни «за оскорбление действием начальствующих лиц»; были казнены Минаков, Мышкин; Грачевский покончил самоубийством через самосожжение.

Ужасные последствия шлиссельбургского режима—все возраставшее количество умиравших и безнадежно-больных—побудило начальство пойти на уступки, но уступки частичные и незначительные: разрешение работать в мастерских, разводить огороды, получать сведения о родных; введение «экономических реформ» в виде улучшения пищи и пр. Делая уступки, начальство не давало никаких гарантий к их сохранению—все льготы так же внезапно уничтожались, как и появлялись.

Произвол был полнейший.

С 1896 г. начинается некоторый просвет в жизни шлиссельбуржцев—разрешается выписывание иностранных и русских журналов за истекшие годы; некоторым заключенным сокращается срок заточения в крепости.

Автор трогательно описывает проводы уезжавших товарищей. Пребывание в крепости создавало особое глу-

боко товарищеское отношение друг к другу, и известие об освобождении мало радовало, так как не распространялось на всех товарищей.

Такова сущность грустных воспоминаний Панкратова, занимающих немного более половины всей книги; остальную часть ее составляют примечания и именной список шлиссельбуржцев с краткими биографическими сведениями, составленный Р. Кантором. В примечаниях даются указания на имеющуюся литературу по истории народовольческой Шлиссельбургской тюрьмы 1884—1905 гг. (стр. 85—86), использован архивный материал,—переписка, доклады и рапорты тех или других начальствующих лиц, а также и позднейшая литература, относящаяся к жизни шлиссельбуржцев.

О ценности материала, приводимого в книге Панкратова, говорить не приходится. Личные воспоминания бывшего шлиссельбуржца имеют особенное значение по своей непосредственности и правильности передачи, как душевных переживаний томившихся в заключении революционеров, так и по полноте описания тюремного быта.

Но в виду того, что воспоминания Панкратова в общем сохраняют свой первоначальный вид, относящийся к 1902 г., когда они являлись нелегальной книгой, примечания Р. Кантора не только представляют большой интерес, но являются необходимым дополняющим материалом и еще более увеличивают значение воспоминаний.

К. Остроухова.

И. П. ВОРОНИЦЫН. Из мрака каторги. 1905—1917. Державне Видавнитцтво України. 1922. Стр. 150.

Являясь участником севастопольского восстания, И. П. Вороницын начинает свою, если можно так выразиться, «каторжную эпопею» с маленького очерка неудавшегося восстания и затем уже переходит к описанию тюрем, пройденных им за период с 1905 по март 1917 года. Отдав дань севастопольским местам заключения, автор в дальнейшем останавливается лишь на крупнейших каторжных тюрьмах: смоленской, вологодской, ярославской и шлиссельбургской.

В яркой, сжатой и связной форме автор дает полную картину страданий мучеников революции, находившихся в плену у царских жандармов и палачей. Вот перед нами смоленская каторга с более или менее «сносным» режимом, но с... невыносимо грязным, вшивым, никуда негодным бельем; обычные формы тюремной борьбы ни к чему не приводят, и каторжане объявляют «голый бунт», выбросив из камер все белье. Неожиданная форма наступления заключенных на тюремную администрацию заставляет последнюю растеряться и пойти на уступки с тем, чтобы очень скоро перейти самой в наступление и еще крепче сдавить горло политического каторжанина. Дальше идет шлиссельбургская каторга. Здесь издевательства над заключенными производятся умело, хитро и гнуснее, чем где бы то ни было. Замуравленные в заплесневелых камерах, плохо питающиеся, заключенные мрут здесь как мухи, и, чтобы понизить процент смертности, шлиссельбургская администрация знает одно средство: туберкулезных и цынготных переводить в другие тюрьмы... умирать. Потрясающее описание зверств и издевательств, переходящих все границы, относится к вологодскому и ярославскому централам. И все это описывается спокойным тоном, без истерических выкриков. Больше того, вспоминая кошмарные мучения каторги, И. П. Вороницын не забывает упомянуть и о тех, правда, немногочисленных, радостях, которые время от времени переживали пленники; автор необычайно тепло отзывается о немногих «сочувствующих», по мере сил своих облегчавших положение страдальцев. Помощники Гурамов, Андреев и особенно врач шлиссельбургской каторги Эйхгольц вызывают в душе И. П. Вороницына теплые благодарные чувства. Еще в начале книги автор излагает кусочек тюремной философии, характерной для истинного революционера, и я приведу этот кусочек целиком: «В тюрьме нет ничего хуже неприятия тюрьмы,—говорит Вороницын.—Тот революционер,

который с первого же дня начинает носиться с мыслью, что его, может-быть, скоро выпустят,—самое несчастное существо в мире. Он будет неспособен к тюремной борьбе с вечным врагом—начальством. И если товарищеский долг в эту борьбу его вовлечет, он будет ядром на ногах и камнем на шее у тех товарищей, которые и в тюрьме чувствуют себя «на почетном посту». И дальше: «В психологии того поколения, к которому принадлежу я, тюрьма сыграла не малую роль. Она выработала... энтузиазм не только в важном, но и в мелочах, романтизм, противоречивший порой теоретическому реализму, стойкость и негибкость в вопросах даже практического свойства. И тюрьму—нашу школу, наш университет—мы даже любили. Мало кто из людей, много времени проведших в заключении даже в самых скверных тюрьмах, не найдет нескольких добрых воспоминаний в этом мрачном прошлом и не помянет несколькими теплыми словами то холодное время». В этом кусочке тюремной философии—все: и ожесточенная, с голыми бунтами, голодовками, иногда кончающимися смертью голодающих и всегда доводящими до крайнего истощения и заболеваний, с обструкциями—борьба заключенных с вечным врагом—«начальством» и жадное поглощение знаний, изучение целых наук, ученые труды,—и занятия цветоводством и огородничеством (Шлиссельбург). Но эта философия свойственна далеко не всем и, пожалуй, меньшинству. Ею проникнуты такие борцы, как, например, Борис Жадановский. Вот как о нем говорит автор: «Борис Жадановский—один из тех немногих людей, которые в течение долгих лет, от начала нашей каторги и до ее конца, все время оставались выпрямленными, с огнем протеста в глазах, вечно готовыми к борьбе в защиту чести и достоинства революционера». В заключение нельзя не сравнить рецензируемую книгу с объемистым сочинением Генкина «По тюрьмам и этапам». Эта последняя книга по своим размерам (больше 500 страниц), превосходящая значительно книжку Вороницына, заключает в себе описание того же периода каторги, но дает лишь отдельные отрывки, правда, очень большие как бы из дневника, не связанные между собой живой нитью, тогда как книжка И. П. Вороницына дает тот же фактический материал в хорошем, связном изложении.

Е. Штейнман.

У. Ю. КУЛИК та М. ЯВОРСЬКИЙ. На вриси історії Коммуністичні Партії (більшовиків) України. За редакцією В. П. Затонського. Частина I. Видавництво «Шлях Освіти». Харків. 1923. Стр. IV + 70. На украинском языке.

И. КУЛИК и М. ЯВОРСКИЙ. Очерки истории Коммун. Партии (больш.) Украины. Под редакцией В. П. Затонского. Часть I. Издательство «Путь Просвещения». Харьков. 1923 г. Стр. IV+70.

Еще один опыт истории К. П. (б.) У. Пока перед нами только I часть. Небольшая книжка, к тому же почти половина ее занята портретами, правда, весьма удачно воспроизведенными.

Предисловие редактора тов. Затонского написано весьма сдержанно: «Очерк истории К. П. (б.) У. тт. *И. Кулика* и *Яворского* — это, пожалуй, еще не совсем история... Скорее это—материал для будущего историка... Оценка фактов... особенно в отношении всего, что связано с Киевщиной и с деятельностью «Киевской группы», можно сказать, гораздо более правильна, чем в предыдущих произведениях тех же авторов и т. Равича-Черкасского»... А затем в дальнейшей части своего предисловия тов. Затонский обрушивается на «Историю К. П. (б.) У.», написанную тов. Равичем-Черкасским. Мы не станем здесь останавливаться на этом, так как отзыв тов. Затонского целиком совпадает с нашим отзывом (см. ниже).

В первой части брошюры дается очерк общего состояния Украины накануне революции 1917 года: развитие капитализма, социальный состав населения с характеристикой каждой отдельной социальной группы. Подчеркнута крупная роль европейского капитала в украинской промышленности, что превратило Украину в арену борьбы империализма. Правильно выявлен мелко-буржуазный

характер всего края и роль национального момента в социальных группировках. Очерк был бы полнее, если бы данные приводились в сравнении со всей Россией, единой до революции, если бы были даны подробные погубернские данные о национальном составе населения Украины, при чем отмечена была бы разница между ее восточной и западной частями.

Допущена, по нашему мнению, неправильность в оценке роли самой Украины в прежней России. Здесь автор не критически воспроизводит формулу, популярную особенно среди украинцев не-коммунистов, что «Украина была *колонией российского абсолютизма и буржуазии* и еще более иностранного империализма. Для царской России Украина была, в первую очередь, рынком, а уже потом источником сырья», так формулируют авторы (стр. 12). Мысль брошена и не развита, как будто бы она хотя бы в малой мере пользовалась уже признанием и проверена научно-марксистским методом.

В противоположность тов. Равичу-Черкасскому, авторы брошюры отказываются (неправильно отказываются) от задачи связать историю К. П. (б.) У. с предыдущим периодом истории Р. С.-Д. Р. П. Первая часть брошюры прямо начинается с момента революции 1917 г. главой «Выход из подполья». В дальнейшем весьма кратко и сжато излагаются события до конца марта 1918 года. Приводятся интересные сообщения, сопровождаемые изложением внутренней борьбы вокруг вопроса: быть или не быть на Украине особому советскому и партийному центру.

В приложении даются документы, имеющие несомненный исторический интерес.

Повторяем: труд только еще начат, окончательное суждение о нем можно будет составить только после издания следующих частей.

М. Рафес.

М. РАВИЧ-ЧЕРКАССКИЙ. История Коммунистической Партии (большевиков) Украины. Государственное Издательство Украины. Харьков. 1923 год. Стр. 248.

Коммунистическая Партия (большевиков) Украины *формально*, как целая и единая организация, существует пять лет. Внутри ее никогда не прекращалась внутренняя борьба собственных течений. Кроме того, в ее состав влились осколки украинского, еврейского и русского мелко-буржуазного социализма (незалежники, боротьбисты, меньшевики, борьбисты, бундисты, объединенцы). Если в результате шести лет революции мы имеем сейчас ликвидацию внутренней фракционной борьбы в К. П. (б.) У. и известную сплоченность и единство, то того же нельзя сказать по отношению к оценке прошлого. Здесь долго еще будет разнобой, и представители каждой бывшей фракции или даже партии будут *по-своему* подходить к истории, в которой его группа играла определенную роль. История К. П. (б.) У. еще только пишется, и каждая отдельная книга, хотя бы она выходила под заголовком «Истории», неизбежно будет весьма далека от подлинной истории. Здесь большое поле для Госиздата Украины, пока на почве, подготовленной отдельными книгами, выступит партия и даст проработанную коллективно и критически действительную историю Коммунистической Партии на Украине.

Это предварительное замечание необходимо иметь в виду при чтении рецензируемой книги.

Вполне правильно тов. Равич-Черкасский (в предисловии) объявляет и ненаучным и неправильным начинать историю К. П. (б.) У. с 1917 или 1918 года, когда «самостийность» социально-политических процессов на Украине уже стала явно оформляться и вместе с тем стала складываться и К. П. (б.) У. Он начинает свою историю издалека, с девяностых годов, останавливаясь в прошлом на меньшевиках и большевиках, на «Бунде» и на Р. У. П., позже преобразовавшейся в Укр. соц.-дем. партию.

Уже здесь выявляется пробел. «*Рев. Укр. Партия*»—*левое ответвление укра-*

инского национализма, и надо было поэтому уделить известное внимание общему развитию украинской национальной идеи. Далее необходимо было параллельно остановиться на народнических течениях и их работе на Украине, на партии социалистов-революционеров. Из рядов этой партии вышли некоторые лидеры *украинских* эс-эров, позже раскололшихся и выделивших из себя «боротьбистов». Отсюда же (от русского народничества) пошли и «борьбисты». И те и другие в 1920—21 гг. влились в К. П. (б.) У.

Первый пробел далеко не случаен. Автор подробно останавливается на политической истории «украинского пролетариата» (формулировка автора), противопоставляемой им истории «русского пролетариата на Украине». Так называемая Р. У. П. является для автора первым выявлением политической воли украинского пролетариата деревни. Хотя он и отмечает шовинистический характер выступлений и Р. У. П. и даже ее преемницы У. С.-Д. Р. П., он с негодованием (в примечании на стр. 31) обрушивается на брошюру «Самостийная Украина», выпущенную в 1917 году известным «Союзом Вызволения Украины». Его негодование вызвано тем, что эти агенты германско-австрийского империализма считают свой «Союз» наследником Р. У. П. Но сам же тов. Равич рассказывает, страницей дальше, как Донцов, Меленевский (Басок), Скорапись—бывшие лидеры Р. У. П., Укр. Соц.-Дем. Партии и даже украинской соц.-дем. «Спілки» продались австрийцам. Негодование с точки зрения коммуниста поэтому не обосновано. Нам представляется, что прав не тов. Равич, а украинские шовинисты, причисляющие Р. У. П. к *своим* предкам. Так оно и есть.

Автор делает крупнейшую ошибку, когда говорит (стр. 9—11) о трех стихиях революционного движения на Украине (Р.С.-Д.Р.П., У.С.-Д.Р.П. и «Бунд») и ставит их на одну доску. Он дает исторический вывод: «все три организации были в одинаковой степени больны наследием царского режима: болезненным национализмом, в той или иной степени замаскированным, и взаимным недоверием». Эти характеристики могут быть и правильны для отдельных групп и партий, но в социальном отношении эти три группы не равноценны. Р. У. П. и У. С.-Д. Р. П.—это *партии украинской мелкой буржуазии*, только окрасившиеся в марксистский цвет и родившие из себя сначала «Союз Вызволения Украины», потом петлюровскую Центральную Раду, потом петлюровскую Директорию. Развитие коммунизма на Украине—это процесс роста *пролетарского* ядра: большевизма, проделавшего известный путь с известными ошибками, разлагавшего мелко-буржуазные партии и откалывавшего от них *малочисленные* революционные элементы. Перепись 1922 года на Украине (стр. 241) подтверждает этот вывод, ибо во всей Украине обозначали себя «бывшими» только 4.647 человек, т.-е. около 9 процентов всей партийной организации. А пролетарское ядро—это рабочий класс, работающий в предприятиях Украины.

Эта неправильная оценка (правда, она не проводится автором вполне последовательно) приводит его к следующей восторженной формулировке значения происшедшего в 1920 году слияния «боротьбистов» с К. П. (б.) У. (стр. 164).

«Быть-может, в истории социалистических движений во всех странах, в торжественные моменты слияния двух параллельно работающих организаций (например, эйзенахцев с лассальянцами в истории германской соц.-дем., жоресистов и гедистов в истории французской соц.-дем. или в новейшей истории слияние левого крыла независимых с.-д. с коммунистической партией Германии в Галле), все эти моменты не имеют и сотой части (!) того социального содержания, того глубокого исторического смысла, которое имело слияние «боротьбистов» У.К.П. с большевиками К.П.У».

А на стр. 166 при изложении борьбы на IX съезде Р.К.П. (март 1920) автор, не замечая всей глубины противоречия, добросовестно рассказывает:

«По поводу упреков в том, что «Ц.К виноват в усилении боротьбистов, *Ленин* ответил, что в этом вопросе «требовалось маневрирование и очень сложное, мы вышли победителями»... Все лучшие элементы боротьбистов вошли теперь

в пашу партию. Мы эту партию перерегистрировали и вместо восстания боротьбистов (!!), которое было неизбежно (!!), мы получили, благодаря правильной линии Ц. К., великолепно проведенной тов. Раковским, то, что все лучшее, что было в среде боротьбистов, вошло в нашу партию».

Из сопоставления обеих цитат основная ошибка автора выявляется с достаточной очевидностью. Для тов. Ленина, это—тактика, для тов. Равича—целая «теория», основанная на синтезе большевизма с так называемым укапизмом.

Как мы уже указывали, автор видит в революционном движении на Украине три стихии. На двух мы уже останавливались. Третья —«Бунд». Почему-то автор при этом каждый раз делает оговорку о «несамостоятельности» этой третьей стихии, которая, по его же словам, одно время подчинила себе целую вторую стихию — Р. У. П. (стр. 31 и 33). Но в отношении еврейского рабочего движения делаемая ошибка свидетельствует о слабом знакомстве автора с историей Р. С.-Д. Р. П. на Украине. На стр. 26 и 27 он говорит об еврейских ремесленных рабочих и утверждает, что они на Украине были вне влияния Р. С.-Д. Р. П. и шли за «Бундом». Но именно на юге России дело было совершенно не так, было, скорее, наоборот. В городах Киеве, Одессе, Екатеринославе все 25 лет развития рабочего движения еврейские рабочие - ремесленники в своем основном сознательном ядре входили в *общую* организацию, составляя фактически городские районы. А позже они находились под влиянием «большевиков». На Украине «Бунд» шел во главе мелко-буржуазной, а не рабочей стихии, хотя он имел опору и в рабочей массе и имел во всяком случае среди рабочих больше связей, чем У. С.-Д. Р. П.

Отмеченные нами особенности в освещении дореволюционного, так сказать, источного периода К. П. (б.) У. отражаются и на освещении истории самой партии (1918—1921), чему посвящены четыре пятых книги. Но здесь имеется другой еще дефект: чем ближе к последним годам, тем меньше автор самостоятельно прорабатывает материал. История партии излагается от совещания к совещанию, при чем подробно излагаются позиции каждой из двух основных течений в К. П. (б.) У., вплоть до выступлений отдельных ораторов.

Сам автор ближе всего примыкает к «Киевской группе» с ее ориентацией на организацию сил украинской *крестьянской* революции, но добросовестно излагает обе позиции, отмечая крайности каждой и положительное влияние «екатеринославцев», опиравшихся на промышленных рабочих восточной Украины. Напрасно только автор с сочувствием воспроизводит обозначения «правых» и «левых» для обеих групп.

Надо пожалеть, что автор не уделил большего внимания анализу развития «незалежных», «боротьбистов» и их борьбе с К. П. (б.) У., дававшей основание бояться восстания с их стороны. Само размещение материала от совещания к совещанию создает разбросанность фактического материала о развитии революционной борьбы на Украине. Мало мы находим в книге об организационной работе партии, об ее росте.

Существенный пробел—отсутствие анализа социальных и национальных отношений на Украине и в частности разницы между отношениями на западе и востоке Украины.

Книга, таким образом, далеко не исчерпывает вопроса.

Издана она хорошо. Помещены *хорошие* портреты всех руководителей Коммунистической Партии Украины, что так редко в наших изданиях.

М. Рафес.

Д. С. ФРОЛОВ. Пробуждение. Воспоминания рядового рабочего. Часть первая. Госиздат Украины. Харьков. 1923 г. Стр. 208.

Во всех отношениях хорошая книга. Написанная простым, но литературным языком, она дает картину медленного «пробуждения» и первых шагов рабочего-революционера. Автор рисует много бытовых картин из жизни рабочих-самоварщиков гор. Тулы. Увлеченный буйным задором фабричных ра-

бочих, мальчиком еще автор воспоминаний тянется на фабрику. Он попадает сначала в мелкую мастерскую, где работают с очень оригинальным «рабочим днем»:

«Работали так: с часу до семи утра, с семи до восьми пили чай в трактире, в двенадцать шли обедать и с двух до семи вечера работали, не отрываясь. Исключением были два дня в неделю: суббота и понедельник».

«Это были канун «пьянки», а затем похмелье. Рабочие были до того принижены, что не считали для себя возможным даже красиво одеться, не говоря уже о других потребностях:

«— Что это мы, господа, что ли,— говорили они.—Нам это не к лицу».

«Чтобы какой-нибудь рабочий-самоварщик вышел в праздник на улицу одетым, как другие граждане города, т.-е. в европейском костюме и шляпе, да убей его, он бы в ту пору не согласился».

Та же приниженность и на крупнейшей фабрике самоваров Баташева. Но здесь сами условия будят постепенно классовый инстинкт и самосознание.

Здесь совместная «пьянка» не только с фабрикантом, даже с мастерами невозможна. Отношения ясные и твердые. Стихийный протест в связи с общим в стране возбуждением (рéчь идет о годах 1900—1905) нарастает.

Прекрасно описана автором первая стихийная стачка. В дальнейшем перед нами картина развития молодого рабочего, тянущегося к книге и борьбе. Он тянется к интеллигенции, к студентам, увлеченный их связью с книгой, культурой. Впервые попав в библиотеку с библиотекаршей Софьей Николаевной Луначарской, он жадно набрасывается на книги, читает бессистемно, начиная с Рикардо и Маркса и через романы переходя к естественным наукам. Позже он, в воскресной школе, выявляет общественный уклон, обращает на себя внимание, вовлекается в рабочий кружок, потом маевку. Проходит меньше года—он уже оратор на майском собрании, затем во главе демонстрации, наконец, в тюрьме. Далее следует 1905 год, декабрь, потом—на Тамерфорскую партийную конференцию. Тов. Фролов—большевик и будущий ответственный работник.

Все время книга читается с большим интересом и заставляет с нетерпением ждать следующей части. Книгу эту надо горячо рекомендовать молодежи, для воспитания которой она может сослужить большую службу.

М. Рафес.

П. ВЕРНЕР. Евгений Левинэ и Баварская Советская республика. Издательство «Красная Новь». Главполитпросвет. Москва. 1923 г. Перевод с немецкого. Стр. 56.

Эта небольшая книжка написана с подъемом, горячо и увлекательно (перевод сделан безукоризненно); автор, очевидно, близкий друг покойного и во всяком случае один из ближайших сотрудников его по руководству Советской республикой в Баварии.

Светлая личность Левинэ с трагической градацией выявляется в этой книжке, начиная от дневника, в котором 15-летний юноша дает «священный обет служить народу», и кончая классическими словами, которые он бросил прокурору баварского полевого суда: «Для обоснования смертного приговора прокурор ссылается на будто бы проявленную мною трусость и обвиняет меня в бесчестных мотивах. Это один из самых тяжелых упреков, которые можно сделать человеку, ведущему 16 лет революционную борьбу. Если приговор суда будет соответствовать требованию прокурора, *я прошу господина прокурора присутствовать при исполнении приговора*... Мы, коммунисты, все лишь мертвецы в отпуску». И, действительно, Левинэ встретил смерть совершенно бесстрашно...

Изложим в основных чертах этапы его жизни. Родился в Петербурге, учился в гимназии в Висбадене, короткое время—в университете в Петербурге, затем снова в Германии и уже в юном возрасте читает здесь лекции о русской литературе и пишет ряд эскизов и новелл социального характера; в сентябре 1905г., двадцати двух лет отроду, он едет в Россию, где примкнул к партии социалистов - революционеров; несколько

раз арестовываемый, он изведал все прелести царских тюрем, подвергся в Минске жестоким истязаниям, описал их впоследствии в своих «Тюремных картинках». Освобожденный под крупный залог, он уезжает за границу, пишет для социалистической прессы, пишет книгу «Николай II», в которой доказывает немецкой публике личную виновность царя в преступлениях русского правительства, затем поступает чернорабочим на фабрику в Маннгейме, чтоб добыть на опыте материал для своей работы о профсоюзах. Уже тогда, работая в профсоюзах, Левинэ критикует германскую социал-демократию за ее недостаточно ясную позицию в вопросе о мировой войне. С наступлением войны он ведет антивоенную агитацию под покровом лекций о «военной лирике старого и нового времени», при чем высказывает ценную мысль, что «презрительный» Терсит был никто иной, как мужественный выразитель жажды мира греческого народа. Взятый на военную службу переводчиком, он становится, как социалист, жертвой доноса, и на допросе у начальника лагеря, старого полковника, иронически замечает, что ведь Вильгельм заявил: «для меня отныне партии не существуют — есть только Германия»; на это Левинэ получил классический ответ: «Это-то правда, но германские социал-демократы добиваются блага германского народа, а вы желаете счастья всего человечества,—это недопустимо». После заключения брестского мира Левинэ работает в советском посольстве в Берлине в качестве корреспондента Роста. Поход Корнилова на Петербург, попытка левых эс-эров путем убийства Мирбаха вовлечь большевиков в новую войну положили конец колебаниям Левинэ, он окончательно порвал с эс-эрами и примкнул к большевикам.

В Германии Левинэ принадлежал к партии независимых, но порвал с ней окончательно после ноябрьского переворота и становится членом группы Спартака. Эссенские рабочие выбирают его делегатом на первый съезд «советов». В январе 1919 г., когда Ц. К. получил телеграмму из Верхней Силезии, что пролетариат захватил власть и намерен прокламировать Советскую республику. Ц. К., считая это опасной авантюрой, посылает туда Левинэ, которому удалось направить движение в правильное русло и предотвратить бесполезную бойню. Вернувшись из Силезии, Левинэ принял на себя редакторство газеты «Красный Форвертс», Лишь по счастливой случайности ему во время берлинского восстания Спартака удалось спастись от бойни в «Форвертсе»: незадолго перед ней он оставил здание «Форвертса», чтобы раздобыть жалованье для гарнизона. После этого он перешел в Берлине на нелегальное положение. Вскоре он переезжает в Мюнхен, где начинается новая, главная полоса его деятельности.

«Прокламирование Баварской Советской республики при существующих политических условиях всей страны было бы безумием и имело бы ужасные последствия», говорит Левинэ на одном партийном собрании в Мюнхене. Он предостерегает против опрометчивых действий. Под его руководством приступили к реорганизации партии... партия создала свой аппарат на фабриках и заводах... Посредством этих мероприятий коммунистическая партия получила то влияние и опору среди рабочих масс, *которое впоследствии способствовало ей выполнить свои правительственные задачи* (курсив наш).

Все эти места выписаны нами из стр. 26—27 книжки Вернера. Как видим, здесь налицо кардинальное противоречие: с одной стороны, «опрометчивость» и «безумие», с другой—партия выполнила свои правительственные задачи. Как мы видим из дальнейшего изложения, вся история Баварской Советской республики была таким трагическим противоречием. Левинэ принимает в ней активное участие, вынужденный к этому событиями, отлично сознавая, что это начинание осуждено на гибель; он выбирает лишь из двух зол меньшее? Однако, автору брошюры нельзя не сделать упрека, что, при всей ясности и четкости его рассказа, он недостаточно выпукло подчеркнул главные этапы в истории этой республики. Исторический анализ с марксистской точки зрения у него отсутствует. Собы-

тия являются у него на сцену совершенно неожиданными, необоснованными и необъясненными. Конечно, в небольшой брошюре нельзя дать научного анализа столь важного и сложного комплекса явлений, как возникновение, развитие и падение Баварской Советской республики. Быть-может, это вообще еще не по силам современному историку,—рана слишком свежа. Но даже в рамках популярной, полубеллетристической, полубиографической брошюры читатель остается в недоумении по многим важным пунктам.

Так, например, совершенно не выяснено, почему военный министр Шнеппенхорст, который на стр. 27 прибегает к помощи контр-революционных офицеров, на стр. 28 вместе с шейдемановцами яростно требует создания Советской республики, и когда коммунисты заявляют, что она должна вырасти из массового движения, а не в результате совещаний за зеленым столом нескольких политических авантюристов, то Шнеппенхорст кричит по адресу Левинэ: «Прусская свинья! Дать этому жиденку по его торчащим ушам». Откуда взялась эта страсть шейдемановцев к «советам».

Характерно, что, как сообщает автор, в Эбенгаузене в то время уже целые месяцы был интернирован официальный представитель русского правительства, арестованный Эйснером. Насчет характера самозванной «советской» республики Шнеппенхорста, этого нюренбергского Носке, наш автор не оставляет сомнений; но все-таки, какие побуждения, какая социальная подоплека лежат в основе его девиза «советов»? На какие слои он опирался? Настроение солдат?

Нет политической ситуации, говорит автор, в которой коммунисты могли бы ограничиться одним только «нет», всякое положение требует недвусмысленного твердого «да». Левинэ пришлось выставить положительную программу подготовки действительной пролетарской советской республики путем просвещения и организации рабочих и солдат, работы в ячейках и т. д. Провозглашенная (от имени независимых) Советская республика не имела советов. Коммунистическая партия их создала. Рабочие не были вооружены. Партия создала вооруженные кадры.

И вот, уже на стр. 33, новый сюрприз: «Посланный в Нюрнберг с целью привлечь симпатии рабочих к Советской республике, Шнеппенхорст начал плести свою измену и с помощью проклятого им полковника фон-Эппа стал организовывать против нее белую гвардию». Чем объясняется это? Слово «измена» — только парафраз проблемы. Чем объясняется эта измена своему собственному детищу? Какова социальная подоплека этой изменившейся ситуации? Автор и об этом не обмолвился ни словечком.

Коммунистам, продолжает автор, ситуация была вполне ясна. Надо было спасать массы от гнилого очарования этой лжесоветской республики, но одновременно надо было мобилизовать их для защиты от белогвардейской опасности... Мюнхенским пролетариатом овладела ужасная растерянность... Он метался между демагогией творцов республики и дальновидной логикой Левинэ... В виду грозящей опасности, коммунисты решили поддержать правительство Толлера, не принимая, однако, на себя никакой формальной ответственности. За время боев доверие рабочих к коммунистам еще более укрепилось; съезд фабзавкомов решил принять программу коммунистов: вооружить пролетариат, образовать красную армию, объявить всеобщую забастовку, учредить ревтрибуналы, передать всю власть в руки исполкома, подчиненного совету рабочих и солдатских депутатов. Левинэ был назначен председателем новых органов власти. Он был организатором обороны и диктатуры. «Задача была труднейшая, целый государств. аппарат должен был быть разрушен и заменен новым» (только государств. аппарат?). Но— на следующей странице—препятствия эти удалось преодолеть... все это совершалось с необыкновенной быстротой... фундамент к устройству пролетарского общежития был готов... «Наполеоновскому Impossible, ce n' est pas un mot français» мировая революция придала космополитическое значение».

Здесь наш автор совершенно пасует перед выше приведенным кардинальным противоречием. Что давеча было безумием, то вдруг находит совсем оптимистическую и восторженную оценку. Ав-

тор совершенно забыл, что Левинэ и коммунисты—страницей выше — поддержали Советскую республику только из самообороны против белогвардейщины и не принимая на себя ответственности. И, заметьте, автор ни единым словом не обмолвился о положении в провинции. Он говорит только о положении в Мюнхене. А как говорит? Подробно и идиллически рассказывается, как в исполком обращается какая-то женщина с вопросом, получит ли она свою ренту от Гамбургского банка, если белые будут продолжать держать почту под блокадой, и затем—как приходит другая женщина, у которой свой, этический социализм. Она не желает понять, что теперь не время для научных дискуссий. «Она является каждый день, каждый день она доводит нас до отчаяния. Каждый день назначаются новые товарищи, которые должны ее выпроводить». «Вообще мы были охвачены какой-то спокойной веселостью, которая странно противоречила всей буйной жизни». Подобного рода поверхностные анекдоты, которыми заполнена глава «Во главе диктатуры», нисколько не заменят для читателя отсутствия анализа экономики и социальной структуры Баварской Советской республики, а также влияния войны: читателю так-таки не сообщается, почему эта республика возникла и почему она погибла? Лишь однажды автор упоминает, что «инцидент с солдатскими депутатами был только одним из симптомов глубоких противоречий, существовавших как в самом правительстве, так и среди всего пролетариата». Но в чем заключались эти противоречия и почему «мелко-буржуазные элементы получили большой перевес», говорится всего в 5 строках (стр. 41)!

Грань между первоначальной ложесоветской республикой и сменившей ее впоследствии *диктатурой* нисколько не выяснена, совершенно теряется у автора. Об этом у него не сказано ни слова.

Драматично выступление Левинэ, когда тот же Толлер и другие потребовали переговоров с правительством Гофмана: «Белогвардейцы требуют выдачи вождей и оружия. Если вы думаете, что это может спасти вас—выдавайте нас! Но так как мюнхенский пролетариат ожидает одинаковая участь, будет ли он воевать или трусливо прятаться, мы, коммунисты, говорим ему: уж если приходится расплачиваться кровавой ценой, то, по крайней мере, в доблестной борьбе».

Сообщим еще из мотивировки смертного приговора над Левинэ: «Когда человек играет судьбой целого народа, то можно с уверенностью сказать, что́ он действует из бесчестных мотивов». Этот софизм нужен был буржуазному суду, чтоб провести смертный приговор. Правительство, как официально сообщалось, не нашло поводов к смягчению в порядке помилования смертного приговора; доказано, что на этом совещании правительства приняли участие 3 социал-демократа! Когда это стало известно и вызвало сильное волнение даже в самих социал-демокр. кругах, «Мюнхенер Пост» опубликовала заявление, что социал-дем. министры воздержались от голосования! Автор прав: эти господа выбрали себе самый гнусный выход из положения. Гофман и Шейдеман послали телеграммы с просьбой отсрочить решение, но обе телеграммы прибыли «слишком поздно».

Резюмируя, мы должны сказать: как биография, книжка тов. Вернера превосходна, как очерк истории *Баварской Советской республики* она крайне слаба. А между тем история этой республики, как и Венгерской Советской республики, представляет громадный, и не только научный, интерес. Здесь, так сказать, можно извлечь весь катехизис коммунизма, в особенности при сравнении с Октябрьской революцией. Как известно, первоначально вожди большевиков тоже предостерегали, но сами были вовлечены массовой волной. Почему же в России эта революция удалась, а в Баварии Советская республика погибла? Даже в краткой брошюре об этой последней нельзя обходить молчанием эту проблему.

Ф. Капелюш.

ИСТОРИЯ.

1. Г. ГЛОТЦ. Труд в древней Греции. *Н. Попов.* — 2. А. К. ДЖИВЕЛЕГОВ. Революционная армия и ее вожди. *Н. Лунин-Антонов.*—3. Проф. Н. Н. ФИРСОВ. Исторические характеристики и эскизы. *В. Сторожев.* — 4. «Труды Белорусского Государственного университета в Минске». № 2. *А. А. Сергеев.*

G. GLOTZ. Le travail dans la Grèce Ancienne (Histoire économique de la Grèce), avec 91 gravures. Paris. 1920. P. 468.

Г. ГЛОТЦ. Труд в древней Греции (экономическая история Греции), с 91 рис. Париж. 1920 г. Стр. 468.

Вышедшая в 1920 г. новая работа французского ученого G. Glotz'a представляет из себя очерк экономической истории Греции, начиная с Гомеровского периода и кончая эллинской эпохой. В книге четыре части. В первой автор, опираясь, главным образом, на данные Гомеровского эпоса, дает картину экономической жизни того периода, который обычно называют греческим средневековьем; вторая часть посвящена изучению переходного периода (автор называет его «архаическим»), в течение которого сложилась городская Греция (VII и VI вв.); третья изучает эпоху расцвета Афинской державы, а четвертая—Эллинский период.

Построение каждой части таково: вначале автор дает общий обзор социально-политических отношений и основных экономических явлений эпохи, затем переходит к более детальной характеристике социальной структуры, подробно останавливаясь на роли и положении отдельных общественных классов и групп и, наконец, весьма обстоятельно изучает основные ветви хозяйственной деятельности—земледелие и скотоводство, промышленность, торговлю, денежное обращение, уделяя не малое место технической стороне.

Какова общая концепция Глотца?

Прежде всего автор отмечает необычайно быстрый темп экономического развития Греции, в течение немногих веков проделавшей чрезвычайно значительный переход от весьма примитивных форм *первоначального* быта к сложным социально-экономическим отношениям Афинского и Эллинского периодов. Как вполне правильно отмечает автор, эта быстрота явилась результатом того обстоятельства, что переселившиеся греческие племена осели на старой культурной почве, на территории, на которой в течение многих веков развивалась и процветала Микенская культура. Другая причина — это море и те широкие международные отношения, в круге которых очутились греки.

Благодаря этим условиям, тот примитивный строй, характерными особенностями которого являются земледелие и скотоводство, как основные отрасли добывания пищи, хозяйство большой семьи, которая сама, с помощью небольшого числа рабов, удовлетворяет все свои потребности, коллективный характер земельной собственности, быстро меняется уже в Гомеровский период, давая место развитию частной собственности на землю, первым шагам по пути разделения труда (выделение особого класса демиургов — ремесленников-специалистов), начаткам морской торговли, в форме, правда, наполовину слитой с морским разбоем, и, наконец, зародышам городского строя.

Второй период характеризуется широким размахом греческой колонизации, охватившей почти весь бассейн Средиземного моря. Старинный строй с характерными для него отношениями: натуральным хозяйством, преобладанием земледелия и скотоводства, крепостной организацией труда, социально-политическим преобладанием аристократии, сохраняется лишь в отсталых областях, между тем, как в более передовых, связанных с морем районах имеет место быстрый расцвет торговли и денежного

хозяйства, а вместе с тем начинается и жестокая борьба между старой земледельческой и военной аристократией и новыми общественными классами, выдвинутыми вперед развитием экономических отношений,—борьба, приведшая, в конце-концов, к торжеству демократии во многих общинах. Вместе с тем для этого периода характерна также и ожесточенная конкуренция между различными центрами новой экономической жизни, при чем сначала руководящая роль переходит от ионийских городов малоазиатского побережья к Коринфу, а затем от Коринфа к Афинам.

Новые тенденции экономического развития, начавшиеся обозначаться еще в гомеровскую эпоху, сделавшие большой шаг вперед в «архаический» период, пышно расцветают в Афинский период, достигая своего высшего выражения в Афинской морской державе.

Афины превращаются в крупнейший торговый центр средиземноморского мира. Местное сельское хозяйство все больше переходит от зерновых культур к культуре винограда и, главным образом, оливки; своего зерна стране хватает на покрытие $^1/_5$—$^1/_4$ потребности населения; недостающая часть должна быть введена извне; промышленность развивается, техника совершенствуется; появляются сравнительно крупные предприятия, работающие на широкий сбыт. Заморская торговля достигает высокого процветания. В связи с этим широкое развитие получает и денежное обращение; накопленные средства не сохраняются уже под спудом, а пускаются в оборот. В связи с этим появляется особая группа представителей ростовщического и денежного капитала—менялы-трапедзиты, занимающиеся не только разменом денег, но и ссудными и другими финансовыми операциями. Промышленность опирается на рабский труд, но на ряду с последним видную роль играют и свободные, как афинские граждане, так и метэки. Роль последних все более увеличивается: благоприятные условия, созданные афинской демократией для пришлых элементов, побуждают все предприимчивые элементы со всего греческого мира стекаться в Афины.

Попытка Афин объединить греческий мир потерпела неудачу. Греческий городской партикуляризм падает в неравной борьбе с военной монархией Македонии. В Эллинский период центр тяжести передвигается на восток. Но хозяйственные связи охватывают обширнейшие территории; торговля достигает небывалого расцвета, появляются новые формы организации обмена и кредита. Греческие купцы проникают в Индию и Северное море.

История античного хозяйства в течение долгого времени была ареной борьбы между сторонниками теории Родбертуса-Бюхера, считавшими основным фактом экономического строя древности—ойкос, самодовлеющее, замкнутое домашнее хозяйство, и их противниками, усматривавшими в этапах, пройденных социально-экономическим развитием древности, полную параллель эволюции новоевропейских обществ и трактовавших социальную борьбу, разыгравшуюся в среде античных обществ, в терминах, взятых из борьбы классов и партий современной Европы.

Как видно из предшествовавшего изложения, Глотц решительно отвергает бюхерову теорию, но в то же время его никоим образом нельзя назвать безусловным сторонником ее противников. Детально описывая структуру хозяйства, он особенно настаивает на том, что в то время, как торговля и даже кредит достигли сравнительно очень высокой степени развития, промышленность в целом оставалась в Греции на уровне мелкого производства ремесленного типа, в лучшем случае, достигая размеров небольших мануфактур, в которых было занято не более нескольких десятков рабочих. Крупное производство не могло развиваться уже потому, что античное хозяйство не знало применения машины. Последняя же тогда не находила себе места благодаря широкому применению рабского труда. Именно этим обстоятельством — широким развитием рабского труда—и объясняет Глотц то, что античное хозяйство даже в эпоху его наивысшего расцвета не могло достигнуть того уровня, к которому пришло хозяйство ново-европейских обществ с конца XVIII века.

В небольшой рецензии трудно отметить все темы, которых касается Глотц в своей работе. Отметим поэтому лишь некоторые из них: яркую характеристику хозяйства гомеровского общества; изображение социально - экономического строя Спарты; вопрос о государственности и индивидуализме в Африке; особенности античных социалистических теорий; воззрения автора на соотношения между рабским и свободным трудом, значительно разнящиеся от обычной точки зрения на этот вопрос; взгляды автора на значение метэков; наконец, его характеристики технического развития и разделения труда.

Все эти и многие другие темы автор разработал весьма обстоятельно, опираясь на свою огромную эрудицию и прекрасное знакомство с материалом первоисточников. В большинстве случаев он заставляет говорить сами источники. Но в то же время автор не входит в разбор научных контраверз и не приводит ссылок на цитируемые им места. И если это обстоятельство и огорчает специалиста, то благодаря нему книга становится доступной для широких кругов образованных читателей, на которые она и рассчитана.

Написана книга ясным, хорошим языком и иллюстрирована 91 рисунком, представляющими из себя снимки с подлинных памятников эпохи.

Подводя итоги, можно сказать, что книга Глотца представляет из себя ценный вклад в далеко не обширную литературу по экономической истории древности. Ясность же изложения, отсутствие ученого аппарата, делают ее весьма пригодной для широких слоев читателей не специалистов, желающих ознакомиться с экономическим развитием Греции.

Н. Попов.

ИЗ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.—А. К. ДЖИВЕЛЕГОВ. Революционная армия и ее вожди. Изд. «Книга». 1923 г. Стр. 218.

Поставив своей задачей «выяснить процесс создания народной армии», автор начинает с кратких сведений о состоянии французской армии при «старом режиме», затем рисует те перемены в ее организации и настроении, которые произошли в первые годы революции. Разложение старой, регулярной армии и образование новой, добровольческой дает читателю ключ к пониманию военной кампании 1792 года.

Главы VI—X посвящены армии Конвента, до термидорианского его периода. Это—наиболее интересная часть работы А. К. Дживелегова: здесь мы знакомимся с процессом реорганизации революционной армии (переход от принципа добровольчества к обязательной службе, осуществление так называемой амальгамы, создание новой революционной дисциплины и т. п.), воспитанием солдатских масс в духе якобинства, работой комиссаров Конвента при армиях. Все эти вопросы освещены достаточно обстоятельно, за исключением новой тактики и стратегии, которые, к сожалению, затронуты слишком поверхностно. В гл. XII (Армия и Директория) изображается то внутреннее перерождение, которое пережила армия со времени битвы при Флерюсе (16/VI 94 г.) до государственного переворота 18 брюмера. Это перерождение, обусловленное длительными походами, отрывом солдат от общества и превращением их в профессионалов, тесно связанных с судьбой победоносных генералов, практикой участия армии в государственных переворотах при Директории,—с неизбежностью подготовляло военную диктатуру.

Помимо очерка истории революционной армии, автор дает ряд удачно зарисованных портретов ее «вождей»—Карно, Журдана, Клебера, Марсо, Дезе, Гоша и, наконец, Бонапарта.

Среди достоинств книги отметим правильное, чисто-материалистическое понимание связи между социальной политикой Конвента и настроениями солдатской массы в эпоху якобинской республики, а также верную оценку террористического режима. «Террор,—говорит автор,—был вызван опасностью, в которой оказалась Франция. Без героических средств она сделалась бы жертвой неприятеля, т.-е. реакции и реставрации... Террор в армии ставил

тоже определенную цель: обеспечить единство в ведении военных операций» (76).

Но некоторые положения автора вызывают самые серьезные возражения. А. К. Дживелегову, к сожалению, не удалось разделаться с лицемерным лозунгом, который выдвигает буржуазия всех стран и ее либеральные идеологи, когда армия перестает быть одним из оплотов капиталистического «порядка». Этот пресловутый лозунг гласит: «армия должна быть вне политики!» и его правильность автор старается нам доказать на примере Великой революции.

Пока—говорит он—единственной задачей революционной армии была защита Республики от *внешнего* врага, пока армия не привлекалась к разрешению чисто - политических конфликтов внутри страны,—не могло быть места для военной диктатуры. Но как только, в конце существования Конвента особенно при директории, различные партии стали пользоваться услугами генералов и их солдат, чтобы одержать верх над своим политическим противником,—свобода была обречена: в один прекрасный день она будет раздавлена генеральским сапогом. И автор хвалит якобинцев за то, что им «не приходило и в голову» обращаться к армии за помощью в тот момент, когда им грозила какая-либо опасность изнутри (стр. 150 и др.).

Такая постановка вопроса способна внести лишь величайшую путаницу в головы читателей. В действительности ни одна правящая партия не отказывается в известный момент использовать в борьбе с своими врагами вооруженную силу. В эпоху обостренной гражданской войны такое «вовлечение армии в политику» становится прямо неизбежным. Не отказывались от него, вопреки утверждению А. К. Дживелегова, и якобинцы: вспомним хотя бы подавление вандейского и федералистского восстаний, осуществленного с помощью *регулярных* войск. Если робеспьеровцы не пользовались услугами армии в Париже, то только потому, что дело революции в столице находилось под надежной охраной вооруженных санкюлотов.

Но иное дело, когда потерявшее устойчивость правительство ищет поддержки у армии, *ставшей уже силой совершенно независимой от гражданской власти*: тогда военная диктатура, действительно, становится неизбежной!

Автору так не нравится «вовлечение армии в политику», что он не раз обрушивается на якобинцев, которые пропагандой своих идей «дезорганизовали» армию (стр. 28—29, 61, 72). Невольно вспоминаешь обвинения, раздававшиеся в 1917 году против русских «большевиков», якобы «разложивших» армию. Позиция автора в этом вопросе тем более непонятна, что именно в его книжке имеются весьма убедительные факты, доказывающие всю неизбежность разложения старой королевской армии в революционную эпоху. Что касается энергичной якобинской «обработки» солдат и офицерства в 93 году, то и она имела не менее законные основания: борьба с жирондизмом велась не только в стране, но и в армии.

Книжка А. К. Дживелегова не свободна от некоторых фактических ошибок и неточностей. Так, на стр. 70 автор пишет: «после переворота 18 фрюктидора, которым господствовавшая партия обезопасила себя от натиска слева»... В действительности 18 фрюктидора произошли чистки Советов от роялистов, а не якобинцев. На стр. 159 читаем: «положение Директории все время было очень трудное. Заговоры и восстания зрели на каждом шагу. После того, как Директория с помощью Пишегрю справилась с бунтом, вспыхнувшим в жерминале 1795 года, ей пришлось иметь дело с таким же бунтом, но только руководимым якобинцами, в прериале... Директория ни на минуту не задумалась, чтобы обратиться к армии... они вверили ген. Мену... команду» и т. д. Жерминальское восстание роялистов, имевшее место в 95 году, и прериальское восстание (того же года) парижского пролетариата были, действительно, подавлены с помощью генералов, но самой Директории тогда еще не существовало: дело происходило в конце существования Конвента.

Таковы некоторые минусы разбираемой работы. Но в общем живо написанная

книжка А. К. Дживелегова читается с интересом, и появление ее нельзя не приветствовать, тем более, что на русском языке нет работы, специально посвященной истории революционной армии.

Н. Лукин-Антонов.

Проф. Н. Н. ФИРСОВ. Исторические характеристики и эскизы (1890—1920 гг.). Том I. Казань. 1922. Стр. 312. Цена 6 руб. 50 коп. (в новых дензнаках).

Книга проф. Н. Н. Фирсова не представляет интереса новизны; это—сборник старых работ, уже напечатанных в промежуток времени 1890 — 1920 годов, но представляющих в наши дни известный интерес: здесь и голод, и смута, и крестьянские волненья, и вопросы капитализма. В небольшом предисловии автор утверждает, что он перепечатывает в сборнике свои старые статьи в том же виде, как они появились раньше—без подновления и перемены освещения. Это не совсем так, ибо в соответственных местах ему приходится делать такие оговорки, которые указывают на противное. Так, под статьей «Смута и народ на Руси в начале XVII века» (стр. 18—33) есть оговорка, которую приходится понимать в том смысле, что какие-то изменения в ней все-таки есть. Статья «Расхитители и расхищение народного достояния в России» (стр. 72—93) напечатана в неоконченном виде и без указания, была ли раньше где напечатана,—быть-может, напечатана прямо с рукописи, ибо заканчивается нескладно, на полуслове и рядом точек. Статья «История русского города с древнейших времен до конца XVIII века» (стр. 152—171) напечатана совсем в новом виде. Едва ли не впервые появляется в свет статья «Зарождение капитализма и первый приступ к революции в России в первой четверти XIX века» (стр. 172—187), так как напечатание этой статьи в газете «Знамя Революции» за 1917 г. считать не приходится. Главное, на что приходится обратить внимание, заключается в ценности архивного материала, использованного в таких статьях, как «Вопрос о причинах падения вексельного курса России и о средствах к его возвышению в царствование Екатерины II» (стр. 188—241). «Зарождение капитализма»... (стр. 172 и сл.). Особняком стоит юбилейная статья «1812 год в социологопсихологическом освещении. Общая характеристика» (стр. 242—298), в которой также имеются некоторые архивные данные. В этой статье представляют интерес строки, посвященные вопросу о захвате Россией Константинополя с проливами (см. стр. 253).

В конечном счете автор приходит к выводу, что после войны 1812 года и следующих за ней походов «получилось такое положение, что все выгоды оказались на стороне высших классов»; отечественная война «затормозила отмену крепостного права». Психологически влияние войны 1812 года, по мнению проф. Фирсова, очень велико. «Отдаленные психологические волны этого влияния, по словам Фирсова (стр. 290), докатились до того исторического момента, когда впервые была сделана попытка осуществить указанный Наполеоном крепостному народу высокий жребий быть свободным». 1812-й год «общественной психологией связывается с 19 февраля 1861 года».

Книга проф. Фирсова более интересна для специалистов, чем для большой публики, более для истории самой науки русской истории, чем для дальнейшей ее разработки.

Проф. Сторожев.

Труды Белорусского государственного университета в Минске. 1922 г. № 2—3. Белгосиздат. Минск. IV+370.

В настоящем выпуске «Трудов» Белорусского университета выделяется по значительности темы и размерам статья Д. А. Жаринова «Шляхетское представительство в конституционных проектах 1730 года». В русской исторической науке нет, кажется, ни в одном вопросе большей разноголосицы, как в вопросе о Верх. Тайн. Совете, юридический облик которого освещен в литературе

до того неясно, что в то время, как одним исследователям В. Т. Совет представляется конституционным учреждением на английский лад, другие упорно считают его вспомогательно-совещательным органом «при боку» самодержавной власти, без тени ограничительных тенденций. А от взгляда на юридический характер В. Т. Совета в 1726—1729 гг. находится в значительной зависимости оценка его роли и в громких событиях первых месяцев 1730 года: чем была его «затейка»—неизбежным этапом в истории русской общественности или случайным эпизодом без корней и последствий?

Статья Д. А. Жаринова освещает этот вопрос путем анализа шляхетских проектов нового государственного устройства, представленных в В. Т. Совет, руководивший движением. Автор стремится выяснить дворянские понятия о представительстве и о характере и значении участия общества в управлении, как они отразились в известных 12 проектах, напечатанных Карсаковым. Сопоставление роли, сыгранной шляхетством в событиях 1730 г. с тем положением, которое занимало дворянство на земских соборах XVII века и сравнение выборной практики дворянских корпораций в том же веке с «мнениями», единодушно трактующими о праве шляхетства избирать высшую администрацию, приводит автора к выводу, что движение 1730 г. питалось преимущественно *национальными* источниками. Нельзя не согласиться с автором в признании «элементарности политического мировоззрения» русского дворянства 30 г. XVIII века, а также в том, что корни его политической идеологии следует искать «в условиях самой русской действительности, в кругу тех политических навыков и представлений, которые в русском шляхетстве XVIII в. являлись сложным и до некоторой степени уже органически сросшимся наследием петровской реформы, с одной стороны, и московских традиций XVII в.—с другой».

Статья вызывает, однако, некоторые возражения. Думается, «Способы» и добавление к ним нельзя причислять к шляхетским «мнениям». Есть данные предполагать, что эти документы составлены в период совещаний В. Т. Совета с шляхетством, когда сочинялись пункты присяги между 15 и 19 февраля, и являются, может-быть, ответом на «мнение» В. Л. Долгорукова. Рискованно сближение палаты ста персон, упоминаемой в проекте Черкасского, с петровским советом «ста лучших человек»: сходство между ними только формальное. В изложении автора шляхетство выступает однородной массой, и до читателя не доносится отзвуков групповой борьбы верхов и низов в его среде,—борьбы, которую весьма учитывал В. Т. Совет, да и сама Анна. Автор, кроме того, повидимому, склонен разделять традиционный взгляд на значительность роли в событиях 1730 года Д. М. Голицына, этого псевдо-героя истории русского общественного движения. Замечания эти, впрочем, не претендуют умалить значительную ценность статьи Д. А. Жаринова.

Очень заинтересовывает статья гебраиста И. Ю. Маркона «Страна Шабат в Хождении за три моря Аф. Никитина в 1466—1472 гг.». Автор—продолжатель работ Срезневского, Минаева и др. по изучению этого любопытнейшего памятника древне-русской письменности. Полемизируя с ученым синогогом А. Е. Любимовым, помещающим загадочную страну Шабат на о. Суматре, И. Ю. Маркон—путем анализа талмудической литературы и сочинений средневековых географов — приходит к выводу, что Шабат—миф. По его мнению, это не реальная страна, а отголосок старинных легенд о реке Шабатион, за которой, как верили европейские евреи, жили их отдаленные могущественные собратья. Гипотезе И. Ю. Маркона нельзя отказать в правдоподобности, особенно по сравнению с гипотезой А. Е. Любимова.

Из других статей следует отметить очерк В. И. Пичеты «Наказ старостам и державцам и волочная устава» и статью С. Я. Вольфсона «Маркс и Лассаль в переписке с Гейне». С. Я. Вольфсон дает русский перевод опубликованных недавно Г. Майером в Германии трех писем Маркса к Гейне (от средины и конца

января 1845 г.) и трех писем к нему же Лассаля (ноябрь 1846 г.).

Редакция «Трудов» выражает благодарность Белгосиздату за то, что последний помог придать № 2—3 журнала более изящную внешность. К этой благодарности присоединится, вероятно, и читатель. Но самой редакции надо поставить в упрек значительное количество опечаток — порок большинства провинциальных изданий, который, однако, особенно предосудителен в издании научном.

А. А. Сергеев.

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ.

1. Н. А. КУН. Предшественники христианства. *П. Преображенский.* — **2. Проф. Н. М. НИКОЛЬСКИЙ. Мировой и социальный переворот по воззрениям раннего христианства.** *П. Преображенский.* — **3. Проф. Н. А. КУН. Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях.** *В. Сергеев.* — **4. В. Т. ИЛЛАРИОНОВ. Обзор археологических открытий в Нижегородской губернии.** *А. Некрасов.*

Н. А. КУН. Предшественники христианства. Москва. Изд. «Мир». 1922. Стр. 160.

Небольшая книжка Н. А. Куна имеет своей целью дать представление о той религиозной атмосфере, в которой возникало и слагалось христианство. Так как автор, очевидно, не претендует на самостоятельное ученое исследование, то приходится обратить внимание, главным образом, на внутреннюю логику самой книги и на использование автором уже известного материала.

Нельзя сказать, чтобы эта внутренняя логика, самая распланировка материала, нас вполне удовлетворяла. Самое название книги говорит о «предшественниках христинства» и, действительно, главная и большая ее часть занята более или менее подробным описанием синкретистических культов римской империи. Это описание, иногда даже черезчур подробное для популярного изложения, свидетельствует о большой начитанности автора в литературе предмета, но в самом себе имеет крупную несообразность. Оно приурочено к концу III века по Р. Х., и эта хронологическая прикрепленность делает не совсем понятным заглавие всей книги. Конечно, III век представляет собой наиболее полную картину расцвета и взаимной конкуренции синкретистических культов, и естественен соблазн поставить его в центр исторического изображения; но каких бы радикальных взглядов на возникновение христианства ни придерживаться, ясно, что в III веке христианская церковь обладала уже достаточной определенностью и дифференцированностью. Таким образом, само христианство создалось—не в религиозной обстановке III века, синкретистические культы в той форме, которую они приняли в III веке, не влияли на его возникновение. Эта неслаженность осознана и самим автором, который, в конце-концов, расстается со своим первоначальным заданием—дать разрез религиозного синкретизма, проходящий через конец III века, и переходит к историческому очерку каждой из затронутых им религий. Но в таком случае остается неясным, в какой стадии своего развития и как влияли эти религии на христианство. Это еще усугубляется археологичностью изображения. За целым рядом культовых и ритуальных подробностей пропадает самая динамика исторического процесса, значение и ход религиозной синкретизации. Самой же поразительной особенностью книги является то обстоятельство, что в ней совершенно обойдены такие капитальные предшественники христинства, как иудейство и культ цезарей. Разве иудейство не является своеобразным восточным культом? Разве не с востока ведет свое происхождение культ императоров? Правда, это ограничение имеет свою

символику—оно выдает зависимость автора от работ Тутэна и, главным образом, Кюмона, построенных по такой же схеме, которая обратилась в своего рода традицию. Вряд ли у этой традиции есть какие-либо внутренние основания, кроме унаследованного благочестия, которое запрещает ставить иудейство рядом с языческими культами. По существу она просто вредна, так как влечет за собой настоящие ошибки в исторической перспективе. В качестве примера можно указать на следующий факт. В книге Н. А. Куна есть особая глава «Персидский бог Митра», которая покрывает собой то влияние, которое иранство оказало на христианскую религию. Уже не говоря о том, что эта глава недостаточна по своему содержанию—в ней не упоминается о генезисе таких представлений, как «первочеловек», «сын человеческий»—мы вообще не можем из этой характеристики иранской религии составить себе мало-мальски верное представление о влиянии иранизма на христианство. И только потому, что в области перенесения дуалистического миросозерцания, ангелологии, иудейство сыграло роль передаточной инстанции—иудейская призма объясняет целый ряд особенностей при восприятии иранских элементов христианством. Чрезвычайно сложная динамичность религиозной синкретизации затемняется и стирается.

Если при изображении восточных культов Н. А. Кун находится во власти установившейся традиции, то при изображении социальной обстановки, в которой эти культы распространялись, он находится под влиянием обычного трафарета, по которому римское общество состояло из кучки беснующихся с жиру миллионеров и массы разоренных полупролетариев. Налицо и все атрибуты этой знакомой картинки—богачи, не знающие сколько у них земли, гастрономы, питающие рыбами своих мурен. Конечно, процесс капитализации все более и более разъедал средние классы римской империи, но давать историческую картину, достойную кисти римского сатирика или христианского апологета в качестве социального фундамента для изображения религиозной культуры все же не стоит, тем более, что позднейшие исследователи научили нас относиться более критически к этой картине разложения и гниения общества, как бы специально, придуманной, чтобы оттенить моральное превосходство первых христиан.

П. Преображенский.

Проф. Н. М. НИКОЛЬСКИЙ. Мировой и социальный переворот по воззрениям раннего христианства. Москва. «Мир». 1922. Стр. 80.

Эсхатология представляет собой основной стержень иудаизма в новозаветный период и раннего христианства. Это положение, составляющее отправный пункт для большинства исследователей данной эпохи, вполне разделяется проф. Н. М. Никольским, и в настоящей работе мы имеем попытку его популяризации. К сожалению, эту попытку мы ни в коем случае не можем признать удовлетворительной. Вызывают недоумение уже самые начальные утверждения автора, как—«Иудея была родиной эсхатологии»... (стр. 5). В такой общей форме это положение просто неверно, так как самые характерные черты иудейской эсхатологии в новозаветный период, несомненно, заимствованы из парсийской религии. Даже чрезвычайно консервативный и осторожный Эд. Мейер занимает в данном вопросе вполне определенную позицию. Кроме того, при рассмотрении как и иудейской, так и христианской эсхатологии, необходимо различать собственно мессианизм с его националистическими чертами и апокалиптику с ее трансцендентными упованиями и устремлениями. Эти две концепции не выравнены и не приведены в согласие ни в иудаизме ни в христианстве, чем и объясняется противоречивость представлений о будущем царстве и у синоптиков и у иудейских апокалиптиков. Отсутствием этого различения и объясняется крайняя суммарность и неубедительность той картины эсхатологических чаяний, которая дается проф. Н. М. Никольским.

К этому присоединяется и еще одно обстоятельство. Проф. Н. М. Никольский не только убежден в полной историчности таких фигур, как Иисус, Павел, не только датирует I веком все главнейшие составные части новозаветного канона, но и представляет себе деятельность основоположников христианства в полной исторической конкретности. Мы имеем и «непосредственных последователей Иисуса» (стр. 13) и личность Павла «как она просвечивает чрез его письма» (стр. 21). В этом отношении проф. Н. М. Никольский консервативнее даже такого столпа германской исторической науки, каким является уже упомянутый Эд. Мейер. Тот, рисуя нам вполне историческую и конкретную фигуру Иисуса из Назарета, согласно представлениям умеренно скептического и критического европейца, допускает, по крайней мере, инфильтрацию основных понятий иудейской, а следовательно, и христианской эсхатологии из посторонних источников. Для проф. Н. М. Никольского, повидимому, даже не существует и вопроса о роли литературной традиции, о значении церкви, ее философов и книжников при создании канонического образа Иисуса, о сложнейших проблемах раннего павлинизма, представленных в своеобразном освещении в последней монументальной работе Гарнака о Маркионе. Конечно, все это не может быть зафиксировано на страницах популярной книжки, но все же целый ряд результатов научного исследования мог бы быть учтен ее автором.

Рецепт проф. Н. М. Никольского оказался более прост. Взято изложение более или менее либерального законоучителя, воспитанного на традиции «умеренного протестантского богословия», а для «духа времени» это изложение уснащено такими литературными мазками, как «в царстве будет так же роскошно, сытно, пьяно и весело, как за царским брачным пиром» (стр. 18); сатана «посылает своего ангела, который нападает на Павла попросту, как кулачный боец, и дает ему оплеухи» (стр. 23), которые должны свидетельствовать, но иногда не говорят о вольномыслии автора, об его литературном вкусе. Конечно, чинные законоучители, даже очень либеральные, так не выражались. И хорошо делали, по нашему мнению.

Проф. П. Преображенский.

Проф. Н. А. КУН. Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях. Часть I. Боги. Стр. 124+8. Часть II. Кн. I. Герои. Стр. 238+15. Издание Т-ва «Мир». Москва.

Если вообще верно, что каждая эпоха имеет свою философию истории, то это положение легче всего проверить на истории классической древности. В течение одного девятнадцатого века на истории классических народов несколько раз менялись точки зрения в зависимости от того, на какой, главным образом, общественный слой было рассчитано классическое образование; и в виду прямой зависимости от того, что прямым потребителем классического образования на Западе было по преимуществу дворянство — на классический мир и выработался своеобразный дворянский «галантный» взгляд, который в основных чертах оставался преобладающим до последнего времени. Еще совсем недавно в Германии—и даже в России,—где собственно классического образования и не было, признаком хорошего тона считалось умение много и горячо говорить о «красотах» древних классических языков, о возвышенном образе мыслей греков и римлян, о величественности их чувств, глубине переживаний и о многом другом в том же самом роде. Серой и будничной современности любили противопоставлять золотой век классической античности. В изображении историков и классиков, собственно говоря, живых-то людей и не было; живые фигуры людей были заменены застывшими фигурами скульптурных богов и героев; и весь античный мир с его бурными и кипучими страстями, радостями и несчастиями был превращен в настоящий безмятежный Олимп. И лишь только в сравнительно недавнее время, как следствие демократизации образования в Европе, на древний мир

стали смотреть глазами современности, находя глубокие аналогии с нашим временем. При таком новом подходе к прошлому от настоящего оказалось, что греки и римляне прежде всего были такими же эмоциональными людьми, волновались и кипели теми же самыми страстями, которыми живем и волнуемся мы. Социологический смысл изучения античного мира в настоящее время едва ли даже подлежит сомнению. При правильном подходе к делу и при надлежащем выборе метода историк древности может сделать целые открытия. Некоторые стороны жизни, напр., социальная идеология и общественные настроения, на ограниченном материале Греции и Рима могут быть прослежены с значительно бо́льшим вниманием и полнотой. Какое значение знание античной истории имеет для социалиста, можно судить по тому огромному вниманию, которое Маркс уделяет анализу классического мира в своем «Капитале», особенно в первом и во второй части третьего тома. Кроме того, вследствие упорного желания немецкой академической науки построить «объективную» историю древности, значимую для всех времен и народов, и боязни широких социологических построений по истории народов средиземноморского бассейна, скопился значительный сырой материал, который дает большой простор для конструктивной и синтетической работы.

В то время, как с точки зрения так называемой эстетической школы знакомство с подлинными «творениями» греков и римлян хоть отчасти приближает нас к «широкому храму» античности, для социолога знание памятников древности облегчает составление общих концепций и вывод законов общественного развития. К тому же русская переводная литература далеко не полна—у нас нет еще, напр., переводов историка «Гражданской войны» Апплана, «Истории» Салюстия, полного собрания сочинений Цицерона, Демосфена и мн. др. Только в самое последнее время стали выходить переводы Зелинского и Жебелева. При таком положении вещей всякая новая попытка дать перевод или даже изложение древних классиков надо только приветствовать, как шаг в деле распространения общего образования.

Переизданная книга Н. А. Куна «Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях» как раз и ставит себе задачу дать связный очерк греческой и римской мифологии, придерживаясь по возможности стиля оригиналов. В первой части своей книги проф. Кун расположил материал таким образом, что получается стройный рассказ о богах, а во второй—о героях греков и римлян.

Общее впечатление от двух книжек Н. А. Куна получается безусловно положительное. Автору удалось сгруппировать и передать очень хорошим русским языком большой и не всегда поддающийся группировке материал. Иллюстрации (скромные и бледные) с своей стороны, все же помогают пониманию текста. Как со стороны плана, так и со стороны изложения книжки Куна стоят несравненно выше всего, что было до сих пор доступно русскому читателю.

Отмечая достоинства книги Н. А. Куна, нельзя, к сожалению, не отметить и некоторых упущений. Прежде всего, имея в виду, главным образом, учеников второй ступени и их руководителей-учителей и трактуя такой скользкий сюжет, как мифология, автор никак не мог ограничиться только передачей текстов и фабулы. Классическая мифология—одна из самых трудных научных проблем, и потому все предоставлять делу личного творчества учителя, и учеников едва ли целесообразно. Прямой задачей автора и как педагога, и как ученого специалиста была не только передача, но и комментирование хотя бы наиболее интересных и ответственных сказаний, каковы «Космогония и теогония», «Века и люди», «Прометей» и т. д., при чем комментарии могли быть расположены таким образом, чтобы они не прерывали связного рассказа, тем более, что автор кое-какое пояснение все же дает, но эти пояснения настолько элементарны, что их с полным успехом можно было бы и совсем не помещать; в самом деле, кому нужны такие разъяснения — «Кентавры — мифические существа, полукони-полулюди» (ч. II, 110 стр.) или: «Столпы Геракла или Геркu-

лесовы столпы. Греки считали, что эти столпы находились на берегах Гибралтарского пролива».

Между тем как классическая мифология дает счастливую возможность поговорить о религии вообще и на ярких примерах выяснить всю реалистичность и материальность религиозных сюжетов и представлений, а «Века и люди» как бы иллюстрируют естественность и законность стремлений людей к «золотому веку», навертывающаяся же при этом аналогия между стремлениями к лучшему будущему, к «новому миру» наших дней и утопией-мечтой о «золотом веке» народов классической древности представляет преподавателю удобный случай в двух-трех словах указать на принципиальную разницу социально-политических идеалов нашего времени и классического мира. Кроме такого рода пояснительных примечаний, в интересах законченности и ясности сюжета, была бы очень желательна и вступительная статья, которая вскрыла бы общий смысл античной мифологии, указала бы ее место в истории религий и пестрый материал легенд ввела бы в определенные социологические категории. Без соответствующей руководящей статьи и комментария в значительной степени пропадает и тот материал, который в изобилии дан в книге Куна. Такое требование тем более справедливо и уместно, что Н. А. Куну, как знатоку вопроса, это не представляло бы никакого труда.

Издана книга скромно, но удовлетворительно.

В. Сергеев.

В. Т. ИЛЛАРИОНОВ. Обзор археологических открытий в Нижегородской губернии. С предисловием проф. А. Я. Садовского. Издание Нижегородской Археолого-Этнологической Комиссии. 1922. Стр. 1+60.

Нельзя отвергать полезности справочных изданий в области, где таковых никогда не выпускалось. Конечно, автор брошюрки, очень краткой при ее крупном разгонистом шрифте и малом формате (8°), не претендует на ученость. И в предисловии (стр. 3—5) проф. А. Я. Садовского, и во введении (стр. 7—9), и выводах (стр. 54—56) самого автора определенно указывается, что мы имеем лишь регистрацию, не столько, впрочем, открытий, как говорит заглавие книжки, а сведений о тех или иных археологических памятниках. Эти сведения различаются и по полноте и по ценности, смотря по тому, откуда заимствованы. В сущности перед нами записная книжка любителя со всею случайностью ее данных. Конечно, можно было бы пожелать большей систематичности, большего обдумывания того, что следует внести и что стоит выбросить. Не всегда можно пользоваться указаниями автора в виду их неопределенности. Еще менее того создается картина археологического прошлого Нижегородской губернии; указания на значение двух рек, Волги и Оки, и двух поздних культур, суздальской и мерянской, не находят себе иллюстрации ни в хронологических, ни в географических указаниях. Весьма желательна карта губернии с пометками находок и памятников. Но спасибо и за начатое дело. Если бы подобную регистрацию произвели также в области исторической археологии, то археологическая наука значительно двинулась бы вперед.

Проф. А. Некрасов.

ФИЛОСОФИЯ.

1. Э. ЕНЧМЕН. Теория новой биологии и марксизма. *Г. Баммель.*—**2. ГЕЛЬВЕЦИЙ Истинный смысл системы природы.** *А. Троицкий.* — **3. ГЕЛЬВЕЦИЙ. Бог — природа — человек.** *И. Альтер.*—**4. Проф. Н. И. ЛАПШИН. Эстетика Достоевского.** *В. Переверзев.*— **5. Н. АРСЕНЬЕВ. Жажда подлинного бытия.** *П. Преображенский.*

ЭММАНУИЛ ЕНЧМЕН. Теория новой биологии и марксизма. Выпуск первый. Петербург. 1923. Стр. 84. Изд. не указ.

«Мы глубоко убеждены, что в ближайшие годы мы с читателем увидим много изданий этой брошюры, и много раз мы с ним будем свидетелями того, как, изучая эту брошюру, рабочие будут перелистывать ее своими мозолистыми руками». Критикуя Н. И. Бухарина, наш автор пишет: «Мы начинаем испытывать глубокое недовольство по поводу того, что прежде, чем выступить с этой точкой зрения, т. Бухарин не нашел нужным предварительно посоветоваться с нами». Привожу только две цитаты, но можно было бы привести еще не одну, чтобы показать, что мы имеем дело с автором, вполне осознавшим себя, как революционного новатора и основателя нового учения. Даже больше, не реформатора, но подчас мессию рисует автор в своем лице на протяжении всей книги. Что касается рассуждений автора, то они довольно своеобразного сорта. Они поражают пышнопорожней и напыщенно пустой фразеологией, запутанностью определений и своей типичною для всякого проявления инфантилизма наивностью. Ни единой мысли, которая была бы систематически развита и обоснована с точки зрения элементарнаго логическаго смысла, признаюсь, у нашего автора нет.

Книга пытается поставить вопрос о психологии марксизма в совершенно новом «подлинно марксистском» духе. Автор повторяет известную, ему не принадлежащую мысль о непознаваемости чужих душевных явлений, и возникновение самого различения душевных и телесных явлений рассматривает как следствие возникновения деления общества на классы. «Мы только постепенно в ряде глав будем подготовлять читателя рабочего к исследованию эксплуататорского происхождения и эксплуататорской сущности, как психологии, так и вообще всяких суждений о душевных явлениях». Разумеется, отсюда делается вывод, что «вслед за низвержением эксплуататорских классов начинается массовый процесс отмирания «разума», и не только «разума», но и «знания»: «начнется массовое отмирание среди других ценностей эксплуататорского мира—«познания», «разума»—также и «логики», ибо «логика» возникла вместе с возникновением классов. Когда же закончится массовое ослабление, отмирание, взрыв в воздух самих физиологических реакций знания, то водворяется,—говорит наш пророк подлинного марксизма,—«единая система органических движений». Поэтому для него совершенно лишены смысла такие слова, как «психология», «душа», «душевные явления», «переживания» и т. д. Путем лингвистического анализа он ставит своею целью доказать, что «каждое из этого десятка слов по своему происхождению и составу означает исключительно пространственные явления. «Лингвистический анализ» любопытен, как и все в этой книге. Автор делает ряд интереснейших открытий в роде того, например, что «представление» происходит от «ставить пред собой», «ощущение»—от «ощупать», «субъективный» и «объективный»—от латинских слов «иектум» и «суб» и «об», что значит «брошенный внутрь» и «брошенный наружу». На основании этих и подобных им примеров Енчмен заключает, что все эти слова («душа», «душевные явления») не обозначают непространственных явлений и, как психологические понятия, лишены всякого смысла. Но кому не ясно, что само происхождение слова «представление» от

«ставить перед собой» есть явление психологическое, характеризующее сущность самого же представления? Но кому не ясно, что если «ощущение» происходит от «ощупать», то это возможно в силу известного психологического наблюдения примитивного сознания? Кому не ясно, что все эти примеры предполагают обоснованной ту самую науку, против которой они столь решительно выступают?

Далее, для доказательства той же мысли Енчмен прибегает к нескольким конкретным примерам. Для того, чтобы познакомиться с их удельным весом, достаточно бегло остановиться на одном. Автор пытается доказать, что существующие переводы фрагментов Демокрита, и соответственно существующее понимание его учения эксплуататорского происхождения. Именно, по его мнению, «это сплошная неправда, будто Демокрит объяснял непространственные, т.-е. душевные явления, как состоящие из гладких и круглых атомов, сводил их на материальные атомы»... При этом—цитата из Демокрита по книге Б. Горева о «материализме—философии пролетариата» (sic!). Если верить нашему автору, то Демокрит словами «душа» и «мышление» обозначал «движения частиц воздуха» или «движения частей тела». Но совершенно ясно, что подобное учение неразрывно связано с той атомистикой в ее общей формулировке, против которой возражает наш автор, касаясь природы души и мышления. От того, что она состоит из гладких и круглых атомов, душа не теряет в атомистике своего своеобразия в отличие от тела. (Ср. Diels 383,12; 371,22; 435,10; 369,30; 369,41; 374,47; 370,4 сл.

Нет никакой надобности останавливаться подробнее на рецензируемой книжке. Вывод, к которому она ведет читателя, сам по себе поучителен: «У нас нет больше никакого мировоззрения. Мировоззрение — это эксплуататорская выдумка», так говорит современный реформатор марксизма. Нужно ли доказывать, что этот лозунг может быть очень опасным для умов нашей неподготовленной рабочей молодежи.

В предисловии к своей книге автор, между прочим, пишет, что, оказавшись одиноким «в столкновении с железной мощью реакционных традиций» в вопросах философии, он принужден был для авторитарности использовать некоторые факты своего образовательного прошлого и «другие выгодные для меня биографические моменты». Книжка Е.— своего рода психологическая демагогия в отрицательном смысле этого слова. она ею проникнута, на ней держится, на ней построена. Она останется замечательнейшим, любопытнейшим документом, как возможный объект психоаналитического изучения (непременно по Фрейду), но она не пригодна для чтения: это—вредная книга, написанная искренно (это—несомненно), она должна быть исследована с *иной*, нефилософской клинической точки зрения, прежде чем стать предметом философской дискуссии.

Григорий Баммель.

ГЕЛЬВЕЦИЙ. Истинный смысл системы природы. Перевод с французского И. Луппол. Редакция и предисловие А. Деборина. Изд. «Новая Москва». 1923 г. (6000 экземпляров).

Не нужно обладать исключительным остроумием, чтобы подметить, что Великая революция российского пролетариата, явившая собой в высокой степени поучительный образец «критики оружием» и имевшая в качестве одного из своих моментов «критику оружия», должна в своем развитии вызвать вновь «критику оружия», как одно из своих следствий. В этой критике оружия революционного действия существеннейшую роль играет философия. Собственно, она-то и является наукообразной системой такой критики.

Это последнее обстоятельство выдвигает перед нами во всей его серьезности вопрос о необходимости создания и распространения философской культуры в среде общественных сил рабоче-крестьянской республики советов. Тем самым вопросы философского образования вводятся в порядок дня.

С этой точки зрения нельзя не признать чрезвычайно уместным выпуск в

свет русского издания одной из небольших работ французского материализма XVIII ст., заголовок которой стоит в начале моей заметки. Названная работа, появившаяся в свет около 150 л. тому назад (1774 г.), имела целью широко распространить материалистическое воззрение, как оно было дано Гольбахом и друзьями в его «Системе Природы». Естественно, что, предназначенная для строго определенной цели, работа носит на себе яркий отпечаток своего времени, но это не лишает ее возможности служить очень живым и весьма доступным изложением системы метафизического материализма. Эти качества она сохранила и в русском издании, где ее устарелые места отмечены обстоятельным введением редактора, а простой стиль оригинала передан удобочитаемым и доступным широким кругам читателей русским языком перевода. Начиненная духом живой и настойчивой борьбы с теологией, книжка и сейчас будет встречена вниманием мыслящего читателя, так как в сущности она уже дает материалистические ответы на некоторые вопросы, стоящие еще и посейчас. Вопросы о точке зрения целесообразности взаимоотношений духа и материи и др. в ней ставятся и разрешаются в такой формулировке, которая сближает и с некоторыми работами современных нам авторов. Кроме того, она позволяет поставить на обсуждение в самых широких кругах проблему отношений метафизического (механического) и диалектического материализма, что наполняет ее интересом полемики, правда, стихшей, но еще не законченной в рядах материалистов. Вот почему можно быть уверенным в широком распространении книги, особенно среди современной учащейся молодежи, вниманию которой я настойчиво рекомендую ее (в скобках замечу, что здесь же я имею в виду и участников марксистских кружков). Что касается перевода, то его нужно признать вполне удачным. Но я позволю себе все же указать на некоторые, по-моему, неточности и ошибки. Местами (стр. 50, 55 в заголовке IV гл., 72 стр.) французское «l'être», передаваемое переводчиком посредством «существо» следовало бы перевести иначе,—посредством «нечто», «существующее»,—«бытие», что точнее передавало бы мысль подлинника. Везде переводчик передает французское «le tempérament» посредством русского «характер»; мне представляется это неправильным: в русской психологической литературе принято различать между «характером» и «темпераментом», оставляя за последним значение физиологической основы нашего поведения; эта последняя все время имеется в виду и у автора французского текста, так что переводчик должен был бы везде «le tempérament» перевести посредством слова «темперамент». Не лишним, мне кажется, отметить еще одну неточность: в заголовке VIII гл. в русском издании значится «зависимость их (умств. способн. *А. Т.*) от способности ощущать», тогда как в оригинале речь идет не только о «зависимости», но и о «происхождении», и «выведении» всех умственных способностей из способности ощущения. Да это и более согласуется с духом французского материализма. Встречается и ряд неблагозвучностей: на стр. 74 «обеспечить... против» по-русски неудачно; на 74... «люди *постоянно встревожены* разрушением тела»— не благозвучно, здесь лучше сказать «обеспокоены», «удручены»; на 82 стр.— «те, которые верят, что *они сдержаны этими ужасами*», это — не по-русски. На 94 стр. рус. изд. переводчик, в погоне за близостью к оригиналу погрешил против русского синтаксиса. То же произошло и на стр. 124, в первой фразе. В заголовке XXV гл. не хорошо звучит конец... «в отношении *него*». Нельзя не пожалеть, что переводчик не снабдил текста примечаниями: редакторское предисловие, несмотря на его обстоятельность, не может исчерпать всех недоумений, которые всплывут у читателя, отдаленного от автора работы на полтора века. Все эти недочеты легко будет устранить при втором издании, которое, надеюсь, понадобится очень скоро.

В заключение не могу не отметить, что данная работа является хорошим первым подарком русскому читателю со стороны Института Красной Профессуры.

Д. Троицкий.

ГЕЛЬВЕЦИЙ. Бог—природа—человек. (Le vrai sens du système de la Nature) Пер. с лонд. изд. 1774 г. Н. Шер-Семковской, с пред. С. Семковского. Издание Украинского Главполитпросвета. Харьков. 1922 г. Стр. 99.

Книжечка эта представляет собой сжатое конспективное изложение знаменитого произведения Гольбаха «Система Природы, или о законах мира физического и мира нравственного», выпущенного под чужим именем в Амстердаме в 1770 году.

Названия разделов взяты из «Системы Природы», и из 31 раздела обоих ее томов выпущены лишь два. Таким образом «Система Природы», сама написанная довольно популярно, упрощена здесь до крайних пределов. Это 29 тезисов боевого французского материализма, его краткая и ясная программа, ряд систематически изложенных революционных лозунгов, брошенных широким массам, как оружие для борьбы с прогнившим теологическим миросозерцанием духовенства, аристократии, абсолютизма. «Система Природы» Гольбаха соединяла в себе все разбросанные критикой того века взрывчатые вещества в одну громоносную машину бунта и разрушения. И делала она это не глубиной и оригинальностью своих мыслей,—в этом смысле «Систему Природы» значительно превосходят произведения Ламетри и Гельвеция,—а той систематичностью, неумолимой последовательностью и отважной недвусмысленностью своих выводов, которой, конечно, не найти нам ни в «Великой энциклопедии» ни даже у прочих современников-материалистов. И, вероятно, этой законченной целостностью, ясностью и последовательностью своего миросозерцания Гольбаху удалось подчинить своему материалистическому и атеистическому влиянию такого значительно превосходившего его гения, каким был Дидро.

Вот краткое содержание этой знаменитой «энциклопедии материализма». Сущность природы есть безначальное и бесконечное движение частиц материи, соединения, превращения и распад которых создает все изменчивое богатство естественных явлений. Материя связана неразрывной цепью причин и следствий, законами инерции, притяжения, отталкивания и самосохранения. Вне этого вечного закономерного движения природы немыслимо никакое существование. Понятия о духе, порядке и беспорядке в природе, о случайности и пр. есть лишь наши субъективные мнения и неприменимы к неизбежным законам природы. Антропологический материализм есть часть космологического: человек, как звено общей цепи, как частица целого, включен в общую механистическую закономерность. Он есть, как все животные, лишь ощущающая материя, и вера в свободу воли должна быть отброшена наравне со всеми религиозными предрассудками. Душа есть особенное проявление материи и ничего больше. Вера в загробную жизнь и бессмертие так же, как и вера в бога, есть плод невежества и страха перед неизвестным.

Вся система нравственности, как и психология, исходит из ощущения. Человек нравственный есть человек физический. Удовольствие и неудовольствие, вызываемое ощущением, лежит в основе добра и зла. Построенный на них личный интерес хотя и является исходной точкой, но в дальнейшем тесно совпадает с общественным, и общественная полезность становится критерием нравственности.

Политика, в согласии с общим единством системы, есть та же нравственность, прилагаемая ко всему обществу. Она действует через воспитание—могучее орудие улучшения общества.

В «Системе Природы» Гольбах не развивает подробно своих общественных, политических и экономических взглядов. Это он делает в своих книгах: «Социальная система» и «Универсальная политика», где выдвинута политическая программа радикальной буржуазии с отвержением феодальной собственности и привилегий при полном сохранении буржуазной собственности, требованием конституции и пр. Здесь, как, впрочем, и в «Системе Природы», явно веет духом и предвидением наступающей революции и настойчиво раздается требование закрепостить народ и призвать правительство к ответственности. Нечего ука-

зывать, что самопонимание общественной причинности в корне идеалистично.

Революционна сама борьба за право на революцию, предчувствие и призыв к ней.

Весь второй том «Системы Природы» и 12 последних разделов рецензируемой книжечки посвящены критике религии, духовенства и всех спиритуалистических и теологических предрассудков. Если Ламетри, Гельвеций, Бюффон и др. естественники, а также Дидро в последний период своей деятельности высказывал часто материалистические и атеистические взгляды, то все-таки никто из них не выступил с такой законченной, всесторонне обоснованной, уничтожающей критикой теологии и проповедью атеизма, как Гольбах.

Развенчание оппортунистического деизма, теистической философии XVII ст. (Декарт, Кларк, Ньютон), выявление классового, реакционного значения теологии, ее происхождение из невежества и страха, доказательство совместимости атеизма с ответственностью,—все это сделано с предельной силой и беспощадной резкостью, на какое только способен рационалистический метод.

Книжка заканчивается кратким сводом законов природы, поэтическим призывом возврата к природе, где высокий гуманизм и чувство общественности, свойственное материализму, сплетается с обычной для того времени рационалистической декламацией. Раздел этот приписывают перу Дидро.

Таково вкратце содержание знаменитой энциклопедии материализма, историческое значение которой, повторяем, не в новости мыслей, а в той боевой наступательной их силе, которая свойственна лишь классу, идущему к революции и власти.

Следует прибавить, что сама книжечка, которую приписывают Гельвецию, вряд ли была им самим написана. Наоборот, целый ряд серьезных соображений, которые здесь не место развивать, говорят за то, что Гельвеций не мог быть ее автором (напр., то, что Гельвеций умер в 1771 году, книжка же датирована 1774 годом).

Издание снабжено кратким предисловием «Французский материализм и канун Великой революции» и несколькими разъясняющими примечаниями. Если принять во внимание, что перевод Гольбаха на русский язык сделан впервые и что книга предназначается для широкой публики, примечания к книге следует считать недостаточными. С. не разъяснил, напр., место Гольбаха в теории и психологии познания в истории французского и английского материализма и сенсуализма XVII и XVIII веков, затем отличие механического материализма от диалектического и т. д. Тогда и имена (напр., Кларк) и абстрактные понятия получили бы для такого читателя исторически понятный смысл. Перевод в общем гладкий, хотя и не всегда точный, а в некоторых местах просто не верный, напр., слово «physique» переведено «физика» вместо «физический». на стр. 66 в 3-ьем пункте «Jauvage» переведено «мудрец» вместо «дикарь», отчего получается бессмыслица (см. стр. 94 французского текста, Londres, 1774); на стр. 91 читаем: «атеизм не обладает плащом рвения»... и т. д., то же самое по-французски: «n'a pas le manteau du zele pour couvrir sa vengence»... etc (ib., p. 137).

Книжка издана довольно изящно, но импрессионистические украшения ее совершенно не отвечают ни духу философии, ни духу времени.

Будем надеяться, что новое исправленное и дополненное дельными разъяснениями издание книжки будет распространено в широкой публике рабочих и учащихся.

И. Альтер.

---

2. Проф. Н. И. ЛАПШИН. Эстетика Достоевского. Обелиск. 1923 г. Стр. 102.

Брошюрка Лапшина является переизданием статьи его из сборника «Достоевский», редактированного Долгиным. Она помещена была там в первой части среди серии статей, занимающихся «философией» Достоевского. В свое время рецензируя этот сборник, мы указывали, что первая часть его совершенно излишня в книге о Достоевском, так как он не философ и не теоретический мыс-

литель, а художник, и изучать его нужно только как художника. В этой рецензии я отмечал и подчеркивал, что все опыты систематизации философии Достоевского сводятся к навязыванию ему авторами своих собственных философских домыслов и только сажают посторонние кляксы на образ великого художника. Эти общие замечания вполне приложимы и к работе Лапшина. Он пытается собрать и привести в стройную систему разбросанные там и сям замечания Достоевского об искусстве и художнике и построить из этих замечаний эстетическую теорию Достоевского. Оказывается, что у Достоевского дано решение всех важнейших проблем эстетики, и стоит только расположить их в порядке, как тотчас получится эстетический трактат из двенадцати глав, при чем эстетическая теория Достоевского по странному, очевидно, капризу судьбы, как две капли воды, похожа на теорию проф. Лапшина. Но коренное отличие Достоевского от Лапшина в том и заключается, что у него нет никакой теории, никакой системы, что вся его система—в теоретической бессистемности. Поставить на место этой бессистемности определенную систему — значит поставить на место Достоевского кого-то другого, и всегда бывает так, что этим другим оказывается неизменно сам систематизатор. Это и понятно: систематизация случайно в разное время и по разным поводам оброненных мыслей невозможна без вырезываний и вставок, без новых формулировок, без совершенно новой интерпретации их. Ни один мудрец в мире не в силах разгадать, во что вылилась бы эта интерпретация, если-б за нее взялся сам Достоевский. Не имея никакой возможности знать это и в то же время не имея никакой возможности обойтись в работе систематизации без «развития мыслей», без «комментирования» их, без связующих вставок и без купюр, систематизатор непременно навяжет свою систему, свою собственную теорию тому, кого он хочет втиснуть в систему. В одном месте брошюры у самого Лапшина мелькнуло сознание угрожающей ему опасности под названием эстетики Достоевского поднести читателям лапшинскую эстетику. Начиная седьмую главу, он пишет: «Что касается самой теории Достоевского, то я считаю ее глубоко верной и совершенно новой для его времени. Позволю себе развить его мысль, отнюдь не навязывая, разумеется, ему моего комментария». Автор почувствовал возможность «навязывания» и, повидимому, полагает, что после данной оговорки он уже «отнюдь ничего не навязывает» Достоевскому. Он еще не догадывается, что навязыванье не возможность, а неизбежность в его положении, что нельзя изложить несуществующую эстетическую теорию Достоевского, не «развивая» и не «комментируя», иными словами, не набиваясь ему своим собственным добром. В самой идее Лапшина изложить эстетическую теорию Достоевского уже заложена необходимость навязыванья, и если бы он всерьез не хотел навязывать, то просто не писал бы своей брошюры. Все это не значит, что об эстетике Достоевского невозможно писать. Писать и можно и должно, разумея под эстетикой Достоевского не теорию, а практику, не философию, а искусство. Бесполезно конструировать несуществующую теорию Достоевского, но необходимо и важно найти теоретическое и принципиальное обоснование его художественной практики, дать теорию эстетических достижений великого художника. Прочитавши на заглавном листе брошюры Лапшина: «Эстетика Достоевского», мы и думали найти у него попытку теоретического осмысливания эстетической практики Достоевского. К сожалению, мы ошиблись, и перед нами не опыт изучения Достоевского, а один из многочисленных опытов изложения своей философской теории по поводу Достоевского. В заключение два слова о мелких промахах редакционного и корректурного характера. На стр. 58 книжки «для Ростова в песне Катюши открывается прекрасное»... О какой Катюше идет здесь речь? Не помним в романе Толстого никакой Катюши и подозреваем, что попала она сюда по недосмотру вместо Наташи. На стр. 94 «молодой композитор мечтает (в «Подростке») написать нечто в роде оперной сцены из «Фауста». Речь идет, очевидно, о Тришатове, но Тришатов—не молодой композитор, а «потерянный мальчишка», в светлую минуту

мечтающий о том, как он написал бы, «если бы сочинял оперу», но не сочинивший ничего на своем веку, кроме шантажистских похождений. Какой же он композитор?

В. Ф. Переверзев.

НИКОЛАЙ АРСЕНЬЕВ. Жажда подлинного бытия. Берлин. Изд. С. Ефрон. Стр. 231.

Книга г. Арсеньева посвящена не преходящим явлениям в истории культуры, а рассмотрению «при всем различии проявлений, в корне аналогичных или тожественных между собой, постоянно вновь и вновь возвращающихся, неумирающих факторов» (стр. 7). К числу таких факторов автор относит «сознание», «ощущение преходящести бытия... ужас перед нависающей холодной смертью, одряхлением и разрушением» (стр. 8). Если даже согласиться с утверждением автора, что страх смерти является постоянным и кардинальным фактом человеческого существования, то все же несомненно, что суть его интереса направлена не на безотрадность могущей ежеминутно прерваться человеческой жизни, не на основы пессимистического мировоззрения, а на подлинное бытие, представление о котором рождается из пессимистической резиньяции. Отсюда и заглавие книги.

Ее научная ценность крайне невелика, так как весь приводимый г. Арсеньевым материал набран не только без всякой критической оценки, без всякого различения по времени, месту и обстоятельствам происхождения—все, начиная с египетских ассиро-вавилонских и индусских памятников и кончая Шелли и Львом Толстым, сбито в одну хаотическую массу,—но иногда просто притянут за волосы, не вполне соответствуя целям автора. Последнее чрезвычайно ярко сказывается на экскурсах автора в область семитской литературы. Эти экскурсы просто невыгодны для г. Арсеньева, так как почти-что до наступления нашей эры, и даже позднее, семиты, если и боялись смерти, то ни в какое подлинное бытие не влеклись, оставаясь чрезвычайно земными людьми. Этим и объясняется крайняя рудиментарность их загробных представлений, невозможность для семита представить себе существование души без тела. Кроме того, весь материал расположен г. Арсеньевым в ценностном порядке, при чем, конечно, христианская мистика оказывается на самой верхней ступени ценностной лестницы. Буддизм холоден и нигилистичен (стр. 63), холодом веет от бога Упанишад (стр. 71), безлично-логичен и философски абстрактен платонизм (стр. 83). Только образ Иисуса, христианские мистики с их смирением, самоотречением, проповедью любви, удовлетворяют г. Арсеньева и потому принимаются им как центр исследования и авторского внимания.

Поэтому напрасно уверение г. Арсеньева — «Воздерживаюсь от всякой метафизики» (стр. 7). Какая тут метафизика. Здесь самое настоящее и беспримесное христианское богословие. Православным его, пожалуй, назвать нельзя. Католическая мистика чересчур выпирает на первый план. Так раскрывается псевдоним «подлинного бытия»—это единение христианского мистика с божеством. Остается только уяснить, кто же одержим его жаждой.

И, конечно, если книга г. Арсеньева не может похвастаться своей близостью к науке, то, как знамение времени, она имеет некоторый интерес. Перед нами эмигрантская, выбитая их колен Россия, ищущая новых откровений, оживляющая старых богов, уходящая в сумерки мистики и религии. Правда, г. Арсеньев не новичок в этом деле — еще до 1917 года его интересы лежали в области мистических изысканий. По всей вероятности, эта его книга подводит результаты его старых работ и исканий, может-быть, обострившихся и усилившихся от революционной бури.

В этом смысле он не испытал столь характерного для многих из его сотоварищей по науке переворота и не представляет собой особо интересной фигуры, так что поставленный нами вопрос переносится в другую плоскость—чью жажду может утолить книга г. Арсеньева. Смело отвечаем—ничью. Ей нечего делать в революционной России, но вряд ли она удовлетворит кого-либо и из противоположного лагеря или из шарахаю-

щейся в сторону религии обывательской массы. Для того, чтобы выполнить миссионерскую задачу, книга такого рода должна быть либо блестяще написана, либо подкупать свежей и оригинальной расстановкой фактов. Ни тем, ни другим книга г. Арсеньева не блещет. Скучный академический язык, нанизанные один на другой, без всякого внутреннего единения факты, в конце книги длинный ученый аппарат. Даже стиль совсем не апостольский и не пророческий. А так—Необходимость, «зря дающая и зря отымающая жизнь» (стр. 27)—не стали бы мы писать о столь высоких вещах столь низким штилем. И над всей этой профессорской мистикой наивная убежденность, что отречением от метафизики сокроешь свое богословие, научным аппаратом свою—антинаучность, а заманчивым заглавием—скучность содержания. Просто досада! Книга берлинская, заграничная—ждешь все же чего-то острого и любопытного, если и мистики, то выворачивающей мозги навыворот, пряной и соблазняющей, а оказывается, что и заграничное бывает смертельно скучным, и мистическое скучнее самой скучной диссертации. Берлинская религиозно-философская академия должна обратить самое серьезное внимание на такую компрометацию проповедуемых ею душеспасительных и мистических начал.

Проф. П. П. Преображенский.

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1. С. ДРАНИЦЫН. Конституция Р. С. Ф. С. Р. в ответах на вопросы. *П. Стучка.*

С. ДРАНИЦЫН. Конституция Р. С. Ф. С. Р. в ответах на вопросы. Второе издание. Госиздат. Москва — Петроград. 1922 г. 15.000 экз.

После того, как стали приводить в исполнение постановление Конституции, что должно быть «введено во всех без изъятия школах и учебных заведениях Р. республики изучение основных положений настоящей Конституции, а равно и их разъяснение, истолкование», лектора и пособия к лекциям на эту тему стали вырастать как грибы. Нельзя сказать, чтобы количество соответствовало качеству. Среди наших пособий встречаются чрезвычайно поверхностные работы. К ним принадлежит и рассматриваемая мною книжка. Повидимому, она является никем не исправленною стенограммою лекций или ответов на вопросы в аудитории Зиновьевского университета в Петрограде. Но, по крайней мере, ко второму изданию можно было ее пересмотреть. Ныне получается какое-то странное впечатление. С одной стороны, посвящение книги: «Дорогим товарищам - зиновьевцам посвящаю этот скромный труд совместной работы, и пусть он послужит памятью и вместе пожеланием счастливого пути к великому и трудному строительству того прекрасного, имя которому Коммунизм», а, с другой стороны, фразы, как: «Наша республика, наше рабоче-крестьянское государство—оно временное, оно не вечно, оно не может существовать вечно; если бы оно стало существовать вечно, *это было небольшое приобретение для человечества*». Или «средством для свержения господства буржуазии, конечно, являются агитация и пропаганда, но эти средства настолько слабы, настолько незначительны, что трудящимся необходимо подготовиться к вооруженной борьбе, что и было сделано трудовым народом России»..., «одной из мер громадного значения является социализация, что в нашей конституции упоминается». Что это, если не бестолковая болтовня, какой-то беспомощный лепет, которому не место ни в печати, ни в коммунистическом университете, ни даже в шко-

ле первой ступени. И это не случайное место, вся книга представляет такое сплошное недоразумение. «Что из себя представляет Всер. Съезд Советов?—С нашей точки зрения, он является *символом*, образом власти всего трудящегося народа... в настоящее время его величеством считается рабочий народ». «Наш съезд носит деловой характер, носит *информационный* характер»... «Что такое Сов. Нар. Ком.?—Сов. Нар. Ком. является высшим органом исполнительной власти... В. Ц. И. К. *направляет путь*, по которому должен итти Сов. Нар. Ком., *а уже шествие по этому пути принадлежит Совету Нар. Ком.*». Ясное, популярное пояснение! Не правда ли? «Во Франции был первый министр Клемансо, потом Мильеран, затем Лейг, Бриан, а теперь Пуанкаре,—а у нас есть Ленин; в то же время Ленин не есть глава государства, но, как и Пуанкаре, является представителем высшей исполнительной власти в Сов. России». Значит, просто—красный Пуанкаре.

Эта ясность мысли проходит красною нитью по всей книге. Но дальше — хуже. «Кому обеспечивает все свободы наша Конституция? Вот *здесь мы копируем с буржуазной* Конституции, *только переставляем субъектов*, носителей этих свобод». «Да, товарищи, у нас свободы печати нет для инакомыслящих, значит, мы *скопировали* Конституцию нашу с прошлого, *со старого режима*». Я не знаю, как быть его слушателям, если им наши противники покажут тексты буржуазных конституций и докажут, что наша Конституция вовсе не копия с них. Или: «Наша Конституция провозглашает свободу, равенство и братство» и т. д. Или: «под свободою мы понимаем *право* всякого человека на труд». Да где же в нашей Конституции говорится о «свободе, равенстве и братстве», о «праве на труд» и т. д.? Неужели лектору некогда было прочесть Конституции?

Я ничего дурного про автора сказать не могу. Это, повидимому, человек вполне лойяльный. Нужда заставила переучиться, и новая терминология дается нелегко. Оттуда разговоры о «внеклассовом государстве», о «классах общежития», об «обществе людей, связанных *единством интересов внеклассового* содержания», о «земледельческом капитализме XVIII века», «*переходной ступенью* между *государством*, *органом* класса капиталистов, и государством, органом господства пролетариата, *является революция*» и т. д. и т. д. Не лучше ли все-таки назначение пенсии с освобождением лектора от чтения и студентов от слушания подобных теорий. А главное: зачем тратить бумагу (кстати, не особенно хорошую) и труд. на печатание подобных рассуждений. Сама аудитория, повидимому, выражает свое недоумение по поводу этих рассуждений. Мы несколько раз находим обращения к ним, в роде: «Я прошу вашего внимания, особенно там, на левом крыле».

Следующий раз, я полагал бы, надо значительно сократить объем книжки отбросив первые 102 страницы и начав с приложения, т.-е. текста Конституции Р. С. Ф. С. Р. Это—ценная работа. Но отбросить надо и конец, где мы под предлогом пояснения иностранных слов читаем не только неправильные переводы слов, но и неверные ответы по существу, как, напр.: «амнистия—помилование, прощение вины *главой государства* — президентом, *председателем* В. Ц. И. К.». Помилование принадлежит президиуму В. Ц. И. К., а не его председателю; последний у нас вовсе не является президентом. А амнистия не есть просто помилование, но «предание забвению». В самой книжке содержится еще и другое пояснение слова: «Право амнистии относится обыкновенно к полномочиям *судебного характера*». Это объяснение еще менее соответствует действительности. Она как раз относится к законодательной функции. Одним словом, это не научная работа, а в лучшем случае плохая стенограмма путанных объяснений по очень важному вопросу.

П. Стучка.

НАУКИ О ПРИРОДЕ.

1. Проф. К. А. ТИМИРЯЗЕВ. Исторический метод в биологии. *М. Завадовский.*—**2. Я. И. ФРЕНКЕЛЬ. Строение материи.** *Э. Шпольский.*—**3. Засл. проф. А. В. ВАСИЛЬЕВ. Пространство, время, движение.** *Н. Андреев.*—**4. Проф. А. С. ДОГЕЛЬ. Кровь, как основа жизни человека и животных.** *М. Шатерников.*—**5. „Генетика. Этапы менделизма". Сборник статей.** *М. Завадовский.*—**6. „Астрономический ежегодник на 1923 год".** *А. Михайлов.*

Проф. К. А. ТИМИРЯЗЕВ. Исторический метод в биологии. (Десять общедоступных чтений). Русский Библиографический Институт. Бр. А. и И. Гранат и К°. Москва. 1922 г. Стр. 164.

Представим себе две сходные по внешнему виду картины: с одной стороны, густо заросший клочок земли, поражающий нас бесконечным разнообразием растительных форм и их красок; с другой стороны, один из тех фантастических ландшафтов, которые мороз рисует на наших окнах. Во втором случае мы увидим те же травчатые узоры, напоминающие листья папоротника или пальмы, то же бесконечное сплетение самых причудливых форм, а станем их рассматривать в лучах поляризованного света—и они вспыхнут такими цветами, с которыми, конечно, не сравнится игра всех красок растительного мира. Картины сходные, но как различен строй мыслей, вызываемых той и другой.

Если бы, во втором случае, исследователь, исходя из основной формы кристалла льда, мог объяснить все разнообразные сочетания сложных, переплетающихся узоров, если-б, исходя из законов интерференции света, он мог объяснить все разнообразие цветов в любой точке этого пестрого ковра, он мог бы считать свою задачу разрешенной,—он обладал бы объяснением этих форм и их окраски. Но представим себе, что и ботаник мог бы в такой же мере проследить механизм образования форм, химический процесс образования составляющих их веществ,—почел ли бы свою задачу разрешенной. Конечно, нет.

Пред ним осталась бы еще другая задача, которой минералогия не знает. Кристалл представляет части, самое слово организм указывает, что его части—органы, т.-е. орудия. Организмы суть тела орудийные, как выражались в старину. Но если слово организм включает понятие об орудии, то понятие об орудии предполагает понятие об употреблении, об отправлении, о служебном значении, или, как говорилось также в старину, о цели. Никому, конечно, не приходило в голову задаваться вопросом, для чего служат кристаллу его части, какое отправление исполняют те или другие комбинации кристаллических форм. Наоборот, ботаники все более и более убеждаются в бесплодности говорить о формах и частях растения, не имея в виду их ближайшего отправления.

Между тем, как по отношению к кристаллу, исследователю никогда не приходила на ум мысль о приспособлении частей или целого к условиям существования, эта мысль о приспособлении преследует биолога, или, выражаясь точнее, руководит им на каждом шагу.

Из двух задач, представляющихся биологу, т.-е. объяснения возникновения форм и объяснения их приспособления, дарвинизм сосредоточился, главным образом, на трудней шей , казалось, неразрешимой—на второй.

Итак, дарвинизм, прежде всего и, главным образом, стремится объяснить ту именно черту, которая отличает живые формы от неживых, ту черту, которая заставляет называть их организмами.

Только дарвинизм, освободивший умы от (этого) отвращения ко всему, отзывавшемуся телеологией, спас от забвения целые категории фактов, прежде упоминавшихся разве как примеры заблуждения умов, погрязших в телеологии.

Только создав новую, рациональную телеологию, дарвинизм мог победить этот научный предрассудок».

...«Значит, ни морфология, со своим блестящим и плодотворным *сравнительным* методом, ни физиология, со своим еще более могущественным *экспериментальным* методом, не покрывают всей области биологии, не исчерпывают ее задач; и та и другая ищет дополнения в методе историческом.

. . . . . .

Если первая (как мы сказали) могла бы довольствоваться одним раскрытием в природе исторического процесса, то вторая выдвигает новое усложняющее условие,—чтобы этот процесс давал начало формам, носящим печать совершенства, чтобы это был процесс исторического совершенствования, или прогресса» (стр. 39).

В приведенных словах К. Тимирязева достаточно полно и четко выявлено его понимание дарвинизма, как исторического метода в биологии. К. Тимирязев, пожалуй, как никто другой, смело поставил точки над «и» и дал методологические грани характерному течению биологии второй половины XIX и начала XX века. Нельзя не отдать должного его сильной аналитической мысли, с экспрессией обрушивающейся на старую телеологию витализма и не без успеха парирующей наступление со стороны тех, кто порицает не только телеологию витализма, но и «рациональную телеологию» исторического метода в биологии (дарвинизма). Читатель, интересующийся методологическими вопросами, найдет в книге Тимирязева не мало источников удовлетворения и наряду с этим не мало обостренно спорных мест.

Книга представляет собою сборник статей, опубликованных частью в «Русской Мысли» (главы I—VI), частью в «Энциклопед. словаре бр. Гранат» (главы VII—IX). Последняя X глава, под заглавием «Историческая биология и экономический материализм в истории», написана специально для этого сборника и опубликована впервые.

Нечего говорить, что книга в целом полна бодрых и сильных «тимирязевских» мотивов и блеска эрудиции.

Однако—«кому много дано, с того многое и взыщется».—Главы VII и VIII,—«Изменчивость» и «Наследственность»,—слабы. Слабость их отчасти в недостаточной свежести материала, отчасти же в недооценке новейших достижений современной биологии. Тимирязев прошел мимо результатов статистического исследования явлений изменчивости и важных материалов Иогансена и других по наследованию флюктуаций. Он недооценил закономерности, вскрытой исследованиями Менделя и его продолжателей; хотелось бы большего и в анализе вопроса о передаче по наследству приобретенных признаков. К. Тимирязев по праву занимает первое место среди популяризаторов естествознания в России. Он достигал высот искреннего и глубокого пафоса проповедника,—вот почему к нему и в деталях мы в праве предъявить высокое требование.

С внешней стороны книга издана удовлетворительно.

М. Завадовский.

Я. И. ФРЕНКЕЛЬ. Строение материи. Ч. I. Расчленение материи. Книгоиздательство «Сеятель». Петроград. 1923. Стр. 151.

Среди все разрастающейся популярной литературы по вопросу о строении материи, книга Я. И. Френкеля выгодно выделяется своей оригинальностью и серьезностью. Эта книга—не компиляция из вторых или третьих рук. Она написана физиком, владеющим предметом своего изложения и продумавшим его до конца. Правда она не легка. Она не требует больших предварительных познаний, но для усвоения ее нужна привычка к серьезному и вдумчивому чтению. Зато закрывши эту книгу, читатель почувствует, что запас его действительных знаний увеличился.

Книга разбивается на две части. Первая часть—Расчленение материи—посвящена анализу материи, приводящему через атомы и молекулы к положительному и отрицательному электрону. Вторая часть (еще не вышедшая в свет) должна трактовать о законах постро-

ния реальных атомов и молекул из этих первичных частиц, т.-е. атомов положительного и отрицательного электричества. Рецензируемая первая часть естественно разбивается на четыре главы: I. Молекулы, II. Атомы, III. Ионы и электроны, IV. Положительные ядра и строение атомов. Таким образом, эта первая часть в сущности представляет собою законченное целое. Автор нигде не ограничивается общим изложением результатов, но старается всегда показать, *как* эти результаты получены. Он не только не избегает таких трудных для популярного изложения вопросов, как, например, вопрос об электромагнитной массе, но, выяснив это важное понятие, сейчас же применяет его к объяснению причин отступления атомных весов от целых чисел и элементарным путем получает зависимость между массой и энергией. Теория рассеяния альфа-частиц сопровождается простым математическим расчетом. И так повсюду автор стремится ввести читателя возможно глубже в суть дела, не ограничиваясь поверхностным сообщением результатов.

Книга несколько бедно иллюстрирована, и об этом следует пожалеть. Будем надеяться, что в следующем издании, которое, вероятно, потребуется, издательство не поскупится на значительное увеличение числа рисунков.

Пожелаем же отличной книге Я. И. Френкеля заслуженного ею успеха.

Э. Шпольский.

Засл. проф. А. В. ВАСИЛЬЕВ. Пространство, время, движение. Историческое введение в общую теорию относительности. Берлин. Кн-во «Аргонавты». Год не указан. Стр. 151.

В своем стремлении уразуметь знаменитый принцип относительности читатель купит и эту книгу, может-быть, с большей надеждой, чем другие книжки на ту же тему: и хорошая внешность, и имя автора, и, наконец, расчет хоть «исторически» подойти к пониманию теории относительности,—все будет тому способствовать. И, конечно, и в этом случае получится разочарование: нигде не получает такой полной силы древнее изречение, что нет «царского пути в науке», как в теории относительности.

Я не буду критиковать эту книжку по существу; история—не моя специальность. Но да будет мне позволено высказать несколько общих мыслей по ее поводу.

На теорию относительности надо смотреть, как *на физическое* учение о пространстве, времени и тяготении. Учение это может быть верным, но может и не выдержать испытания на оселке эксперимента; как и всякое учение, оно имеет свои исторические корни. Но сколько постороннего насело на этой теории! Она напоминает корабль, пустившийся в широкий океан и по дороге обросший ракушками настолько, что движение его вперед затруднено; надо счистить эти ракушки.

Но когда я читаю в книжке по теории относительности о мистике чисел пифагорейцев, о том, что, по мнению Аверроэса, признание абсолютно неподвижного тела, очевидно, противоречит идее Всемогущего Бога (стр. 22) и т. п., то я не могу не считать всех этих сообразкений ракушками, насевшими на корабле, мудрой постройке которого я удивляюсь и конструкцию которого я изучаю. Мне невольно хочется счистить эти ракушки, а не плодить их. Конечно, я понимаю, что и пифагорейцы и, может-быть, даже Аверроэс участвовали в прогрессе науки; но не могу же я думать, что их роль в истории науки определяется их религиозными и мистическими взглядами; я уверен, что эти взгляды были именно ракушками на их корабле, исторически неизбежными, но для корабля, несомненно, вредными. Но то, что было неизбежным при тогдашней технике научной мысли, то теперь совершенно недопустимо и может принести вред неустойчивому читателю.

Поэтому первая глава книги А. В. Васильева представляется мне совсем не так написанной, как это следовало бы на мой взгляд.

Что касается той части книги, где автор излагает самую теорию, то можно признать, что тот, кто изучает эту теорию по серьезным книжкам, иногда найдет дополнительные пояснения в книжке

А. В. Васильева; но читатель иного рода вряд ли разберется в речах автора. Царского пути нет и у него.

Ник. Андреев.

Проф. А. С. ДОГЕЛЬ. Кровь, как основа жизни человека и животных. Изд. 2-е. Петроград. Государственное Издательство. 1922 г. 11 рис. и 32 стр. текста.

Исходя из общеизвестного факта возможности смерти от значительных потерь крови, проф. Догель в кратком, но очень содержательном очерке знакомит читателя с составом крови, ее свойствами и ее значением для организма. Наиболее обстоятельно описаны так называемые форменные элементы крови, т.-е. красные и белые кровяные тельца и кровяные пластинки. Автор дает не только морфологию этих образований, но указывает также их химический состав и выясняет их роль в организме. За описанием форменных элементов следует описание жидкой части крови, так называемой плазмы, и процесса свертывания крови. На ряду с морфологическими и физиологическими сведениями, приводится ряд данных из патологии и бактериологии, подчеркивающих и выясняющих значение для организма отдельных составных частей крови. Наконец, проф. Догель дает краткое описание устройства кровеносной системы и кровообращения.

Осветить с достаточной полностью все, затронутые в очерке, вопросы при небольшом размере брошюры, конечно, невозможно, однако, все существенно важное автором принято во внимание и умело изложено в очень сконцентрированном виде. Эта сжатость изложения, очень приятная для подготовленного читателя, сделает, быть-может, чтение очерка для читателя менее подготовленного несколько затруднительным, но все же, несомненно, это чтение будет весьма поучительным и плодотворным.

В заключение приходится отметить несколько досадных редакционных недостатков. Так, на стр. 5, при выяснении общей площади красных кровяных телец одного человека, *2, 816 квадр. метров* приравнены к *«почти 80 квадр. аршинам»* (?!); на стр. 10 говорится, что плазма крови принимает желтоватую окраску при переходе в нее гемоглобина из красных кровяных телец, тогда как в этом случае она становится красноватой или даже красной, желтоватый же цвет есть нормальный цвет плазмы; на стр. 22 рисунок схемы кровообращения, с разделенным на две части сердцем и странным отхождением воротной вены от общего капиллярного русла вообще неудачен, в обозначениях же название «воротная вена» досадно искажено в «воротовая вена»; на стр. 24 время кругооборота крови дается по Герингу и Фирордту, что для физиолога в настоящее время уже неприемлемо; наконец, на стр. 27, говоря о красных кровяных тельцах, автор полагает, что «чем больше будет в крови этих работников, доставляющих нам кислород, тем с большею энергией будут совершаться все жизненные процессы», что неверно, ибо приток и потребление кислорода определяется интенсивностью жизненных процессов, а не наоборот.

Сожалея о наличии указанных недостатков, все же следует горячо приветствовать появление на книжном рынке рецензируемой брошюры и пожелать ей широкого распространения.

М. Шатерников.

ГЕНЕТИКА. ЭТАПЫ МЕНДЕЛИЗМА. Сборник статей под редакцией проф. А. А. Сапегина. Стр. 115. Изд. Наркомзема Украины. Одесса. 1923 г.

Небольшой сборник, составленный проф. А. Сапегиным, заслуживает безусловного внимания. Внимание это тем более уместно, что литература генетического содержания на русском языке крайне ограничена в количестве. Контраст с действительной потребностью в этой области особенно очевиден, если мы учтем, что генетические главы в биологии сосредоточили на себе внимание очень широких кругов исследователей. Широкий интерес пробужден уже имеющимися реальными достижениями в этой молодой науке и теми не-

обыкновенно привлекательными перспективами, которые открываются перед взором биологов в теоретической и прикладной областях.

Сапегин делает попытку ознакомить с основными этапами генетики по статьям (и извлечениям из статей) самих создателей этих этапов.

В состав сборника вошли:

Опыты на растительных гибридах—Г. Менделя. О фенотипе и генотипе—В. Иогансена. Теория «присутствия и отсутствия»—В. Бентсона. Гипотеза «присутствия и отсутствия»—Д. Г. Шалла. Полимерия признаков и т. д.—Г. Нильсона-Эле. Внешне непрерывное варьирование—Э. М. Иста. Гибридологический анализ Anthirhinum—Э. Баура. Сцепление и отталкивание наследственных факторов—В. Бентсона. Механизм наследственности—Т. Г. Моргана. Понятие о наследственном факторе—Э. Баура.

Подбор авторов сделан удачно, и этапы намечены значительные. Лицам, уже несколько знакомым с основами генетики, чтение основоположников дает большое удовлетворение.

Для начального знакомства с основами гибридологии книга, конечно, трудновата, в виду недостаточной связанности между статьями, и в виду некоторой пестроты подходов и стилей изложения у отдельных авторов; затруднений *для начального чтения* тем более, что взяты даже не целые статьи, а лишь извлечения из статей. Но это неизбежный недостаток подобного рода сборников.

Переводы сделаны несколько неровно. Издание для текущего момента сносно. Книга снабжена иллюстрациями и даже цветной таблицей.

М. Завадовский.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК НА 1923 г. Государственный Вычислительный Институт. Петроград. 1923. Стр. 328.

При производстве и обработке разнообразных астрономо-геодезических работ, требуются особые таблицы, дающие положения солнца, луны, планет и звезд и называемые астрономическими эфемеридами. В довоенное время у нас пользовались английскими, французскими и немецкими эфемеридами. В 1918—1919 годах получение заграничных изданий стало почти невозможным, и, приходя на помощь русским астрономам и геодезистам, Государственный Вычислительный Институт начал издавать свои эфемериды, сначала отдельными выпусками, а с 1922 г. общим сборником по типу Берлинского Астрономического Ежегодника. Эту работу Г. В. И. нужно приветствовать. Теперь каждый работающий практически астроном, отправляясь на летнюю работу, может обеспечить себя необходимыми таблицами, не делая обширных выписок из трудно доступных заграничных изданий. Нужно еще отметить, что русский Ежегодник не является простой перепечаткой своего немецкого собрата, а специально приспособлен для русских условий и методов наблюдения, в частности содержит все звезды для столь употребительного у нас определения времени по способу Цингера. Кроме обычных астрономических таблиц и весьма полезной таблицы постоянных, Ежегодник содержит еще эфемериды 78 малых планет, вычисленных Г. В. И., и интересные статьи Балановского и Нумерова. Однако, эти приложения, представляя большое научное значение, лишь в немногих случаях будут интересовать работающего в поле астронома и геодезиста; зато многим специалистам или любителям, не нуждающимся в точных астрономических таблицах, было бы важно или интересно иметь эти приложения. Поэтому нам кажется, что для понижения довольно высокой цены Ежегодника было бы нелишне разделить собственно эфемериды от статей, печатая последние отдельно или в одном из специальных журналов и тем сделать доступнее для русских астрономов столь необходимые для них таблицы.

Проф. Д. Михайлов.

НАРОДЫ И СТРАНЫ.

1. П. М. КЕРЖЕНЦЕВ. Революционная Ирландия. *М. Брагинский.* — 2. В. ВИЛЕНСКИЙ-СИБИРЯКОВ. Китай. Полит.-экономич. очерк. *А. Сначко.* — 3. М. О. РОЙ. Новая Индия. *В. Кряжин.*

П. М. КЕРЖЕНЦЕВ. Революционная Ирландия. 2-е дополненное издание. Госиздат. М. 1922 г. Стр. 224.

Судьба революционной Ирландии, всегда вызывавшая всеобщее внимание в Европе и в Америке, уже с давних пор возбуждала к себе глубокий интерес и сочувствие в кругах русской радикальной молодежи. Этому не мало способствовали органы нашей прогрессивной журналистики 70-х и 80-х годов прошлого столетия. Трагическая судьба ирландского народа и его освободительная борьба была одной из любимых тем не только для статей исторического и публицистического характера, но и для политических романов, печатавшихся, например, в «Отечественных Записках». По этим романам, читавшимся с неподдельным увлечением, русская молодежь знакомилась с подпольными ирландскими организациями, с таинственными «рибон-мэнами», «белоногими» и «черноногими ребятами», будившими в читателях горячие симпатии к делу их героической борьбы с жестокими поработителями народа.

И вот, несмотря на этот традиционный интерес к ирландскому движению, мы до сих пор не имели на русском языке ни одного серьезного труда по этому вопросу.

Автор «Революционной Ирландии» только и мог указать на две работы — Тарле и Афанасьева. К ним мы могли бы добавить еще переводную работу Каутского об Ирландии, книгу Э. Пименовой («Политические деятели современной Англии и Ирландии»), не имеющую, впрочем, самостоятельного научного значения, да еще переведенную на русский язык и уже устаревшую книжку Маккарти «Современная Ирландия». Вот и все, что имеется в русской переводной и оригинальной литературе по истории борьбы за освобождение Ирландии от английского владычества.

При таких условиях книга т. Керженцева, составленная на основании личных наблюдений и сношений с некоторыми ирландскими деятелями и серьезного знакомства с первоисточниками и обширным литературным материалом, является, можно сказать, первым вкладом в нашу скудную литературу по вопросу, до сих пор сохраняющему животрепещущий интерес. Если мы к этому добавим, что изложение свое автор «Революционной Ирландии» доводит почти вплоть до наших дней (новейшим событиям посвящена отдельная новая глава), то работа т. Керженцева является пока и единственным источником для ознакомления с историей ирландского движения всего XIX и почти всей первой четверти XX века.

Предшествующих периодов многовековой национальной борьбы Ирландии автор касается в самых общих чертах, отмечая лишь ее особенно важные моменты. Но и этих немногих страниц достаточно, чтобы привести читателя к мысли, что едва ли в истории «культурного» человечества найдется другой народ, кроме ирландского, на долю которого обрушилось бы столько неслыханных бедствий, и борьба которого за свою национальную независимость, беспримерная по своему упорству и продолжительности, сопровождалась бы такими изумительными актами героизма и самопожертвования, обессмертившими имена борцов, одинаково великих и мужественных и в разгар борьбы и в самые роковые моменты их трагической судьбы. С другой стороны, трудно себе представить более отвратительные формы жестокости, кровожадной разнузданности, грабительства, вероломства, лжи и обмана, чем те, к которым прибегали англичане, пытавшиеся сломить не-

покорную волю ирландского народа и подчинить ее своему господству.

Однако, ни беспощадное опустошение Ирландии в царствование Елизаветы, ни жестокие нашествия Кромвеля, затопившего Ирландию морями крови и предававшего население целых городов, не исключая женщин и детей, поголовному истреблению, никакие ужасы гнета, погромов, военных экзекуций позднейшего времени не могли поколебать решимости ирландского народа во что бы то ни стало добиться свободы и независимости. Только после окончательного воссоединения Ирландии с Англией наступил период продолжительного затишья до конца XVIII века. Но уже в начале следующего столетия в Ирландии снова возрождается крупное общественное движение под руководством Даниэля О'Коннеля. Правда, это движение носит буржуазно-интеллигентский характер, ставит себе довольно скромные задачи, неспособные возбудить острый интерес в широких массах, старается держаться самых мирных методов борьбы, крайне отрицательно относясь ко всякому революционному массовому выступлению. Несмотря, однако, на особенности этого движения, оно постепенно подготовляет в Ирландии боевое настроение, мало-по-малу охватывающее широкие слои народа. Автор «Революционной Ирландии» шаг за шагом следит за последовательными этапами борьбы ирландского народа, не пропуская ни одного из крупных ее эпизодов, не проходя мимо ни одного из ее выдающихся деятелей, и в общем итоге рисует перед читателем отчетливую и яркую картину движения, исполненного глубокого трагизма.

Однако, мы тут же должны оговориться и отметить один существенный недостаток этой картины. Мы не замечаем в ней присутствия масс, не ощущаем массового действия, ярких проявлений массовых симпатий, на которые опирались многочисленные, сменявшие друг друга или одновременно существовавшие, революционные организации. Подробно исследуя ирландское движение XIX века, т. Керженцев дает характеристику всех действовавших в то время тайных и открытых революционных организаций, их программ и их виднейших деятелей. Но мы не находим в его книге почти никаких указаний на революционные выступления широких крестьянских масс. Между тем для полноты картины движения и для лучшего ее уразумения автору следовало бы подробнее остановиться на характеристике настроений крестьянской массы, определить степень сознания обособленности ее интересов, формы активного и непосредственного ее участия в борьбе с ее внутренними классовыми врагами и ее английскими поработителями. Это было бы тем более важно, что автор и сам отмечает в своей книге, например, на страницах, посвященных деятельности «Земельной Лиги», что аграрное движение получило организованный характер и развилось в угрожающую силу. Земельный вопрос был поставлен на первый план. Широкая масса сельского населения объединилась ради ближайшей, понятной ей задачи» (стр. 112). Подобного рода замечания рассыпаны и на некоторых других страницах «Революционной Ирландии». Все это, казалось бы, обязывало ее автора уделить особое внимание массовому аграрному движению и проявлениям стихийной и организованной массовой борьбы за землю. Но, к сожалению, автор этой обязанности не выполнил и, таким образом, оставил крупный пробел в развернутой им картине движения. Этот пробел кажется нам тем более странным, что к вопросу о рабочем движении в Ирландии он подошел совершенно иначе. Движению городских рабочих т. Керженцев посвятил в своей книге хотя и очень сжатый, но живой и цельный очерк, в котором он дает оценку роли не только выдающихся вождей ирландского народного движения, но и изображает картину развития массовых организаций и различных форм борьбы их за свои классовые интересы. И здесь автор поступил совершенно правильно, ибо если рабочие организации являлись крупным фактором в процессе разделения общественных групп, боровшихся под общим национальным знаменем, во имя национальной независимости Ирландии, то в неизбежной классовой борьбе внутри самой Ирлан-

дии, ставшей независимой, городским рабочим предстоит сыграть еще более важную роль авангарда, борющегося за освобождение всех трудящихся.

Аграрный вопрос, всегда являвшийся осью ирландского движения и формы революционной массовой борьбы арендаторов земли против лэнд-лордов, по меньшей мере заслуживал бы такого же отдельного очерка, какой автором посвящен рабочему движению, и об отсутствии такого очерка, который представлял бы особый интерес для русского читателя, приходится сильно пожалеть.

Однако, надо отдать справедливость автору—его характеристики некоторых из наиболее видных вождей ирландского движения очень удачны. Особенно мастерски очерчены такие яркие по своему благородству и подлинному героизму фигуры, как Митчель, Ларкин, почти на-днях только освобожденный из американской тюрьмы и вернувшийся на родину для новой борьбы, Конолли, расстрелянный английским правительством, Майкал Девитт, О'Коннель, Парнелл. В своей характеристике последних двух крупных деятелей Керженцев резко расходится с иностранными и русскими писателями, представившими их личности в далеко неправильном освещении. Тов. Керженцев, давая весьма интересный анализ блестящей политической карьеры и не совсем обыкновенной личной судьбы Парнелла, приводит целый ряд новых данных, разрушающих ореол, которым окружили Парнелла, между прочим, и русские писатели. «Некоронованный король Ирландии», как показывает в своей книге т. Керженцев, в течение второй половины своей политической карьеры превратился в отъявленного оппортуниста, или, говоря современным языком, типичного соглашателя, резко выступавшего против революционных методов борьбы и не скрывавшего своей вражды к массовому движению.

Совершенно самостоятелен автор «Революционной Ирландии» и в своем трезвом, вполне научном анализе социального состава и взаимных отношений общественных групп, принимавших активное участие в борьбе за национальную независимость.

Из чисто внешних недостатков следует указать на некоторую неряшливость стиля книги, в общем написанной довольно живо и интересно. Приведем некоторые образчики этой неряшливости. «*значительно* утратили свое *значение*», «в период *медленного краха* тактики», «во избежание *разногласия голосов*», «сопротивление *по уплате* десятины», «он был *агентом* (!) мирной борьбы *за свой взгляд*» и т. п. Последнее выражение особенно неуклюже, но если даже допустить, что слово «агентом» ошибочно напечатано вместо слова «адептом», то все же получается выражение не из удачных.

Но, несмотря на все указанные выше недостатки, мы в заключение нашей заметки должны повторить, что книга т. Керженцева является пока единственным серьезным источником для ознакомления русских читателей с ирландским революционным движением на протяжении семи веков и читается с неослабевающим интересом. **М. Брагинский.**

ВЛ. ВИЛЕНСКИЙ-СИБИРЯКОВ. Китай. Политико-экономическ. очерк. Изд. Всеросс. Научн. Ассоциац. Востоковед. при Н. К. П., под ред. М. Павловича. 1923 г. Стр. 97.

Научная Ассоциация Востоковедения. упорно, шаг за шагом, развивает работу по ознакомлению русских читателей с современным Востоком. После нескольких изданий, обрисовывающих положение на Ближнем Востоке, она выпустила книгу Виленского-Сибирякова «Китай».

Издание весьма своевременное. О современном Китае мы знаем «почти ничего». До сих пор наши представления о Китае основываются на описаниях, изображающих Китай той эпохи, когда он был еще «срединной империей», управляемой «сыном неба — Богдыханом» и огороженной «китайской стеной» от проникновения европейской цивилизации и капитализма.

Меж тем Китай уже одиннадцать лет тому назад совершил революцию, сбросил монархию, провозгласил республику, и с тех пор в течение одиннадцати лет является ареной почти беспрерывной гражданской войны.

На ряду с политической революцией в Китае совершается грандиозная промышленная революция, которая ставит Китай на рельсы капиталистического развития.

Виленский-Сибиряков в предисловии к своей книге говорит: «Китай прошлого с каждым днем все больше и больше уступает место новому Китаю. То, что писалось о Китае до империалистической войны, устарело и не дает представления о новом Китае. Особенно это относится к политико-экономической жизни Китая, [которая за последние годы претерпела большие изменения».

Вот об этом новом Китае, с его новой политико-экономической жизнью и рассказывает по личным впечатлениям Виленский-Сибиряков.

Бегло коснувшись в первых главах географии и истории Китая, автор заканчивает этот обзор выводом: «несомненно, китайский народ должен быть признан жизнеспособнейшим народом, который не только не растворяется в чужой среде, но, как показал исторический опыт, сам способен ассимилировать народы, попадающие в его среду. При своей современной численности (441 миллион населения) и тех рессурсах, которыми он располагает, Китай, несомненно, нужно рассматривать не как народ только прошлого, но и будущего, каковым он, несомненно, является».

Исторический обзор прошлого заканчивается боксерским восстанием 1900 г., бывшим последней попыткой противопоставить внутренние силы феодального Китая вторгающимся силам современного капитализма. Победа оказалась на стороне капитализма, и это предрешило судьбу феодально-монархического строя и сделало революцию неизбежной.

Дальше автор излагает историю Китайской революции и борьбу за республику, доводя ее до конца 1922 года, и потом более подробно останавливается на современном государственном устройстве и экономике Китая.

В области государственного управления автор отмечает, что временный «основной закон» Китая является сколком с японской конституции, а фактически гражданская война и усиление военщины придали административному управлению Китая военный характер. В настоящее время в Китае создалось такое положение, что власть центрального правительства (парламента, президента, кабинета министров) является часто номинальной, а фактически находится в руках «ду-дзюнов», т.-е. военных генерал-губернаторов провинций, которых насчитывается 9 человек и в числе которых находятся уже известные в Советской России У-пе-фу и Уонан-Узо-лин. В руках этих генерал-инспекторов находится реальная сила—армия. Состав армии весьма значителен, — постоянный кадр насчитывает 1.400.000 человек при 3.076 орудиях и 1.394 пулеметах; резервы, прошедшие военную службу, исчисляются в 3.000.000. Таким образом, Китай может в любой момент располагать 4 или 5 миллионами обученных солдат. Такая могущественная армия, это—уже новый Китай. Еще резче вырисовывается этот новый Китай при обрисовке современной экономики: 12.856 километров действующих железных дорог, 9.600 строющихся; «Банк Путей Сообщения» с годовым оборотом в 150 миллионов долларов; 118.395 километров телеграфных проводов; 8.500 почтовых контор, 50 радиостанций. Быстрый рост собственной промышленности: в течение 1918 и 1919 гг. возникло 170 *китайских* промышленных предприятий, с капиталом около 150 миллионов долларов.

В одном только Шанхае сейчас есть 48 ткацко-прядильных фабрик, принадлежащих китайскому капиталу.

Также начинает развиваться тяжелая индустрия, добыча угля и железа. С 1916 по 1921 год добыча угля увеличилась на 26%, железа—на 32%.

Растет и финансовый капитал, организован консорциум из 27 китайских банков с капиталом в 250 миллионов китайских долларов.

Общий вывод: Китай твердо вступил на дорогу капиталистического развития. «Международный товарообмен привел иностранный капитал в Китай, он разбудил спящего великана, оживил его дремлющие силы, научил китайца европейской технике, содействовал первичному накоплению китайских капиталов, и сейчас китайский капитал заявил о своих хозяйских правах, поставив на очередь борьбу с иностранным капиталом».

З.-Е. империализм выпустил китайского «Джина» из кувшина, в котором тот сидел тысячи лет, и теперь выпущенный «Джин» готовится вцепиться в горло своему своекорыстному освободителю.

Дальше Виленский - Сибиряков подробно прослеживает экономическую подоплеку событий Китайской революции, борьбы Севера с Югом, Пекина с Кантоном и Манджурией, классовую сущность политических партий, их роль и влияние, отмечая, что только одна партия «Го-мин-дон» (лидер Суит-ян-сен) опирается на массы, прочие же представляют лишь группировки верхушек, бюрократии и интеллигенции.

При определении будущего Китайской революции автор приходит к заключению, что *«исторический процесс ведет к неизбежному приходу к власти китайской буржуазии, а следовательно, к тому, что можно бы было назвать завершением буржуазной революции в Китае». «Китайский пролетариат тоже зреет. Он организует свои силы и сейчас выходит на политическую арену в качестве борющейся силы».*

В международных отношениях автор предвидит возможность группировки. Китай—Советская Россия — Германия и Америка, которая подойдет к этой группировке несколько позже.

Таковы социальные и политические выводы Виленского-Сибирякова из обзора нового Китая.

Книга написана живо, очень популярно и легко читается даже совсем неподготовленными читателями. Недостатками книги является небрежная обработка исторических глав, в которых материал, очевидно, взят из источников, чуждых духу исторического материализма, и не переработан достаточным образом.

Странно встречать в книге, принадлежащей перу марксиста, такие исторические характеристики, как, например: «Этот период был золотым веком китайской каллиграфии, шахмат, поэзии и т. п ; к этому периоду относится распространение китайских вееров и многих других китайских особенностей» (стр. 16),—или: «Однако, следуя общим законам, по мере своего укрепления, манджуры не только начали утрачивать свою энергию, но и вообще опускаться, обращаясь в ленивых владык» (стр. 18).

Это—абзацы из Иловайского, и им не место в книге, в которой история новейших событий (Китайской революции) строго выдержана в марксистском понимании истории.

Обращает внимание и еще один культурно - исторический промах, — характеризуя китайское земледелие, отмечая мало развитое скотоводство, ручную обработку полей и сильно развитое огородничество, Виленский - Сибиряков объясняет все это только земельной теснотой и совершенно упускает из виду, что китайская (вернее, азиатская) земледельческая культура создалась при отсутствии приручения животных и потому основывается исключительно на человеческом труде, без участия рабочего скота. В этом и состоит характерная особенность китайского земледелия, порождающая чрезвычайно интенсивное использование чрезвычайно малых пространств.

Эти небольшие небрежности ничуть не вредят общему впечатлению от книги. Главная ее часть—социально-экономический анализ Китайской революции—сделана мастерски, рукой зрелого и опытного марксиста, почему книга может служить пособием в совпартшколах, для демонстрации применения марксистского метода к изучению революции, происходящей в чуждой и далекой нам по социально-экономическим условиям стране.

Ан. Сначко.

М. О. РОЙ. Новая Индия (India in transition). Госиздат. 1923 г. Стр. 200.

Литература на русском языке, посвященная политике и экономике Индии, всегда отличалась замечательной скудостью. Что касается до оригинальной русской литературы по Индии, то она была целиком посвящена ее философии, искусству и религии, как, например, труды таких замечательных ученых, как Минаев, Щербатской, С. Ольденбург, Розенберг и др. С хозяйственной жизнью страны русский читатель принужден был знакомиться по беглым описаниям старых

путешественников или по немногим переводным сочинениям, лучшим из которых было двухтомное сочинение Шейе—«Современная Индия». Я не останавливаюсь здесь на мутном потоке теософской литературы, которая, начиная с предприимчивой Блавацкой, прививала представление об Индии, как о стране чудес, населенной иогами, махатмами, загадочными племенами пигмеев и т. п.

Лишь после революции появилось несколько статей, посвященных современной Индии (К. Трояновского, В. Кряжина, М. Роя и др.), а также интересный сборник дипломатической переписки—«Синяя книга по делам Индии». Этот огромный пробел в нашем познании Индии, необычайно удачно заполняет книга М. Роя, одного из проводников марксизма у себя на родине и члена III Интернационала.

Книга М. Роя представляет из себя систематический анализ всех сторон экономики и социальных отношений Индии, произведенный притом во всеоружии марксистского метода. Эволюция туземного капитала и буржуазии, состояние сельского хозяйства и процессы, происходящие в нем, развитие пролетариата, интеллигентского и промышленного, наконец, подробная история национального политического движения—таковы основные главы, на которые распадается книга.

Особый интерес представляет для русского читателя часть книги, посвященная истории национального движения.

Завоевав Индию, англичане в течение 150 лет искусственно тормозили ее социальный прогресс, парализуя развитие туземной промышленности и, наоборот, укрепляя феодальные пережитки, как опору для своей власти. Восстание 1857 года, поколебавшее все здание английского владычества, заставило их перейти к новой тактике: они вызывают к жизни туземную интеллигенцию, чтобы сделать ее орудием своей власти в этой огромной стране.

Вначале план этот блестяще удался. Прогрессивная индийская интеллигенция, исповедующая политические догмы английской буржуазии, приняла ярко денациональный характер. Однако, весьма скоро эта же интеллигенция, под влиянием ряда политических уроков, выходит из безусловного повиновения и требует своей доли в управлении страной. Впрочем, в целом взгляды этой интеллигенции проникнуты социально реформистским политически-оппортунистическим характером.

Этот социальный слой и образовал, по инициативе самих же англичан, Национальный Конгресс, растрачивающий свои силы в петициях и ходатайствах половинчатого характера. Развитие туземной буржуазии и пролетаризация интеллигенции скоро выбрасывает новую общественную группу «крайних» националистов или экстремистов. Их идеология является ярко реакционной, поскольку они мечтают о возрождении правоверного индуизма и проповедуют уничтожение «гнилой цивилизации», занесенной в Индию англичанами. Основоположником и вождем этого «интегрального» национализма является Б. Г. Тилак. Несмотря на свою официальную идеологию, на практике и экстремисты служили интересам нарождающейся туземной буржуазии: не даром их тактикой сделалось «свадеши», т.-е. бойкот европейских товаров с целью развития своей индустрии. Тактика экстремистов заключалась в эксплуатации невежественных, главным образом, крестьянских масс, стихийно протестующих против английского гнета.

Мировая война создала новую эпоху в истории национального движения. Благодаря отвлечению всей промышленности на военные цели, Англия принуждена была предоставить известную свободу индийской индустрии, которая и начала развиваться семимильными шагами; достаточно сказать, что за последние 6—7 лет численность промышленного пролетариата увеличилась с 3 милл. до 9.

Эта ситуация вызвала раскол в национальном движении, при чем вся крупная буржуазия перешла на сторону английского правительства и начала проповедывать тактику умеренности и соглашения. В награду за то, она и получила реформы Монтегю-Чельмсфорда, предоставлявшие Индии известное самоуправление, главным образом, в местных делах.

После этого, на фоне стихийного недовольства масс, вследствие, главным образом, послевоенной дороговизны, усиливается натиск экстремистов, во-

ждем которых становится Ганди. Политическая программа последнего отмечается определенной реакционностью. Он громит западную «бесовскую» цивилизацию, мечтает о возвращении к докапиталистическим временам и т. д. Что касается до его революционности, то она достаточно выясняется из следующего его поучения: «богатые нередко явно несчастливы, а бедные—счастливы. Миллионы всегда останутся бедными».

В связи с общим религиозным уклоном своей политической программы Ганди начинает проповедывать пассивное сопротивление и всеобщую стачку (хартал), как орудия борьбы против англичан. Необычайно усиливают позицию Ганди жестокие репрессии британской администрации (по так называемому билю Роулетта), явившиеся ответом на стихийные движения среди рабочих и крестьян.

Успехи экстремистов, конечно, временные, и логика событий национального освободительного движения должна привести их к крушению. Но на смену им приходит более могучий враг—индийский пролетариат, который уже с 1916 г. стихийно протестует путем устройства буквально сотен забастовок во всех углах страны. Сейчас он переживает процесс внутреннего профессионального объединения и, с дальнейшим развитием туземной индустрии, он, несомненно, явится руководящей силой в борьбе за освобождение Индии. Именно это прояснение национального движения, превращение его в движение классовое, и должно составить, по утверждению М. Роя, ближайший этап политической жизни Индии.

Единственными недостатками книги М. Роя является ощущение, очевидно, в виду сжатости изложения, некоторых фактов, так, например, влияние великого голода конца XIX в. на эволюцию среди националистов; а также недостаточная разъясненность некоторых фактов: так, напр., автор лишь мельком указывает на чрезвычайно важный биль Роулетта и совершенно не поясняет его содержания, сводящегося к праву правительства устраивать ускоренное судопроизводство, применять административную ссылку и вводить чрезвычайные положения. Совершенно не упомянута Амритсарская бойня и некоторые другие важные события. Во всяком случае книга М. Роя является превосходным и единственным руководством для изучения современной Индии, столь близкой во многих отношениях к дореволюционной России.

В. Кряжин.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Г. В. ПЛЕХАНОВ. Литература и критика. *В. Ваганян.* — **2. Р. С. МАНДЕЛЬШТАМ. Художественная литература в оценке русской марксистской критики.** *Н. Фатов.*—**3. Н. К. ПИКСАНОВ. Старо-русская повесть.** *Н. Фатов.* — **4. А. ТИНЯКОВ. Русская литература и революция.** *В. Ваганян.* — **5. «Из Архива Достоевского». Письма русских писателей Достоевскому.** *Н. Бродский.* — **6. А. БЕЛЫЙ. Поэзия слова.** *С. Бобров.* — **7. Sertum Bibliologicum в честь президента Русского Библиологического Общества проф. А. И. Малеина.** *Н. Кашин.*—**8. А. ОВЕТТ. Итальянская литература.** *И. Гливенко.*—**9. Проф. Н. ЯНЧУК. Нарысы па Гісторыи беларусске литературы.** *В. Пичета.*

Г. В. ПЛЕХАНОВ. Литература и критика. Сборник статей. Том I. «Новая Москва». 1923 г.

Вряд ли можно выдумать более неблагодарную роль, чем роль рецензента. При наших условиях, при общей слабости к умственной лени наших издателей, при нашей неряшливости, рецензенту почти сплошь приходится ругаться, а известное дело—как все предубеждены против ругателя.

Но как не ругать хотя бы перед нами лежащий сборник?

Он как будто сделан специально для того, чтобы вызвать излияние желчи у рецензентов.

На самом деле.

Открываете сборник — никаких указаний от редакции, пытаетесь сами разобраться в сборнике—приходите в недоумение от одного расположения статей.

Взяли статьи из сборника «За 20 лет», перетасовали, неизвестно чем руководствуясь, и преподнесли читателю. Единственный аргумент, который оправдал бы издание,—то, что самый сборник «За 20 лет» сделался редкостью. Но тогда, почему же не перепечатать просто всю литературную часть сборника? Вероятно, думает читатель, редакция внесла какие-нибудь изменения.

А изменения внести нужно было по той простой причине, что сборник был издан *подцензурно*, в него был включен ряд статей, написанных за границей, и, следовательно, цензурных купюр и искажений было не мало. Но редакция доверилась тексту подцензурного сборника, а из этого получилось то, что реферируемый сборник на три четверти потерял свою ценность.

На самом деле, какая цена сборнику, где одна из лучших статей—«Н. А. Некрасов» — приведена с цензурными пропусками, которые убивают все, что было революционного в ней? А в ней было много революционного. Некрасов в ней получил достойную оценку и толкование, а самое главное *Плеханов* в ней выглядывает подлинным революционером. В 1903 году 10/I на собрании русской колонии в честь 25-летия со дня смерти Некрасова, Плеханов прочел доклад «Народ и интеллигенция в поэзии Некрасова»; обработав и дополнив, он его издал отдельной брошюрой, которую посвятил «Донскому Комитету Р. С.-Д. Р. П.». Чтобы читатель мог судить о том, достойна ли была брошюра Донского Комитета, только что прославившегося ростовской стачкой, приведу два отрывка из нелегального издания:

«Русский пролетариат живет уже не в «безрассветной, глубокой ночи»: он, в лице лучших представителей своего класса, уже видит яркую зарю своего освобождения. Его *«суровые очи»*, не *«плачут»*: они горят благородной жаждой борьбы и гордым сознанием своей силы. Его *«уста»* не остаются *«немыми»*: они зовут на битву. И странно было бы желать ему *«доброй ночи»*, — ему, который стряхивает с себя тяжелый сон и бодро принимается за свою великую историческую работу».—А вот что оставила цензура из этого прекрасного отрывка: «Его «суровые очи» уже не «плачут», а горят сознанием своей силы. И странно было бы теперь с нашей стороны желать ему «доброй ночи» [1])—и все. Хорошо работали царские цензора, но зато как плохо работают наши издатели!

Вот еще два примера: «Некрасову не суждено было дожить до новой эпохи. Но если бы он дожил до нее, он увидел бы, что в современной России есть люди, которым, несмотря ни на что, живется много веселее и гораздо вольготнее, чем жилось его Грише: *эти люди—работники, пролетарии, посвятившие себя борьбе за освобождение своего класса и твердо убежденные в исторической неизбежности этого освобождения*». Все подчеркнутое, разумеется, выпущено в легальном издании [2]).

«Существующие условия делали невозможной *революционную* работу в народе; а без *революционной* работы в народе нельзя было надеяться на изменение к лучшему существующих условий, как это ясно показала неудача *«партии Народной Воли»*, пытавшейся силами одной интеллигенции *положить конец нынешнему нашему порядку вещей*. Вся духовная история нашей радикальной интеллигенции сводится к усилиям разрешить это противоречие».— Попробуйте прочесть этот отрывок без подчеркнутых слов—у вас получается та эзоповская тирада, которая имеется в подцензурном издании

Не буду приводить более примеров. По-моему, совершенно очевидно, что сборник может быть терпим только до того, как появится X том собрания сочинений Плеханова, который находится в печати, куда входят все эти статьи, в подлинном необезображенном виде.

В. Ваганян.

---

[1]) Реферир. сборник, стр. 372.

[2]) То же, стр. 371.

Р. С. МАНДЕЛЬШТАМ. Художественная литература в оценке русской марксистской критики. Редакция и предислов. Н. К. Пиксанова. Российская Академия Художественных Наук. Библиографический кабинет. Серия литературных указателей под общей редакцией Н. К. Пиксанова. № 1. Второе, дополненное издание. Государственное Издательство. Москва. 1923. Петроград (отпеч. в Петербурге). Тираж 5.000 экз. Стр. 96. Цена не указана.

Пособие Р. С. Мандельштам выходит уже 2-м изданием, но 1-е, напечатанное в провинции, не получило достаточно широкого распространения и, кроме того, по размерам было вдвое меньше, так что настоящее издание является в значительной степени новинкой. Перед нами—библиографический список, расположенный в алфавитном порядке имен марксистов - авторов критических статей и научных работ по литературе, распадающийся на две части: а) работы о русских писателях и б) об иностранных писателях. Для первых указано 716 названий, для вторых—191. При составлении списка, по словам редактора, «за правило были приняты: беспристрастие, точность и полнота». Правила хорошие, что и говорить! Если нет основания сомневаться в наличности у составительницы и редактора первого, то относительно выполнения второго и третьего правил сомнения возникают даже при беглом просмотре указателя. Как *точно* «выделить прямых марксистов из окружающей их среды сочувствующих, сопутствующих»—это затруднение ясно и редактору. И поэтому составители «считали, что лучше передать чем недодать»—против чего, пожалуй, нельзя возражать, особенно в тех случаях, «когда критик от марксизма переходил к идеализму или наоборот», но о «точности» тут говорить, конечно, не приходится. Последовательности также особой не заметно. Напр., если уж давать подробную библиографию работ В. Л. Львова-Рогачевского, то почему бы не ввести и Д. Н. Овсянико-Куликовского. Полнота сборника также вызывает сильные сомнения. Газетный материал почти совсем не использован, в силу чего выпали указания, напр., на ранние работы П. С. Когана, на многие статьи Л. Войтоловского; В. Д. Бонч-Бруевич даже не упоминается. Не упомянут и Л. Д. Троцкий. Пропущен ряд работ Л. Б. Каменева (напр., о Некрасове), Е. А. Соловьева и мн. других. Отсутствуют фамилии и весьма многих из молодых наших марксистов историков литературы и критиков. Таким образом, и это второе издание является лишь изданием корректурным, как скромно назвал редактор первое издание.

Но все эти недостатки, почти неизбежные в работе подобного рода, конечно, не могут заставить умолчать об *исключительной ценности* книжки Р. С. Мандельштам. Как бы то ни было—это все же первое и единственное пособие такого рода. Оно составлено достаточно широко, и удовлетворяет тем требованиям, которые мы предъявляем к научной библиографии, и потому является незаменимым пособием для всякого историка литературы, что, конечно, нисколько не исключает необходимости теперь же приступить к радикальной его переработке, с привлечением, может-быть, ряда других библиографов, так как единоличное выполнение подобных работ вообще нелегко осуществимо, особенно если давать не голый список (как в работе Р. Мандельштам), но и краткую характеристику или описание каждой работы, без чего подобные указатели теряют значительную долю своей ценности.

Н. Н. Фатов.

Н. К. ПИКСАНОВ. Старо-русская повесть. Введение в историю повести. Темы для литературных работ. Систематическая библиография. Руководящие вопросы. Пособие для высшей школы преподавателей словесности и самообразования. Госиздат. Москва. 1923. Тираж 5.000 экз. Стр. 96. Цена не указана.

Неутомимый проф. Н. К. Пиксанов выпускает книжку за книжкой: вслед за «Пушкинской Студией» и «Двумя веками русской литературы» [1]) выходит третье пособие того же типа—«Старорусская повесть». От изучения Пушкина

[1]) Рецензия на «Два века» будет дана в след. № «Печ. и Рев.».

и других писателей XIX века Н. К. Пиксанов на этот раз направляет внимание учащихся и любителей русской литературы в область старины. Стремление напомнить о ней надо признать вполне законным и своевременным. В последнее время замечается падение интереса к древней русской литературе; она исчезает из программ не только средних, но и некоторых высших учебных заведений. Это явление нельзя признать нормальным. Совершенно естественно, что литературе, более к нам близкой по времени, должно уделяться больше внимания, как художественно более совершенной и затрагивающей более живые, волнующие нас вопросы, но известная доля внимания должна быть уделена и литературе древней. К сожалению, методы ее изучения до сих пор были почти совершенно не разработаны (что, в значительной степени, и отпугивало от ее изучения); самый объем ее представлялся крайне расплывчатым и неясным. На ряду с памятниками подлинно литературными, как «Слово о полку Игореве», к изучению привлекались произведения церковной литературы, памятники юридические, исторические и т. п. («Русская Правда», «Стоглав», «Домострой», проповеди и пр.).

Проф. Н. К. Пиксанов и ставит себе задачей способствовать, прежде всего, установлению правильного взгляда на древне-русскую литературу. Он настойчиво указывает на необходимость изгнания из круга ведения историка литературы, как памятников юридических, богословских, исторических и проч., так и соображений, публицистических, дидактических и т. п. «Историко-литературное мышление должно вращаться в категории причинности, а не качества», говорит он (стр. 7). Такой подход можно, разумеется, только приветствовать. Жаль лишь, что проф. Пиксанов не указывает с достаточной четкостью основного базиса, к которому всегда неизменно необходимо обращаться, как к отправной точке при установлении причинной связи—базиса экономического, формирующего психологию тех общественных групп и классов, отражением которой является всякое художественное произведение. Впрочем, нельзя не отметить, что сознание необходимости базироваться на социально-экономической основе у Н. К. Пиксанова имеется, и он специально останавливается на этом вопросе в конце своего «Введения» (стр. 41—43), резонно упрекая наших ученых в том, «что им была чужда мысль о социальной дифференциации литературы», которая мыслилась ими, как «какая-то сплошная, нечленимая, всесословная, всенародная литература, что, разумеется, глубоко ошибочно». И тут же приводятся два характерных примера: проф. П. В. Владимиров в своей «Древней русской литературе Киевского периода XI—XIII вв.», Киев, 1900, пишет: «Летописание было любимым занятием наших предков» (стр. 234). «Можно подумать,—остроумно замечает Н. К. Пиксанов,—что все население Киевской Руси, от князя до смерда, только и делало, что составляло летописные своды». И такая странная фраза не случайность. Двадцать лет спустя другой профессор, Ф. И. Шмит, в книге «Искусство древней Руси—Украины» (стр. 94), дает совершенно такую же формулу: «Древняя Русь чрезвычайно увлекалась эмалями... Как было Руси не увлекаться эмалями. Они так великолепно соответствовали всем ее вкусам... Да ведь это же и есть та роскошь, которой хотела древняя Русь». Настойчивые повторения удостоверяют, что здесь нет случайности. Явно, что размашистая, смутная фраза вполне соответствует такой же смутной, неточной мысли. Кто именно «увлекался эмалями», кто «хотел роскоши», историк не желает ни сказать, ни подумать» (стр. 42)[1]).

[1]) В рецензии на «Два века» (будет напечатана в следующей книге «Печ. и Рев.») я высказываю надежду, что та ясность научной мысли, которую обнаруживает проф. Н. К. Пиксанов, должна заставить его эволюционировать в сторону полного приятия философских основ экономико-материалистического, диалектически-марксистского, метода. Приведенные слова отчасти подтверждают мое предположение. Остается только пожелать, чтобы эволюция в указанном мною направлении продолжалась.

От «Двух веков» новая книжка Н. К. Пиксанова счастливо отличается обширным введением (приближаясь тем к «Пушкинской Студии»). Введение состоит из трех частей: предисловия, небольшой заметки: «К учащимся» и собственно «Введения в изучение старо-русской повести». Хочется подчеркнуть необычайную ценность второй части введения—«К учащимся». Эти пять страничек являются результатом долгих дум и большого и богатого опыта при работе над историко-литературным материалом. Это—до возможного минимума сжатый конспект, в котором каждая фраза могла бы быть развернута в страницы исследования; что ни слово, особенно на стр. 6—8, то совет, практическое указание, открывающее вдумчивому начинающему исследователю широкие горизонты и посвящающие его в тайны научного метода. «Введение в изучение старо-русской повести» (стр. 10—43) довольно обстоятельно излагает историю собирания и изучения повествовательных текстов, при чем автор всегда определенно указывает как недостатки и достоинства упоминаемых трудов, так и желательные пути дальнейшего изучения. Вторая часть книги (стр. 44—74) составлена по тому же плану, как и соответствующие части двух других, упоминавшихся выше и уже рецензированных мною пособий Н. К. Пиксанова—это «Темы, библиография, вопросники». Дана 41 тема с указанием библиографии и с вспомогательным конспектом при большинстве тем. Значительная часть тем—12—обращаются к гениальному произведению древней нашей литературы—к «Слову о полку Игореве»,—и это вполне естественно. Что же касается других тем, то они затрагивают различные повести, начиная от «Девгениева Деяния» до повестей XVIII века. Против выбора тем трудно было бы что-нибудь сказать. Но нельзя не отметить, что он (как и в двух других пособиях Н. К. Пиксанова) представляется несколько случайным. Целый ряд повестей, благодарных для изучения, почему-то оказался опущенным. Не будем подробно перечислять их—они почти все упоминаются в «Введении», но все же отметим, что странно не видеть тем, посвященных, напр., таким повестям, как «Александрия», «Сказание о Вавилонском Царстве», об Аполлонии Тирском, Шемякин суд, об Юлиании Лазаревской и т. п. Было бы ценно также и введение тем, посвященных исследованию литературно - художественного элемента в летописной литературе и особенно в апокрифах и житиях.

В конце книжки приложен текст трех редких старо-русских повестей—о Карпе Сутулове (характерный образец древнерусской эротической новеллы в стиле Бокаччио), сказание о молодце и девице и повесть о Валтасаре, при чем последняя воспроизводится с рукописи. Фонетические и морфологические особенности языка сохраняются, хотя орфография дается современная, т.-е. «і» заменено «и», «ѣ» заменена «е», «ъ» в конце слов не воспроизводится (что, заметим, вполне уместно и чему уже давно имелись прецеденты, напр., при издании летописей, когда не воспроизводились юсы, йотированные буквы и заменялись современными «у», «ю», «я» и т. д., хотя, конечно, тогда сохранялись і, ѣ и ъ). В заключение, отметив попадающуюся в некоторых местах неисправность в корректурном отношении, что особенно досадно при библиографических ссылках, напр., указанных на стр. 25 рецензий С. П. Розанова и В. Н. Перетца на книгу Сиповского, читатель не найдет по тем цифрам, которые приводятся, так как первая рецензия помещена в 4-й кн. «Изв. II Отд. Ак. Наук» за 1904 г., а не во 2-й, рецензия же В. Н. Перетца в 3-й кн. того же органа на стр. 428—434, а не в 4-й, стр. 401 — 403, как обозначено у Н. К. Пиксанова,—укажем на естественное нетерпение, с которым можно ожидать появления в свет еще двух обещанных автором пособий того же типа, посвященных Тургеневу и истории русского театра.

Н. Н. Фатов

А. ТИНЯКОВ. Русская литература и революция. Госуд. Изд. Орловское отделение. 1923 г. Стр. 80.

Гражданин А. Тиняков поставил себе невыполнимую задачу, поэтому неудивительно, что его статья вышла такая не лепая и несуразная. В противовес проф.

Венгерову, который в 1917 г. утверждал, будто «вся русская литература есть либо мечта о революции, либо призыв к революции, либо бесконечное уважение к ней», он собирается доказать, что «трудно высказать что-нибудь, более необоснованное и несоответствующее действительности, чем мысль проф. Венгерова. В действительности русская литература, в лице ее крупнейших представителей, *всегда* была чужда революции и *очень часто враждебна ей*».

Не потому задачу мы назвали неразрешимой, что мы полагаем, подобно Венгерову, будто *вся* русская литература революционна,—мы марксисты, и не нам утверждать этого; мы полагаем другое, что неправ не только Венгеров, который огулом всю русскую литературу возвел в революционную, но и противники, которые *всю* ее готовы отдать контр-революции.

В какой мере можно говорить о революционной литературе?

Можно принять критерием отношение *представителей* литературы к уже совершонным революциям, тогда и впрямь вряд ли найдется очень много имен, к которым можно было бы применить титул революционный.

Можно исходить из иного, на наш взгляд единственно-правильного положения—какова *объективная роль* данного литературного течения—тогда, конечно, в русской, как и во всякой литературе, революционный элемент будет тем больше, чем объективнее условия, в которых растет и действует данная литература, сами по себе революционны; ибо литература не может играть революционный роли, если жизнь сама не революционна и растущий объективный материал, революционизирующий жизнь, не может не вызвать революционную литературу.

Было бы просто поразительно, если *в эпоху Павла* I русская литература отнеслась бы иначе к Великой французской революции, как отрицательно; для того, чтобы *русская* литература конца XVIII столетия была бы благожелательно настроена к Вел. франц. революции, нужно было, чтобы в русской *жизни* были элементы хоть сколько-нибудь сходные с французской, критик, который не понимает этого простого обстоятельства, неизбежно попадает в нелепое положение А. Тинякова, требующего чтобы наши отечественные дворянские барды воспели хвалу Робеспьеру.

Более того: никто не может обвинить декабристов в том, что они не были республиканцами и социалистами: они были дворянами и это предопределяло их идеалы, требования, степень их революционности; тов. Покровский совершенно прав, когда называет заговор декабристов «заговором недостаточно аристократическим для дворянского переворота и слишком дворянским для народной революции», но разве из этого можно сделать вывод, будто декабристы не были революционеры? Они не были годны, как руководители народной революции, но и народная революция не стояла на очереди, ибо она выдвинула бы себе вождей сама из своей среды, созрей она к этому времени,—они были революционерами, но пределы их революционного размаха были намечены всей объективной ситуацией, классовыми и сословными отношениями *тогдашней* России.

Чтобы судить о том, какое значение имел тот или другой писатель, то или другое литературное явление, нужно его взять во всей обстановке его времени. Когда говорят «ничего революционного в философических письмах Чаадаева нет», то говорят дешевую истину, ибо гораздо проще было бы вспомнить слова Герцена из «Былого и Дум» о том, какое впечатление произвели на тогдашнюю передовую молодежь эти письма, чем наводить ничего не стоящую критику и, наконец, кто в этом деле лучший судья, так это, конечно, царское правительство, которое ведь не из любви к Чаадаеву объявило его сумасшедшим и одело его в смирительную рабашку [1]).

Я не остановлюсь на чрезвычайно нелепом и некритическом, огульном зачислении Пушкина, Лермонтова, *Некрасова*, Тургенева и т. д. и т. д. в контрреволюционеры, скажу лишь несколько слов об его отношении к нашим просве-

[1]) Замечу мимоходом, что отрывки из Чаадаева и комментарии Тинякова к ним прямо указывают на то, что он ничего не понял в «Философских письмах».

тителям 40 и 60 годов: «Таким же недоразумением пропитано отношение нашего общества и к В. Г. Белинскому, который так же безоговорочно причисляется к революционным писателям. На самом деле Белинский всю свою жизнь переходит от увлечения одной философской системой к другой, при чем периоды резкой революционности сменялись у него периодами крайней реакционности».

Нужно быть круглым невеждой, чтобы теоретические искания Белинского, *которые и делали его великим революционером*, считать за реакционность. А. Тиняков ухитряется, опираясь на Плеханова, доказать, будто Белинский, «пережив увлечение социализмом, в конце своей жизни опять *вернулся к монархизму*»—я был поражен, когда прочел это заключение, и пытался проверить у Плеханова, и, конечно, оказалось то, что должно было быть, что А. Тиняков извратил точку зрения Плеханова, приводя две фразы, наугад выхваченные [1]), и делая из них диаметрально противоположный вывод.

Не менее яростно клевещет А. Тиняков на Герцена: «Многие до сих пор считают одним из величайших наших революционеров—А. И. Герцена. Такое отношение к нему как бы подтверждается и торжественным чествованием 50-летия со дня его смерти, происходившем в январе 1920 г. по всей Советской России. В сочинениях Герцена мы, действительно, встречаем множество ярко красных и отчаянно-революционных фраз, но было бы глубочайшей наивностью принимать их за чистую монету. Герцен умел и любил «красно говорить», но в значительной степени этим у него и ограничивалось. На практике же он часто далеко отступал не только от революционности, но и от простой гражданской порядочности. Напр., в его переписке неоднократно встречаются упоминания о том, как жадно ожидал он чина коллежского асессора», и затем, приводя слова Лемке, что «чин коллежского асессора давал право владеть крепостными тем, кто не имел этого права по законному рождению», он патетически восклицает: «Так вот где зарыта собака» Идеалист Герцен, прокричавши на весь мир о своей ненависти к деспотизму и крепостничеству, целые годы жил мечтой о том, как бы добиться права владеть крепостными крестьянами».

Право, после подобных наглых строк начинаешь подозревать, что сей господин имеет какую-то родственную связь с «Новым Временем» Суворина,—ведь вот поразительное же совпадение, и он и те заняты дискредитированием великих революционеров, мещанскими пошлыми кивками и сплетнями, выдергиванием фраз, подлогом и мошенническими проделками, и тот и те *заняты возведением в монархический сан всех великих писателей русской земли*, и если к этому прибавить то, что А. Тиняков из русской литературы заботливо исключает Плеханова, Ленина и др., то картина получится полная: «Есть и еще ряд весьма *громких* имен, которые мы, однако, сознательно устраняем из нашего обзора, потому что они всецело входят в историю мировой революции и лишь очень *скромное* место могут занять в нашей литературе. Для каждого ясно, что когда мы произносим имена: М. А. Бакунина, П. А. Кропоткина, *П. Л. Лаврова* и *Г. В. Плеханова* или из наших современников—*Н. Ленина*, то мы непроизвольно и прежде всего представляем себе их практическую деятельность, а вовсе не их писания, которые и для них самих играли второстепенную, а иногда и последнюю роль, как, напр., для Бакунина».

Кто же те, кому можно присвоить название революционера безоговорочно. «Этих имен не много, а именно: в XVIII веке—А. Н. Радищев, в XIX М. Е. Салтыков-Щедрин (!), Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский, Н. К. Михайловский и Гл. И. Успенский (!).

Это не много, но так и полагается, по мнению г. Тинякова, ибо если не рассматривать литературу через «призму журналистики», то «наша русская литература не только не революционна, но в значительной своей части *анти-революционна*. Что же это означает? Значит ли это, что плоха наша литература? Или, быть-может, это значит, что плоха наша революция? Ни то, ни другое. Литера-

[1]) Читателю самому проверить ничего не стоит—см. Г. В. Плеханов: «В. Г. Белинский», стр. 87—92.

тура наша глубока, многостороння и прекрасна. Революция наша величественна, могущественна и прекрасна. Но эти два прекрасных и великих явления *противоположны* друг другу», он даже Великую пролетарскую революцию в нескольких местах пишет с прописной буквы, но мы ему плохо верим. Вся его философия литературы, которая, по его мнению, «по существу бывает антиреволюционна», которая «шире и разностороннее революции», вся его манера клеветать и копошиться в клевете («Но у нас нет никаких доказательств для того, чтобы считать Некрасова самоотверженнее и, в сущности, революционнее Леонтьева или Фета... Быть-может, *он потому только и славословил революцию, что в глубине души не верил в ее осуществимость или, по крайней мере, в близость*. . . Некрасов, как человек громадного практического ума и большой циник в душе, легко мог сделать вывод, что революция—слаба, что почвы под ногами у нее нет, и что на его век хватит мужицкого смирения, интеллигентской непрактичности и правительственной зоркости и силы. Одним словом, Некрасов хорошо понял, что революция для него—безопасна, и потому он использовал ее, как красивую и во всех отношениях благодарную литературную тему. Конечно, у него был при этом не один голый расчет и цинизм,—были у него и более сложные и тонкие переживания, напр., несомненное наслаждение своим собственным благородством, доходившее иногда до неподдельной и глубокой растроганности. Но, на ряду с этим сказывалось и его неверие в революцию, и его прямое презрение к ней»... — вызывает такую острую потребность сравнения с пововременцами, что мы не можем на нем не настаивать.

Книжку издал Орловской Госиздат. Почему? Кто дал Орловскому отделению Госиздата право тратить народные деньги на издание черносотенных памфлетов?

Кто пойдет под суд за издание на народные деньги этой сплошной клеветы на русскую литературу?

В. Ваганян.

ИЗ АРХИВА ДОСТОЕВСКОГО. Письма русских писателей: Голенищева-Кутузова, Гончарова, Григоровича, Достоевского, Мельникова-Печерского, Некрасова, Островского, Плещеева, Полонского, Помяловского, Рыбникова, Салтыкова, Тургенева, заметка А. Г. Достоевской.—Редакция и вступление Н. К. Пиксанова. Комментарии Н. Ф. Бельчикова и Н. К. Пиксанова. Центрархив. Госиздат. 1923. Стр. 139.

Наконец, начинают появляться рукописные реликвии из архива Достоевского. Центрархив, получивший в 1921 году драгоценный материал автографов как самого Достоевского, так и других писателей, входивших в общение с творцом «Бесов», настоящей книгой открывает серию трудов о Достоевском.

Письма, разумеется, разноценны. Но имеются чрезвычайной важности. Особенно любопытна связка писем Гончарова по поводу присланной Достоевским в сборник «Складчина» (СПБ. 1874) рукописи «Маленькие картинки». Оказывается по цензурным мотивам Достоевский вынужден был выбросить характерную фигуру «священника-ухаря», который «и курит непомерно, и чертей призывает, и хвалит гражданский брак», являясь в то же время «франтом, весь в брелках, цепочках, опрыскан духами, напоминая (Гончарову) французского модного аббата бурбоновских времен». Образ этого священника-нигилиста был, по словам Гончарова, «очерчен резко и зло». Тщетно Достоевский доказывал, что «зарождается такой тип», что он знал этот тип, незамеченный многими. Автор «Обломова», указывая, что если тип этого священника, по слову Достоевского, только зарождается, то это еще не *тип*—«тип слагается из долгих и многих повторений или наслоений явлений и лиц, где подобия тех и других учащаются в течение времени и, наконец, устанавливаются, застывают и делаются знакомыми наблюдателю»—указывая, что при изображении священника в Достоевском «художник уступил место публицисту», советовал считаться с неудобством, в которое Д. ставит комитет по организации сборника, и так уже вынужденного отказаться от статьи Авдеева «по причине священника же». «Злой» сатирический отрывок не появился в не-

чати, остается безвестным и ныне. Заслуживает внимания также эпизод из взаимоотношений Достоевского и Тургенева, рассказанный в книге по неизданным запискам А. Г. Достоевского и новым письмам. Было известно, что проигравшийся в рулетку в Висбадене Д. взял у Тургенева 50 талеров (в 1863 году) и долго не отдавал долга (см. в письме к А. Майкову от 16—28 августа 1867).

В марте 1876 года к Д. пришел А. Ф. Отто с просьбой уплатить ему 50 талеров из ста, высланных в свое время Тургеневым Достоевскому (50 талеров последний переслал Тургеневу незадолго перед этим через П. В. Анненкова). Достоевский страшно был взволнован, помня меньшую сумму долга. Когда было найдено раннее письмо Тургенева, удостоверявшее именно эту сумму, Достоевский успокоился. Отто вскоре принес ему то письмо от 8—20 августа 1863 года, которое было написано Достоевским Тургеневу с выражением благодарности за присылку 50 талеров. Вот это-то письмо Тургенев и вернул Достоевскому в марте 1876 года с пометкой: «50 талеров, данных мною Ф. М. Достоевскому, я получил обратно».

Не останавливаемся на извлечениях из писем других корреспондентов Достоевского. Читатель найдет там немало любопытного историко-литературного материала.

Все письма снабжены обстоятельными вводными заметками и примечаниями, составленными Н. Ф. Бельчиковым и Н. К. Пиксановым. Нелишнее было бы отметить составителю примечаний к письму Полонского 17—29 авг. 1861 г., раз он видит ценность этого письма в указании на реальные живые штрихи, вложенные в тип героя поэмы «Свежее преданье», что прообразом Камкова служил известный поэт 30-х годов П. И. Клюшников, о чем не раз заявлял сам Полонский (см. мой этюд «Поэты кружка Станкевича»). Полагаю, что было излишним повторять в примечаниях (стр. 132) то, что читатель только что прочел (стр. 116). К книге приложены снимки с писем Гончарова, Салтыкова, Помяловского, Тургенева, Некрасова, Плещеева, Островского, Достоевского. **Н. Бродский.**

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. Поэзия слова. «Эпоха». Спб. 1922. Тир. 3000. Стр. 136.

У Андрея Белого ужасно много заслуг перед русской поэзией, прозой, поэтикой, эстетикой... ужасно много. Благодаря этому обстоятельству, теперь никак нельзя выбрать подходящий стиль, чтобы говорить о том, что он сейчас пишет. Правда, он никогда не «писал»,— он «глаголал» и, по совести, создавалось впечатление довольно величественных глаголов... а теперь—какая грусть немощь и бессилие. До какой имажинизменной тупости надобно дойти, чтобы писать: «Душа возлежит в саркофаге из тела, как мумия, оглашающая ночь квадратного мрака речением текстов». Ведь это же авто-пародия! Или: «созерцание потухшего органа (селезенки, желудка) дает все иллюзии ясновидений»,—согласитесь, что никакой самый ядовитый пасквилянт не выдумал бы фразы нелепей: здоров ли автор? На какого читателя рассчитана эта «Эзотерика», где, в каком Вузе проходится курс созерцания потухшей селезенки? В конце-концов, это даже начинает малость беспокоить,—а что как у меня тоже потухшая селезенка,— не случится ли и со мною того же казуса, что с Белым: возлягу в саркофаге и в квадратуре мрака буду созерцать мою потухшую селезенку, каковая «пирамидой выперта в меня» (стр. 32). Не поймешь и не рассудишь: за какой надобностью существует этот стиль, что за него три ак-пайка, что ли, дают, или что? Какая писателю радость ораторствовать с грязной тряпкой во рту и очами устремленными на потухшую селезенку перед немеющей от изумления аудиторией: не лучше ли уж просто стать кверху ногами и закукарекать? По крайней мере, тогда бы нечему было удивляться и не над чем голову ломать.

Книжку Белого тяжело и противно читать. Чуть не на каждой странице лезет на вас эта протухшая или потухшая селезенка, каждая строчка куда-то там вбок подмигивает, что где-то есть нечто «сокровенное», «наше», никому неведомое,—и узнав это, читатель свихивает челюсти от зевоты: опять антропософия, опять все та же рафи-

нированная распутиновщина? Конечно, оно соблазнительно,—пока вы там, хамы и жиды, занимаетесь русским рублем и царскими долгами, сем-ка я займусь эзотерикой. Скучно, глупо и грязно,—сейчас любой нэпман с черной биржи нам дороже, чем трупы писателей в роде Белого,—нэпман, по крайней мере, хоть налоги платит.

В книжке три статьи: первая малюсенькая о Пушкине, Тютчеве и Баратынском, наиболее интересная, вторая, скучнейшая и с нравоучениями, о Вяч. Иванове (тоже трупик в роде Белого) и третья, мало осмысленная, о Блоке (опять Блок! в который раз?).

Первая статейка ставит себе очень интересную задачу: путем подсчетов эпитетов выяснить отношение к природе у Пушкина, Тютчева и Баратынского. Материал этот у Белого давно был (примерно, в 1916), но все в статейке скомкано, смято, даны только выводы, подсчетов нет, а выводы столь просты, что их можно было сделать и без всякой статистики. Но во всяком случае, несмотря на немыслимый язык, в статье любопытен тот небольшой фактический материал, который она дает.

Длинная история о Вяч. Иванове со всеми сортами мистико-лирических отступлений имеет своим сюжетом злоехидное указание—нигде, впрочем, а-лэтр не высказанное, что несчастный сей Вяч. Иванов из одного душевного мрака («темнотного - становления», чувства хаоса), в конце-концов, попал в другой—во мрак догматики, сие трагично и огорчительно. Случилось все потому, что у Вяч. Иванова не было мистического «пути», то-есть он не был антропософом. Сказка про белого бычка,—коротенькая, но отвратительная.

Про Блока Белый, повидимому, писать уже больше не может, он и так о нем листов печатных сорок сочинил. Смысл последнего предлежащего сочиненья в доказательстве положения, что Блок—национальный поэт, а национальность его выражается в том, что Блокова «двойственность отзывается утонченным хлыстовством, некоей тайной, тонкой мистической *прелестью*» (слово «прелесть» здесь не от «прелестный», а от «прельщать» в смысле «совращать»—«прелесть бесовская»). Одним словом, вся Россия—сплошное хлыстовское верчение и шаманские судороги. Эта Россия сейчас, как известно, доживает свои ветхие деньки в берлинской богадельне и спорит о том, кто будет императором всероссийским, — царство ей небесное, земля пухом и вечный покой!

Сергей Бобров.

SERTUM BIBLIOLOGICUM в честь президента Русск. Библиолог. Общ. проф. А. И. Малеина. Петербург. Государств. Изд. 1922 г. in 4°. Стр. XXXII+374+4 табл.

Названный сборник, изданный по поводу исполнившегося тридцатилетия научно-литературной и библиографической деятельности президента Русского Библиологического Общества, проф. А. И. Малеина, очень богат по своему содержанию и представляет интерес не только для библиографа и книговеда, но и для историка литературы и историка культуры.

Как и естественно ожидать от юбилейного издания, в нем находим прежде всего краткий биографический очерк юбиляра и список его трудов, которых насчитывается 257 номеров. Далее отметим статью Н. М. Лисовского «Книговедение, его предмет и задачи», представляющую собой вступительную лекцию по книговедению, читанную им в Московском университете.

Статья С. А. Венгерова «Наша задача», предназначавшаяся им для реформированной «Книжной Летописи», помимо общих замечаний о важности библиографии кратко касается вопроса о систематической библиографии. Затем автор говорит несколько слов о попытке создать то, что он предлагает назвать критической библиографией, под которой он подразумевает нечто в роде рекомендательного каталога. С. А. Венгеров полагает, что «рядом с критическим отделом, назначенным для книг более или менее выдающихся, должна быть создана для всякой новой книги какая-нибудь, хотя бы и беглая классификация». Он приводит такой пример. «На книгах научного содержания на заглавном листе довольно часто обозначается

звание и социальное положение автора: профессор, учитель, секретарь такого-то ученого общества, секретарь статистического комитета и т. д. Это уже очень важно и ценно для возбуждения интереса к книге. На заглавиях же книг беллетристического и публицистического содержания дается только одно имя автора. И вот, если к этому прибавить: известный романист, сотрудник «Вестника Европы», поэт-модернист, марксист, народник,—то получается вполне объективная характеристика, дающая ту руководящую нить, которая создает желание посмотреть данную книгу. Чтобы дать такую беглую характеристику, нет надобности изучать книгу, а достаточно прочитать предисловие, посмотреть главление, иногда перелистать книгу». Но какой смысл, спросим мы, в этой беглой библиографии? Какая польза в том, что на заглавном листе будет сказано: профессор такой-то, или поэт-модернист, марксист и т. п.? Разве это гарантирует читателя от плохой книги? Само собою разумеется, что нет, и следовательно, такого рода беглая библиография никому не нужна. Можно давать очень краткие, очень сжатые отзывы о той или другой книге, но необходимо, чтобы они содержали в себе, по выражению самого же С. А. Венгерова, «очень густую квалификацию». А такой квалификации нельзя дать без изучения книги.

Кроме этих, так сказать, теоретических статей по библиографии, в сборнике находим библиографическое описание журнала Анастасевича «Улей», затем издававшегося Измайловым журнала «Российский Музеум» или «Журнал Европейских Новостей» 1815 г. и, наконец, известных «Пропилей» П. М. Леонтьева.

С историей русской книги знакомят нас статьи:

1) Н. Г. Богдановой, «Книжные богатства Строгановых в 1578 г.», которые, по верному замечанию автора, «были носителями уж известной культуры, быть-может, и достаточно высокой для той эпохи. В половине XVI в. книга не была чужда им и, повидимому, высоко ценилась».

2) Статья Л. К. Ильинского, переносящая нас в XVIII век и знакомящая с «Библиотекой Ив. Мих. Хвостова», отца печальной памяти поэта гр. Д. И. Хвостова, состав которой обычен для библиотек того времени.

Не столько с историей русской книги, сколько с историей иностранной книги на Руси знакомит нас чрезвычайно содержательная статья А. С. Полякова «Эпизод из истории гонения на книгу», статья более широкая по своему содержанию, чем гласит ее заглавие. Дело в том, что автор прежде всего сообщает данные о возникновении у нас цензуры на иностранные книги, о соединении ее с внутренней цензурой и о подчинении их обеих министерству народного просвещения, что и выразилось в известном уставе 1828 г. Уже потом автор переходит к непосредственной задаче своей статьи и рассказывает о гонениях, выпавших на долю двух правоведов, кн. Оболенского и П. Н. Глебова, занесенных в провинциальную глушь (Рязань) и провинившихся в чтении иностранных книг.

Правда, следствие не привело к их обвинению, и даже III Отделение не нашло ничего преступного в смыслах и поступках названных лиц. Далее в той же статье сообщаются данные о появившихся в Рязани карикатурах на рязанского губернатора Кожина и принадлежащих карандашу известного художника П. М. Боклевского. Снимки с карикатур даны в нашем сборнике. Об этих карикатурах вполне естественно должен был заговорить автор нашей статьи потому, что как раз одному из выше названных правоведов, кн. Оболенскому, было поручено графом Орловым, вероятно, по приказанию Дубельта, чтобы он «внушил рисовавшему приложенные при сем карикатуры помещику Боклевскому все неприличия его поступка и то, какой ответственности он мог за него подвергнуться по законам». Наконец, так как кн. Оболенский и Глебов купили навлекшие на них беду книги в книжном магазине Готье, то обращено было внимание и на торговлю иностранными книгами, и III Отделение сообщает московскому генерал-губернатору о повелении Николая I подробно осмотреть лавку и подвергнуть Готье взысканию по закону за продажу запрещенных книг. С делом

о московских книгопродавцах вообще, не только об одном Готье, и знакомит в дальнейшем статья А. С. Полякова, оправдывая тем самым данную ей выше характеристику, что по своему содержанию она шире, чем можно думать по ее заглавию.

Перейдем теперь к другого рода статьям нашего сборника, именно историко-литературного характера. Они касаются и древней литературы и литературы XVIII и XIX веков. Из первого разряда отметим небольшую статейку В. Н. Перетца. «Заметки к тексту «Слова о полку Игореве», снова начинающего привлекать к себе внимание ученых, с тою только разницею, что теперь их внимание сосредоточивается на изучении подробностей «Слова». Но здесь автор все-же ставит один очень любопытный вопрос относительно данного памятника, быть-может, общий у него с другими подобного рода памятниками, именно вопроса о значении народно-поэтических параллелей к «Слову». Автор склонен думать, «что мы, видя сходство деталей «Слова» с народной песней, можем говорить лишь о более или менее устойчивом сохранении народной песней эпической традиции XII в., а не наоборот. Вывод очень любопытный и, конечно, нуждающийся в обстоятельных исследованиях в применении не только к этому замечательному памятнику дружинной поэзии XII века.

Из писателей XVIII века в нашем сборнике фигурирует Державин, которому посвящена статья Б. И. Коплана «Переводы Г. Р. Державина из Пиндара». Первым поэтическим опытом перевода Державина из Пиндара была «Первая Пиндарова эпическая песнь этнянину Хирону, королю сиракусскому, на победу его колесницы», написанная в начале 1800 года. Перевод этот найден в собрании рукописей литературного архива Я. К. Грота, хранящемся в Пушкинском Доме, среди бумаг, относящихся к биографии Державина и работам Я. К. Грота над академическим изданием сочинений поэта. Итак, оказывается, что это издание, считающееся классическим, все же грешит пропусками. Следует кстати упомянуть, что еще в в 1917 г. Л. К. Ильинский в своей поучительной статье «Из рукописных текстов Р. Г. Державина» лишний раз подтвердил, «насколько важна каждая строчка, каждое слово рукописного наследства писателя для выяснения приемов его творчества и, в некоторых случаях, реальной основы его произведений». Таким образом, возникает вопрос, не следует ли переиздать сочинения Державина, с дополнением всего пропущенного Я. К. Гротом, или по крайней мере издать дополнительный том его сочинений, куда бы и включить все не вошедшее в академическое издание и что с теперешней научной точки зрения является ценным для характеристики поэта.

П. П. Гнедич в своей статье «Некрасов как прозаик», почти единственной на эту тему во всей юбилейной некрасовской литературе, ставит очень важный вопрос. Он высказывает упрек по адресу тех, кто говорит о Некрасове, что о последнем «воспоминают всегда, как о поэте», но никто не затрагивает вопроса об его прозе, от которой «тщательно сторонятся его последователи». Между тем, по мнению нашего автора, «Некрасов—прозаик, и основная ошибка его деятельности—выбор той формы творчества, на которой он остановился. Поместите фигуру верного холопа Якова, что повесился над телегой, где лежал его разбитый параличом барин, и вы увидите, заявляет П. П. Гнедич, какая чарующая, мрачная трагедия крепостного права развернется перед вами. В стихотворной же форме вас подавляет только сюжет, но не самая лепка образов». Но, к сожалению, для доказательства своей мысли П. П. Гнедич оперирует только двумя прозаическими вещами Некрасова, его повестью «Петербургские углы» и пьесой «Осенняя скука», оставляя в стороне и его водевили и его романы, написанные в сотрудничестве с Головачевой-Панаевой, которое, по словам нашего исследователя, будто бы было поверхностно. Но последний почему-то не отметил того факта, что «Осенняя скука» представляет собою близкую переделку одной главы из длинного романа в 8 частях «Три страны света», написанного Некрасовым как раз в сотрудничестве с Голо-

вачевой-Панаевой. Таким образом, вопрос, поставленный П. П. Гнедичем, не нашел в его статье окончательного разрешения.

В заключение отмечу статью неутомимого исследователя деятельности А. Григорьева В. С. Спиридонова «Козлов и критика пятидесятых годов», в приложении к которой он печатает нигде еще не опубликованную, но—увы!—неоконченную статью А. Григорьева о названном поэте, написанную по поводу выхода в свет сочинений И. И. Козлова в 2-х томах в издании А. Смирдина (1855 г). Другой известный работник в области изучения деятельности знаменитого критика дал любопытную статью «К истории одного перевода Антигоны». Перевод этот принадлежит А. Григорьеву, и, по словам его историка, «до переводов проф. Зелинского, был самым лучшим, наиболее близким к оригиналу своему». Известны многочисленные переводы А. Григорьева, и хотя, быть-может, многие из них сделаны ради заработка, все же они должны подлежать изучению, и статья В. Н. Княжнина кладет почин этому изучению.

Я остановился не на всех статьях нашего сборника, но и сказанного, полагаю, достаточно, чтобы оценить богатство и разносторонность содержания рецензируемого «Sertum bibliologicum».

Н. Кашин.

АНРИ ОВЕТТ. Итальянская литература. Перевод проф. С. И. Соболевского. Госиздат. Москва. 1922 г. Стр. 356.

Издательство Armand Colin в Париже выпустило в свое время серию научно-популярных историй литератур, как западно-европейских, так и некоторых восточных народов. В настоящее время Государственное Издательство издает в русских переводах некоторые из этих книжек: Истории испанской, английской, немецкой и итальянской литературы.

Это предприятие Госиздата достойно всякого приветствия. Книги эти, написанные видными специалистами в своей области, обладая и всеми достоинствами научности, в то же время являются и популярными по своему изложению. Благодаря этому они могут и служить хорошим пособием для высшей школы, и быть увлекательной книгой для чтения широких кругов. При нашей крайней бедности в подобных изданиях, успех этих книг должен считаться обеспеченным.

Книга А. Оветта: «Итальянская литература»—одна из лучших в этой серии. Она уже была издана, кажется, в 1912 г., в переводе Усовой под редакцией проф. Шишмарева, но издание это разошлось, что указывает и на интерес книги и на своевременность ее переиздания.

Автор—один из солидных знатоков итальянской литературы, чтобы дать в сравнительно небольшой книге картину всей итальянской литературы, решил «пожертвовать писателями второстепенными (лишь кратко упоминая о них в случае необходимости) и подробнее остановиться на поэтах и мыслителях наиболее известных и выдающихся, чтобы охарактеризовать особенно великие эпохи и главные течения литературного творчества, которые составляют истинную оригинальность итальянской литературы». Нельзя не согласиться с правильностью такой точки зрения на книгу, имеющую в виду не ученых специалистов, а широкий круг учащихся и просто интересующихся читателей. И особенно правилен такой прием для читателей-иностранцев.

Поставленная себе автором задача выполнена прекрасно. Характеристики крупнейших писателей и их произведений сделаны с полнотой, дающей вполне достаточное и яркое представление о трактуемых эпохах и их значении. Самое изложение всегда живо и нередко увлекательно. Все это дает право на внимание к книге со стороны многих читателей, и мы вполне уверены, что это внимание за ней обеспечено.

Перевод сделан проф. С. И. Соболевским, что является достаточной гарантией его достоинств.

И. И. Гливенко.

Проф. Н. А. ЯНЧУК. Нарысы па Гісторыи беларусске литературы. Старадавны пэрыад. Минск. 1922. Стр. 118.

Труд покойного проф. Н. А. Янчука—первый опыт систематического изложения белорусской древней литературы. Н. А. Янчук ведет начало белорусской литературы только с XV в., когда национальный белорусский элемент принял настолько отчетливое и яркое выявление, что он стал бросаться в глаза даже лицам, не изощренным в историко-литературной науке. Поэтому ранняя белорусская письменность, в которой нет резко выраженного национального элемента, не была предметом изучения проф. Янчука. Впрочем, следует заметить, что белорусская письменность до XV в. уже неоднократно была изучаема исследователями, и, как литература общерусская, вошла в обзоры древней литературы проф. М. Н. Сперанского, Петрова, акад. Истрина.

Н. А. Янчук поступил совершенно правильно, обратив свое исследовательское внимание только на новое, еще не достаточно обстоятельно и глубоко исследованное. Н. А. Янчук использовал для своих очерков все известные ему работы, но в то же время он имел полную возможность итти собственной дорогой, так как, подходя к литературному памятнику с точки зрения отражения в нем национального белорусского элемента, каждый литературный памятник представил в совсем ином освещении и толковании. Отражением белорусского национального элемента в старой письменности является язык. Поэтому к старой белорусской письменности Н. А. Янчук не только относит собственно литературные произведения, но и такие памятники, как Статуты, в которых отражается правосознание господствующего класса, с чем приходится согласиться. Н. А. Янчук исследовал письменность белорусского возрождения, которое им недостаточно глубоко понято. Н. А. Янчук мало оттеняет городской характер белорусского культурного национального движения. Последнее очень важно для правильной оценки его сущности. Свое изложение Н. А. Янчук довел до конца XVI в. Здесь застала его смерть.

В. Пичета.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. А. БЕЛЫЙ. После разлуки. *К. Локс.*—**2. О. МАНДЕЛЬШТАМ. Tristia.** *С. Бобров.* **3. «Красноармейская поэзия».** *Н. Асеев.*—**4. I. «Новый чтец-декламатор». 2. «Революционный чтец-декламатор».** *Н. Асеев.*—**5. Г. АЛЕКСЕЕВ. Мертвый бег.** *Н. Мещеряков.*—**6. М. ШАГИНЯН. Своя судьба.** *В. Полянский.*—**7. Н. ТЕМНЫЙ. Собачья доля.** *В. Полянский.*—**8. И. ЭРЕНБУРГ. Жизнь и гибель Николая Курбова.** *К. Локс.*—**9. А. ЯКОВЛЕВ. Повольники.** *И. Кубиков.*—**10. А. ЯКОВЛЕВ. Повольники.** *Ю. Добранов.*—**11. И. ШМЕЛЕВ. Служители правды.** *Ю. Соболев.*—**12. Проф. Г. ГЕНКЕЛЬ. Геммы и Камеи.** *И. Аксенов.*—**13. М. Н. ВОЛЧАНЕЦКИЙ. Уот Тайлер.** *В. Вольвенштейн.*—**14. РОМЭН РОЛЛАН. Пьер и Люс.** *С. Бобров.*—**15. О. ГЕНРИ. Рассказы.** *С. Бобров.*—**16. З. ПРЕЦАНГ. Чорт в избирательной урне.** *Н. Лебедев.* **К. РЮБЕЦАЛЬ. Приключения асессора Штейдига.**—**17. А. ДОМАНТОВИЧ. Женщина на переломе.** *Е. Херсонская.*

АНДРЕИ БЕЛЫЙ. После разлуки. Берлинский песенник. Из-во «Эпоха». Петербург—Берлин. 1923 г. Стр. 122.

Книге предпослано теоретическое введение—одна из очередных «новостей» по теории стиха. Говоря кратко и сжато, суть ее сводится к «отстранению» ритма, метра и образа, вместо чего утверждается «мелодизм».—«Мы развили образ стиха, звук, рифму, строчку, строфу в ущерб мелодии, подчинявшую эти отдельности стиха себе... Простое слово из стиха изгнано, нет простых песенок... Про-

возглашая мелодизм... я намеренно в предлагаемых мелодичных опытах подчеркиваю право простых совсем слов быть словами поэзии». Быть-может, в свое время все эти положения вызовут соответствующую критику, пока же, изложенные на нескольких страничках, они просто «провозглашают» довольно старую новость, о которой еще говорил Верлен. Впрочем, имя Верлена мы вспомнили, кажется, не с подобающим пиететом, ибо А. Белый обосновывает мелодию прежде всего знаками препинания и соответствующей расстановкой слов на бумаге. Так, любой счет из магазина может приобрести соответствующую мелодию, но будет ли это мелодия стиха, позволительно сомневаться. Собственно, подобные опыты автор начал довольно давно, удачно осуществив тот странный вид литературы, который не принадлежит ни прозе, ни поэзии.

Результат этого мог быть только один—утрата того простого смысла и значения слов, к которому по вполне понятным причинам хочется вернуться. «Песенник» написан как будто простыми словами, но почему-то в своем сочетании они приводят к поразительной безвкусице—«Перламутровые пни; и—перламутрами унизанные, розовые крылья коромысла». Здесь и знаки препинания не помогают делу. Что это сочетание слов достаточно бессмысленно—не нужно доказывать; что это и не мелодия и не стихи—тоже не нуждается в доказательствах. Остальное иногда немного лучше, иногда немного хуже, по существу же в качестве стихов никуда не годится..

Об этом, вероятно, подозревал и сам автор, предупредительно заявивший в самом начале предисловия—«эта маленькая тетрадь—поиски формы; и я не придаю ей никакого значения». Если это так, то ее нужно было оставить в письменном столе и не смущать читателей новой теорией, столь плохо доказанной на опыте.

Духовные источники, из которых выбилась и теория и «песенник» тоже не обещают ничего хорошего,—«все давно ушло во тьму, потому что все равно: не знаю или знаю... потому что мне скучно везде». О таких настроениях лучше бы помолчать,—от этого выиграют и поэзия и читатели.

К. Локс.

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. Tristia. К-во «Петрополис». Петербург—Берлин. Печатано в Берлине. Тираж 3000. Стр. 80. Обложка М. В. Добужинского. Моск. продажн. цена 50 к. зол.

«Акмеизм», когда-то изобретенный Гумилевым и Городецким, нечем особенно радостно помянуть; его крайне расплывчатая программа, куда входили такие разные по смыслу своего творчества учителя, как Ф. Вийон и Т. Готье, и призывы к «первобытному Адаму» в том смысле, который придавался «первобытности» символистами (чуть ли не от Ницше шло это навождение), оказалась, в конце-концов, лишь опорным пунктом для нападок на разлагавшийся уже символизм. Последний ко времени изобретения «акмэ» доехал до Каббалы, Папюса, Раймонда Люлля, Р. Штейнера, где и опочил: искусством считалось в позднее символизма время заниматься зазорно; символизм, который был в начале своей карьеры декларацией прав на искусства и прав искусства, пришел к отрицанию именно искусства: Вяч. Иванов творил мифы, Белый перекладывал на стихи и прозоподобный гексаметр «прозрения» знаменитого антропософа Штейнера, вмешивая в это «шарлатаны всех стран, соединяйтесь» еще душок русского сектантства, хлыстовство—эту неизобразимую кашу российской темноты, «взыскующей града», где не драли бы трех шкур, с отдаленными отголосками «учения», Нордемана и Кульмана, слабых подражателей полуграмотного подражателя отцам церкви, Якова Беме... Эллис переводил средневековые гимны. Акмеизм был естественной реакцией на все это, повторной репризой декларации прав поэзии. Но судьба его была уже иная: общество было приучено к декларативной стороне искусства, не было упора, не с кем было сражаться: за отсутствием прямых врагов акмеизм не мог вырасти в борьбе с

ними, и остался некоторым продолжателем, эпигоном, коли хотите—символистов. Городецкий вырос на стихе Вяч. Иванова, но не мог быть с ним и в некоторой доле сравниваем по мастерству. Гумилев—отличный ученик Брюсова, уединился в экзотику, был значительно уже Брюсова, он расходовал свои недюжинные способности на очень забавные вещи, но не более того. Акмеизму недоставало талантов. Теперь вся эта история окончена. Еще остались в Питере разные Адамовичи и Г. Ивановы, тщащиеся писать, по старой традиции—гладенькие стишки: так было принято до войны, чтобы человек с пробором и лаковыми ботинками умел еще и рифмовать Скамандр с Александром (Македонским, разумеется), но это уж последыши последышей, глубочайший декаданс символизма. Итак, все кончено. Но остался от всего этого Мандельштам.

Пишет он мало и скупо. Начал он с необыкновенной высокоторжественности. Давно уж так высоко не залетала поэтская чернильница, как у Мандельштама. Его Олимп с успехом мог бы сойти за полный каталог греческой фантазии. Все это излагалось с «бесстрастием», заповеданным Брюсовым («всему будь холодный свидетель... Быть-может, все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов»... и пр.) и Готье, который был твердо уверен, что существование нумизматики — неопровержимое доказательство вечности искусства. Стих Мандельштама всего ближе подходил к Вяч. Иванову и Брюсову. Скукой веяло от этой цезурованной непогрешимости небывалой в анналах российского рифмоплетства. Мандельштам достиг своего рода совершенства,—он ухитрялся писать стихи ни о чем, просто подбирать слова в том порядке, который был приятен при символистах, совершенно не беспокоясь, чтобы этот склад захватанных выражений что-нибудь значил. Символисты утеряли—или не смогли найти—пушкинскую строфу, которая бежит к читателю, как добрый ручей, они не только склеивали катрэн из двух полустиший, часто друг к другу никакого касательства не имевших, кроме рифм, но даже печатали катрэны, разбивая их на полустишия (см. у Блока, напр., в «Снежной Маске»), Мандельштам перемудрил и это: у него каждая строка катрэна ничего ровно общего не имела ни с предыдущей, ни с последующей, получалась эдакая станца строки. Склад его стихов нарочито был приближен к речевой простоте,—но не того живого говорка, который восхищает у Раблэ, Гофмана, Толстого, а какой-то снобистской болтовни, ленивой и лишенной всякого смысла. Говор сей еще снабжался по возможности старинными оборотами — в стиле поздне-пушкинского времени, а вместилищем сему вдруг служил сонетный пяти-ямб в тоне М. Волошина: От французских парнасцев, похоже, что от Эредиа больше, нежели от других, пришла тематика, руководствовавшаяся в воплощении темы одним антуражем происшествия, пышностью деталей и самой роскошной бессмыслицей. Похоже, что русская Муза, наскучив своими неистовыми любовниками, завела себе полиссуар для маникюра, а на обязанности Мандельштама было каждый день проветривать это сокровище. Он это проделывал с гиератическим величием. Он понимал, что, утеряй он это величие, и все старание его станет таким анекдотом, что департаментский сторож Михей унесется превыше его сверх-чернильницы.

Но Мандельштам, идя по этой очень скользкой дорожке славы, инстинктивно и по серьезному влекся к живым местам в лирике Вяч. Иванова и к собиранию забытого наследства пушкинских поэтов (Баратынского, сдается, в особенности), он использовал также, полагаем, и мало-заметных на общем фоне символизма М. Волошина и Ю. Балтрушайтиса,—и, как это не невероятно, но некоторые вещи в его книге «Камень» чем-то трогали. За бессмыслицей всего вышезарифмованного, все-таки просвечивала какая-то поэтическая правда. Она была почти что удавлена всеми этими полиссуарами, румянами, географией, мифологией, ботаникой, дессу богинь, жестикуляцией прямо от Фамиры-Кифареда, солнечным ликом поэта и землетрясением его аполлинийской поступи,—но она упрямо заявляла о своем существовании, через весь этот

брик-а-брак. Затем вышли большие неприятности с полированными юношами, центр российского олимпизма переехал в Ростов-на-Дону (фи! какой-то Ростов после Невского). Муза снесла полисуар в магазин древностей и выручила за него на полтора фунта картошки, поплакала, уплотнилась и села за входящий журнал в главном комитете по изобретению буквопечатающего телескопа во всероссийском плановом масштабе. У нее сильно испортился после этого характер, а Мандельштам стал позабывать греческих утонченников, спор которых так акмеистично описан К. Прутковым. И эта новая книжка, написанная почти вся за время революции, показывает совершенно другого поэта. Откуда взялся у Мандельштама этот очаровывающий свежестью голос:

Еще одно мгновенье,
И я скажу тебе:
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный, в смятеньи,
Вишневый нежный рот.
Вернись ко мне скорее:
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя...

Откуда эта настоященская, с улицы, с холодком, с трамвайным билетиком простота. Откуда вот эта горячность, страсть, эта чуточку болезненная, но живая грусть, откуда сквозит эта свежесть:

Где милая Троя, где царский, где
девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным
дождем,
И стрелы другие растут на земле,
как орешник.
Последней звезды безболезненно
гаснет укол,
И серою ласточкой утро в окно
постучится,
И медленный день, как в соломе
проснувшийся вол
На стогнах шершавых от долгого сна
шевелится.

А смотрите, какой у него прекрасный Тифлис:

Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарий стон звенит,
На мосту народ толпится,
Вся ковровая столица,
А внизу Кура шумит...
...Кахетинское густое
Хорошо в подвале пить,
Там в прохладе, там в покое
Пейте вдоволь, пейте двое:
Одному не надо пить...

Какой прекрасный юмор в этом кахетинском дуэте и совете истинно потифлисски: «одному не надо пить». Ему вообще отлично удаются ямбы короткостопные («Уничтожает пламень»...) и хореи. В последних Мандельштам прямо бесподобен:

Кучера измаялись от крика,
И кромешна ночи тьма,
Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас студеная зима...

Это стихотворение было недавно напечатано в «Красной Нови», а здесь подверглось некоторой переработке, в сторону большей акмеизации, но не стало хуже.

Конечно, конечно, конечно: мы хотим большего. Нам нехватает Пушкина в нашу эпоху, прямо до боли нехватает, до слез:—где он? Дайте мне такого, чтобы из него поэзия плыла сама собой, как свет небесный... Но не будем несправедливы к нашему самому прозаическому и самому поэтическому времени из всех мыслимых времен. Мы все-таки вот слышим — и все чаще—через все, через все трудности и тяжести нашего времени: этот чистый голос,— ведь это поэзия, вот то, что Мандельштам пишет.

Ему много помог Пастернак, он его как-то по-своему принял, хитро иногда его пастичирует и перефразирует. Он до сей поры перелагает еще Вяч. Иванова («Что поют часы-кузнечик—Лихорадка шелестит»... и у Вяч. Иванова: «Ключ рокочет, лепеча»... и т. д.), он переживает большие трудности со своим очень актуальным эклектизмом, старое, питерское еще дает себя знать стремлением в словах, в роде «предста-

тельствуют» (откуда этот антик?). Но у Мандельштама часто сами пороки стиля становятся приемами и методикой: его смешение стилей, самое другой раз беззаботное; может-быть, именно от этой беззаботности-то и простительное, дает неожиданно приятные результаты:

Собиралися эллины войною
На прелестный остров Саламин...

Разумеется это стилистический нонсенс: собираться войною на прелестный остров, и первая строка в сказочно-эпическом стиле не вяжется со второй, и во второй не веришь, что эллин думал о Саламине с таким девическим эпитетом, а вот все вместе как-то приемлется и живо. Получается не Мальбрук и не Саламин,—а приятный Мандельштам. Пожелаем ему на прощанье совсем позабыть про петербургские прекрасные манеры и акмеизма хладные брега.

Сергей Бобров.

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ. Под редакцией Геннадия Коренева. Из-во «Московский Рабочий». М. 1923 г. Стр. 127+IV.

В предисловии к этому сборнику стихов красноармейцев редактор его Г. Коренев отмечает якобы имеющуюся налицо примитивность формы, а иногда и безграмотность творчества участвующих в сборнике авторов. Последняя, очевидно, подверглась исправлению со стороны редакции, а относительно простоты, мы должны сказать, что, к сожалению, ее в сборнике очень мало. Нельзя называть простотой формы трафарет, по которому написаны стихотворения некоторых из участников, подгонявших свои мысли под воспоминания читанных ими когда-то стихов. Большинство же участников не только явно знакомо со стихосложением, но и натерло на нем мозоли. Это мы и считаем главным недостатком сборника, собранного, очевидно, именно по признаку «грамотности» и знакомства с версификацией.

А между тем, здесь, оговоренная составителем простота и непосредственность, была бы единственной целью, оправдывающей издание. Какая же простота, например, у В. Свирельца, пишущего «Славу III Интернационалу» в форме... газеллы? Для этого нужно и с Кузьминым и Вяч. Ивановым быть знакомым, по крайней мере. Или Х. Фейман, перекладывающий тему о красном солдате на северянинский мотив. Или Пипик и А. Ю., пишущие свободным стихом. Конечно, это все грамотные люди, читающие и любящие стихи, но отражение ими красноармейского творчества—задача неблагодарная. Это—явные интеллигенты, представленные процентно в красноармейской массе, ничтожно и не характерно для нее. Гораздо ценнее и свежее именно та непосредственность, которой овеяны бесхитростные строки Н. Волосевича или Дикаго. Настоящим поэтом нам кажется С. Гуля. Отмечаем также частушки А. Макарова. В общем неясна цель сборника: издан ли он для библиотек красноармейцев,—тогда в нем недостаточно выпукло обрисованы и идеологические и бытовые интересы красноармейских масс; если же сборник показательный, что мы и имеем в виду, то очевидна неполнота его со стороны задания: подбора и демонстрирования именно тех, хотя бы «безграмотных», но непосредственных и живых творческих опытов, которыми так богат всякий массовый, коллективный быт. Тем не менее, как первый опыт, сборник заслуживает внимания, и самая тенденция издания таких сборников может дать исключительно интересные результаты. Книжка издана тщательно и опрятно.

Ник. Асеев.

НОВЫЙ ЧТЕЦ-ДЕКЛАМАТОР. Под редакцией И. В. Владиславлева. «Библиотека молодой России». Из-во «Книга». Москва. 1923. Стр. 159.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЧТЕЦ-ДЕКЛАМАТОР. Том I. Государственное Из-во Украины У. С. С. Р. 1923. Стр. 372. Сост. Л. Н. Войтоловский.

За последние месяцы на книжном рынке появилось множество всевозможных сборников типа «чтецов-деклама-

торов», пытающихся представить современную поэзию под всевозможными уклонами: революционности, новизны, этнографичности и т. п. Мы не сомневаемся в добрых намерениях их составителей, но результаты в большинстве случаев получаются не оправдывающие затраченной энергии. Вся беда в том, что редакция таких сборников почти всегда опирается на личные вкусы и привычки составителя, о которых спорить не принято. Что сказать, напр., о таком «новом» сборнике стихов, в котором большая половина отведена: Плещееву, Никитину, Фофанову, Мельшину, Тютчеву, Фету, А. Толстому, Губеру, Венедиктову, Полонскому, Жемчужникову, Шиллеру, Байрону и другим, не менее почтенным, но в смысле новизны далеко не точно охарактеризованных составителем «Нового чтеца-декламатора» автором. В качестве «новых» фигурируют Амари, Мережковский, Минский, Скиталец, Куприн. Усиленно натисканы символисты, слабо представлены пролетарские поэты, совершенно отсутствуют почти поэты последнего десятилетия. Судя по сборнику, можно подумать, что Маяковский написал один только «Левый марш». Зато усиленно рекламированы никому неведомые Гессены, Кичеевы, Гожанские-Слуцины...

«Вкус» составителя налицо, но «новизны» ни в нем, ни в сборнике не ощущается. Умилительны заглавия отделов: «Солнечный путь», «Юности светлой», «Печаль зимы», «Тени прошлого». Штамповано в «еженедельных приложениях к Ниве», да так и осталось за недостатком времени. Но тогда зачем же не за свое дело браться? А ведь в том же издательстве («Книга») объявлены—и «Библиотека молодой России», и «Избранные страницы детской литературы». Так значит «марксистко»-нивское наследство и получай из рук в руки. Издан «Новый чтец» с достаточно аляповатыми претензиями на «солидность», чтобы его не заметить на книжной витрине.

Сборник «Революционная поэзия»—гораздо объемистей, систематичней и современней. Но... опять составитель—Л. Н. Войтоловский,—наверно очень почтенный и работоспособный человек, вложивший чересчур много личного вкуса в работу над «Сборником». Он, не в пример И. В. Владиславлеву, добросовестно просмотрел почти всю современную поэзию, не перепечатывая механически из прежних декламаторов 90%; он искренне хотел не пропустить ничего ценного, характеризующего поэзию революции. и — в стремлении своем... «восполнил» современную поэзию столь долго жданными именами: П. Холодковского-Цыбульского, К. Митрина, А. Гуцевича, С. Заревого, и еще доброй дюжиной отныне незабываемых фамилий. Но, может-быть, Гуцевич несет миру действительно новую революционную песню? Может-быть, марсельеза вновь выплеснула свои огненные слова? Читаем:

... Бунтуя шумом жизни новой,
В стальной (!) одетый изумруд (?)

Нет, это как-будто на музыку не положишь!

Но дальше:

Надвинув дымную корону
На острия фабричных труб,
Кидает крик подобный стону,
Сверкая сталью черных губ.

Не дело это революционного поэта надвигать на фабричные трубы короны, хотя бы и «дымные».

Но еще дальше:

... «город мощный, город властный»

Дальше как будто бы помнится идет строка: «Ты вместил в свои концы»? Но Ал. Гуцевича на мякине не проведешь; он сразу свернет на «путеводную звезду», заметив во-время грозящую опасность.

Нет, Ал. Гуцевич и в Марсели не прославился бы! Взяли мы Гуцевича на-удачу. Никакой особой антипатии к нему не чувствуем. Но все-таки: почему, почему такая симпатия к нему у составителя? Вот проклятейший из вопросов «революционной, современной — и всякой другой, свежестью типографской краски пахнущей, «поэзии». Это глубокая и, надо надеяться, несокрушимая тайна редакций.

Помимо этого, издана «Революционная поэзия» старательно и, конечно, не может быть сравнима с «Новым чтецом»,

ывляющимся, как мы уже отметили, простой переверсткой бывших в продаже прежде бесхитростных «декламаторов», издававшихся специально для чувствительных перезрелых девиц и бритокосматых шпингалетов, обивающих пороги всевозможных театральных студий.

Из «двух зол», здесь, вопреки присловью, конечно, следует выбирать большее (по объему). Если уж случится крайняя нужда выбора. Без нее же рекомендуется просто обращаться к интересующим читателя книжкам поэтов.

Нин. Асеев.

ГЛЕБ АЛЕКСЕЕВ. Мертвый бег. Повесть зарубежных лет. Книгоиздательство писателей в Берлине. 1923 г. Стр. 93.

Небольшая «повесть» Глеба Алексеева представляет рассказ о жизни современных русских эмигрантов-белогвардейцев в Германии. Главным образом, рисуются картинки жизни в одном из концентрационных лагерей, близ Берлина. Автор, повидимому, очень хорошо знает эту жизнь. Герои повести—главным образом офицеры бывших белогвардейских армий и их жены.

Вот, например, чета Татариновых. Работа мужа состоит в том, что он собирал сливы в баронском саду. Ходил версты за четыре, возвращался к ночи и тотчас укладывался спать, а жена его целыми днями вышивает мережки, слепнет над тонким, кропотливым шитьем. «В бараках лагеря выпиливали лобзиками деревянные игрушки, вышивали скатерти и салфетки или тонкое дамское белье, упруго шуршавшее в руках; иногда женщина, прокладывая мережку по креп-де-шину, воспоминала, что когда-то и она носила такие рубашки. Полковники и генералы, неспособные к физическому труду, набивали на своих «фабриках» папиросы, конкурировали друг с другом ценой; счастливицы уезжали утром на кинематографические съемки, мечтали пробиться в дивы, но режиссеры «орали на них, как на скот» и «им нужны были любовницы, а не артистки». Приезжая в лагерь с последним поездом из Берлина, увядшие, с остатками грима на зажелтевших лицах,—женщины возмущались вслух, а про себя надеялись: «от этого ведь меня не убудет».

Некоторые уезжают в другие города и страны искать работу. Но трагизм этих эмигрантов состоит в том, что они ничего не умеют делать. Предшествующая жизнь приучила их не к работе, а к тому, чтобы на них работали другие. Поэтому в поисках работы они хватаются за что попало.

Вот два бывших офицера переносят контрабандой через границу в Голландию кокаин. Часовой их подстреливает. Вот офицер-летчик уезжает на кинематографическую съемку в Свинемюнде. Спать ему приходится на пристани, рядом с клетками львов и гиэн, «и запах от них идет кислый». Другие там же «спали в клетке самки-львицы, пересаженной в клетку льва; в клетке пахло одуряющим запахом мочи; этим запахом пропахли одежды статистов, их вещи, они сами. Сырников утверждал, что от одного этого запаха можно запить горькую». «Иных бросало в Голландию, Данию, Испанию, и там в невероятных костюмах не то испанских торреадоров, не то нормандских рыцарей, плясали они в присядку, пели «Лучинушку» или «Во лузях», служа тем великому русскому искусству». К осени они возвращались в свой лагерь «к синему упрямому дыму сосновых шишек, к грибам, к холоду и к надеждам, что вот только перезимовать, и с весны все как-то устроится. Из странствий своих они выносили разочарование в народах, у которых им приходилось побывать, все больше убеждались в том, что «на Западе зари не бывает, и с Запада зари ты не жди», застегивались на зиму в своих каморках — упрямые, разочарованные, злые». И в этой проклятой жизни они все еще мечтают, что вернется старое, вернут им их имения, и они снова в состоянии будут ездить в Крым, ходить в Художественный театр и т. п. Но в глубине души они уже сами в это не верят.

Живется в лагере скверно. «Задыхались дети в коклюше, кашель и стон колотились по ночам, на заводах начи-

нались несчастия и безработица, с летних заработков и побывок—разочарованные—возвращались летние пташки». «Запрятались люди по своим каморкам Беда и несчастия стучались в окна вместе с дождем. Демонами стояли вокруг лагеря, каждый его шаг в неистовстве истребления стерегли. И под взглядами демонов с покорством отчаяния смирялись люди».

«Так шла жизнь, без начала и конца, увязшая в чужую, разбухшую в мокропогодь колею, ненужная и нелепая, но сил выбиться из колеи не было, и все глубже загрязали в ней люди и отдавались ей».

А вырваться из этой жизни всем очень хочется. «Нет, вырваться, вырваться во что бы то ни стало», думает бывший полковник Петунников. «Она засасывала эта нищенская жизнь на грибах: третий год весь лагерь питался грибами, случайным заработком на заводе или «табачными фабриками» в надежде, что кто-то одумается, кому-то еще понадобится восстанавливать Россию, и тогда о них и о нем, старом пехотном полковнике, вспомнят. Вырваться, но как? Что он еще знает, кроме командования батальоном».

Чтобы вырваться в Россию, нужно признать ее новую жизнь, стать участником, строителем этой новой жизни. У некоторых хватает на это силы; у большинства же ее нет.

«Когда я думаю о том, что случилось с нами,—говорит некая Татьяна Егоровна,—смотрю на наши бараки, на бедность, на нашу жизнь, мне все кажется, что вот по спокойному морю плыл большой корабль, и вдруг поднялась буря, мы с вами упали в воду, и волной нас с вами выбросило на необитаемый остров. А пароход с уцелевшими людьми ушел дальше, все высадились на берегу и построили новый город, написали новые законы и стали по-новому жить. А потом пришли мы с вами, старые, с трясущимися головами, и попросили пустить нас жить. Люди не узнали нас, но пустили из жалости. И тогда увидели мы, что не понимают они нас и наших мыслей, что молятся своим новым богам, каких мы не знали прежде, какие пришли, пока мы жили на необитаемом острове... Как тогда поступить? Без нас, но строится ведь там какая-то жизнь. За восем лет войны и революции поднялось восемь поколений. Какие они? Они прошли мимо нас с вами. Поймут ли они нас, когда мы вернемся?»

Новая революционная Россия чужда этим людям. К европейской жизни они тоже пристроиться не могут. Отсюда сознание полной ненужности, никчемности, духовной смерти. Вот, например, бывший помещик Скворцов «понял вдруг, что из этой жизни (лагерь) ему не уйти, что круг ее замкнут, и мертв в нем бег человека». Вот некий Кузнецов, который целыми днями сидит около помойки. «Взгляд оловянный, веки опухли... Копошится ли какая-нибудь мысль под нахлабученным на самые уши картузом, да и надо ли, чтобы она копошилась?.. Человек помирился со всем накрепко. Сечет в лицо дождь, голод и болезни сторожат лагерь кругом, и каждый шаг в нем мертв, и каждая мысль бесплодна—неподвижен и каменен его лик. Большие отворенные глаза мертво смотрят в пустоту, сами изошедшие из пустоты...»

«Умер ты, умер, умер»... твердит мысль Скворцова. Едет он в Берлин в купе вместе с другими эмигрантами, и ему кажется, «что купе—набитый мертвецами гроб, братская могила; в сизое это утро мертвецы приподнялись в ней от скуки и медленный завели разговор».

«Разве бывают воскресения из мертвых?» спрашивает Татьяна Егоровна.

Эмигранты заживо гниют, разлагаются. Татьяна Егоровна становится проституткой. В лагере все шпионят друг за другом, пишут доносы. «Вошел в жизнь лагеря новый дух—недоумения и раскола, разводил - разводил потихоньку людей на два стана, и с опаской стали шушукаться за перегородкой из одеял, а мысли запрятали поглубже—на самое дно обиженных, тоскующих душ, в ночь, когда хлопает она крыльями ветра по облупленным, запотелым рамам, свистит в похолодевших печах, таит в себе многое. Многое таит в себе чужая ночь под чужим негреющим небом».

Такова картина разложения и распада—физического и морального — русской белогвардейской эмиграции.

Картина нарисована талантливо и человеком, знающим дело. Автор любит изображаемых им лиц; он старательно отыскивает в них человеческие черты. Но от этого картина становится еще более убийственной.

Н. Мещеряков.

МАРИЭТТА ШАГИНЯН. Своя судьба. Роман. Издательство Френкеля. Москва—Петербург. 1923 г. Стр. 214.

Роман М. Шагинян закончен в 1916 году, и первые его главы были напечатаны в свое время в органе правой либеральной мысли, в «Вестнике Европы». Судя по отдельным замечаниям последних глав, можно догадаться, что действие происходит во время империалистической войны, но современность—хотя бы и не последние годы—совершенно отсутствует в произведении. Автор ставит и развертывает свою тему вне пространства и времени, совершенно абстрактно, так что современность ему не нужна ни в качестве материала для обоснования темы, ни в качестве материала для фабулы романа, ни даже в качестве общественного фона, на котором разыгрывается трагическая «своя судьба» того или другого действующего лица. Это делает роман, не в меру затянувшийся, скучным, особенно в наши революционные дни.

Содержание романа таково.

Молодой человек Сергей Иванович Батюшков, только что окончивший курс, без опыта и практики, получает место старшего помощника в санатории профессора Ферстера, выдающегося психопатолога. На пути в санаторий, на Кавказ, он сталкивается с будущим пациентом Павлом Петровичем Ястребцевым, доцентом экспериментальной психологии.

Роман написан по довольно старому шаблону, и поэтому длинную дорогу на лошадях, да еще с ночовкой, автор использовал, по старому обычаю, для знакомства читателя с Батюшковым, Ястребцовым и фельдшером санатория Семеновым.

Фельдшер, как полагалось ему по чину старого времени, безгласен и только может отвечать: «точно так»; Батюшков, как врачеватель человеческих душ, серьезен, наблюдателен, обо всем судит с точки зрения теории; Ястребцов больной; конечно, со странностями, замкнут, временами словоохотлив. Занимаясь у Бинэ, он пришел к убеждению, что душа, Психея, у всех людей одинакова, она neutrum, подобно электричеству, пару, радию и т. п. Этот человек находится во власти первого импульса. Он чувствует, что может избить старуху, ограбить нотариуса, изнасиловать девочку, даже помимо своего хотения. Первый импульс решает дело, направляя человеческую волю.

Во время пребывания в санатории, Ястребцов, помимо своей воли, играет довольно странную и печальную роль. По определению Батюшкова, «Ястребцов в каждом усугубляет его индивидуальный соблазн»; он довел до самоубийства гравера Лапушкина, обострил до последних пределов истерическую бессмысленную ревность артистки Эллиасштам и, наконец, сам задумал застрелиться, но не смог сделать этого сам, а вернее, до этого не допустил его автор. Ему нужно было, чтобы Ястребцов совершил еще один тяжелый акт. По доносу идет ревизия санатория. Ревизор - проходимец, бывший врач санатория, сводя личные счеты с профессором Ферстером, конечно, человеком глубоко ученым, глубоко нравственным, глубоко гуманным, ко всему придирается, ищет случая и материала. И все опять, конечно, неожиданно и помимо своей воли дает ему Ястребцов. В результате профессор тихо умирает от сердечного припадка.

На последних страницах книжки из разговора Ферстера с Ястребцовым читатель узнает, что мрачное и тяжелое влияние больного на других есть результат непонимания болезни его и неумелого к нему подхода. Все, не исключая и профессора, взяли Павла Петровича под подозрение, не уловив его искренности. Ястребцов, таким образом, — жертва.

«Вы наша жертва, вы жертва Маро, и Лапушкина, и Мстислава, и даже Сергея Ивановича. И моя, потому что

я не понял вас сразу», заявляет профессор Ферстер.

Одновременно в романе идет другая драма и даже две, одна растянутая на много страниц, другая отмеченная несколькими фразами, брошенными мимоходом. Дочь Ферстера, Маро, безумно любит рабочего Хансена, он ее—тоже. Но у него есть беременная жена, некрасивая и притом мещанка до мозга костей. Хансен не в силах решиться сразу на разрыв с женой; Маро мучается над вопросом, будет ли она счастлива, расстроив счастье другой, и в последний момент, когда Хансен порывает с домом, Маро, разъеденная самоанализом, оставляет Хансена, уезжая в Петербург.

В Маро влюблен Батюшков, настолько, что он однажды даже решился ее поцеловать. Поцеловал и испугался. Маро не ответила ему взаимностью. Батюшков страдает, не находя сердечного ответа и от того, что так необдуманно решился на такую дерзость, как поцелуй такой чистой девушки, и этим самым оскорбил, нарушил доверие Ферстера, его жены, Маро и т. п.

Все герои романа, положительные и отрицательные, отталкивающие от себя и возбуждающие к себе симпатии, по своим взглядам мало чем отличаются от обычной мещанской среды. Некоторые из них просвещены, культурны, но все же—мещане. В своем сознании они не в силах подняться выше следующих, обывательски «благоразумных» рассуждений:

«Еще скажу... ты все о судьбе своей думала. Думай так: никогда не надо говорить «если бы» да «случись бы»... «да было-б лучше». Никогда не надо воображать, что могло быть другое. Вложи душу в то, что есть, и будет у тебя истинное. Люди сами делают себя несчастными и счастливыми... Одни говорят: случись бы то, да был бы я... и переносит свою судьбу в то, неслучившееся,—и всю жизнь несчастлив. Другой говорит: что есть, то по мне, и покажу себя в этом с лучшей моей стороны... сделаю, что могу... И всю жизнь счастлив. Ищи такого счастья. Высокого. Оно самое верное»...

Так поучает перед своей смертью Ферстер.

В этой обывательской философии и заключается «своя судьба» каждого человека. Его обучают мириться с действительностью, обосновывают эту пошлость с «философской» точки зрения и обещают «высокое» счастье «рожденному ползать». Сколь завидная судьба человека! Неужели его роль ограничивается филистерством интеллигента-мещанина из глухого уездного города, по-своему честного, по-своему трудолюбивого и полного «высокого» счастья от выполнения своего жизненного призвания. Об этом пишут накануне революции, это извольте читать в революционное время.

И стоило ли из-за такой мизерной философии «своей судьбы»: приемли жизнь, как она есть, не перечь и будешь счастлив,—философии, всем давно известной и порядочно наскучившей, писать скучный роман в двести слишком страниц. Кому он нужен!

Валерьян Полянский.

Н. ТЕМНЫЙ. Собачья доля. Рассказы. «Кузница». Москва. 1923 г. Стр. 124.

Книжка Н. Темного (настоящая фамилия Лазарев) появляется не впервые. В 1920 году она была выпущена Государственным Издательством под редакцией И. Белоусова. «Кузница» прекрасно сделала, что переиздала рассказы. Пролетарским писателям нужно знать своих «зачинателей», — их опыт, настроение и думы—неоценимые документы при изучении зарождения и развития пролетарской литературы.

Н. А. Лазарев—«писатель от рабочих», как значится на его памятнике в Москве на Ваганьковском кладбище, но он не был пролетарским писателем в нашем современном понимании. Он жил в другую и уже далекую от наших дней эпоху.

Автор сосредоточил свое небольшое, но несомненное дарование на тяжелой жизни рабочего люда, «маленьких людей», задавленных капиталистическим обществом, «сильными мира». Он сам из их среды и с любовью их рисует.

Писатель не развернул перед нами ни картин рабочего движения, ни его перспектив, ни путей, ни идеалов,—он обладал меньшими силами.

Серая, тяжелая, кошмарная жизнь глядит на вас с каждой страницы книжки; ряд замученных, смирившихся рабочих грустно стоит перед вами. А рядом своенравная жизнь сильных мира. Вот постоянная тема писателя.

Среди выведенных лиц в рассказах Лазарева читатель не найдет настоящего индустриального пролетария с его особой рабочей психологией и взглядом на жизнь. Автор, благодаря влиянию окружающих его лиц и в частности писателя Н. Златовратского, находится во власти либерально-народнической идеологии и больше ратовал за человека вообще.

Рассказы искренни, просты и местами не лишены яркости.

Валерьян Полянский.

И. ЭРЕНБУРГ. Жизнь и гибель Николая Курбова. Роман. Из-во «Новая Москва». 1923 г. Стр. 203. 10.000 экз.

Роман из современной жизни начинает превращаться в загадку, вызывающую отчаяние критиков и недоуменные вопросы читателей. Большую часть таких романов начинают изготовлять по очень сомнительному рецепту, где в аптекарских дозах отпущены элементы социально-необходимые, скажем—отношение к классам, войне, революции и, наоборот, в огромных, непропорциональных дозах отпущено то, что при некоторой смелости можно назвать индивидуальностью автора. Таков и новый роман Эренбурга. Избрав темой два последних десятилетия, то-есть тему «войны и мира», Эренбург ввел в микроскопических дозах все социально-необходимые элементы, безнадежно изуродовав их и самым отношением к теме и изображением главных действующих лиц. Собственно, действующих лиц бесконечное количество,—тут фабриканты, рабочие, проститутки, провокаторы, содержатель притона, коммунисты, белогвардейцы и пр. и пр. В центре—«жизнь и гибель Николая Курбова», идейного коммуниста. Изображается она с достаточными, можно сказать, излишними подробностями, но всегда с определенным уклоном. Уклон этот—эффекты уголовного или бульварного романа в стиле Бебутовой или Нагродской. Дело начинается точно биографически, за некоторое количество месяцев до рождения Николая Курбова, а родился он потому, что некто проиграл его мать в карты какому-то подрядчику. Этот некто был гадкий, развинченный господин, который, видите ли, сам «не мог» и очень спокойно уступил Машеньку за проигрыш своему счастливому партнеру. «И на кровати (хорошо, что хотя на кровати), от позора и от любви, от перекупленной восьмерки—начало человека—Николая Курбова». Звучит торжественно, почти из книги «Бытия»! Курбов вырос, в детстве и юности обнаруживал чудесный ум, наблюдательность, а на ряду с этим вполне современные вкусы, несколько неожиданные для пятнадцатилетнего мальчика начала девятисотых годов: «была ему дамой машина и нежно шептал он «динамо», «любил вечерами читать Пушкина, завывая и качаясь», «любил, как шествует время, как мчится копытчатый ритм». Очень рано Курбов, у которого умерла мать, ставшая проституткой, попадает в семью фабриканта Голубкова репетитором. Семья эта изображается со всеми должными аксессуарами (но если бы попроще, было бы правдоподобнее), и в этой-то семье Курбова обвиняют в краже ценной бумаги (украл сын Голубкова), при обыске находят прокламации. Дальше—путь, вполне установивший нелегальное положение, провокатор, тюрьмы, ссылка, война, революция. Курбов, видный чекист, встречается с белогвардейской или, лучше сказать, мистической барышней.

Барышня—целиком из Зинаиды Гиппиус или Андрея Белого,—неоспоримая «вечная женственность», бездонные синие глаза. Встретившись с ней, герой становится невменяемым,—у него «глаза, отчаянно напрягаясь, выскочили из орбит, и птицами от изумления вереща, присели на узкие подрагивающие плечи Кати». Не менее невменяемой становится и она, ведь у него «длинное ви-

зантийское лицо переходит в иконный лик». Катя должна была убить Курбова, вместо этого начинается роман: «выдуманная кем-то Москва, идеи, работа, завтрашнее утро—все это миф. А правда под рукою». «Смуглая. И кажется любовь—ведь это так зовется». «И Николай взял». Сейчас же после этого Николай не выдержал испытания коммунистической совести и застрелился. Таков основной сюжет. Вокруг него смена лиц, вкусов и положений совершенно неисчерпаемая: что ни строчка, то новое лицо или новая ситуация, самая эффектная, самая раздражающая. Здесь перед нами испытанный остряк, ценитель скабрезного, беспечный наблюдатель, познавший жизнь до самых основ.

Чтобы ни случилось, в самых трагических положениях, дело оживляет подходящий анекдот. Сообразно смыслу этих анекдотов располагается Россия, символически осознанная в следующих образах: «Маничка Типунчина... историческая девка, гордящаяся тем, что спала с тремя режимами, то-есть с приставом Басманной части, с самим министром при Керенском и с каким-то заспанным профессором коммунистического университета, который принял ее за неофитку». Красная ли Россия, белая—про всякую в запасе «заспанный профессор» или садист. И та и другая Россия—одинаково «девка», которая будет спать с каким-угодно режимом. Это, так сказать, социальный пафос автора. Равноценен этому пафосу и другой—сексуальный.

Так «обработал» Эренбург огромную тему двух последних десятилетий. Мы уж не говорим о какой бы то ни было художественной объективности. Она пришла бы сама собой, если бы было правильное отношение к теме. Мы только хотим сказать, что кокетничать с ужасами в стиле романа фельетона бульварной газеты и разыгрывать в три листика то, что обошлось так дорого всем,—дело недостойное писателя.

К. Локс.

А. ЯКОВЛЕВ. Повольники. Рассказы. Книгоиздательство «Круг». Москва — Петроград. 1923 г. Стр. 166.

Выход сборника рассказов А. Яковлева можно приветствовать. Перед нами подлинное дарование. При чем последний рассказ А. Яковлева «Повольники» является большим художественным достижением.

Рассказ «Терновый куст», где поволжское крестьянство в панике оставляет засохшие поля в голодный год, был отмечен нами в свое время, когда мы разбирали альманах «Пересвет». Этот рассказ также обвеян наличием подлинного таланта.

Меньшую ценность представляют следующие, в порядке напечатания, рассказы Яковлева: «Смерть Николина камня» и «Жених полунощный». Первый—анекдотичен, а второй—любопытен лишь как картинка своеобразного быта северо-восточного угла России.

Рассказ «Мужик» выявляет удивительную мягкость и человечность автора. Она чувствуется во всем построении рассказа. Тема отчасти напоминает пушкинскую поэму «Галуб». Только там это столкновение двух моралей представлено трагически, а у Яковлева со всеми особенностями военного быта и в добродушно-юмористических тонах.

Рассказ «Порыв» на сюжет очень банальный, из заводской жизни, где два рабочих—один мещанин, а другой бунтарь—любят одну работницу. Но Яковлев разработал эту тему очень интересно и с большой психологической правдой. Только в конце писатель сорвался. Финал не художественен и мелодраматичен.

Язык А. Яковлева—чудесный. Легкий налет стилизации в рассказах «Порыв» и «Повольники» (как будто бы перед нами рассказчик из Поволжья, ведущий свое повествование со всеми особенностями колорита языка своей области),—сообщает повестям своеобразную прелесть.

Интересны приемы, к которым прибегает автор. В рассказе «Повольники» мать Боковых—Митревна, смотрит на вечернее солнце в ожидании сына с войны: «садилась у окна и глядела туда

на пороховушку, на край красного неба, думала». И в конце рассказа, когда Герасим уже расстреляи, она также «вечерами привычно садилась у окна, смотрела, как за буграми, за пороховушкой—теперь сломанной, столбы торчали—садилось солнце». В первом случае—надежда в возвращение, во втором—безнадежная скорбь, ибо ждать уже некого. Этот прием, быть-может, бессознательный для автора, еще ярче оттеняет великое, безысходное горе несчастной Митревны.

Поставить своих героев в такие условия, при которых все их действия вытекают из обстоятельств их жизни,—в этом тайна объективного, художественного воспроизведения действительности. Это в значительной мере удается автору.

Хочется пожелать книжке рассказов А. Яковлева широкого успеха.

И. Кубиков.

«Повольники»—одна из многочисленных за последнее время попыток художественно отразить революцию. И сюжет, и его трактовка рождены революцией. Не надо смотреть на год издания, чтобы сказать, когда произведение написано.

1922 год—эта дата видна на каждой странице повести.

В 1918, 1919 годах трактовка сюжета была бы иной. Психологически невозможно было бы в годы гражданской войны так объективно, так холодно писать о революционной «мятелице» (выражение автора), о горящих селах и деревнях, о пьяном разгуле и гибели анархически понявшего революцию комиссара Бокова, в душе которого, разбуженной ее грохотом, проснулся старый «повольник», старый ушкуйник, каким были его деды и прадеды.

Пафос разрушения наполнил до дна его темную и буйную душу. «Недумающий лоб не мог переварить и понять всех идей революции, но в ее пламенной мощи было свое родное, дедовское».

Строить же камень за камнем, день за днем расчетливо, твердо, упорно, провидя в грядущем величественное здание коммунизма,—на это Боковы неспособны. Это за них сделают другие, в роде того «рыжебородого» члена Ревтройки в «поношенном казинетовом пиджаке», что судил и расстрелял Бокова.

«Рыжебородый» и те, что приехали с ним из центра, хорошо знают, что делают. Им не затуманит головы хмель самогона и красота дворянской дочки, они и не подпишут бумажки не читая. Они считают грехи Боковых: «Реквизировал в свою пользу. Убил. Пьянствовал. Дрался», и в нужный момент бестрепетно уберут Бокова со сцены. Для них нет людей; для них есть идеи. А для Бокова, стихийного анархиста, псевдо-коммуниста Бокова, есть люди, но нет идей.

Все это понял и рассказал нам автор, как сторонний наблюдатель, точно, умело, холодно. И вот поэтому-то я и сказал выше, что в годы гражданской войны трактовка сюжета была бы иной: так не говорят о настоящем, о живом. Тот момент революции, который воспроизвел Яковлев в «Повольниках», уже прошел. Время «Боковых» прошло. «Мятелица» улеглась.

Теперь все подсчитывается, упорядочивается, чинится, строится вновь. Нарождается новый быт. Созидание, работа, пусть неприметная, но дружная и упорная, — вот лозунг дня: И Яковлев, понимая это, спокойно повествует нам об ошибках героической поры, такой недавней, но уже отошедшей в прошлое.

Впрочем, оно, верно, никогда и не было настоящим для Яковлева. Слишком ровен, слишком одинаков его тон, слишком отчетливо и обдуманно повествует он и о революционной буре вчерашнего дня, и о далекой крепостной России, когда предки нынешнего комиссара Бокова спаивали в своем кабаке истомленных бурлаков, любовно набивая мошну!

Уши автора услыхали, и глаза увидали великую бурю революции, но авторского сердца она не коснулась: нет дрожи в этом голосе.

В чем, все же, особенности «Повольников»? Почему на них дольше, чем на других рассказах, останавливается мысль? Ответ: у автора есть ум, стиль, наблюдательность.

Он—реалист; новый реалист, вышедший из того поколения, у которого «от дней войны, от дней свободы кровавый отсвет в лицах есть» (А. Блок). Огонь войны и революции выжег в их душах всякую интеллигентскую (говорю о до-революционной интеллигенции) сантиментальность.

Они скорее жестоки. Не человечность, не старинная гуманность, а почтение к факту—их вера! Оттого так безнадежны, так бестрепетно натуралистичны трагические сцены повести (например, когда пьяный Боков, вообразив себя Стенькой Разиным, хочет топить Ниночку, или сцена расстрела) и холодны, холодны без конца. В этом и сила, и слабость автора. Сила потому, что это соответствует его писательской индивидуальности, слабость потому, что оставляет холодным читателя. И эта слабость у автора «Повольников» не случайная и происходит она вот отчего. Рисунок у него есть и рисунок отчетливый, но красок нет. Краски дает воображение, а у автора, несмотря на занимательный сюжет, его маловато. Без красок же, без трепета живой жизни, без внутреннего горения самое изящное повествование не убеждает, не захватывает, не заставляет забыть действительность ради «творимой легенды», а только занимает.

В этом главный недостаток «Повольников».

Читая повесть, никак не можешь отделаться от впечатления, что под ней лежит газета, и что на одном из столбцов этой газеты под рубрикой судебный отдел есть заголовок «Дело Бокова» и, кажется, уже слышишь, как мальчишки-газетчики во всех концах Москвы кричат о нем охрипшими голосами, как недавно кричали об убийстве 116 человек.

Ю. Добранов.

ИВ. ШМЕЛЕВ. Служители правды. Госиздат. М. 1922 г. Стр. 136.

Это третье издание очень известной повести Ив. Шмелева Госиздат выпускает, не считая нужным указать, для *каких читателей* она предназначена. А дело в том, что это—повесть для *юношества*. Принимая же во внимание скудость и убожество нашей «старой» детской литературы (новой, отвечающей требованиям современности и являющейся созвучной эпохе вообще еще не создано!),—должно признать «Служителей правды» книгой очень неплохой.

В ней есть некоторая доза сантиментальности, от чего, впрочем, несвободна ни одна из книг для юношества, обычно до краев насыщенная буржуазнейшей моралью, есть в ней и некоторая фальшь в обрисовке «положительных» типов, зато в ней есть и неподдельные добрые чувства и, главное, страстный протест против племенной вражды. Вся повесть, рассказывающая о судьбе сына сапожника, с помощью старого еврея, ставшего художником, насыщена именно этим протестом. Единственным человеком в городишке, обратившим внимание на маленького Осю, был старый учитель рисования Мейер. Но Мейер—еврей, а евреев бьют. И самые сильные, неизгладимо-яркие, врезавшиеся на всю жизнь впечатления Оси—были впечатления погрома. Неудивительно, что, ставши знаменитым художником, Ося первое свое большое полотно отдал изображению погрома. Красками, запечатлевшими весь ужас и позор избиения, передал Ося свою любовь к тем, на кого обрушилась науськиваемая полицией, темная, слепая в своем невежестве, толпа.

Ив. Шмелев в заключительном эпизоде—приезд Оси с его картиной в родной город—чуточку фальшивит: картина произвела такое впечатление, что погромщики, и в их числе главный подстрекатель городовой Сидорчук, расчувствовались и умилились. Вряд ли в действительности были Сидорчуки столь сантиментальны!

Впрочем, у Шмелева вообще нет злых людей: все оказываются такими славными и чудесными, что стоит только Осе попасть в Москву, как исполняются, с помощью генералов, судей, адвокатов, знаменитых художников, профессоров, и даже полицейских приставов самые пламенные его мечты...

Есть, есть тут та слащавость, которая даже в «Хижине дяди Тома» отвращала от себя Чехова! Но что делать: лучше пусть выходит шмелевская повесть, крепко и ярко написанная, чем та бульварная пинкертоновщина, на которую обречено наше подрастающее поколение.

Госиздат, не указав, для кого написана повесть, оказал Шмелеву и еще одну неприятность: снабдил «Служителей Правды» столь дурно исполненными иллюстрациями, что их скорее можно принять за злую карикатуру на тех хороших людей, о которых говорит повесть.

Ю. Соболев.

Проф. ГЕРМАН ГЕНКЕЛЬ. Геммы и Камеи. Изд. «Книга». П. 1923. Стр. 130.

Эту книжку правильнее было бы озаглавить: «Желанье быть Зелинским». Но как для героя Кузьмы Пруткова недостаточно было одного желания стать испанцем для перенесения себя в Севилью, так и проф. Генкелю недостаточно хрестоматических познаний по Греции для написания книжки «Сказок древности». Материал обработан в стиле слащавейшей олеографии, прилагавшейся к «Родине». Но ее достоинством в глазах подписчиков покойного органа была «бесплатность». На другое она не претендовала. А. Генкель предполагает делать открытие скверными переводами древних отрывков, склеенных по принципу самоочевидности. Получается общее место. Да, совершенно верно: греки любили гимнастику (открытие № 1), Сафо любила Фаона (открытие № 2), Телесилла защищала Аргос (открытие № 3, сделанное несколько ранее Плутархом) и т. д. до Диотимы, которая перевирает Платона по Пиру. Дальше остаются кислосладкие описаньица «чудесного неба и лазурного моря». Можно подумать, что Брешко-Брешковский был профессором. И в заключение—тихая лирика: «отчего всемогущий Зевс, сам, царь и верховный властитель среди Олимпийцев, не сдержит грозным Перуном своим расходившейся черни? Отчего древние роды митиленской знати оказались побежденными, изгнанными с насиженных мест и опозоренными?... Отчего наилучшие мужи и жены были в те злопамятные дни надолго оторваны от своих очагов и вынуждены вести неприглядную жизнь бездомных скитальцев? (Стр. 30—31). В самом деле, отчего бы, профессор Генкель? И какая гадкая эта чернь; она дает возможность появляться у себя таким книжкам.

И. Д. Аксенов.

М. Н. ВОЛЧАНЕЦКИЙ. Уот Тайлер. Трагедия в пяти действиях. Вступительная статья проф. М. Ф. Миллера. 1923 г. Стр. 83.

Пьесу М. Н. Волчанецкого никак нельзя назвать «трагедией». У Уота Тайлера—в его изображении—нет «трагической вины»; он действует, как истинный представитель революционного народа и гибнет вследствие своей чрезмерной доверчивости: при очной ставке с королем Ричардом II, которому он диктует революционную конституцию и который его внезапно — предательски убивает. Отдельные моменты в пьесе не лишены сценичности, но подлинного драматизма, создаваемого сочетанием действенной энергии и увлекательной патетики—в пьесе мало. Она написана приемом хроники и местами перегружена докладами об исторических событиях. Театру пьеса не дает свежего материала—и к литературе об Уоте Тайлере не прибавляет ничего нового.

Пьесе предпослана статья проф. Миллера: краткий историко-социологический анализ изображаемых событий.

В. Волькенштейн.

РОМЭН РОЛЛАН. Пьер и Люс. Перевод Э. Л. Вейнбаум, ред. В. А. Азова. «Всемирная Литература». Гиз. Спб.—М. 1923. Стр. 116. Тир. 8250.

Этот новый маленький роман Роллана написан в 1918, под неостывшим впечатлением только что окончившейся

войны. Удивляет и трогает редкое разнообразие дарования Роллана: после Жан-Кристофа, после Кола Бреньон с какой-то трогательной неожиданностью возникает эта маленькая парижская идиллия: крошечные окопные фиалки на позабытом бризантными удовольствиями клочке земли. Герои (их двое, да больше никого и нет в книжке)—молодые люди, в периоде обязательного юношеского «гамлетизма», который верно, желчно, болезненно и обидно разлагается вместе с расстреливаемой страной. Стекла маленького домика Люс дрожат от гула марнской канонады, немцы перешли Сомму, они взяли Руа, Нуайон, — шестьдесят тысяч пленных угнано в Германию, тысяча сто пушек—о, самая чудовищная из драгоценностей!—отбито ими. Пьеру дали шесть месяцев отсрочки, а через шесть месяцев и он пойдет туда—на позиции.

Гамлет-ребенок, он живет стиснув зубы: забыть о том, что тебя поведут убивать. Жизнь теряет свой счастливый и всепобеждающий смысл: надо устроить так, чтобы мы брали немцев в плен, чтобы мы отнимали их пушки, а не наоборот, — а зачем это нужно? А над Парижем, веселым серым гигантом, так уютно прижавшимся к родной Сене,—гудят ночью сигнальные колокола, тушатся огни и сигары «цеппелинов» пускают в воздух свистящие бомбы, они рвут живое тело города на части, они покрывают его пеплом и кровью. Пьер ходит по городу и помнит, что через шесть месяцев он...

Война не задела бедную Люс, как зацепила она Пьера, но у нее длинные и злые когти, всякий подпадает ей. Ничего такого особенного не случилось в жизни Люс, чтобы ей пришлось за что-нибудь проклинать войну, нет. Но жизнь потеряла смысл цветенья, свой единственный смысл. Зачем жизнь, если она—ряд маленьких несчастий и пустяковых разочарований только?

И на фоне этой цеппелиниады и последнего немецкого наступления—расцветают маленькие виолетки окопа. Жизнь не перестает быть собой,—она побеждает себя этой детской идиллией. Этой прелестной живой и цветущей болтовней маленьких парижан, этой детской страстью, которой не суждено было завянуть в мирной тине буржуазного благополучия.

Жизнь сама улыбается себе, она сама для себя выращивает синенькие цветочки на осыпавшейся стенке окопа, она сама жалеет их,—они идут, Пьер и Люс, в Нотр-Дам,—прилетает цепп... и—разом рушится на них массивный столб в Великую пятницу, 29 марта 1918 года, предвещая нам, уцелевшим,—Версальский мир и агонизирующую Европу.

Сергей Бобров.

С. ГЕНРИ. Рассказы. Переводы Н. Брянского, С. Маршака и О. Поддячей, под ред. и с предисл. Евг. Замятина. «Всемирная Литература». Гиз. Спб. — М. 1923. Стр. 256. Тир. 6000. Моск. прод. ц. 1 р. зол.

Как это странно и как характерно, что О. Генри появился у нас только совсем недавно и именно теперь. До сих пор была переведена только одна книга «Сердце Запада» и прошла как будто вовсе незамеченной. Теперь вышла предлежащая книжка, «Современный Запад» печатает сюиту новелл «Короли и капуста», должны выйти и еще переводы. Есть какое-то неясное ощущение надобности именно в таких писателях, как Генри.

Вспомните несколько курьезный антагонизм Европы с Америкой: Америку Диккенса, Уайльда, Короленки, Горького, вспомните затем американский литературный экспорт: Бичер-Стоу, Лонгфелло, Э. По, Брет-Гарт, Дж. Лондон. С одной стороны, почти ненависть европейцев к бездушному «царству доллара», с другой, как-никак, несколько бледный экспорт, лицемерная кислятина Стоу, несколько фальшивая и награнная романтика Лонгфелло, путаница По (его рекламировал Бодлер), деревянные доблести Лондона (его сказки, лучшее из того, что он написал, неизвестны у нас). Остаются несколько в стороне Брет-Гарт и Марк Твэн, но последний—юморист и как бы не входит в синодик «серьезных» писателей. Америка со странным постоянством ри-

совалась у нас, как царство чудес,—чудеса и вывозились оттуда, чудесами Медвежьего Озера и Юкона торговал Лондон, писаки помельче, из приложений к «Ниве», те демонстрировали миллиардеров, этими пустяками в свое время и Синклэр занимался («Царь промышленности»). Истинные чудеса, как Панамский канал, не входили никак в литературу. Чудеса чудачеств сказочно богатых людей казались интереснее. С другой стороны, шел непрестанный бойкот духовной и душевной жизни Америки в стиле М. Горького.

Вообразите же теперь просто человека, для которого небоскреб—не чудо, а довольно скучная вещь, ибо он там служит в конторе на 38-ом этаже, среди дюжины лифтов и железной несгораемой мебели, а следовательно, обязан навещать это построение ежедневно; вообразите того, кто составлял требовательные ведомости на кирки для Панамы, кто возил миллиардеров на автомобиле, кто способствовал росту этого колосса капитализма,—мелкую мошку... американца, так как он есть. Живого, в трамвае, с газетой. В стране, где семья чуть что не отсутствует, где отбор выделил расу наиболее предприимчивую, куда еще попали как-то качества и красных и черных. Дело и дело, время—деньги, банки и тресты, ажиотаж и горячка и прочее, и прочее,—есть ли что за этим?

С тяжелой постепенностью складывался этот странный и в высшей степени интересный быт всего того, что живет около доллара,—по нему, но не им. Из этого горнила золота выделился постепенно особый слой наемников, эдакий шлак в золотом тигле. Люди, живущие точно и окончательно сегодняшним днем, горячие, работяги, не хмурые, но замкнутые в определенно безнадежную ситуацию: вести всю жизнь этот грузовик с золотом во имя накопления богатств, не задевающего их по существу.

К этим-то людям и приходит О. Генри. Он сам эдакий «бедный чорт», он нюхнул всех скорпионов своей родины, был и вором, и бродягой, отсидел в тюрьме три года, корпел над бухгалтерскими книгами. И все это американцу нипочем. Он не проклинает «царство доллара», он в нем вьется, как головастик в луже, его жизнь немыслима вне этих Бродвеев, Саундпортов, Мэдисон-сквэров, Шелбивиллей и т. д. Хороша эта Америка, плоха ли, другой он не знает, не мыслит и, вероятно, решил бы, что сошел с ума, если бы догадался, что есть Кот-Дор, Анслейские холмы, Гарц и Тамбовская губерния, и что в этих местах нет спаржи Тонио, Джона Э. Пескьюда, комми по стеклу, с которыми он закадычный приятель. Америка для американцев, а американец для Америки,—это-то уж окончательно.

Рассказы его («Короли и капуста») изготовлены машинным способом. Берется самое обыкновенное происшествие, каких сотня на дню в городе, а ежели необыкновенное, так его необыкновенность очевидна только для участников (так создается глубокая его интимность), ну в роде там того, что некий влюбленный объяснился впопыхах по телефону не своей милой, а ее сестре, которая оказалась очаровательной, после того, как он на нее поглядел посерьезней, к обыкновенности добавляется парочка ки-про-ко, ловких словесных вольтов, а капля необыкновенности укладывается в двойную развязку. Первая развязка—по Бедекеру, вторая—по Генри. Например: биржевой маклер влюбился в свою стенографистку. По неписанному и сто раз написанному кодексу «американских рассказов» он должен подбежать к ней во время работы, сказать, что ему некогда до обморока и сделать в трех словах предложение. Так он и делает («Роман биржевого маклера»), но рассказ этим не кончается: стенографистка встает, глядит на него круглыми глазами, плачет, а потом, сообразив, говорит: «Разве вы не помните, Гарвей? ведь вчера в восемь часов вечера мы обвенчались в маленькой церкви за углом». Однообразие этого приема почти-что утомительно. А у Генри все так аккуратно: самым добросовестным образом выписывает он те подробности, которые должны вас в дальнейшем уверить, что «так оно и было», подробности эти и намеки сразу не поймешь и приходится перечитывать рассказ.

Поэтому-то стоит условиться: Генри—стилист, Генри — профессионал-от-писательства, ничего особого в себе не заключает, в нем не найти ничего такого, что потрясало бы одним словом, как умеет вас взять за локоть Толстой, как это иной раз с удивительной прозрачной какой-то силой скажет Роллан, то-есть, короче, Генри не из таких, которые выколачивают из мира бутылку хереса для Фальстафа. Он совершенно не знает, каким образом писатель, художник может приподняться на носках так, что ему видно и то, что поверх общества, «горы времени» (Маяковский) закрывают для Генри начисто дальнейшее, это он—хлопотливая Марфа онтологизма. Онтологизма не во что бы то ни стало, а только потому, что иных краев он не знает, не видит и не представляет себе, чтобы они существовали. «Смотри-ка, Снипи, вон она идет. Нука, возьмем ее на абордаж, пока она будет пить воду»,—так кончается последний рассказ в книжке. Знаете ли вы, кто это «она»?—это поезд подходит к станции и водокачке. У кого-нибудь он грохочет, ест пространства и закусывает ветром, его походка кому-то напоминает о рафаэлическом размахе инженерии,—Генри об этом не думает: эта самая «она» наивреднейшее учреждение в мире, с «ней» надо быть поосторожнее, но и без нее не обойдешься. Разговор блох: «вон он ложится, ну-ка примемся за него, покуда он поворачивается в стенку носом». А эта пренаивнейшая в своей боязливости блоха вдруг по тексту оказывается опаснейшим бандитом, который остановил экспресс, ранил проводника и стянул у пассажиров 15 тысяч долларов. Неизвестно, как ему удалось оттяпать это лихое дело, но видимо, оно ему не помогло, так как иначе не пришлось бы брать «ее» на абордаж, чтобы прокатиться зайцем.

Генри ни на иоту не созерцатель, хоть он и умеет подглядывать вас в любом положении, его затаенная методика исчерпывается значительностью его сострадания. Мир «богатых» вертит огромные рули общества, так, грохоча, несется этот экспресс по Бедекеру кризиса и перепроизводства,—Генри человек маленький, он блоха. он «бедный чорт», сострадающий куче таких же бедных чертей, которые обязаны помогать «ей» пить воду и пролетать над виадуками. Хорошо, коли «ее» иной раз можно «взять на абордаж» тем или иным способом, и нажить на этом три цента или еще какую-нибудь астрономическую цифру. Генри весь в дрожи радости освобождения от пут железного общества, даже не государства (этого-то дурака можно всегда «взять на абордаж»), именно общества, которое неизбежно, ежедневно продуцирует вот этих самых «бедных чертей»—и пускает их гулять по свету, на все четыре стороны, нимало не заботясь, будет ему там где ночевать или нет. Трагедия Генри в том, что он не революционер и никогда им не будет, как вы его не выворачивайте: данность для него—неизбежность и «с ромом не поспоришь», как выражается один из его фаталистов. Пусть это освобождение ложно, пусть бесцельно, пусть оно самоуничтожающе наконец («Дары волхвов»),—все равно, слава ему: оно солнце человеческого сердца и, как у Лермонтова,—«прощать святое право—страданьем куплено».

Вот это-то и останавливает и задевает вас у Генри. Не думайте, чтобы это был наивный человек, не понимающий, что такое фальшь и лицемерие, не представляйте себе, что этот апологет законного брака не понимает всего мрачного комизма этого учреждения, он не хуже других знает, что новобрачная всего лишь «барышня в белой фате, что берет патент на обшаривание карманов мужчины, покуда он спит», он до жути резко поднимает вам всю трагедию меблированных комнат (рассказ того же имени), всю грязь блошиного быта, но... но у него не хватает низости плюнуть на это. Он говорит или с болью, или с прощением, у него есть такое беззлобие, о котором мы, читатели русской современной прозы, так соскучились (впрочем, здесь стоит вспомнить с благодарностью нашего А. Грина, у которого так много общего с Генри). Несмотря на все это, весь Генри, словно из-под руки вглядывается в равнину человеческого, его слепит зрелище человека со всей требухой быта и пустяков. Можно, пожа-

луй, уверять, что это фальшиво и, конечно, коли вы сравните то сострадание к человеку, которое создало сэра Джона Фальстафа с тем, которое врет о Большем Джеке Змеекорме, вы принуждены будете отчасти и с оговорками согласиться, что Джек—малявка и «кантитэ неглижабль» в общем потоке мира, и что он, наконец, и подкрашен и подмазан, чтобы вас позабавить... но все же вам придется согласиться, что и Джек—живой. А раз он живой, все остальное можно ему простить.

Предисловие чуточку бледно и внешне написано.

Сергей Бобров.

Э. ПРЕЦАНГ. Чорт в избирательной урне, К. РЮБЕЦАЛЬ. Приключение асессора Шнейдига. Пьесы. Перевод с немецкого под ред. А. Н. Горлина. ГИЗ. Петроград. 1923 г. Стр. 88.

Обе небольшие пьесы заполняют собой вторую книжку выпускаемой Петроградским Госиздатом серии «Социалистический Народный театр».

В первой из них («Чорт в избирательной урне») длинно трактуется о некоем немецком помещике Фон - Шнилебауме, который изображен преотменным мерзавцем. Моментами изображение это сделано не без остроумия, и, если бы автор ограничился только негативной частью своей задачи из пьески получилась бы недурная сатира на остатки среднеевропейского феодализма кануна мировой войны. К сожалению Прецанг смотрел на своего «Чорта», как на социал-демократическую «агитку», и превратил его в довольно неубедительный панегирик «всеобщему, прямому, равному и тайному».

В таком аспекте пьеска сделалась для нас абсолютно неприемлемой, даже исторически. И почему питерские товарищи сочли нужным ее перевести—непонятно.

Приключение асессора Шнейдига—Рюбецаля—довольно незамысловатый пустячок типа старинных водевилей с переодеваниями. Вся соль (и «социалистичность») его в том, что судейский чиновник, благодаря некоей случайности, оказавшийся в костюме бродяги, попадает на несколько часов в королевскую тюрьму, и там подвергается легкому избиению. Либерально, но безобидно. Ни революцией, ни социализмом и не пахнет.

Чающий нового репертуара театр Советской России от появления этих пьес выиграл мало.

Николай Лебедев.

А. ДОМАНТОВИЧ. Женщина на переломе. Госиздат. 1923 г. Стр. 96.

В числе книжек, трактующих половой вопрос на почве эмансипации женщины, это беллетристическая безделка интересна как тем, что ее дала революционерка, так и тем, что героиня тоже революционерка и притом из числа «выдающихся».

Однако, общее впечатление какого-то революционного недоразумения. Автор дает любовные эпизоды из жизни, достигшей знаменитости, известной женщины революционерки, а получается эпизод из жизни образованной и смелой барыньки.

Драма вертится на порывах героини к слиянной гармонической любви и на полном равнодушии к этой слиянности со стороны мужского пола. Героиня исходит слезами по всякому поводу грубости мужских чувств, а герой, то в образе рабочего, то в виде художника-интеллигента или крупного революционера («с головой мыслителя») никак не может проникнуться ее психологией «переходного» периода. Автор старается внушить, что в будущем «свободная», «холостая» женщина перестанет искать в любви большего, чем может дать простое физиологическое общение, и займется общественным делом всецело, а читателя ее рассказ не убеждает.

Допустим, пожалуй, что это и так, но что же же из этого следует? Половой вопрос этим ни в какой мере не разрешается. Кроме того, автор трактует и не женщину революционерку, борца за социализм в переходный к нему период, а женщину буржуазку, попав-

шую в пролетарскую революцию со всеми потрохами узко-индивидуалистических, интеллигентских переживаний. Половой вопрос разрешается не в этих рамках. Не отказа от целостной, захватывающей любви ждет жизнь, а преображения этой любви на почве огромной обще-человеческой любви и ненависти.

«Женщина на переломе» остается в полной изоляции от проблем половой любви в их биологическом и социальном значении. Книжка интересна только как лишний штрих, характеризующий психологически бытовой момент жизни интеллигенции, примыкавшей к революции в доброе старое время.

Е. Херсонская.

ИСКУССТВА.

1. А. Р. КУГЕЛЬ. Утверждение театра. *В. Волькенштейн.* — **2. «Музыкальная летопись». Сборник.** *Л. Сабанеев.* — **3. В. БЕЛЯЕВ. Переписка А. Скрябина с М. Беляевым.** *Л. Сабанеев.* — **4. «Прошлое русской музыки». Вып. I. И. Чайковский.** *И. Энгес.* — **5. О. ГРАУТОФФ. Французская живопись с 1914 года.** *Н. Тарабукин.* — **6. Б. БЕРЕНСОН. Флорентийские живописцы Возрождения.** *Л. Розенталь.* — **7. М. ФРИДЛЕНДЕР. Знаток искусства.** *Н. Тарабукин.* — **8. Г. К. ЛУКОМСКИЙ. Москва и деревня в гравюрах и литографиях.** *А. Греч.* — **9. В. МАСЮТИН. Гравюра.** *Н. Купреянов.* — **10. ЮРИЙ АННЕНКОВ. Портреты.** *А. Сидоров.* — **11. ТОМСОН-СЭТОН. Кутенейский баран.** *А. Сидоров.* — **12. М. КУЗЬМИН и ВСЕВОЛОД ВОИНОВ. Д. И. Митрохин.** *В. Адарюков.*

А. Р. КУГЕЛЬ (HOMO NOVUS). Утверждение театра. Изд. журнала «Театр и Искусство». Стр. 207.

В книге А. Кугеля подкупает определенность его требований к театру: «Законы театра суть законы актера». «Не мысля на сцене своей пьесы, автор не может написать настоящего драматического произведения». — Утверждение театра, как творчества, преимущественно, актерского, — решительное требование, чтобы пьеса была не только литературным произведением, но живым материалам для актерской работы—таково основное положение А. Кугеля. «Актер должен растворить все искусства в себе, а не растворяться во всех искусствах». Отсюда чрезвычайная и логически-обоснованная вражда к увлечению режиссерскими замыслами в ущерб непосредственному актерскому творчеству, вражда к театральному живописцу, пренебрегающему актером, стремящемуся осуществить на сцене самодовлеющие живописные задачи и т. д. Книга А. Кугеля составлена из отдельных статей, но они проникнуты единым взглядом и дополняют друг друга; автору нельзя отказать в последовательности и продуманности его суждений. Но сила критики не только в теоретических предпосылках.

Сам по себе не новый, в основе своей живой и плодотворный взгляд на приоритет актерского творчества в театре, развивается автором в полемике: это определяет стиль книги. Это в сильной мере определяет и ее значение. С полемическим раздражением и догматическим упорством подходит А. Кугель к самым ярким театральным явлениям последних десятилетий. Он не приемлет М. Художественного театра, ибо оттуда пошло засилье режиссера. Он отвергает опыты Мейерхольда и Сапунова, как беззаконное искажение основных театральных заданий. Он с торжествующей иронией приводит слова Станиславского об его вражде к «театральности», вплоть до отрицания непосредственного сумического темперамента у современного актера. (Станиславский проделал сложную эволюцию; в своем искании нового театрального стиля он договаривался еще и не до таких парадоксов). А. Кугель признает—не без лукавства—интересность Крэговской ста-

тьи, в которой автор проповедует замену актера марионеткой; в Крэге А. Кугель видит крайнего и последовательного представителя антиактерского театра. А. Кугель полагает, что все современные режиссеры, сбившись с единственно верного пути, должны прийти к этому же выводу. И. т. д. и т. д.

Критика А. Кугеля весьма часто остра, метко попадает в больные места русского театра; и все же она ни на минуту не могла задержать его естественного развития. А. Кугель, строго, и часто справедливо, критикуя причудливые формы русской театральной эволюции, не замечал ее живого нерва, ее органической, общественно-необходимой динамики.

Ибо как спектакли Художественного театра, так и постановки Мейерхольда были тесно связаны со всей русской культурой. Нельзя рассматривать Художественный театр, — театр, сосредоточивший в себе столько духовных сил, весьма разнообразный в своих сценических исканиях, бывший в различных стадиях— в различных своих постановках выразителем художественных тенденций разнообразных социальных групп—только как лабораторию Станиславского, как искусственное порождение сбившегося с толку и не понимающего истинных театральных задач режиссера. А. Кугель остро и уверенно отмечает отступления русского театра от канонических требований сцены, но он не видит, что русский театр были интересен,—а иногда и значителен,—на самых ложных своих путях,—и в режиссерском засильи и в живописных выдумках у А. Кугеля большая любовь к театру вообще, но у него мало любви к живым проявлениям русского театра; в этом слабость его позиции. Не даром он называет лучшими европейскими театрами «Comedie française» и «Burgtheater» в Вене и «Rosmaitosci» в Варшаве и находит только в Малом и Александринском театрах редкие проблески настоящего театрального искусства. Статьи А. Кугеля были всегда консервативны,— не столько по теоретическим своим предпосылкам, сколько по их практическому применению. А. Кугель входил в русский театр, как безапелляционный судья, а не как критик, видящий свою задачу в сотворчестве с театром. Ибо если в основе своей театр—сотрудничество актера и автора, то и критика должна быть их помощником; но если искусство в критике находит только сплошное осуждение, оно поневоле с ней мало считается и идет своими путями.

В. Волькенштейн.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ. Сборник под ред. А. И. Римского-Корсакова. Петроград. 1922. 10 листов. Стр. 173.

«Музыкальная Летопись», видимо, частично намерена продолжать дело «Музыкального Современника», издававшегося до революции тем же А. И. Рим.-Корсаковым,—но с преимущественным уклоном в сторону «историзма». Как и в «М. Современнике», центром внимания остается личность покойного Н. А. Римского-Корсакова, которому посвящена очень большая статья его сына. Статья эта—чисто «родословная» и могла бы с успехом появиться в каком-нибудь органе «геральдики». Мы не знаем, насколько важны для культурной и психологической оценки Р.-Корсакова знать число его предков, их точную генеалогию, отдельные характеристики и исторические анекдоты с ними связанные. О самом композиторе в статье не говорится,—только об его предках, и все эти данные только свидетельствуют о том, что эти предки ничем не выделялись над средним, стереотипным уровнем тогдашнего крупного дворянства. Остальные статьи образуют как бы «фон» к этой, центральной,—среди них можно выделить статью Игоря Глебова об одном шуточно-ироническом оперном «произведении» Бородина, и красивую статью Р. Роллана (перевод Ю. Римской-Корсаковой) о Сен-Сансе, о которой я буду говорить при рецензировании недавно вышедшей книги Р. Роллана.

Издание сделано изящно и с любовью. Но все же, при нашей бедности музыкальной литературы, можно было бы впредь пожелать от «Музыкальной Летописи» меньшей «централизации» на

имени Римского-Корсакова, особенно в таких утрированных формах, как произведение родословия до 15-го (!) колена.

Л. Сабанеев.

В. БЕЛЯЕВ. Переписка А. Скрябина с М. Беляевым. Стр. 191. Из-ние Петроградской Государственной Филармонии. П. 1922.

А. Н. Скрябин—один из наименее экспансивных и наименее склонных к эпистоляризму музыкантов. В то время, как, напр., вся идеология творчества, даже вся лаборатория мыслей чувств и техники вскрывается нам в письмах Мусоргского, Чайковского, Танеева, Р. Корсакова — у Скрябина мы ничего подобного не видим. Он вообще мало писал и не любил писать писем, писал их по нужде и по «делу», предпочитая поручать это неприятное занятие своим близким. Но даже когда сам он брался за перо—его письма не дают нам никакого ключа к его душе, к его творчеству,—одним словом, к тому, что было бы наиболее интересно для нас. Его письма—неизменно вежливы, благовоспитанны,—ничего не выражающие, словно нарочно он драпируется в эту благовоспитанность, чтобы скрыть свой внутренний мир, чтобы *не сказать ничего*. Даже во внешне интимные формы выражения как-то не веришь, читая эти вылощенные, бесконечно холодные, спокойные фразы, и чувствуется за ними страшная, неизмеримая гордая отчужденность художника.

Таковы же, как я только что описал,—и все письма из переписки с Беляевым, его издателем и меценатом. Насколько ярко вырисовывается из ответных писем Беляева его собственный облик: добродушно, — внешне-простоватого, «себе на уме» русского капиталиста-хлебосола, с хитрецой, и очень-таки делового, в итоге любящего Скрябина любовью «отца вундеркинда», в которой проскальзывает смесь восторга, преданности с наивным эгоизмом,—настолько из писем Скрябина решительно невозможно составить себе никакого о нем представления, кроме как о грамотном и вежливом человеке. Есть оттенок какого-то «презрения» в некоторых просьбах делового характера, обращенных к Беляеву,—в них чувствуется сознание того, что Беляев—слепая сила, посланная судьбой для него, и если не он, так другой даст ему, Скрябину, все должное. Такой же вежливой иронией и презрением звучат реплики Скрябина на выраженные Беляевым неудовольствия по поводу «слишком грандиозных» его замыслов. Чисто-биографических фактов переписка дает сравнительно немного, вследствие нелюбви Скрябина к описаниям событий. Но все же много любопытных штрихов есть. Едва ли не самые ценные психографические подробности сообщаются в немногих, чрезвычайно трогательных письмах к Беляеву тетки Скрябина—Любови Александровны. Эти письма прямо насыщены искренней, горячей и тревожной любовью к А. Н. Они же проливают некоторый свет на обстоятельства его первой, столь неудачной женитьбы на В. И. Исакович,—обстоятельства до тех пор еще покрытые для широкой публики неизвестностью и окутанные рядом легенд.

Переписка обрывается годом смерти Беляева. Все письма весьма тщательно редактированы В. Беляевым, известным музыкальным теоретиком (никакого отношения к М. П. Беляеву не имеющим), и вместе с скрябинскими дневниками, опубликованными в «Пропилеях», составляют наиболее ценный фактический материал, существующий до сих пор о Скрябине.

Книга издана чрезвычайно изящно Петроградской Государственной Филармонией.

Л. Сабанеев.

ПРОШЛОЕ РУССКОЙ МУЗЫКИ. Материалы и исследования. I. П. И. Чайковский. Пет. 1918 г. «ОГНИ». 1920 г.

Это с большим вкусом изданная книга: на превосходной бумаге, с отлично выполненными иллюстрациями (портретами Чайковского и его родных, затем друзей-музыкантов, снимками с дома-музея Чайковского в Клину и пр.).

Вступительная статья Игоря Глебова: «Наш долг» ярко и убедительно говорит о пренебреженной у нас задаче собирания и печатания материалов, касающихся прошлого русской музыки. Действительно, положение истории музыки и музыкальной библиографии находится у нас еще в зачаточном состоянии. А между тем русское музыкальное творчество едва ли не достигло вершин русской литературы, всестороннее изучение которой в настоящее время вполне соответствует ее значительности. Такой важный элемент творческого процесса, как первоначальные эскизы, черновые наброски музыкальных произведений еще совершенно не привлечены к делу изучения композиторов. Даже чисто биографический материал в отношении композиторов страдает поразительной случайностью и скудостью. Главная же часть этого материала —письма и дневники — еще ждет своих исследователей. Таким образом, издание материалов по изучеию Чайковского, пришедшееся весьма кстати в связи с двадцатипятилетием со дня его смерти (1893 г.), можно только приветствовать, пожелав дальнейшего развития предпринятому делу. Что касается содержания книги, то она в большей своей части состоит из описания того, что хранится в Музее Чайковского (в Клину) и в Музыкальном архиве (главным образом, в Московской Консерватории). В книге дан перечень хранящихся многочисленных рукописей Чайковского, часть которых не издана, а также назван ряд произведений его, неизвестно где находящихся или утраченных, затем вариантов, набросков и т. д. Обильные, подробные и дающие много новых данных примечания, которыми снабжен перечень, делают весьма интересным чтение этого библиографического материала. Насколько важно знакомство с первоначальными вариантами музыкальных произведений, показывает, напр., судьба 2-ой симфонии Чайковского. По поводу рукописи этого сочинения в книге (стр. 163 и след.) приведен впервые публикуемый отзыв такого судьи, как композитор и теоретик С. Танеев. Он отдает решительное предпочтение первоначальной, неизданной партитуре (первого Allegro) с ее прекрасными певучими темами перед партитурой новой и изданной, в которой, по мнению Танеева, и темы беднее, и общая разработка материала менее удачна, так что исполнять 2-ую симфонию он предлагает в ее прежнем виде, а не в окончательном. Кроме этого основного библиографического отдела в книге дан список работ о Чайковском на русском и иностранных языках (биографии, критические статьи, а также переписка и пр.), каталог многочисленных находящихся в комнатах Чайковского портретов друзей, артистов всего света и пр., еще—план дома-музея, очерк В. Я. «Поездка в Клин. Февраль 1919 г.»

В высшей степени обстоятельна статья Н. Жегина: «Дом П. И. Чайковского в Клину». Здесь даны подробнейшие сведения о вещах, собранных в музее, при чем описание становится серией любопытнейших и весьма ценных сообщений биографического характера. Тут приведено единственное и большое стихотворение Чайковского «Ландыши». (На отрывок его написан романс Аренского для голоса, виолончели и фортепиано). Интересно также описание музыкальной шутки С. Танеева, поздравившего Чайковского сочинением балета: «День рождения композитора», где действуют герои опер и балетов Чайковского; при чем появление героя сопровождается его темой, так что каждая новая тема вплетается в тему предыдущего лица,— и все это на одной странице.

Затем в книге впервые напечатаны шестьдесят писем Чайковского к А. И. и Н. А. Губерт с предисловием и примечаниями Н. Жегина и С. Попова. А. И. Губерт была долгие годы (с 1889 по 1914 г.) инспектором Московской Консерватории. Питомцы Консерватории, в том числе пишущий эти строки, узнают из писем к ней Чайковского, что он был с ней в самых дружеских и нежных отношениях; он часто поручал ей корректуру своих произведений.

Письма к ней Чайковского ласковы, сердечны, шутливы, и вырисовывают необыкновенно привлекательный образ их автора. Так, даже в годы стесненного материального положения Чайковский оказывал многим денежную помощь, а обилие нищих в Москве совер-

шенно отравляло ему пешие прогулки. Другие черты, сказавшиеся в письмах—внимательная заботливость к друзьям, чуткая любовь к природе, тоска по родине во время пребывания за границей, отвращение ко всякого рода внешней шумихе и суете... В общем, тон и стиль этих коротеньких писем Чайковского чем-то напоминает письма Чехова,—тем более, что им свойственны юмор и мягкое, изящное остроумие. Ничего важного, однако, они в себе не содержат. В этом смысле, т.-е. по значительности данных, замечательна статья Н. Кашкина: «Из воспоминаний о П. И. Чайковском». Она служит существенным дополнением к книге того же автора: «Воспоминания о П. И. Чайковском», изданные более двадцати лет тому назад. Настоящая статья Н. Кашкина посвящена остававшемуся до сих пор совершенно темному в биографии Чайковского эпизоду, именно, его женитьбе на А. И. Милюковой весною 1877 года; при чем совместная жизнь супругов продолжалась всего несколько недель и закончилась сильнейшим нервным расстройством композитора. Почти в бессознательном состоянии он был увезен за границу, где мало-по-малу оправился, но окончательный разрыв с женою был признан необходимым.

Н. Кашкин в своем освещении этого странного эпизода опирается на приводимый им почти дословно длинный и подробный рассказ самого композитора автору статьи, с которым он был в дружеских отношениях. Оказывается, что решающую роль играл сюжет «Евгения Онегина», которым был тогда всецело поглощен Чайковский. Дело в том, что создание оперы началось с письма Татьяны и, получая в это время влюбленные письма от А. Милюковой, Чайковский—как это было обычно для него—отождествил действительность со своим творческим сновидением, т.-е., в данном случае,—влюбленность в него девушки с любовью Татьяны к Онегину. Возмущенный бессердечностью своего героя и прочтя в одном письме А. Милюковой об угрозе ее покончить самоубийством в случае невнимания с его стороны, Чайковский поспешил познакомиться и затем решил вступить с нею в брак, о котором уже мечтал последние годы. Но она оказалась настолько чуждой по своим внутренним интересам Чайковскому, впрочем, вообще настолько странно-безжизненной, что он вскоре же понял свою ошибку и сделал даже попытку на самоубийство, простояв с этой целью в холодной воде Москвы-реки. Но он не простудился, как желал, и вскоре бежав из дому в Петербург, тотчас же заболел по приезде нервной болезнью. Вся эта история сильно повлияла на Чайковского, и с ним стали все чаще повторяться страшные припадки тоски и пессимизма. Таково в общих чертах содержание ценнейшего биографического материала, данного Н. Кашкиным. По его мнению, Чайковский в период его брака был ненормален; супруга его также, очевидно, была ненормальна и действительно закончила не так давно свою жизнь в психиатрической лечебнице.

Если статья Кашкина и не дает, быть-может, окончательного ответа на некоторые вопросы, связанные со смутной историей Чайковского, то все же она достаточно убедительна и правдоподобна.

Книгой воздается достойная память нашему великому композитору, бывшему в течение долгих лет властителем наших музыкальных дум и воспитавшему целые поколения композиторов и, в частности, сильно повлиявшему на гений нашего современника—С. Рахманинова.

Иосиф Эйгес.

ОТТО ГРАУТОФФ. Французская живопись с 1914 г. Перевод с немецкого С. В. Крыленко. Под редакцией и с предисловием проф. А. А. Сидорова. Изд. «Новая Москва». 1923 г. 55+29 стр. Тираж 3000

В предисловии к книжке А. А. Сидоров исчерпывающе отметил, как естественный интерес читателя к ее теме, так и достоинства и недостатки этого издания. Вследствие крайней краткости изложения, Граутофф не обосновывает свои характеристики новых французских живописцев. Он лишь высказы-

вает те или иные положения, иногда меткие, иногда слишком общеизвестные, с которыми читатель, в зависимости от его компетенции в затронутых вопросах, может согласиться или нет.

Но помимо отдельных характеристик живописцев—книжка запечатлена определенной идеей. Она имеет ясно выраженное лицо,—лицо характеризующее самого автора с несколько новой стороны. Идеологическим центром ее можно считать мысль, что «болезнь левизны» во французской живописи перешла уже стадию «кризиса» и ныне начинает рассасываться. Примером тому служит деятельность пост-импрессионистов, подобно Марке, Фламинка, Фриета и др., и работы новых художников, как Дюфи, Тобин и пр. Только такие художники как Глез, Меценже, Брак, Гербен, Леже, составлявшие ядро французского кубизма, неизменно остаются на своих ортодоксальных позициях. Их не касается всеобщий сдвиг к «отрезвлению» и те качанья творческого маятника, которыми отмечена деятельность Пикассо, работающего и как «классик» и как «беспредметник». В этих колебаниях творческой амплитуды Пикассо Граутофф склонен видеть какую-то беспринципность живописца: «становится трудным поверить в серьезность этого художника» (51 стр.). «Энгризм» Пикассо рассматривается, как «катастрофа». Работы Пикассо академического классицизма «не являются преодолением и переработкой того, что дал период искания кубизма».

Итак, констатируется факт того, что условно можно назвать «отрезвлением» от сугубого доктринерства, коим заражены были «левые» течения. Но в «повороте» назад к Энгру и Давиду нельзя, быть-может, не увидеть новый и еще более глухой тупик. В русской живописи «болезнь левизны» настолько потрясла само существо этого искусства, что когда наступила пора «отрезвления» художник вышел совершенно перерожденным: он иначе взглянул на свою работу и отказался от узкой орбиты станковизма. А выйдя на простор широкой производственной работы, русский художник не боится ни натурализма, ни изобразительности, этих недавних жупелов для всего левого фронта. «Катастрофа» Пикассо не в том, что он разветвил свою работу на ряд параллельных и как бы не связанных между собою линий, а в том, что во всех них он остается убежденным станковистом. Вне вопросов социального порядка проблема кризиса живописи решаема быть не может. Между тем Граутофф из орбиты художественно-формальной не выходит.

Во всяком случае книжка пробуждает целый ряд значительных вопросов, из которых весьма существенные были намечены А. А. Сидоровым в его предисловии.

Николай Тарабукин.

БЕРНХАРД БЕРЕНСОН. Флорентийские живописцы Возрождения. Перевод и предисловие П. Муратова. Издание С. И. Сахарова. Москва. 1923. Стр. 105+11 рисунков. 1800 экземпляров.

До последнего времени из работ известного американского искусствоведа русскому читателю были известны лишь две статьи: «Основы художественного распознавания» (Журнал «София» за 1914 г. № 1), другая—о Леонардо да Винчи (в изд. «Парфенон» 1922 г.). Полное же представление о блестящей манере изложения Беренсона, об его восприятии искусства и, что важнее всего, об его приемах анализа отдельных художественных школ может дать лишь лежащая перед нами книга. «Флорентийские живописцы Возрождения»—это один из четырех очерков, первоначально задуманных автором лишь как введения к указателям произведений итальянских мастеров.

Беренсон на редкость умеет быть кратким и сжатым. Он дает категорические и вполне убедительные определения, не останавливаясь на кропотливом анализе стилистических особенностей отдельных произведений. Конечная цель его—не изучение жизни искусства в целом, его общих законов, а наслаждение (в особом смысле этого слова) отдельными произведениями в их наиболее вечной, специфически свойственной лишь данному виду художественного творчества

сущности. Беренсон знает, что многие ищут и находят в живописи драматизм изображенного положения, передачу характера, задевающие чувствительность ассоциации,—словом, все то, что относится к поэзии или музыке. Но он не дает себя обольстить этим «дополнительным элементом художественного наслаждения». Ему чуждо своеобразное мягкосердечие иных историков искусства, стремящихся к всестороннему выявлению *всех* достоинств данного памятника, литературных, бытовых и пр. Американский ученый с суровостью пуританина проходит мимо всего несовершенного, случайного. Он знает, что именно и почему доставляет ему наслаждение. Беренсон не только описывает, определяет, прослеживает эволюцию отдельных направлений, он оценивает и осуждает, не боясь ошибок. Поэтому особый интерес получают те многочисленные отступления от общего изложения, которые автор делает для обоснования критерия своих оценок.

Вся живопись итальянского Возрождения рассматривается не по эпохам, а по школам (средне-итальянская, флорентийская, северо-итальянская, венецианская). Беренсон прежде всего сосредоточивает свое внимание на той общей задаче, которая лежала перед художниками разных веков, но одной и той же местности. В отношении к этой общей задаче целой школы и рассматривается творчество отдельных мастеров. Этим неизбежно в общее построение вводится известная схематичность, а в отдельные оценки—некоторая односторонность.

«Флорентийская живопись была по преимуществу искусством очень крупных индивидуальностей» (стр. 18). Но не только поэтому она кажется особо значительной американскому писателю. Еще важнее то, что флорентийцы «одни самым решительным образом предались изучению специфических проблем изобразительного искусства и более всякой другой школы пренебрегали теми ассоциированными приятными впечатлениями, к помощи которых может прибегнуть живописец» (стр. 23). «Только на форме,—на одной форме сосредоточивали великие флорентийские мастера все свои усилия» (стр. 24). Этот пуризм формы и привлекает больше всего Беренсона. Форма является для него источником специфического эстетического переживания живописи.

Главным делом Джотто была «фигурная живопись». В этом его, по мнению Беренсона, непреходящее значение. И все последующие мастера оцениваются, поскольку они были «поглощены передачей материальной сущности видимых форм» (стр. 34). Перед фресками Мазаччо автор не в силах отделаться от впечатления, что мог бы тронуть пальцем каждую из этих фигур» (стр. 43). Заслуга Фра Анджелико в том, что он «к способности передавать осязаемость вещей... прибавляет огромную прелесть лиц, интерес чрезвычайно живой выразительности» (стр. 39). Доменико Венециано—первый «сочетал осязательность и характерность движений» (стр. 54). Антонио Боллайоло дает одно из первых разрешений проблемы движения. Наконец, Леонардо в Мона-Лизе достигает предела убедительной осязаемости, подобную которой мы найдем лишь у Рембрандта, Веласкеса и Дегаса (стр. 75). К воздействию на нашу осязательную способность прежде всего стремился и Ботичелли, давший идеальные образцы линейно-декоративной живописи, своего рода «линейных симфоний». Вся «энергия рода» сосредоточилась в Микель-Анджело.

Всякие отступления отдельных мастеров от основной задачи живописи резко осуждаются Беренсоном. «Учелло использовал свои способности лишь в целях освещения чисто научных изысканий» (стр. 46). Филиппо обладал лишь «качествами первоклассного иллюстратора». Бальдовинетти—человек, в силу случайных условий занявшийся искусством вместо науки. Привлекательность Гоццоли и Гирляндсайо «лежит вне сферы чистого искусства, в области жанровой иллюстрации» (стр. 72).

Справедливость требует указать на то, что американский писатель отнюдь не утверждает, «будто живопись не доставляет нам никакого наслаждения, кроме удовлетворения нашей потребности осязания» (стр. 26). Специфическую задачу флорентийских мастеров он лишь

выдвигает на передний план, но попутно указывает вскользь и некоторые другие достижения. Так, например, довольно подробно говорится о заслугах Вероккио в пейзаже. Более того: Беренсон восторгается выразительностью образов пороков у Джотто и тем, как Леонардо «написал счастье матери своим ребенком и счастье ребенка ощущать в себе жизнь». Здесь автор подвергает себя риску быть обвиненным в непоследовательности и в запретном наслаждении иллюстративными элементами живописи.

На неполноту оценок, сделанных в книге по отношению к таким художникам, как Учелло, Анджелико и Бальдовинетти, указывается в предисловии Муратова. Там же дана блестящая краткая характеристика всего труда и сообщены необходимые дополнения.

О достоинствах перевода, исполненного автором «Образов Италии», распространяться не приходится.

Особой похвалы заслуживает внешность книги, удачно найденный формат, прекрасная бумага, четкий шрифт. Великолепна обложка, исполненная Фаворским—строгая, простая и на редкость «крепко» скомпанованная. Книжку иллюстрируют десять снимков (чуть-чуть черноватых) с рисунков флорентийских мастеров. Это, конечно, лучшее, что мог сделать издатель для оживления текста.

Л. Розенталь.

М. ФРИДЛЕНДЕР. Знаток искусства. Перевод В. С. Блоха, под редакцией Б. Виппера. Изд. «Дельфин», Москва. 1923 г. Стр. 43. Тираж 2000.

Книжка старого, заслуженного специалиста музееведа, директора берлинских музеев Фридлендера представляет собой блестящий парадокс. Написанная с вдохновением и темпераментом, прекрасно переведенная В. С. Блохом, и еще до перевода им отмеченная («Среди коллекционеров» № 1—22 г.),—читается с интересом. Но она вся насыщена особым «духом», который ряду читателей, по преимуществу из эклектического лагеря, будет весьма близок и приемлем, а другому ряду лиц, более трезво смотрящих на явления искусства, останется чужд.

«Искусствознание плотью и кровью связано с дилетантизмом. Старание превратить изучение искусства в своего рода ученость болезненно и недостойно» (18 стр.). Как это «по вкусу» всей «художественной критике»! Но как это безнадежно заурядно звучит для искусствоведения,—настолько заурядно, что ни одно возражение не пытаешься противопоставить. «Изучение искусства, которое во что бы то ни стало хочет стать наукой, грозит стать наукой, направленной против искусства. Иррационален не только гений, как редкий исключительный случай; иррационально все художественное творчество» (20 стр.). «Все познания не сделают человека знатоком искусства, а не будучи знатоком, нельзя быть и искусствоведом» (19 стр.). Но что же такое «знаток» искусства? Каковы его цели и свойства? «Знаток исследует произведение искусства с целью установить его автора». Средства же для достижения этой цели лежат по ту сторону рациональности. Не только научить знаточеству, но и сообщить о нем что-нибудь ясно формулированное трудно, невозможно. Такого рода интуиция кладется автором в основу здания искусствоведения. «Будем ли мы рассматривать деятельность знатока со стороны ее тенденции, как науку, или со стороны ее метода, как искусство,—во всяком случае она составляет основу научного подхода к искусству» (40 стр.). На этом зыбком фундаменте Фридлендер возводит здание. «Только бедные и ограниченные натуры удовлетворяются ролью знатока. Духовное стремление будет всегда итти дальше к отысканию исторических связей и эстетических законов. Здоровая эстетика и прочно обоснованная история вырастают из опыта знатока» (41 стр.).

Так ли это в самом деле? Не требует ли истинное положение вещей перемещения установленных Фридлендером соотношений между знаточеством и наукой об искусстве. Не знаточество ведет к искусствоведению, а искусствоведение создает знатока. И не есть ли знаток

просто талантливый искусствовед? Такого рода знаточество, вырастающее из основ профессиональной работы, присуще всякому роду деятельности. Не даром сам Фридлендер отдает предпочтение тому знатоку, который стал им «поневоле», т.-е. знаточество выработалось у него в результате его ученой и практической работы. Просто же знатока, действующего по интуиции и на ряде успешных атрибуций создавшего себе имя и пользующегося своим авторитетом вплоть до своеобразного гипноза, такого знатока сам Фридлендер называет «немножко шарлатаном» (16 и 28 стр.). «Знаток поневоле, может-быть, наилучший знаток, во всяком случае он не шарлатан и заслуживает предпочтения перед только знатоком» (42 стр.).

Во всяком случае проблема знаточества—проблема, тесно связанная с искусствоведнической деятельностью. В вопросах атрибуций она приобретает особо важное значение. Но так ли она «иррациональна», как осветил ее Фридлендер? Не проще и не трезвей ли она объясняется?

Николай Тарабукин.

Г. К. ЛУКОМСКИЙ. Москва и деревня в гравюрах и литографиях. 1800—1850. Издание Е. А. Гутнова (Берлин). Стр. 24 (ненумер.)+21 воспр. (нумер.) in 8⁰.

Таково заглавие. Но оно обманчиво. В книжке помещены, оказывается, еще статьи Алекс. Дроздова и Сергея Горного.

Статьи ли это? У Горного, например, нечто в роде стихотворения в прозе под Андрея Белого времен «Серебряного Голубя». «Разве можно забыть»—называется она. «Срубы избяные, воды студеные, травы духмяные». «Не мешай вспоминать, не мешай думать», восклицает автор.

В этом ему, должно-быть, никто не мешает. А. Дроздов вспоминает кое-что другое—«Стрельну», булочную Филиппова, Сухаревку и Трубу, да какой-то «Предтеченский» бульвар, где «вяло ходят уличные девки». Какой, собственно, бульвар имеется в виду?

Эти две статьи ничем не связаны с многочисленными иллюстрациями, которыми снабжена книжка, или, по терминологии Г. К. Лукомского, «Книга о Москве». Трудно сказать что-либо о заметке Лукомского—какие-то обрывки, лоскутки сведений, скрепленные вздохами и невероятными «особенно тонкими» эстетическими замечаниями.

В конце «статьи» Лукомского оказывается, что издание предназначено для иностранцев. Так ли это? Нам кажется, что здесь скрывается нечто другое—«своеобразная» тоска о «своеобразной» родине (см. заметку А. Дроздова). «В Москву, в Москву!» вспоминается возглас чеховских «Трех сестер».

Самое интересное в книжке—воспроизведения с литографий, гравюр, акватинт. Странен только разношерстный подбор их. Впрочем, из «предуведомления» мы узнаем, что иллюстрационный материал взят, главным образом, из коллекции В. Г. Тищенко-Квиль, «собравшей не мало листов в Висбадене и Париже за время с 1919 по 1922 г. «Такое собрание едва ли может рассчитывать на какую-либо цельность!

В конце книжки, лишенной, кстати сказать, нумерации страниц, приложено объяснение к репродукциям, не без лирических восторгов и художественно-критических замечаний в роде «Русский Фрагонар, да и только». Впрочем, не станем приводить их здесь.

Позволим себе сказать несколько слов о внешности издания. Прежде всего бросается в глаза обложка, исполненная Зворыкиным. Она явно претенциозна в своем стремлении к старине, выразившемся в золотом, наклеенном по краям, бумажном ободке. Вместо виньеток и концовок в тексте, всюду помещены двуглавые орлы, рисованные Билибиным. Нельзя, конечно, не согласиться с их декоративным значением, но присутствие их в настоящей книжке не является ли ненужной бравадой?

Еще одно замечание—анекдотическая брошюра, как сказано, отпечатана в ограниченном количестве экземпляров—так ли оно ограниченно?—перед нами книжка, носящая 658 номер.

Д. Греч.

В. МАСЮТИН. Гравюра. Геликон. Москва—Берлин. 1922. Стр. 133. 8⁰.

История гравюры за все время ее существования развертывается по линии, обусловленной, с одной стороны, потребностью в воспроизведении и размножении художественных произведений, с другой—требованиями материала и техники, борющихся против насилий изобразительности за *свой* голос, за самостоятельность, пластическую самоценность этого голоса. В иных случаях мы видим, как то и другое счастливо совмещается. Такова, гл. обр., классическая гравюра рёзцом. Но можно утверждать как общее правило, что преобладание одного из этих начал влечет за собой ущерб для другого.

Развитие фотомеханики целиком отнимает у гравюры ее репродукционную функцию. Отныне всякая гравюра, приспосабливающая свою технику к «воспроизведению», как таковому, обречена на гибель. Раскрытие возможностей материала и техники, как совершенно самостоятельных приемов работы художника—единственное для нашего времени оправдание существования гравюры.

Книга Масютина является своего рода апологией такой самоценной гравюры. В этом ее центральное достоинство. К сожалению, общий характер книги не позволяет с уверенностью сказать—к кому эта апология обращена. Между тем вопрос этот не маловажен, ибо обращение к потребителю диктует подход к теме существенно иной, нежели тот, который был бы уместен, если бы книга претендовала быть руководством для художника-гравера. На стр. 20 указывается, что автор не рассчитывал на читателя-специалиста, заботясь лишь об «ознакомлении интересующихся» с различными родами гравюрной техники. Под «интересующимися» легче всего понимать многочисленный кадр любителей-коллекционеров, чей пафос характеризуется двумя чертами: направлением внимания исключительно на явления старого искусства—во-первых, и глубоким смешением интересов чисто-пластических с иконографическими и историко бытовыми—во-вторых. Нисколько не оспаривая законности рассмотрения явлений искусства с точки зрения полезности их для археологии или истории,—нельзя не приветствовать попытку последовательного применения к ним, в частности к гравюре, тех принципиально-пластических критериев, которыми единственно определяется их собственно художественная значительность. И с этой точки зрения книга Масютина заслуживает всяческого внимания: автор все время акцентирует обусловленность художественных достоинств гравюры ее «логичностью», понимая под последней максимальное использование свойств данного материала. Представляется, что для многих «любителей» книга вскроет глубокую беспринципность таких, напр., вещей, как монотипия, всякого рода карандашные манеры и т. д.

Основная мысль автора о самоценности обнаженного приема иллюстрируется хорошо подобранной серией репродукций (впрочем, сильно теряющих в уменьшении), являющих собою наиболее принципиальные выражения различных техник и материалов.

Так, поскольку книга пытается в старой, репродуцирующей и иллюстрирующей гравюре выделить ее *пластические* качества, и положить их в основу всяких *художественных* оценок—постольку все обстоит благополучно.

Но автор не ограничивается таким пониманием своей задачи: книга имеет в виду не только неопределенную группу «интересующихся», но «художника, желающего попробовать свои силы в гравюре» (стр. 81).

Этим обращением своего труда к художнику, работающему в условиях сегодняшнего дня, автор принимает на себя особую задачу—вскрыть те специфические условия среды, в которых современная гравюра живет, и которые делают ее ничем не похожей на гравюру старую. Этой задачи автор не выполняет.

Он не отделяет в гравюре ее служебную, иллюстративную задачу от задач чисто пластического характера. Поэтому современной гравюре, живущей рядом с фотомеханикой, он оставляет целиком тот же круг деятельности, ко-

торый имела перед собои старая, классическая гравюра. Более того, признавая, что современная живопись ничем не похожа на живопись XVII в., он находит, что «офорты Рембрандта являются вполне современными», объясняя это «консервативностью техники» офорта.

Это означает, что если для живописи самая «манера видеть» в XVII и XX ст. различна, то для гравюры это различие в лучшем случае не обязательно

Глубокое недоразумение лежит в основе таких суждений. Суть его—в том, что при оценке гравюры старой и современной совершенно упускается из виду то различие, которое существует во взаимоотношениях живописи и гравюры в XVII ст. и теперь. Малая дифференцированность художественной культуры XVII в., ее монолитность, обеспечивали живописцу и граверу единство художественного мировоззрения. Отсюда однородность художественных намерений живописи и гравюры того времени. Новые идеи одновременно оплодотворяли живопись и гравюру, и суждение об этих идеях одинаково легко можно составить как по картинам, так и по гравюрам того времени, поскольку речь идет об элементах, общих живописи и гравюре.

Так ли обстоит дело в наше время? Может ли наша гравюра дать хотя бы отдаленное представление о тех, общих всему изобразительному искусству современности проблемах, которые стоят перед ним? Разумеется, нет. По отношению к нему гравюра глубоко провинциальна. Она еще не сознает того, что утилитарный базис, до 50-х годов прошл. стол. определявший ее характер—иллюстрирование книги,—отнят у нее фотомеханикой. Не понимая этого, она все еще стремится сохранить родственные отношения с современным типографским искусством, которому больше не нужна. Этим она ставит себя в двойную зависимость, понятную и неизбежную в прошлом, и совершенно добровольную в современных условиях: от требований иллюстрационности, сюжетности, с одной стороны, и специфических ограничений техники условиями печати—с другой. А это, в свою очередь, влечет за собой невозможность не только разрешить, но даже поставить перед собой сколько-нибудь отчетливо те общие формальные проблемы, которые стоят перед современным изобразительным искусством.

За отсутствием этих проблем она питается поверхностно эстетическими перефразировками способов графического выражения канонизированных историей. Она не видит, что в прообразах своих эти способы отнюдь не содержали в себе никакого поверхностного эстетизма, а были естественной для своего времени формой художественного выражения. Отсюда тот романтический ретроспективизм, печать которого лежит почти на всех проявлениях современной гравюры.

Книга Масютина не только не поможет читателю понять невыгодный для современной гравюры смысл этого ее отличия от гравюры старой, но, наоборот, объяснит его, как нечто вполне закономерное, «консервативностью техники». Но техника не существует вне условий, ее порождающих; и потому, одно из двух: или «техника консервативна», как думает Масютин; тогда судьба гравюры—быть вытесненной из жизни новыми силами, прежде всего фотомеханикой, и медленно умереть в пачках коллекционеров. Или техника найдет в себе гибкость, необходимую для жизни, и тогда отпадет масютинское объяснение сходства современных офортов с офортами Рембрандта. То обстоятельство, что листы Дюрера и Бургмайера обслуживали самые широкие слои грамотного общества, и притом в областях, лежащих сплошь и рядом вне искусства, как такового, тогда как современная гравюра украшает книги, рассчитанные на утонченного любителя, не находя себе места даже в общедоступных книгах беллетристического содержания, не говоря уже о книгах технических и научных, — наводит на мысль, что первое решение альтернативы наиболее вероятно. Если это так, то книга Масютина только подтолкнет гравюру на этом роковом для нее пути. В этом ее осуждение для всякого, кто не уверен, что путь этот неизбежен.

Н. Купреянов.

АННЕНКОВ, ЮРИЙ. Портреты. Текст Евгения Замятина, Михаила Кузьмина, Михаила Бабенчикова. П. 1922. «Петрополис». 4°. Стр. 169+5 нен. 900 экз.

Ю. П. Анненков—бесспорно острейший и тончайший из современных русских мастеров линии. Умный и неожиданно всегда изобретательный рисовальщик, он интересен всюду, где он только ни проявляет себя; собрание портретов его—изданных к тому же почти безукоризненно в типографском отношении—самое примечательное событие истекшего зимнего сезона, может-быть, всех революционных лет. Но, подчеркнем: это в силу достоинств темы. Автором книги является—художник; не он иллюстрирует своими произведениями о нем говорящих писателей, а, наоборот, они, покорные фантоши, следуют его неисчерпаемой графической выдумке; в предисловии, художником написанном, сам он рекомендует свой труд скромным, чуть кокетливо посвящая его своим оригиналам. О, нет; героем книги остается сам художник; острый его один глаз (так циклопом изображает он себя в начале книги) пронизает все собрание портретов; книга—чудеснейшая автомонография; и это помимо всякого дискуссионного характера анненковского творчества. Слишком еще нов и современен художник, чтобы не вызывать иных и многих на протесты; Анненков — злободневнейшая проблема художественного сегодня; мнящийся иным (и нам) близким к высочайшим вершинам искусства, другим виден он только в кривом зеркале своей манеры. Разобраться в Анненкове—первая потому задача всех, ценящих русское новейшее искусство.

Тут как раз и приходится со всею откровенностью сознаться, что решению задачи этой авторы текста анненковской книги почти ничем не помогают. Книга удивительно петербургская, т.-е. написанная литераторами и стилистами, не специалистами и не учеными.—Увы! «манера», ныне выявляется в особой—сказать ли?—*штамп* на каждой странице книге, о синтетизме ли пишет Евгений Замятин,—его плюсы и минусы, и имена многие—напомнят приемы Андрея Белого; вся столь талантливая проза—упражнение в стиле; Замятин описывает «вашу руку» и открывает, что земля—лейкоцит (стр. 27). Анненков—это, очевидно, никто иной, как... Эйнштейн; и если пробует писатель установить некоторые общие над мастером наблюдения (верная, быть-может, но опровергаемая как-то последними «конструктивными» рисунками Анненкова мысль об его «неореализме»), то на фоне парадоксальной мозаики его словесных узоров оказываются они убедительными мало; равно как и анализ отдельных портретов.—«О себе», конечно, и следующий автор, М. Кузьмин; в Анненкове поражает его «поэтическое воображение» (стр. 47). Понятно, что здесь именно и возникает вопрос об иллюстраторстве Анненкова; а параллель с Гогартом и Федотовым через анекдот выдает в писателе — литератора, не знатока искусств изобразительных. Только третий из соучастников анненковской книги, М. В. Бабенчиков, более по существу. Петербургский штамп и здесь налицо; первая глава именуется, конечно, (по Мережковскому!) «художник и чорт»; конечно, и здесь утверждения, что «земля» обязательно «дала трещину», а «нос» путешествует по Петербургу. Розанов—Маяковский, еще кто—бедный Анненков!—В главе «быт» лучшее оправдание текста книги—воспоминания самого художника, написанные ярко и остро. Здесь же скромно приютилась в примечании биография мастера, объясняющая много («Малявин в студенческой тужурке»—как это неожиданно и убедительно сказано про начала Анненкова его учителем!). Зато «наверху»—в тексте—«словечка в простоте» не отыщешь за всячески остроумными цитатами.—В статье Бабенчикова это жаль наибольше. Автор, думается, знал, чего хотел, и мог бы по-иному провести и параллель Анненкова с Шагалом (для нас не очень убедительную) и замечание о выходе из тупика беспредметности. В последнем счете и у Бабенчикова оказывается же *искусство* Анненкова—философским трактатом будто не оскорбление этим нанесено в какой-то мере самой правомерной графической обособленности наших дней.

Книга, конечно, держится все-таки этой последней статьей. Приложенные очень полезные, как всегда, справки заставляют жалеть об отсутствии в книге библиографии Анненкова или, что более правильно, вообще об отсутствии достодолжного объективного анализа анненковского стиля и художественного метода, который вполне возможен на основе современного научного искусствоведения, но не должен быть вводим в рамки, конечно, приветственной в последнем счете рецензии.

Проф. А. А. Сидоров.

ТОМСОН-СЭТОН, Э. Кутенейский баран. Перевод с англ. в переработке Е. В. Тумповской. Москва—Петрогр. Изд-во «Синяя Птица». 1923. 4°. Стр. 31. Иллюстрации В. А. Ватагина (автолитографии).

Книга, которая в сущности есть новый альбом превосходнейшего нашего анималиста-литографа. К ней, в силу этого, отношение двоится; популярный «для юношества» очерк весьма вдохновенного натуралиста сходит на-нет и перестает быть интересным в сопровождении автолитографий, из коих три—цветные, и наличие которых заставит книгу быть искомой скорее любителем графики, нежели просто читателем. Роковой вопрос об оправдании литографий Ватагина в связи с текстом, об их книжности, иллюстративности, литературности — неизбежно встает тем паче настойчиво, что сам американский автор, как известно, усердный рисовальщик, снабдил первоиздание «Кутенейского барана», имеющееся и на русском языке, собственными маленькими набросками, весьма удачно по краткости своей сопровождающими повествование. В силу этого неизбежно *подражанием*—и сказать ли?—не особо *нужным* представляются ватагинские рисунки на полях книги, разбросанные по ней довольно случайно, то вдаваясь в поле печатной полосы, то нет. «Композицию» книги мы не сможем поэтому признать закономерно убедительной, несмотря на наличие в ней весьма авторитетного «художественного редактора». Одно по сравнению с рисунками Томсон-Сэтона хочется сказать В. А. Ватагину, что наброски русского художника оказываются слишком «натуралистичными» для иллюстраций; что в книге на языке условном должен говорить художник. Раз автор индивидуализирует своих четвероногих героев («Шишкорог», «Клинорожка», еще как), то это должно быть признано обязательным и для иллюстратора. В. А. Ватагин снабдил книгу чудесными «вкладными листами» из своих альбомов, посвященных зоологическому саду; полученный «симбиоз» не может никоим образом быть назван органическим. Из вкладных листов только два последних могут еще претендовать на значение иллюстраций. Книгу, несмотря на все достоинства ее художника, следовало бы поэтому назвать—очевидно, по самому замыслу—не особо правомерной. С точки зрения чисто литературной мы, кроме всего, недоумеваем—кому и зачем понадобилось «перерабатывать» вполне неукоризненный текст Томсон-Сэтона; подчеркиваем с точки зрения полиграфического производства, что «вкладной лист» всегда останется чуждым книге, как таковой. Все это заставляет возникать чувство сожаления.

Проф. А. А. Сидоров.

М. КУЗЬМИН и ВСЕВОЛОД ВОИНОВ.—Д. И. Митрохин. Государственное Издательство. Москва. 1922. 4°. Стр. 131. 2000 экз.

Среди художников «Мира Искусства», Д. И. Митрохин, один из очень немногих, не занимавшийся ни станковой живописью, ни театрально-декоративными работами. Он весь отдался книге, он—настоящий «друг книги», всецело посвятивший ей все свое крупное дарование. Так, он иллюстрировал произведения: Андерсена, Афанасьева, Густафсона, Гауфа, Гоголя, Жуковского, Кольриджа, Лермонтова, Пушкина, Анри де-Ренье, А. Толстого и Хемницера, с другой стороны, им исполнена масса книжных украшений, виньеток, заставок, обложек, книжных знаков и издательских марок. Одним словом, только то, что так или иначе имеет отношение к книге

За 18 лет работы им исполнено 246 различных работ, относящихся исключительно к книге. Во всех работах художника, в особенности в самых трудных иллюстрациях произведений писателей, прежде всего видно вдумчивое, проникновенное отношение к взятой теме, осуществление основных положений графики, как работы, в которой, как в гравюре, ничего нет лишнего, случайного, где все рассчитано: каждая линия, каждое пятно, где сила и красота заключаются в ритме линий и соотношении масс и пятен.

М. Кузьмин называет Д. И. Митрохина «сказочником», «излюбленный круг его наблюдений и любви,—говорит он,—касается, главным образом, царства растительного или ковровых комбинаций птиц, насекомых, животных и растений. Нередко повторность этих соединений образует неутомляющий узор полувосточных тканей. И все это не механическая игра калейдоскопа, а теплый и живой гимн детской природе».

Бесспорно Д. И. Митрохин лучший у нас иллюстратор сказок, не даром англичане остановились именно на нем, когда задумали издать русские сказки, но для создания этих очаровательных рисунков мало быть «сказочником», надо быть художником-поэтом, и Д. И. Митрохин—поэт с душой тонкой, чистой и наивной.

Удивительная четкость, какая-то печать особой интимности, а вместе с тем индивидуальности лежит на всех его работах. Линии его всегда стильных рисунков живы, подвижны, а в их комбинациях чувствуется та четкость и острота, которые делают графические рисунки истинно красивыми и изящными.

Настоящее превосходное издание снабжено удачным литографированным портретом художника, рисованным П. И. Нерадовским. Как живой на вас смотрит всегда скромный и несколько застенчивый художник. Книга очень богато снабжена репродукциями—воспроизведено 138 рисунков,—это не только монография, но альбом рисунков художника.

Единственный упрек изданию—это отсутствие указаний на рисунках в тексте к каким именно произведениям они относятся.

В. Ддарюков.

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ.

1. «Спутник Советского Юриста». *А. Пионтковский.*

СПУТНИК СОВЕТСКОГО ЮРИСТА, под редакцией В. Н. Дурденевского и С. М. Берцинского. Систематический и алфавитный указатель-ежемесячник к декретам, распоряжениям, приказам и циркулярам, публикуемым в московской общей и ведомственной прессе, с приложением избранных законодательных и ведомственных актов. Октябрь. 1922 г. Институт Советского Права. Юридическое Издательство Наркомюста. Москва. Стр. 123.

Согласно декрету от 8 октября 1920 г. опубликованием узаконений и распоряжений Советской власти считается напечатание их в Собрании Узаконений, «Известиях ВЦИК», «Экономической Жизни» или в органах Народных Комиссариатов. Помещение иногда очень важных актов лишь в каком-либо одном из указанных источников ставит практических работников советского права перед необходимостью ориентироваться в массе разрозненного законодательного материала, требующего большой затраты времени и сил. Удовлетворить этой практической потребности в ориентировке имеет в виду «Спутник Советского Юриста», к ежемесячному изданию которого приступил Институт Советского Права в результате работ своего отдела Правового Материала, занимающегося кодификацией Советского Права. В первый выпуск «Спутника» вошел материал, опубликованный в официальной печати за октябрь месяц 1922 года. «Спутник» надеется не только продолжать, но и углубить работу,

производившуюся с января по сентябрь 1922 года несколькими разнотипными указателями. Стремлением создать известную непрерывность в освещении материала объясняется выпуск первого № «Спутника» с октября месяца, а не с начала следующего года. Основными частями «Спутника» являются систематический предметный указатель, алфавитно-предметный указатель и избранные ведомственные акты. Систематический указатель разбит на 24 предметных рубрики, дающих возможность легко ориентироваться в текущем законодательстве по отдельным областям советского строительства. Некоторая невыдержанность классификации предметных рубрик приводит местами к излишнему и ненужному повторению указаний на один и тот же декрет. Так, напр., под рубрику «Административное Право» (XI) может быть подведен законодательный материал, помещенный и в рубриках: просвещение, продовольствие, здравоохранение, социальное обеспечение и др. Неясность очертаний предметной рубрики «Административное Право» приводит к тому, что содержание ее носит в значительной мере случайный характер. Так, напр., постановление ВЦИК и СНК об указаниях на уголовную ответственность в законопроектах, постановлениях, инструкциях и распоряжениях, помещенное в отделе «Уголовное Право» (№ 724), излишне помещено и в «Административное Право», или постановление Н. К. Прод. «список должностей Главрыбы и местн. ее органов», помещенное в рубрике «Продовольствие» (№ 118), снова повторяется и в рубрике «Административное Право» (№ 550). Эта повторяемость едва ли может быть оправдана «сложностью по содержанию» соответствующих актов, так как тогда в рубрике «Административное Право» можно было бы с одинаковым основанием повторить $^3/_4$ содержания всего «Спутника». Несмотря на указанные редакционные недостатки, которые к тому же могут быть исправлены в следующих номерах «Спутника», нужно приветствовать новое начинание Института Советского Права, облегчающего работу советского юриста-практика и тем способствующего проведению в жизнь начала революционной законности.

Д. Пионтковский.

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ.

«Леф». Журнал левого фронта искусств. *Вяч. Полонский.*

«ЛЕФ». Журнал левого фронта искусств. № 1. Март. Стр. 252. № 2—Апрель-Май. Стр. 177. Государственное Издательство. Москва. 1922.

В журнале этом объединились представители самой боевой литературной группы наших дней, постоянного и яростного зачинателя всех литературных боев последнего десятилетия. Агрессивная по отношению к остальным течениям, всегда переходившая в наступление и превыше всего почитавшая страсть к разрушению, группа «Леф» выступает в наши дни в качестве организованного и организующего начала революционного искусства (см. статью С. Третьякова во втором №). «Леф», по его словам, оформитель коммунистического мироощущения,—оформитель не идеологический, разумеется, а поэтический. По мысли руководителей, «Леф» должен образцами нового искусства организовывать психику современного человека, воздействовать на нее в направлении, которого требует наша революционная эпоха. Искусство «Леф» хочет связать с революцией, революционизируя самое искусство,—задача, достойная всяческого поощрения и сочувствия, которую нельзя не приветствовать. Но в искусстве постановка задачи—ничто; осуществление—все, т.-е. удается ли «Лефу» убедить нас не своими «словами», а своими «делами». Ни для кого не секрет, что «декларация» и

прокламации» об искусстве набили «оскомину, нас ими не прельстишь, и мы предпочтем крошечный томик подлинных «новых» стихов десяткам увесистых томов эстетических деклараций о новом искусстве.

Скажем откровенно: оба номера журнала неприятно поразили нас именно обилием «словесного» материала. Первый номер открывается декларацией, и «словесная кляуза» не покидает журнал ни на минуту. Это—говорильня, а не «левый фронт искусства». Больше всего угрожающих разговоров о том, как «Леф» *разгромит* своих противников, как он *докажет* всему миру, что он на верном пути в грядущее, и *что должен* делать «Леф» и что он *будет* делать.

«Леф» утверждает, что он «будет агитировать искусство идеями коммуны» и своим искусством «агитировать массы». Он подчеркивает далее, что это будет «действенное» искусство, при чем «Леф» будет бороться за «искусствостроение жизни». Нет поэтому ничего удивительного в том, что т. Сосновский, прочитав эти широковещательные объявления и перелистав затем «практику» «Лефа», пришел в ярость. Помилуйте, «чин-драх», да «бар чум-ба»—это ли именуется в «Лефе» «действенным искусством», не в «бряцальных ли словентах» Каменского скрыто то, что подразумевает «Леф» под «искусствостроением жизни»?

Вопросы эти естественны со стороны читателя, который не подозревает первобытной наивности «Лефа», подносящего ему свои лабораторные опыты в качестве практики «нового левого искусства». Читатель принимает эти опыты как «образцы» и приходит в справедливое негодование—ибо и самому «Лефу» ясно более чем кому бы то ни было, что «бряцальная словента» ни в какой степени искусством, ни левым ни правым, названо быть не может. Это—«опыты», но кто же выносит опыты на улицу? Проделывайте черновую работу в своих кабинетах и выступайте перед читателем только с «генеральной» репетицией. Иначе расчет «Лефа» на то, что он сумеет «агитировать массы», окажется ложным. Словесной балалайкой Каменского, бурлюканьем Крученых и простодушным мычанием Терентьева можно в массах вызвать тот самый эффект, который имеет выразительный литературный памятник в неистовой статье Сосновского «Желтая кофта из советского ситца», помещенной в газете «Правда». Такого ли результата ожидал «Леф» от своей «агитации»?

Все дело в том, что неумная «заумь», которою щегольнул «Леф», ненужна ни самому «Лефу» ни читателю. Вместо того, чтобы схоронить ее в редакционном столе или, выражаясь менее деликатно, спрятать к корзину—ее разложили на прилавке как «первый сорт», и она заслонила в «Лефе» то ценное, что является, думается нам, подлинной практикой «левого искусства». «Настоящие» вещи Асеева, Пастернака, Маяковского, Третьякова, помещенные в обоих номерах журнала, остались в стороне, между тем их достоинств не станет отрицать даже тов. Сосновский, самый жестокий и едва ли не самый несправедливый критик «Лефа».

Но каковы бы ни были неверные шаги нового нашего собрата на литературном фронте—мы приветствуем его появление. Плеяда «Лефа» заключает в себе несколько крупных поэтов, искренно одушевленных идеями пролетарской революции, которые могут похвастать рядом талантливых произведений, с блеском отразивших отдельные моменты нашей исключительной эпохи. Поэты «Лефа» имеют не малые заслуги в прошлом, в деле борьбы с буржуазным эстетизмом, с обветшалыми литературными формами, и молодость литературного течения, ими представляемого, позволяет нам надеяться, что его работа не останется бесполезной в том огромном деле творчества новой культуры, которое ныне мы осуществляем. Этому течению, не менее чем другим, свойственно совершать ошибки, делать ложные шаги; издавать фальшивые звуки. Все это можно исправить дружеским советом, критикой, вовлечением в сферу тесного коммунистического влияния, но не с помощью отсечения головы каковой способ, кажется, т. Сосновский считает наилучшим.

Вяч. Полонский.

НА ЗАПАДЕ.

ГЕРМАНИЯ.

▫ Вместо ушедшего, как у нас сообщалось в предыдущей книжке журнала, из состава членов комиссии интеллектуального сотрудничества Лиги Наций *А. Эйнштейна*, избран голландский врач *Лоренц*.

▫ На исходе весны и в начале лета в Германии происходил ряд съездов. В Берлине в конце мая состоялся съезд врачей-социалистов. Среди прочитанных докладов отмечаем: *проф. Тандлера* (Вена)—«Организация врачебных учреждений»; *д-ра Эпштейна* (Мюнхен) и *д-ра Каутского* (Вена)—«Больничные кассы и врачи». Среди выступлений серьезное внимание привлекла речь коммуниста-врача *д-ра Клаубера*. Съезд происходил под председательствованием основателя Союза *д-ра Цадека*.

▫ На состоявшемся в Регенсбурге съезде библиотекарей Германии и Австрии присутствовали около 160 делегатов. О тяжелом, критическом положении библиотечного дела свидетельствовали все доклады. В особенно трудном положении находятся библиотеки небольших провинциальных центров — народные—городские. Кризис захватил также и сеть ученических библиотек. Для большинства из них совершенно недоступно приобретение новых книг из-за дороговизны. Съезд вынес ряд постановлений, касающихся вопросов кредита, системы расплаты с книгопродавцами и пр., не найдя, однако, каких-либо существенных способов разрешить вопрос.

▫ На конец июня назначен в Бреславле ежегодный съезд союза германских издателей газет. Предполагается большое количество участников, так как в газетном деле Германии накопился ряд вопросов, требующих немедленного совместного обсуждения и разрешения.

▫ В Грейце (Тюрингия) передана государству для устройства музея огромная коллекция политипажей и гравюр, насчитывающая около 6000 листов. Коллекция ранее принадлежавшая *Реусскому* князю (Furst von Reussen), во дворце которого она была найдена после переворота. В коллекцию входит около 800 рисунков эпохи расцвета английской графики.

▫ Майская и июньская книги журнала «Neue Rundschau» полностью посвящены характеристике современной культурной жизни Германии и Австрии. Среди статей имеются обзоры современных музыки, архитектуры, литературы и пр.

▫ Усиленно продолжается разработка с философской точки зрения теории относительности. В последнее время вышел целый ряд философских работ, посвященных теории относительности Эйнштейна в связи с проблемами познания. Среди них отмечаем работу *Алоиза Мюллера*—«Предмет математики в связи с теорией относительности» (*Aloys Muller*—«Der Gegenstand der Mathematik mit Beziehung auf die Relativitätstheorie). Изд-во Vieweg u. Sohn в Брауншвейге. В том же из-ве вышла еще одна работа *Алоиза Мюллера* вторым переработанным изданием: «Философские проблемы теории относительности». В первой из упомянутых работ автор опирается на Риккерта. В из-ве Teubner B. G. в Лейпциге вышла книга *I. Winternitz'a* «Relativitätstheorie und Erkenntnislehre»—«Теория относительности и учение о познании». *К. Vogtherr* в из-ве Otto Hilmann в Лейпциге опубликовал свою работу: «Wohin führt die Relativitätstheo-

rie». «Критические очерки теории относительности с физической и гносеологической точек зрения». В Лейпциге же в из-ве Barth вышло исследование *Hans'a Heining'a*: «Einsteins Relativitätslehre im Lichte der Experimentellen Psychologie und des Philosophischen Realismus» («Теория относительности Эйнштейна в свете экспериментальной психологии и философского реализма»).

▫ Вторым дополненным изданием вышла работа известного философа I. Petzoldt'a «Die Stellung der Relativitätstheorie in der geistlichen Entwiklung der Menschheit». («Значение теории относительности в духовном развитии человечества»)—из-во Barth в Лейпциге. Об упомянутых книгах читатель может найти более подробные сведения в обзоре Arthur'a Jacobs'a в Литературном приложении № 8 «Frankfürter t ung».

▫ В философской литературе обращает на себя внимание работа профессора философии August Messer'a: «O. Spengl r als Philosoph» (Август Мессер—«Освальд Шпенглер как философ»). Подвергая суровой, но не мелочной критике философию Шпенглера, он с особенной тщательностью остановился на его «детерминистической этике» и «гипотезе заката» (доказывая необоснованность последней и определяя философию Шпенглера—как историко-философский натурализм). Точка зрения *Мессера* на Шпенглера совпадает с положениями ряда работ, направленных против перенесенной в философию теории Эйнштейна. Он доказывает, что историко-философский натурализм Шпенглера и вытекающая из него «гипотеза заката», столь же необоснованы как принцип относительности, перенесенный в теорию познания. (Из-ние Herder в Фрейбурге 575 стр.).

▫ В из-ве Felix Meiner'a в Лейпциге в серии философской б-ки вышли три работы K. Vorländer'a. В переработанном и дополненном виде: — «Imm. Kants Leben»; «Vermischte Schriften»—Канта с вступительной статьей, примечаниями и указателем Форлендера и «Kant, Schiller, Goethe» — сборник статей, включающий новую статью о Гёте.

▫ Международное психоаналитическое издательство опубликовало в Вене «Отчет Берлинской Психоаналитической клиники 1920 — 1922», составленный M. Eitingon с предисловием Sigmund Freud'a. Тем же издательством в Лейпциге выпущена новая работа S. Freud'a — «Das Ich und das Es» («Я и Оно»).

▫ В из-ве H. Klemm в Берлине вышли первые шесть томов собрания сочинений, хорошо известной русскому читателю немецкой писательницы *Лили Браун*.

▫ Insel-Verlag в Лейпциге выпустило под редакцией F. Bergemann полное собрание сочинений и писем Georg Büchner'a, в одном большом томе (831 стр.). Для издания использованы все оставшиеся рукописи.

▫ Попрежнему обращает на себя внимание большое количество переводных и оригинальных на нем. яз. работ, посвященных России и русской революции. За последнее время переведены: книга *Л. Троцкого*—«1905 год» (Vereinig. Internationaler Verlaganstalten в Берлине), привлекшая к себе сочувственное внимание широких кругов читателей; «Verlag fur Politik u. Wirtschaft» в Берлине издало работу *Кулишера А. М.*—«Das Wesen des Sowjetstaates» («Сущность советского государства»); Drei-Mascen Verlag в Мюнхене выпустило перевод книги *Ив. Наживина* под названием «Das rote Lachen»—заметки о русской революции 17—21 гг.

▫ Среди оригинальных на немецком языке работ посвященных русской революции отмечаем: изданное в Штутгарте капитальное исследование Wilhelm'a Mautner'a «Der Bolschewismus», включающее следующие отделы: 1) предположения, 2) история, 3) теория, с одновременным исследованием отношения большевизма к марксизму (из-во Kohlhammer'a, 368 стр.), затем интересную книгу Hans'a Kohn'a «Sinn und Schicksal der Revolution». («Смысл и судьба революции»), изданную E. P. Tahl und Co, и недавно вышедшую книгу путешественника Collin Ross'a «Der Weg nach dem Osten» («Дорога на Восток»—Россия, Украина, Закавказье, Персия, Бухара и Туркестан). Книга снабжена иллюстра-

циями и картой и вышла в из-ве Brockhaus в Лейпциге.

▫ Любопытная работа опубликована А. Н. Kober'ом, жившим долгое время в России, во время революции. Он озаглавил свою работу «Unter der Gewalt des Hungers» («Под властью голода»), но рассказывает в своей книге о постепенном изменении душевного, психического мира человека во время революции, и лишь отчасти под влиянием голода.

▫ Из-во Frommann в Штутгарте в своей серии Philosophische Taschenbücher, издаваемой под ред H. Ehrenberg выпустило статью *Ив. Киреевского*, озаглавленную в переводе «Russlands Kritik an Europa».

▫ В из-ве Duncker und Humblot вышли мемуары M. Mandt—врача при дворе Николая I (Мюнхен, 402 стр.).

▫ В Иене в из-ве Diederichs'a вышло два тома дневника *Толстого* за 1895-99 гг. и 1900 — 1903 гг. в переводе и под редакцией L. Berndl'я. В другом из-ве (Sannerz, Verlag Eberhard Arnold) вышли «Письма о религии» *Толстого*, в переводе и под редакцией Karl'a Nötzel'я.

▫ В из-ве Rikola в Вене вышел перевод «Тараса Бульбы» *Гоголя* (переводчик R. Kassner).

▫ В из-ве Georg Muller'a в Мюнхене в переводе E. Marhen вышел роман *Арцыбашева*, озаглавленный в переводе «Familie Wilde».

▫ Вышел в Берлине на немецком языке каталог берлинской выставки К. Коровина. К каталогу приложен очерк *Б. Вышеславцева* («Жизнь и деятельность художника»).

▫ Книга *П. Муратова* «О русской иконе» переведена на немецкий язык и скоро должна появиться в свет. Намечено также французское издание ее.

ФРАНЦИЯ.

▫ Во Франции недавно вышла книга *А. Ларюлю* «Франк-масонство и война», составленная на основании любопытных материалов—анкеты, произведенной автором книжки среди писателей и политических деятелей всех оттенков от социалистов до клерикалов и роялистов. Книжка имеет значенье, опровергая распространенное воззрение на масонство, как на какую-то силу, сыгравшую роковую роль в последней войне.

▫ Недавно происходили выборы новых членов во Французскую академию. На два кресла академиков было четыре претендента. За первое соперничали *Шарль Маррас* и *Жоннар*; выбран последний, несмотря на то что Маррас, несомненно, крупнее по общему признанию, чем избранный претендент. За второе боролись историки: *Абель Эрман* и *Луи Мадлен*. Пока не выбран ни один, так как оба получили одинаковое количество голосов.

▫ Художник *Гус Бофа* выпустил тетрадь «Критических рисунков». В каждом из них он пытается дать графическую характеристику какого-нибудь писателя. Так, например, «характеристику» Марселя Прево представляет... банка модной помады; Анатоля Франса—нагая женщина в громадной библиотеке и т. д.

▫ Известный историк французской революции *А. Оллар* подготовил к печати новую работу, озаглавленную «Теория насилия и французская революция». Она направлена против теории насилия и полемизирует с теоретиками русской революции. На конгрессе ученых обществ в Париже А. Оллар выступил с речью, представляющей собой конспективное изложение этой работы.

▫ *Анатоль Франс* выступил на торжестве при открытии памятника Жоресу в Кармо с большой речью против французской шовинистической политики, против оккупации Рура и пр. Его имя значится также в числе писателей, подписавших посланный американскому правительству протест против заключения в тюрьму У. Синклера,

▫ В конце мая в Париже состоялось открытие памятника Пастеру работы русского скульптора *Н. Аронсона*.

▫ Пастеровские торжества во Франции (100-летие со дня рождения) длились около недели и закончились в начале июня.

▫ Вышли на французском языке воспоминания *Александра Извольского* (б. русского посла в Париже в гг. 1906 — 1910), охватывающие предвоенные годы А. Извольский успел к моменту своей

смерти в Париже в 1919 г. закончить лишь 9 глав воспоминаний. Первые восемь посвящены описанию, главным образом, международного политического положения, внутренней русской политики и дипломатических переговоров довоенного времени. 9-я глава посвящена характеристике Николая II.

▫ Во французских журналах печатался в последнее время ряд статей, посвященных вопросам религиозной политики России последнего времени. Из книг, посвященных России, отмечаем: недавно появившиеся в издании Боссара заметки голландского журналиста *Гродинса* со вступительной статьей *М. Палеолога*. Книга озаглавлена «Война в России и Сибири» и представляет собой дневник, охватывающий период с 15 по 19 годы; нет нужды говорить о ненависти автора к Советской России,—об этом говорит наличие предисловия Палеолога. Вторая из отмечаемых книг принадлежит перу председателя делегации международного Красного Креста, отправленной в Сибирь в 1919 году для выяснения вопроса о возвращении военнопленных—*Монтандона* и называется «Два года у Колчака и большевиков». Книга написана беспристрастно.

▫ Из-во Поволоцкого в Париже подготовляет к печати в переводе на французский язык избранные сочинения *Н. Н. Гарина-Михайловского* и *Гаршина*. В из-ве Боссар выходят в скором времени: книга *И. С. Шмелева* (в переводе на французский), избр. рассказы *Н. С. Лескова*, «Демон» *Лермонтова* (в перев. *М. Семенова*) и «Господа Головлевы» *Щедрина* с пред. *Эдм. Жалу*.

ИТАЛИЯ.

▫ Paolo Toschi собрал все религиозные песни Италии, до сих пор не изданные, «La Poésia Religiosa del Popolo Italiano; Vecchi Canti Religiosi Popolari raccolti da Paolo Toschi (Флоренция, Libreria Editrice Florentina).

▫ Вышла новая книга *Джиованни Папини* (Giovanni Papini), написанная вместе с *Доминико Гюлиотти* (Dominico Guiliotti) «Dizionario dell Omo Salvatico» изд Vallecchi, Флоренция. Одновременно вышел перевод на английский язык книги Папини «Storia di Christo»—«The story of Christ» (изд. Slodder and Stoughton).

АНГЛИЯ.

▫ *Черчилль* издал книгу о периоде, предшествовавшем войне («The World Crisis 1911—1914»—Winston Churchill; изд. Butterworth). Книга эта также переиздана в Америке в изд-ве Charles Seribner's Sons.

▫ В Англии недавно вышла книга Lython Strachey—*Литтон Стречей*, исторический очерк—«Королева Виктория»; книга написана в крайне ироническом тоне и пользуется большим успехом. Автор книги известен старой своей исторической работой «Eminent Victorians». («Выдающиеся люди времен Виктории»).

▫ Кэмбриджский университет собирается издавать исторический журнал (ежегодник) под редакцией H. W. O. Temperley (*Темперлей*).

▫ Вышел второй том «Истории Британской иностранной политики», издаваемой Кэмбриджским университетом «The Cambridge History of British foreign Policy» vol. II. 1815—1866 (изд. Cambridge University Press).

▫ Издан. под редакцией C. и I. Harmsworth (Гармсворт) дневник лорда *Нортклифа*, написанный им во время его семимесячного кругосветного путешествия «My Journey Round the World» (16/VII 1921—25/II, 1922) by Alfred Visconnt Northcliffe (изд. Lane).

▫ Вышел целый ряд книг, посвященных государствам, выросшим на месте прежней Австро-Венгрии 1) «Dismembered Hungary» By Ladislaus Buday. Profess of Statistics at the polytechnic School of Budapest with introduction by Lord Newton. Изд. Gr. Richards. («Расчлененная Венгрия»—*Л. Будэй*, проф. статистики при Будапештском политехникуме, с предисловием *лорда Ньютона*). 2) «Hungary and Democracy» By C. I. C. Street (изд. Fisher and Unwin) с предисловием T. P. O'Connor. («Венгрия и демократия»—*Стрит*, предисл. *О'Коннор*). 3) «Seeds of war». A political Study of Austria, Hungary, Czecho-Slovakia, Rumania and Jugo-Slavia. By Robert

Birkhill, изд. Wallace Gandy. «Плоды войны»—политические очерки Австрии, Венгрии, Чехо - Словакии, Румынии и Юго-Славии —*Роберта Биркхилла.*

▫ Вышла книга «Russia Before Dawn» By F. A. Mackenzie («Россия перед расцветом» *Ф. А. Макензи*) изд. Fisher and Unwin в Лондоне.

▫ Вышла новая книга *Арнольд Беннетта*, содержащая целый ряд маленьких отрывков; воспоминания, описания, размышления: («Things which have interested me» Arnold Bennet. Издание Chatto and Windus).

▫ Вышел очень интересный роман приключений Ferdinand'a Ossendowski *(Ф. Оссендовский)* «Beasts, Menn and Gods» изд. Arnold («Звери, люди и боги»).

▫ Книга венского поэта *Лука* (Emil Lucka) переведена на английский язык под заглавием «The Evolution of Love» (перевод Ellie Schleussner изд. Allan and Unwin).

▫ «Жизнь в цвету» *Анатоля Франса* вышла в английском переводе — «The Bloom of Life», перевод Lewis May (*Л. Мэй*), изд. The Bodley Head.

▫ Из вышедших за последнее время новых книг по философии отмечаем: 1) «The Philosophy of Plotinus» by W. R. Inge, изд. Longmans («Философия Плотина» *В. Р. Инге)* 2 тома. 2) «A study of Kant» James Ward, изд. Cambridge University Press). («Очерк о Канте»—*Джемс Вард).* 3) «Desire and Reason» by Prof. K. I. Spalding. Изд. Kegan Paul («Желание и Разум» проф. К. *Спальдинг).*

▫ Книга французского профессора Charles Baudouin *(Шарль Бодуэн)* одновременно выйдет на французском и английском языке. Перевод Fred Bothwell под названием «The Birth of Psyche». («Рождение Психеи»).

▫ Любопытная книга вышла недавно в изд. Cambridge University Press в Англии: перевод религиозных рукописей с эфиопского языка (большинство этих рукописей хранится в Британском музее). Перевод выполнен членом академии Е. А. Wallis Budge (Е. А. Валлис Будж) и озаглавлен «One hundred and one Miracles of our Lady Mary» («Сто одно чудо девы Марии»).

▫ *Джон Роско*—глава этнологической экспедиции *Макки* в центральную Африку, известный антрополог - исследователь племен Уганда, издал первую часть отчета экспедиции Макки, очень ценную по количеству материала собранного преимущественно о племени Бакитара (Баниоро) «The Bakitara or Banyoro, the first part of the report of the Mackie Ethnological Expedition to Central Africa; by John Rosscoe (изд. Cambridge University Press).

▫ Вышла новая книга по этнографии «The Lango; a Nilotic Tribe of Uganda», By I. H. Driberg. Издание Fisher and Unwin—«Племя Ланго» (одно из племен Уганды).

▫ Вышел том переведенных на английский язык писем *Гогена* к *Даниэль де Монфрид*, выполненный *Р. Пьелково* («The Letters of Paul Gauguin to Georges Daniel de Monfried» Ruth Pielkovo). Издание Heinemann'a.

▫ На английском языке недавно вышла очень полная биография Карузо «Enrico Caruso» By P. V. R. Key a Bruno Zirato, изданный Hurst and Blackett в Лондоне.

▫ Начал выходить журнал по искусству печатанья «The Fleuron; a Journal of Typography». Вышел № 1 за 1923 год (изд. «The Fleuron» St. Stephens House) с целым рядом интересных статей об украшении книги, виньетках и пр. По этому же вопросу и в том же изд. вышла книга Stanly Morison and Holbrook Jackson *(Стенли Мориссон* и *Гольбрук Джексон)*, под названием «Краткий обзор печатанья; история и практика» («A Brief Survey of Printing; History and Practice»).

▫ Из-ва Carnegie Endowment for International Peace и Clarendon Press выпускают под редакцией проф. *Джемса Шотуэлл* (James Shotwell) серию монографий, посвященных мировой войне, преимущественно с экономической точки зрения. Последний из вышедших томов: «Food Production in War» by T. H. Middleton («Продукты питания, во время войны» в Англии *Т. Миддльтона*).

▫ Одна из последних книг *д-ра Юнга* «Психологические типы» переведена на английский язык H. Godwin Baynes *(Байнес)* под заглавием «Psychological Types» изд. Kegan Payl.

▫ Вышли две книги G. D. H. Cole *(Коль)*: по рабочему вопросу 1) Trade-unionism am Munition («Трэдюнионизм»)

изд. Clarendon Press; 2) «Out of Work» («Без работы»). Введение в изучение проблемы безработицы, изд. Labour Publisching Company.

▫ В средине июня вышли в изд. Cassel мемуары *Джорджа Бьюкенена* под заглавием «My Mission to Russia and other Diplomatie memories»; несколько глав этой книги, относящиеся к России, были уже опубликованы в «Times»'е (в связи с нападками на Бьюкенена кн. Палей в «Revue de Paris»). Мемуары вышли в двух томах с большим количеством иллюстраций и содержат периоды работы Бьюкенена в Вене, Риме, Токио, Балканах и России до и после революции.

▫ В из-ве J. and W. Chester в Лондоне вышли два музыкальных сборника, посвященных русской музыке: «Russian Folk Song»«Русская народная песнь», сборник, составленный Rosa Newmarch (перевод ее же). К песням дан фортепьянный аккомпанемент. Другая книжка в том же из-ве и того же составителя посвящена русской опере.

▫ В течение мая вышел ряд новых переводов с русского. В том числе—пьесы *Л. Толстого* «The plays of Leo Tolstoi». Перевод Louise and Aylmer Maude в из-ве Worlds Classics. В том же издательстве—«Семейная хроника» *С. Аксакова*, озаглавленная в переводе «A Russian gentleman» (перев. J. D. Duff).

▫ Из-во Саре в Лондоне выпустило в свет книгу *Д. Мережковского* «14-е Декабря»—«December the Fortlenth» в переводе N. A. Duddington'a. Английские литературные круги отмечают крупные недостатки издания (без всякого предисловия и указаний), а один английский рецензент даже пишет: «Жив ли Мережковский? Последним произведением Мережковского, переведенным на английский язык, явился роман: «Петр и Алексей». Когда же написан этот новый роман — «14-ое Декабря?» До или после революции?»... и пр.

▫ Из-во Саре выпустило также под заглавием «The Diary of Nellie Ptaschkina» перевод дневника русской пятнадцатилетней девушки, опубликованного недавно парижским эмигрантским издательством.

АМЕРИКА.

▫ В литературном приложении Нью-Йоркского «Times'а» («Magazine Section» от 13 мая 1923 года) помещена статья американского журналиста, посвященная подробному описанию наших газет «Известия В. Ц. И. К.» и «Правда». Статья дает любопытное сравненье американских газет с нашими, по содержанию и по кругу освещаемых вопросов.

▫ Литературное приложение The New-Jork Herald помещает статью Avraham Jarmolinsky *(Авраама Ярмолинского)* посвященную *Максиму Горькому* в последнее время. В статье приводятся выдержки «Памфлета Горького о русском крестьянстве», как называет американский журналист недавно опубликованную в Берлине книжечку Горького, а также кусочки из «Автобиографических заметок», помещенных Горьким в «Красной Нови». Тут, кстати сказать, с журналистом произошел маленький конфуз: «*Красная Новь*» он переводит—«The Red Virgin Soil»—т.-е. «*Красная девственная почва*». Статья эта, довольно поверхностная, направлена в защиту Горького «от московских нападок».

▫ Большим успехом в Америке пользуется роман *И. Бунина* «Человек из Сан-Франциско» («The gentleman from San-Francisco»).

▫ Роман *Алексея Толстого* «Хожденье по мукам», переведенный на английский язык Mrs. R. S. Townsend, вышел в Нью-Йорке в из-ве Boni and Liveright. Роман в переводе называется «The Road to Calvary» и привлекает к себе большое внимание.

▫ В из-ве Thomas I. Crowell в Нью-Йорке в переводе N. Hascel Dole вышел том драматических произведений *Льва Толстого* под названием The Dramatic Works of Lief N. Tolstoi

▫ В из-ве A. Knopf в Нью-Йорке вышли переводы «Мертвых Душ» (в двух томах) и «Тараса Бульбы»—*Гоголя*. Перевод выполнен C. Garnett. Это же издательство выпускает перевод собрания сочинений Гоголя.

▫ В из-ве Macmillan в Нью-Йорке вышла книга. бар. *Сергея Корфа* «Autocracy and Revolution in Russia». Происхожденье и пути русской революции.

▫ Louise Bryanto публиковала в из-ве T. Seltzer книгу «The Mirrors of Moscow»—«Зеркало Москвы», в которой дает ряд очерков - характеристик советской Москвы и ее деятелей—в том числе тт. Ленина, Троцкого, Калинина, Луначарского, Коллонтай и др.

▫ Премия имени американского писателя *О. Генри* (недавно был переведен ряд произведений его на русский язык, в том числе том рассказов, роман «Короли и Капуста» ит. д.), учрежденная «Обществом науки и искусства» в Нью-Йорке присуждена за 1922 год в размере 500 ф. ст. Irwin S. Cobb за рассказ «The Snake Doctor» («Змеиный доктор»); в размере 250 ф. стер. Rose Wilder Lane—за рассказ «Innocence» («Невинность»), и 100 фунт. стер.—F. R. Buckley за рассказ «Gold Mounted Gun». Все три премированные рассказа—выйдут в одном томике в из—ве Doubliday Page and Company в Нью-Йорке.

▫ В виду большого интереса, вызванного романом Sinclair Lewis'а «Баббит», переиздан том ранних его произведений: «Our Mr. Wrenn», «The Trail of the Hawk», «The Job»—три рассказа в одном томе. Из - во Harcourt and C° в Нью-Йорке.

▫ В из-ве Dodd, Mead and C° в Нью-Йорке вышел новый роман *Джером К. Джерома* «Anthony John» («Антоний Джон»). Роман написан в тенденциозно-моральном, нравоучительном тоне и является малоудачным произведением этого знаменитого писателя.

▫ Большим успехом в Америке пользуется том рассказов John Russel'я. *(Джон Россель)* «In dark Places» («В темных местах»), вышедший недавно в Нью-Йорке в из-ве A. Chopf.

▫ В из-ве Century Company вышел в самом конце мая роман Gilbert'a Frankau «The Woman of the Horizon» («Женщина горизонта»). Автор этого романа привлекает к себе в Америке значительное внимание.

▫ В из - ве A. Knopf'а вышла книга психоаналитика Джемса Оппенгемйа «Ваши скрытые силы» (Your Hidden Powers»—James Oppenheim). Точка зрения автора несколько отличается от Фрейда, Адлера и Юнга. Книга написана популярно.

▫ Professor Roland B. Dixon опубликовал в из - ве Чарльза Скрибнер в Нью-Йорке свое исследование: «Racial History of Man» («История человеческих рас»).

▫ Университет Чикаго для своей библиотеки имени Harper'a приобрел редкую коллекцию первых изданий О. Бальзака в количестве 117 томов известную под именем *«Коллекции* Croue».

▫ Все неизданные произведения недавно скончавшейся писательницы Katherine Mansfild (Мэнсфильд) выйдут в изд. A. Knopf. Первым томом выйдет сборник рассказов под заглавием «The dover nest» (Голубиное гнездо).

▫ В Америке сейчас большой интерес к испанской литературе и драме в особенности. Так, вышел уже третий том пьес Jacinto Benavente (*Бенавенте)*, который всюду встречается с большим интересом (перевод на англ. исполнен Garrett Indchill изд. Charles Skribners Sons, Нью-Йорк). Один из театральных журналов «Theatre Magazine» в майском номере дает интервью с Jacinto Benavente на тему о современной драме, в котором Бенавенте, между прочим, говорит, что расцвет испанской драмы начался лет двадцать спустя после американско-испанской войны, и что американская и европейская драма сейчас переживают период, сходный с концом прошлого века в Испании. Бенавенте считает русское влияние на современную европейскую драму более сильным, чем романское. Большим вниманием также пользуются два тома драм Gregorio Martinez Sierra, вышедших на английском языке в изд. E. P. Dutton and C°. Нью-Йорк (в переводе I. G. Undchill и Helen и Garnville Barker). Cuepra на ряду с Бенавенте, братьями Joaquin и Serafin Alvarez quintero, пользуется наибольшей известностью в Испании. Кроме большого количества оригинальных драм, его перу принадлежат переводы на испанский драматических, произведений Метерлинка, Шекспира и пр. Работает он в литературе совместно с своей женой Maria Martinez.

▫ В одном из литературных приложений к New-York Times за май помещена большая статья I. Brainin об известной испанской писательнице Concha Espina, которая уже дважды удостоена премией

испанской академии. Ее последний роман «Dulce Nombre» вышел в изд. Gil-Blas в Мадриде.

СРЕДИ ЭМИГРАНТОВ.

▫ Вопросы репатриации захватывают все более и более внимание самых различных кругов эмигрантов. Последние майские собрания объединенных представителей 15 общественных организаций (т. н. «Объединенных общественных организаций») были полностью посвящены вопросам репатриации. На заседании отмечалось особенно тяжелое, катастрофическое положение беженцев в Польше и Румынии.

▫ «Тяга в Россию с новой силой вспыхнула в душах той части зарубежной интеллигенции, которая еще не окончательно растлена эмигрантской жизнью»— было сказано на одном из собеседований, устраиваемых союзом русских студентов в Берлине. На всех докладах зарубежных «политиков», самых разнообразных толков, аудитория все чаще выдвигает вопрос: возвращаться ли в Россию? И как возвращаться?

▫ Упомянутым выше союзом русских студентов устраивались в течение мая следующие собеседования: «О возвращении в Россию», «О религиозном вопросе в России», «О схоластике и реализме в Русской жизни» и др. Среди выступавших—*В. Б. Станкевич*, *Д. В. Кузьмин-Караваев*, *Ст. Иванович* и многие другие.

▫ В русской религиозно-философской академии состоялся доклад *Н. Бердяева* «Христианство и социализм». Оппонентами выступали *С. Л. Франк*, *Л. П. Карсавин*, *С. К. Гогель*, *Б. П. Вышеславцев* и др. В «Русском научно-философском об-ве» выступал *Л. П. Карсавин* с докладом на тему «Проблема философии истории». *Ф. Степун* читал свою лекцию «Трагедия и Современность» и в Париже.

▫ Следует отметить любопытное недовольство, которое охватило различные политические группировки эмиграции по отношению к кучке интеллигентов, объединяемой религиозно-философской академией. Парижская и берлинские газеты кадетов, эс-эров и пр. поместили ряд резких статей, направленных против «проповеди» *Н. Бердяева*, *С. Франка*, *Ф. Степуна* и др. и в защиту... «социализма» и «демократии» (разумеется, не настоящих, а ковычечных). Газетные полемисты усмотрели в выступлениях «академии»—«какое-то приятие русской революции в плане нео-славянофильства». Этот неожиданный пассаж вызван тем обстоятельством, что «философы» из «академии», оказывается, признают «необычайный размах большевизма» и ощущают Октябрьскую революцию, «как характерную национальную тему» (слова *Ф. Степуна*).

▫ Для завершенья картины «болтливой жизни», как окрестили сами эмигранты зарубежное бытие—два любопытных факта: *А. И. Куприн* напечатал в недавно организованной, парижской монархической «Русской Газете» статью, в которой проповедует «необходимость учрежденья временной монархической диктатуры; найти человека доброго (?) и самоотверженного, который принял бы на себя бремя...» и т. д. А другой русский писатель—*Ив. Бунин*, тоже сотрудник этой «Русской Газеты» поспешил письмом в редакцию берлинского эмигрантского органа заявить: «Ни за какие статьи «Русской Газеты» ответственность на себя не беру»... «...мое имя там просто (?) в числе сотрудников».

▫ В выпедшей в Берлине недавно, первой книге журнала «Беседа» помещена, между прочим, статья *Андрея Белого* «О «России» в России и о «России» в Берлине», в которой с большой горечью и очень резко он говорит о безнадежной мертвости духовной жизни зарубежной интеллигенции; о жестокости, окостенелости и тупости умственной и житейской, с которыми ему пришлось на личном опыте неоднократно встретиться в Берлине, и противопоставляет этим впечатлениям положительную картину духовной жизни «России» в России».

▫ Среди студенчества попрежнему острая нужда. Берлинская организация Europ. Studentenhilfe, как у нас сообщалось в прошлой книге журнала, находится в резком конфликте с поддерживаемыми ею студентами. Недавно она

снова потребовала в 3-дневный срок переезда в Темпльгофские бараки всех тех студентов, которым переселение назначено. В случае неисполненья, студенты окончательно будут лишены помощи этой организации.

▫ В Парижских университетских кругах подготовляется «Славянский философский конгресс». Созыв такого конгресса был предположен еще на международном философском съезде в Болонье в 1911 году. Тогда была выбрана комиссия по подготовке конгресса (от России в комиссию входил *Н. О. Лосский*). Чешский философ *проф. Углерж* в большой газетной статье защищает идею такого съезда, мотивируя его необходимость «особенностями славянской философии».

▫ В Париже существует «О-во Русских студентов для изученья и упроченья славянской культуры». Почетный член этого об-ва—*А. Куприн*, на одном из последних вечеров, читал свою новую повесть.

▫ Из состоявшихся в Париже за последнее время докладов и лекций отмечаем: *А. М. Кулишера* «Кризис демократии», «Социальная природа и социальная эволюция Советской власти»; *Н. Д. Авксентьева* «Демократия и социализм»; *ген. Головина* «По истории Европейской войны»; *Б. Гуревича* «Социальные и религиозные итоги революции»; *Ан. Левинсона* «По истории живописи» (Раннее Возрождение в Италии); Вечер *К. Бальмонта* при участии ряда музыкантов и др.

▫ В печатаемой из-вом Гржебина биб-ке «Летопись Революции» вышли и готовятся следующие новые книги: *Георгий Покровский* «Деникинщина» (год политики и экономики на Кубани 1918—1919), *В. Войтинский* «Годы побед и поражений» (3 тома), *В. Я. Гуревич* «Гражданская война на востоке (1918—21 гг.), *М. С. Маргулиес* «Год интервенции на Юго-Западе России и наступление Юденича на Петроград». Три тома. Материалы и документы. Затем воспоминания *Н. С. Русанова* (три книги), *П. Б. Аксельрод* (4 кн.) и др.

▫ Пр.-доц. *С. О. Загорский*, работающий в Женеве в Международном Бюро Труда при Лиге Наций заканчивает исследования о положении рабочего вопроса в России в 1914—17 гг. и о современном экономическом положении России

▫ Пр.-доц. *Е. Винавер* заканчивает работу по истории средневекового романа и печатает книгу о Тристане.

▫ *И. Наживин* закончил первую часть своего романа из жизни Распутина.

▫ В готовящемся к печати Берлинском альманахе «Кубок» будут напечатаны, между прочим, переводы ряда романтиков: *К. Брентано, Жерара де Нерваль, де Мюссе, Ч. Лемба* и др. В числе участников альманаха: *Бунин, Белый, Волошин, Ремизов, Цветаева* и мн. др.

В С.С.С.Р.

ЮБИЛЕЙ В. Г. БЕЛИНСКОГО.

▫ В память 75-летней годовщины со дня смерти В. Г. Белинского 13 июня в Москве состоялось объединенное заседание Российской Академии Художественных Наук и Общества любителей Российской словесности, на котором вступительное слово о В. Г. Белинском произнес А. В. Луначарский, остановившийся на эпохе, когда на смену дворянству пришел разночинец, человек из народа. Таким человеком был Белинский. Пролетарий, с детства испытавший нужду, Белинский скоро обогнал других в своей прозорливости и оппозиционности. Обрушивающемуся с резкой критикой на существующий порядок, «неистовому Виссариону» не на кого тогда было опереться. Только теперь можно оценить ту пророческую силу, которую вкладывал в свою критику этот лучший из русских разночинцев.

Президент Академии П. С. Коган в своем слове на тему: «От идеализма к

материализму» обрисовал путь развития личности Белинского. П. Н. Сакулин сделал доклад на тему «Проблема искусства в критике Белинского». На тему «Белинский в потомстве» сказал небольшое слово Н. Л. Бродский.

В заключение артист Сумбатов-Южин прочитал отрывок из статьи Белинского «Мочалов в роли Гамлета».

Осенью, когда предполагается открытие памятника Белинскому и будут происходить юбилейные торжества, Академией устраивается выставка, где будут собраны печатные сочинения Белинского, его портреты, рукописи, реликвии.

Академическая комиссия готовит к печати сборник «Памяти Белинского» с неизданными текстами и разнообразными статьями. Печатается, под редакцией Н. К. Пиксанова обширная «Летопись жизни Белинского», заключающая в себе хронологическую канву к биографии и творчеству критика. Затем готовится к печати, под редакцией Н. Л. Бродского, двухтомное издание избранных произведений Белинского.

К юбилею вышли из печати следующие книги: 1) «Виссарион Григорьевич Белинский» (изд. «Основа», Иваново-Вознесенск); 2) Г. В. Плеханов. «В. Г. Белинский». Сборник статей (Госиздат); 3) Белинский. Критические статьи. Герой нашего времени. (Госиздат); 4) Белинский. Горе от ума. Со вступ. ст. И. Кубикова. (Госиздат); 5) Иванов-Разумник. Книга о Белинском. (Изд. «Мысль»); 6) П. Коган. Белинский. (Изд. «Красная Новь»); 7) В. Белинский. Письмо к Гоголю. С предисл. П. Когана (Изд. «Красная Новь»). «О Белинском». Сборник к 75-летию годовщины смерти Сост. Библиографической Комис. Петрогубполитпросвета (Госиздат).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ УЧЕНЫХ.

Центральный Дом Ученых фактически работает с сентября месяца 1922 года, т.-е. со времени начала научной жизни в столице, после летнего ее затишья.

Основной задачей Дома Ученых является—духовное объединение деятелей науки и искусства на почве различных форм культурного общения; но он ставит также своей целью и содействие к распространению научных знаний среди широких кругов населения.

В соответствии с намеченными задачами—работа Дома Ученых протекает в следующих формах: 1) в клубной деятельности, 2) открытии библиотеки-читальни и 3) в устройстве научно-популярных лекций.

Членами клуба могут быть все лица, зарегистрированные в качестве научных работников.

Деятельность клуба проявляется в устройстве: лекций по отдельным, наиболее животрепещущим вопросам науки и общественной жизни, литер.-художественных вечеров, посвященных чтению писателями своих новейших произведений или историко-литературным сообщениям, концертов и лекций по музыке, семейных вечеров и экскурсий. Семейным и лит. - художественным вечерам отведено по одному дню в неделю, а научным лекциям и музыкальным вечерам—по 2 дня в неделю.

До настоящего времени были прочитаны следующие научные лекции и доклады: ак. П. П. Лазарева—«О принципе относительности», «О Курских магнитных аномалиях», «Значение математики в медицине»; проф. *Н. К. Кольцова* «О пересадке глаз и головы у животных», «Новейшие работы в области оперативного омоложения человека»; проф. *А. А. Михайлова* «Новейшие успехи астрономии»; проф. *Б. И. Словцова* «Тейлоризм в умственном труде»; проф. Берлинского ун-та *Фохта*—«Исследование мозга и психология»; проф. *Чичибабина* «Новейшие достижения в области органической химии»; проф. *Россолимо* «Об исследовании способностей в связи с задачами евгеники и выбором профессии»; цикл докладов, прочтенных на заседаниях русск. Евгенич. об-ва (проф. *Юдина* «О наследственной конституции человека»; акад. *Северцева* «Новейшие течения в теории эволюции»).

Были организованы литературно-художественные вечера, посвященные чтению своих неизданных произведений писателями: Евг. Замятиным, И. А. Новиковым (новая комедия «Веселая Ярмарка»), Лидиным, Шкляром («Музыкальные пузыри»), Пришвиным («Голубые

бобры»), Б. Пильняком, Никитиным и А. Толстым; несколько вечеров из цикла «Сказка-складка», посвященных произведениям Достоевского, Андерсена и др.; доклад Л. П. Гроссмана «О последних открытиях в области изучения жизни и творчества Ф. М. Достоевского»; вечер, посвященный памяти А. Н. Островского, с участием артистов Малого театра, и вечер, посвященный А. Чехову, Гамсуну, А. Блоку и В. Маяковскому, с участием артистов 1-ой студии Художественного театра.

Устроенные концерты были посвящены произведениям русских и иностранных композиторов. В качестве исполнителей приняли участие известные музыкальные деятели—Ипполитов - Иванов, Брандуков, Игумнов, Гольденвейзер и др.

Помимо лекций, вечеров, концертов и т. п. в Доме Ученых происходили собрания обществ: Евгенического, Лингвистов, Невропатологов, «Друзей книги», Юридического, Зоологов. Научно-популярные лекции для широкой публики начались в конце ноября пр. г. Лекции эти устраивались в Доме Союзов и в двух районах. Были прочитаны следующие лекции: проф. *Кулагина* «Борьба за существование среди животных организмов»; Н. М. Федоровского «Техника на Западе» (2 раза), проф. *Шилова* «Власть человека над химическим веществом»; проф. *Ильина* «Материя и энергия»; Ак. *Павлова* «Реки и люди»; *Кожевникова* «Жизнь и смерть»; *В. К. Никольского* «О первобытном человеке»; пр. *Россолимо* «О выборе профессии»; *П. С. Когана* «О современной литературе» (2 раза), «Новейшие течения в художественной литературе».

Лекции эти происходили при полной аудитории (400—500 ч.).

В целях удовлетворения запросов наиболее широких кругов научных работников, предположено в ближайшее время расширить программу научных лекций и докладов, пополнив ее сериями лекций, посвященных вопросам медицины, истории русской и иностранной литературы, новейшим течениям в области живописи и т. д.

При Доме Ученых функционирует библиотека, насчитывающая несколько тысяч томов книг и журналов; те и другие преимущественно на немецком и французском языках. Состав книг, за небольшими исключениями, научного характера. Преобладают книги по естественным наукам (2.780 книг), медицине (125 книг) и истории (107 книг). Из текущих журналов (общих и специальных) 13—на русском языке, 43—на немецком и 2—на французском.

В настоящее время библиотека выписывает из-за границы около 60-ти иностранных журналов—общих и специальных из Европы и Америки.

Из русских периодических изданий получаются «Пролетарская Революция», «Печать и Революция», «Красная Новь», «Былое» и проч.

Открытие этой библиотеки, несомненно, отвечает той острой потребности в ознакомлении с новейшей иностранной и русской научной литературой, которая существует у большинства научных работников.

В заключение необходимо упомянуть об открытых при Доме Ученых двух общежитиях для ученых, приезжающих в Москву для продолжительных научных занятий. Помещение в общежитиях предоставляется бесплатно.

Работой Дома Ученых в целом руководит Правление в составе председателя Н. А. Семашко и членов—профессоров И. И. Гливенко, П. П. Лазарева, П. С. Когана, Н. К. Кольцова. Работой же клуба непосредственно ведает Совет старшин.

Таковы пути, по которым Дом Ученых развернул свою деятельность и осуществляет свою основную задачу—тесное сближение деятелей науки и искусства на почве различных форм культурного общения. Дом Ученых по мысли его основателей, должен стать тем центром, вокруг которого сможет объединиться разобщенная и распыленная масса представителей квалифицированного научного труда.

ИЗУЧЕНИЕ ИСКУССТВА ЗА ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ.

▫ Российская академия художественных наук организовала специальную комиссию при социологическом отделении для собирания и научной разработки всех материалов, касающихся жизни искусства за годы революции.

В первую очередь комиссия займется материалами, относящимися к художественной политике (декреты, инструкции, распоряжения, декларации, история органов, ведавших областью искусства и т. д.). Далее следуют материалы, касающиеся профессиональных организаций (Всерабис и др.), и, наконец, материалы, относящиеся к художественно-революционным течениям во всех видах искусства и к отдельным представителям этих течений (пролеткульт, революционно-художественные направления, театры, журналы литературные, театральные, музыкальные, изобразительных искусств и кинематографические, полный библиографический указатель и т. д.),

Богатый опыт нашей революции должен быть учтен во всей полноте и послужить основой и у нас и на Западе для дальнейшего развития строительства в духе идеалов «Октябрьской революции.

Академия обратилась ко всем учреждениям, организациям и частным лицам с просьбой доставлять имеющиеся у них материалы и сведения.

РОССИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА.

Российская Центральная книжная Палата (см. «Печать и Революция» 1922 г., кн. I и VII), после произведенной реорганизации 15 февраля 1922 года, разбилась на три отдела, объединенных единоличным заведыванием: 1) отдел регистрации, 2) отдел редакции, 3) отдел архива и библиотеки. В таком виде структура Палаты сохраняется по на стоящее время; за эти $1^1/_2$ года данная организация значительно окрепла и яснее определила пути своей работы.

В настоящее время Палата регулярно и своевременно получает соответствующие экземпляры произведений печати. Она получает по 25 экземпляров «книг» и по 9 экземпляров «брошюр», которые за исключением одного экземпляра распределялись ею между главными книгохранилищами Республики. Экземпляр, остающийся в Палате после прохождения через редакционный отдел, в котором он библиографически описывается, индексируется по международной десятичной системе, поступает затем для хранения в архив Палаты.

Издательская деятельность республики представляется по данным Палаты за первые три месяца в следующем виде 1923 г. Общее количество печатн. единиц, прошедш. через отдел регистрации Кн. Палаты:

Январь	7.863
Февраль	9.170
Март	9.991
Всего:	27.024

Из этого количества описано в №№1—6 «Книжной Летописи» за 1923 г.—2.912, которые по характеру изданий распределяются следующим образом:

I. Книг, брошюр и листов общего характера—1.632

II. Документально - ведомственной литературы, отчетов, уставов и проч. изданий официального характера—1.049.

III. Плакатов, карт, планов, портретов, открытых писем и проч.—114

IV. Нот—117.

За тот же период (январь—март) 1922 года прошло через Книжную Палату 6.866 печатных единиц. Всего за 1922 год прошло через Палату—58.205 печатных единиц; за 5 первых месяцев 1923 года—56.600.

Книжной Палатой издается периодический орган «Книжная Летопись».

В 1922 году вышло из печати 29 номером (нормально 24 номера в год).

Незакончены еще 1921 и 1922 годы. Книжная Палата надеется к концу 1923 года наверстать все пропущенное и издать по крайней мере один указатель (к 1924 году).

Обилие поступающих в Палату материалов и ограниченность штата привели к необходимости сократить количество описываемого материала.

В связи с сокращением описываемого материала Книжная Палата обратила особенное внимание на организацию своего архива, где бы хранились, систематизировались и делались легко доступными для пользования все материалы как описываемые «Кн. Летописью», так и непопавшие на ее страницы. В недалеком будущем архив этот должен превратиться

в подлинный «Архив Печати Республики».

Вместе с этим намечается открытие ценнейшей в России специально-библиографической библиотеки, которая составлена из знаменитых частных библиотек бывш. гр. Шереметьева и библиографа Н. Лисовского и насчитывает 16.834 издания, из них на русском языке—12.352, и является богатейшей в России специально-библиографической библиотекой.

В 1923 г. возник в Книжной Палате проект организации международного книжного обмена. Наркомпросом предложено Книжной Палате сделать первые шаги—снестись с соответствующими иностранными учреждениями. Палата по этому поводу начала уже попытки установления связи.

С апреля месяца при Книжной Палате создана комиссия из специалистов для рассмотрения проекта (М. М. Добраницкого) классификации явлений русской революции по международной десятичной системе. Результаты работ комиссии будут в конечном итоге препровождены в Международный Библиографический Институт (в Брюсселе) для включения в предположенное новое издание «Manuel'я».

В июне 1923 года Книжной Палатой организована была первая (после 1915 года) отчетная «Выставка произведений печати РСФСР 1922 года». Удалось экспонировать лишь одну треть полученных Палатой изданий 22 года в виду недостатка помещения. Издания на выставке были разбиты для обозрения по отделам десятичной системы.

Наиболее полно представлен, очевидно по случайности, отдел искусства. Обращает на себя внимание роскошный альбом с рисунками изделий фарфорового завода, «Индия» работы художника Ватагина. Представлены частные издательства (Аквилон, Петрополис), занимающиеся выпуском изящной литературы. Литературный отдел Госиздата представлен серией книг—«Всемирная литература», в которую входят классики: Гёте, Золя, Байрон и современные писатели: Анатоль Франс, Ромэн Роллан, Барбюс, Синклер, Б. Шоу и другие.

В отделе общественных наук имеются сочинения Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, Каутского, по истории революционных движений и т. д.

Выставка снабжена была диаграммами, из которых мы узнаем, что в 1922 г. к январю месяцу мы имели выпущенными 2.467 названий книг, к декабрю—8.192 книги, а к маю 1923 г. уже 16.848 названий.

В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ.

В помещении об-ва состоялся доклад члена об-ва К. Н. Дерунова «Французская и англо-американская системы каталогизации книг». Доклад собрал многих специалистов библиотечно-книжного мира и вызвал, как всегда бывает на заседаниях библиографического об-ва, оживленный обмен мнений.

„КУЗНИЦА".

На последних собраниях кружка читали свои произведения: поэт Санников—1 и 2 часть поэмы «Мертвые повелевают»; писатели Клюев и Малышкин—свои рассказы; А. Каргополов прочитал рассказ «Суметы»; Молодцев—рассказ «Зоревой день» и поэт Проскурин—большую поэму «Моя поэма». Подготовлен к печати сборник «Кузница», в который вошли произведения: Каргополова — повесть «Земной трясс», Н. Ляшко «Чертовщина», Петровой «Маляр», П. Ярового «В горном блеске», М. Сивачева «Сказки юности», П. Низового «Митяткино озеро», Дмитриева «За счастьем», Дорохова «Потоп» и Макарова «На весеннем солнце». Стихи Филипченко, Кириллова, Герасимова, Обрадовича, Полетаева, Санникова и Садофьева.

Группой «Кузница» закончены работы по составлению декларации, выясняющей основные принципы для объединения под флагом «Кузницы» широких пролетарских масс. Декларация выдвигает, как основу пролетарского творчества, на ряду с идеологической программой ряд теоретических литературных положений, которые были принципами работы группы.

Редакционная коллегия «Кузницы» приступила к работе по составлению антологии «Труд и Борьба», в которую войдут прозаические и поэтические шедевры русских писателей, отображающие условия труда и борьбу за освобождение рабочего класса.

В «Кузнице» переизбрано правление группы. В новое правление вошли: председатель—поэт Ив. Филипченко, заместитель—беллетрист Н. Ляшко, секретарь—поэт Г. Санников, члены правления: поэт В. Кириллов и армянский поэт Г. Айкуни; кандидаты: беллетрист М. Волков и поэт С. Обрадович.

И. Филипченко готовит сборник «Голова» и заканчивает поэму «Марш мира».

Г. Санников написал две части поэмы «Фата - Моргана» и работает над последней третьей частью; готовит к печати сборник стихотворений.

МОСКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.

▫ М. А. П. П. объединяет группы «Октябрь», «Рабочую Весну», «Молодую Гвардию» и др.

На ее собеседованиях читали: Ф. Березовский—«Бабий заговор», рассказ из жизни старой сибирской деревни, и Алексей Волжский—«Зеленые», рассказ из жизни красных партизан на Кубани во время деникинщины.

ГРУППА «ТВОРИ».

▫ На заседаниях группы были прочитаны следующие произведения: А. Пучковым рассказ «Волна» из мещанско-провинциальной жизни; А. Молодцовым—Вечерний отрывок из поэмы «Клык поэта»; Зенюком—отрывки из поэмы «Война»; Дмитриевым—рассказ «За счастьем» из жизни городского люмпен-пролетариата; Н. Жуковым—рассказ «Ветром брошенный с обрыва» (воспоминания летчика). На-днях выходит из печати второй сборник группы «Твори».

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ КРЕСТЬЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.

▫ На последних собеседованиях читали т. Нефедов сказки в стихах: «О заколдованном кладе и о Липате-худой заплате», которую можно рассматривать как попытку создания нового мужика-героя в духе «Бовы-королевича», т. Минаев отрывок из рассказа «В Москву»; стихи—тт. Кудашев и Горшков из крестьянской жизни.

СРЕДИ ИЗДАТЕЛЬСТВ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

▫ Почетное место в редакционном плане издательства теперь должна занять литература народная. Читатель низовой, читатель деревни заявляет о своем желании иметь и занимательное, иногда воспитательное, чтение, и полезную книжку по сельскому хозяйству и ремеслам, и справочники по современному советскому строительству и землеустройству. С этою целью Государственное Издательство выпускает под редакцией проф. Г. В. Игнатьева и А. А. Берлина «Библиотеку для крестьян и рабочих». Всего предположено выпустить до 300 названий. К предстоящей сельско-хозяйственной выставке выйдет из печати около 40 названий.

СЕКЦИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

▫ *Печатаются* и в ближайшее время выходят: *А. Чехов.* Избранные рассказы. *Каринцев.* В неведомую даль. *Суражский.* На трудовом пути. *Зилов.* Мизгирь. *Его же.* Как небо упало. *Его же.* Кисель-дождик. «*Детский театр*», под ред. Ю. Соболева. Сб. I и II. Сказки *Андерсена.* 3 выпуска. *Гримм.* Сказки. *П. Соловьева.* Волшебная дудочка. *А. Васильевич.* Заплетися плетень. *Альманах* «Крылья», № 1 и 2. Сборник «Малыши», под ред. Насимовича, вып. 4 и 5.

ИЗДАНИЯ ПО ИСКУССТВУ.

▫ Находятся в печати: *Н. С. Моргунов.* Третьяковская галлерея. *А. А. Сидоров.* Русские портретисты XVIII в. *Н. М.*

Щекотов. Русская крестьянская живопись. *В. А. Никольский.* Музей декоративного искусства. *А. С. Стрелков.* Мир искусства. *М. З. Бабенчиков.* «Малявин». *П. П. Муратов.* «Ульянов». *А. В. Бакушинский.* Цветковская галлерея. *Згура.* Старая русская живопись. *В. В. Маяковский.* Семидневный смотр французской живописи.

СЕРИЯ «КЛАССИКИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ».

▫ В ближайшее время выходят: «Лекции о сравнительной патологии воспалений»—под ред. *Л. А. Тарасевича*; «Русские классики морфологии растений»—под ред. *В. М. Арнольди*; *Г. Мендель.* «Гибриды у растений»—под ред. *Н. К.* Кольцова; *И. Павлов.* «О работе главных пищеварительных желез»; *К. Бэр.* «Избранные работы»—под ред. А. Филипченко; *Р. Клаузиц* и *В. Томсон.* «О втором законе термодинамики»; *Г. Римон.* «О гипотезах, лежащих в основании геометрии».

СЕРИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ».

▫ *Печатаются: Э. Фрейндлих.* «Основы теории тяготения Эйнштейна»; *П. П. Лазарев.* «Современные проблемы биологической физики»; *Г. Морган.* «Структурные основы наследственности»; *Аррениц.* «Жизненный путь планет»; *А. Вегенер.* «Происхождение луны и ее кратеров»; *Л. Ж. Гендерсон.* «Среда жизни»; *В. М. Любименко.* «Растительные пигменты»; *Дж. Томсон.* «Лучи положительного электричества»; *Кэй.* «Х-лучи»; *Коршельт.* «Продолжительность жизни, старость и смерть».

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ.

▫ *Печатаются* и выходят из печати: *Золя.* «Труд»; *Клейст.* Драматические произведения, тт. I и II; *Гоцци.* Собр. соч., т. I и II (Турандот и др.). *Монголо-Айротский Эпос* (впервые запис. в Тибете проф. Владимировым); *Стендаль.* Парижский монастырь. *Синклер.* Испытания любви, роман; *Бальзак.* Шагреневая кожа; *Сезаи Арбюзешт*, перев. с младотурецкого. История гаремной женщины.

Новости иностранной литературы: выходят: *Штернгейм.* 4 новеллы; *Струэ.* Деньги и др.

В современной иностранной библиотеке под ред. *П. С. Когана печатаются: Бартель, М.*—За решеткой; *Графф, О.*—На добрую память; *Лэфевр, Р.*—Жертвоприношение Авраама (предисл. Троцкого); *Лондон, Дж.*—Бунт на «Эльсиноре». *Манн, Г.*—Рассказы. *Его же.*—В счастливой Аркадии. *Мартинэ, М.*—Ночь (предисл. Троцкого); *Менсфильд, К.*—Психология и др. рассказы; *Его же.* Картины и др. рассказы; *Пшавелле.*—Гагатур и Аïшине; *Ромэн-Роллан.*—Кола-Бреньон; *Рувейк, А.*—Стихия; *Синклер, У.*—Джимми Хиггинс; *Уэллс, Г.*—Кипс; *Его же.*—История одной души; *Его же.*—В тайниках человеческого сердца; *Его же.*—Анна Вероника; *Франс, А.*—Маленький Пьер; *Фаррер, К.*—Необычайные похождения Ахмет-Паша Джемальдина; *Штифтер.* — Лесная тропа; *Эйнштейн, К.*—Дурная весть; *Юнг, Ф.* Рабочий мир.

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ.

▫ По заключенному договору между Главнаукой и Госиздатом сейчас в Республике издается 48 научных журналов, при чем 27 из них выходит в Петрограде и 21—в Москве. Часть журналов начала издаваться с 22 г., а часть—с 23 г. В настоящее время начинают выходить «Известия Академии истории материальной культуры», «Метеорологический вестник русского географического общества», «Русское энтомологическое обозрение» и др.—в Петрограде; «Труды Московского физического общества имени Лебедева», «Журнал Московского отделения русского ботанического общества», «Биологические известия института имени Тимирязева» и др.—в Москве.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ НОВЬ».

К началу 1923 г., когда Ц. К. Р. К. Н. передал окончательно всю свою издательскую деятельность издательству «Красная Новь», издательство поставило своей главной целью издание отдельных произведений иностранных и русских классиков марксизма, которые по объему и содержанию отвечали задачам выпуска популярно-марксистской литературы. По этой серии *печатаются: Адоратский.* — Научный коммунизм. *Граве.* — Теория классовой борьбы К. Маркса. *Каутский.*—Происхождение христианства. *Дикштейн.*—Кто чем живет. *Люксембург.* Коалиционная политика и классовая борьба. *Сафаров.*— Национальный вопрос и пролетариат. *Экштейн.* — Капитализм и социализм. *Готовятся к печати: Базаров.*—Анархический коммунизм и марксизм. *Дран, Э., и Леондар, С.* — Подпольная литература в революционной Германии во время войны. *Каутский.* — Социальная революция и на другой день после социальной революции. *Его же.*—Нет больше социал-демократии. *Его же.*—Американский и русский рабочий. *Корш.*—Сущность материалистического понимания истории. *Кочаровская.* — Критика политической экономии Богданова. *Либкнехт.*—Политические заметки. *Его же.*— О молодежи. *Люксембург.*—Кризис социал-демократии. *Постгейм.* — Рабочий интернационал. *Поль Луи.* — Будущее социализма. *Энгельс.* — Бакунисты за работой.

Много внимания издательство уделяет и антирелигиозной пропаганде. В настоящее время *печатаются: Вилла.*—Религия в свете науки. *Зауэракер.*—Террор и «христианство». *Древс.*—Миф о Христе, т. II. *Лафарг.*—Происхождение и развитие понятия души. *Розенов.*—Против попов, ч. II, вып. IV. *Степанов.*— Очерк развития религиозных верований.

В политической серии *печатаются: Бранд и Валевский.*—Коммунизм в Польше. *Гумбель.*—Четыре года политических убийств. *Никулин.*—14 месяцев в Афганистане. *Павловский.* — Банкротство Германии. *Шубин.* — Париж-Варшава-Вильна. *Готовятся к печати: Вернер, П.*— Баварская Советская республика (акты и документы). *Горкин.*—Современная Италия. *Граше.* — Современная Чехо-Словакия. *Дюбоско.* — Эволюция Китая. *Кан, Г.*— Крушение капитализма. *Майский.* — Современная Германия. *Мархлевский.*— Современная Польша. *Бюренберг.*—Мировая война, ее причины и следствия. *Ротштейн.*—Современная Англия. *Рудаш.*—Венгерское восстание. *Шлихтер.*— Современная Австрия.

В исторической серии изд-во стремится дать популярное и научное изложение истории России, русского революционного движения и особенно историю Октябрьской революции; здесь печатаются: *Беркова.*—Великая французская революция (Процесс Людовика XVI). *Залкинд.*—История русской фабрики. *Заславский.*—Зубатов и Маня Вильбушевич. *Герасимов.*—Жизнь русского рабочего полвека назад. *Меринг.*—История Германии с конца средних веков. *Пионтковский.*—Хрестоматия по истории Октябрьской революции. *Фридлянд.*—Хрестоматия по истории революционного движения на Западе. *Панкратова.*— Фабрично-заводские комитеты в России. *Готовятся к печати: Астров.*—Экономика и рабочее движение 90 годов. *Викторов.*—Буржуазия в 1905 году. *Его же.* Лена. *Его же.* — Феодализм в древней Руси. *Его же.*—Идеолог самодержавия, Иван Пересветов. *Лукин.*—Новейшая история Западной Европы. *Мебель.*—Крестьянская реформа. *Его же.* — Рабочий вопрос и рабочее движение во 2-й пол. XIX в. *Мстиславский.* — Народовольцы. *Пионтковский.* — Февральские дни 1917 года. *Его же,* — 9-е января. *Его же*—Октябрьская революция. *Раковский, Х.* — Арест и освобождение за рабочий Интернационал 1916 — 17 гг. *Его же.*— Пять лет борьбы с румынскими помещиками (1907—12 гг). *Сальвиоли.*—Капитализм в древнем мире. *Яковлев.* — Учебник по истории Октябрьской революции. *Яроцкий.* — История рабочего класса и рабочего движения.

По серии литературно-художественной печатаются: Демьян Бедный.— Полное собрание сочинений. *Деревенские Были.*—Сборник рассказов и стихотворений. *Маяковский.*—Стихи о революции. 2 изд. *Неверов.*—Богомолы. Рассказы.

Орешин.—Мужики. *Попов.*—Остров изобретателей. *Прокофьев.*—Праздник крови. Сборник—«*Народный театр*». Комедии (5). *Серафимович.*—Рассказы. *Сосновский, Л.*—Поэт и масса. *Уэльс.*—Невидимка. *Его же*—Первые люди на луне. *Готовятся к печати: Лондон.*—Морские рассказы. *Маркс Мадлен.*—Женщина. *Революционный чтец-декламатор.—Синклер.*—Выгоды от религии. *Его же.*—Гусиная походка. *Уэльс, Г.*—Война в воздухе. (Сокр. перев.) *Фаррер, К.* Представители цивилизации.

ИЗДАНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ.

▫ Социалистическая Академия приступила к изданию лучших работ своих членов и ее ближайших сотрудников под общим заголовком «Библиотека марксиста». Изданием данной серии Социалистическая Академия стремится дополнить имеющуюся марксистскую литературу новыми работами научно-исследовательского типа.

В ближайшее время в этом издании выходят следующие работы: *М. Н. Покровский.*—Откуда взялась внеклассовая теория развития русского самодержавия. *Ф. А. Ротштейн.*—История международных отношений в XX ст. *Н. И. Бухарин.*—Экономика переходного периода. *Ф. А. Ротштейн.*—История Египта под английским владычеством. *М. Н. Покровский.* — Внешняя политика России конца XIX в. *Н. М. Лукин.*—Парижская коммуна.

ИЗДАНИЯ ВСЕР. НАУЧНОЙ АССОЦИАЦИИ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.

▫ В ближайшее время выходят: *Павлович*—«Борьба за Азию и Африку» и «*Афганский сборник*».

ИСТПАРТ.

▫ Истпартом сданы в печать: стенографический отчет 7 Съезда РСДРП, «Памятник борцам революции, погибшим до 1917 года», «Хрестоматия по истории партии»—2 тома, *Е. Волков.*—«Революционное движение среди черноморских моряков», *Е. Волков.*—«Христо Ботиев». (Болгарское революционное движение). Готовятся к печати: «Памятник борцам революции, погибшим в период 1917—1922 гг.» и «Сборник материалов и воспоминаний об Октябрьской революции».

На-днях выйдет сборник, посвященный революционному движению на Дальнем Востоке.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВАЯ МОСКВА».

▫ В ближайшее времени выйдут из печати: *Адарюков.*—Гравер Ческий. *Андерсен.*—Сказки. *Ашукин.*—А. Блок (библиография), *Г. Виллиам.* — Белые. *Гаманн.*—Рембрандт. *Горев.*—История социализма, т. I. *Волькенштейн.*—Драматургия. *Гаузенштейн.*—Социалистическая эстетика (общество и искусство). *Западные сборники*—вв. I и II. *Золя*—Труд. *Историко-революционная хрестоматия. Ленин.* — Чему учиться и как учиться. *Маркс* и *Энгельс.*—Отрывки из произведений (исторический материализм). Сборник «Колониальный Восток». Художественно-историческая хрестоматия. *Чехов.*—Неизданная пьеса.

ИЗДАТЕЛЬСТВО Л. Д. ФРЕНКЕЛЬ.

▫ Находятся в печати: *Пришвин.*—Кощеева цепь. *Жуков.*—Происхождение человека. *Ирисов.*—Звук и музыка. *Гросман.*—Этюды о Пушкине. *Стендаль.*—Новеллы, хроника и эпизоды. *Е. Черников.* Ранняя диагностика легочного туберкулеза. Проф. *Некрасов.*—Кинематика и статика. *В. Лидин.* — Мышиные будни.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ».

▫ *Печатаются* и в скором времени выходят: «Спутник Коммуниста», № 22, *Братская Могила*, в. II; *И. Меницкий.* — Рабочее движение и соц.-демокр. подполье; *Ленин.* — Тактика большевиков; *Боссэ.*—От неживого к живому.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ».

▫ *Печатаются*: «Обществоведение в школе», под ред. Ефремина и В. Смушкова (гот. к печ. в. II), «Этапы новой школы (сб. стат. и докл. 1-ой «Оп. ст. по нар. образ.») под ред. Шацкого, «Марксизм и педагогика», № 1—сб. статей (подг. к печ. № 2 и № 3); под ред. Переверзева—«Критическая хрестоматия по истории русской литературы». *Л. Сабанеев.*—Очерк истории русской музыки. *Морозов.*—Школа и сельское хозяйство. *Райков.*—Вопросы методики естествознания. *Блонский.* — Педагогика. *Пинкевич.* — Педагогика, *Шарреьман.*—Трудовая школа, *Луначарский.* — Этюды полемические. *Тарабукин.*—От мольберта к машине. *Виппер.*—Возникновение христианства. *Смушков.* — Очерки экономической политики. Сборник «Методика обществен. наук».

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО АРТЕЛИ ПИСАТЕЛЕЙ «КРУГ».

▫ Печатаются и в ближайшее время выходят: альманах «Круг», № 3, Л. *Зилов.*—«Ворона в трубе», кн. рассказов. *Ник. Никитин.*—«Полет», повесть, *Н. Огнев.*—«Двенадцатый час», кн. рассказов. *Панаева* (Головачева) — «Воспоминания», предисловие и примечание К. И. Чуковского, *Вл. Собко.*—«Два с половиной года по ту сторону красного рубежа», мемуары.

Изд-вом «Круг» приобретена книга С. П. Боброва «Записки Стихотворца», кн. 2-я (1-ая вышла в 1916 в к-ве «Мусагет»), в книгу вошли статьи о Пушкине, Лермонтове, Мюнхгаузене, Уэльсе, Достоевском, Блоке, Белом, Северянине, Ролане, Маране и мн. др. Статьи по ритму и поэтике войдут в третью книгу «Записок Стихотворца», которую автор готовит в настоящее время к печати. Каждый том «Записок Стихотворца» будет содержать 10—12 печ. листов.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОЛОС».

▫ В кооперативном издательстве «Колос» в настоящее время печатаются и выйдут в ближайшее время следующие книги: 1) *Г. Г. Шпет*—Эстетические фрагменты, вып. III; 2) *Иванов-Разумник*—Вершины (А. Блок и А. Белый); 3) *Л. М. Клейнборт*—Н. И. Зибер; 4) *Его же*—Г. З. Елисеев; 5) *Г. И. Чулков*—Ф. И. Тютчев; 6) *А. В. Мезьер*—Словарный указатель по книговедению; 7) *А. В. Прибылев*—От Петербурга до Кары; 8) *О. Аптекман*—Общество «Земля и Воля» 70-х годов; 9) *И. Н. Розанов*—Некрасов и его судьба; 10) *Его же*—Вяземский; 11) *Т. И. Райнов.*—Духовный путь Ф. И. Тютчева; 12) *Н. И. Кареев*—Историки французской революции, т. I—Французские историки.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА».

▫ *Печатаются* и в ближайшее время выйдут: *Гарме.*—Кризис мирового хозяйства, *Туган-Барановский.*—Промышленные кризисы, *Унгерн - Штернберг.*—Экономическое положение Франции, *Леви.*—Основы экономической мощи С.-А. Штатов, *Фогель.*—Экономическое положение Европы, *Макс Адлер.*—Марксизм, как пролетарское учение о жизни, *Роб. Сервис.*—Аргонавты 98-го года (роман), *П. Берлин.*—Русская буржуазия в старое и новое время, *Лей Бушер.*—Гильдейский социализм, *И. Мечников.*—Цивилизация и великие исторические реки, *Каринцев.*—Люди сильной воли (для детей). Библиографический ежегодник под ред. В. В. Владиславлева, посвященный книге 1921—22 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ».

▫ Из-во выпустило отдельным художественным изданием пьесу *Е. И. Замятина.*—«Огни Св. Доминика», с красочной обложкой *М. Добужинского.*

В «Библиотеке иностранной литературы» из-во готовит к печати собрания сочинений *Ромен Роллана, Синклера, Уэльса* и *Робиндраната Тагора.*

Издательство выпускает под редакцией проф. Гитиса «Библиотеку автомобилиста» и под ред. проф. Гатцука «Библиотеку металлиста».

Находятся в печати и выйдут к осени «Литературная Мысль», альманах III, и «Музыкальная Летопись», сборник III.

К юбилею 50-летней ученой деятельности Н. Кареева из - во выпустит сборник статей почитателей и учеников профессора «Из близкого и далекого прошлого».

Из - вом выпущена книга Я. И. Френкеля «Теория относительности».

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕТРОГРАД».

▫ Печатаются и в ближайшее время выходят: *Вассерман.*—Мой путь как немца и еврея, *Д-р Мадлен-Пелльтье.*—Моя поездка в Советскую Россию, *Е. В. Тарле.*—Разгром Германии, *Р. Тагор.*—Рассказы, *К. Фаррер,*—Новые люди (роман), *Д. Лондон.*—Пытка. *Арт. Шницлер.*—Маски и чудеса, *В. Маргерит.*—Холостячка (роман), *П. Губер.* — Донжуанский список Пушкина (с 9 портр.), *А. Р. Кугель.* (Homo Novus)—Театральные портреты.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СЕЯТЕЛЬ» Е. В. ВЫСОЦКОГО.

▫ В ближайшее время выходят из печати: проф. *И. И. Кареев.* — Великая французская революция в историческом романе, *П. Ю. Шмидт* — Сила жизни, *Август Форель.* — Человек и муравей, акад. *Я. В. Успенский.*—Математические развлечения. «Творческий путь Тургенева» и «Творческий путь Достоевского»—сборники под ред. *Н. Л. Бродского, Райков.*—Человек и животные.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «АКАДЕМИЯ».

▫ Печатаются и в скором времени выйдут: *Осв. Шпенглер.*—Закат Европы, т. I, ч. 2-ая. *В. Н. Твердохлебов.*—Финансовые проблемы 1914—1923 г. *Фредерикс и Фридман.*—Основы теории относительности. *Н. Н. Евреинов.*—Драматические сочинения, т. 3-й, *С. Мажинский.* — Метод экспрессионизма.

Кроме этого, из-во выпускает полное собрание творений Платона, которое будет заключать в себе 16 томов, размером в среднем от 10 до 15 печ. лист. каждый. Редакция перевода выполнена *С. А. Жебелевым, Л. П. Карсавиным и Э. Л. Радловым.* Вышли уже том V, XIII. Все издание предполагается закончить печатанием в течение 1923 года.

ГОСИЗДАТ УКРАИНЫ.

▫ *Печатаются: С. Семковский.*—Основы марксизма. Курс лекций. *Его же.* Судьбы революции. Из пережитого и передуманного, *Граднауэр, Я.*—Народное хозяйство Германии, *Кулик, И.* — Социальные корни бандитизма и контр-революции, *Кунов.* — Техника в доисторическую эпоху, три части, *Чикотти.*— Падение рабства в древнем мире.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Не вошедший по техническим причинам в настоящую книгу журнала «Список книг и журналов, полученных для отзыва» будет напечатан в следующей книге журнала.

ПОПРАВКА.

На стран. 74 в приведенном стихе (стр. 24 св.)

Здесь хорошо. *Вкушает лира*
Свой усыпительный покой—

последующая строка:

И пусть вкушает. Мы не жалеем —

принадлежит автору статьи — Валерию Брюсову.

Ред.